

И. Всеволодский

В МОРЯХ ТВОИ ДОРОГИ



И. Всеволодский

В МОРЯХ ТВОИ ДОРОГИ



К Р Ы М И З Д А Т
Симферополь · 1953



УХОДИМ
ЗАВТРА В МОРЕ

Часть первая

СЫН МОРЯКА

Глава первая

МОЙ ОТЕЦ

Отец всегда приезжал неожиданно. Мама, услышав звонок, выбегала в прихожую. Я высовывал нос из-под одеяла и слышал, как она радостно здоровалась:

— Наконец-то приехал!

— Ну, как вы тут?— спрашивал отец вполголоса.— Здоровы? Никитка спит?

— Иди сюда, я не сплю! — торопился я сообщить.

Он входил ко мне в комнату, в черной флотской шинели и в запыленной снегом ушанке, и я кидался к нему на шею. От отца пахло холодом, ветром и душистым трубочным табаком.

Отец поднимал меня с кровати:

— Одевайся, умывайся, будем завтракать.

В эту ночь отец не ложился. Чтобы добраться до нас, ему надо было переехать залив по льду в автобусе, целый час проскучать в электричке и пешком добираться от вокзала на Петроградскую сторону: так рано трамваи еще не ходили. Волосы у отца густые, чуть выющиеся; лицо широкое, доброе; карие глаза почти всегда улыба-

лись. Щеки даже зимой были покрыты легким загаром. На синем кителе поблескивали нашивки капитан-лейтенанта.

Отец с гордостью говорил, что мои дед и прадед были моряками и наша фамилия — Рындины — происходит от «рынды». В старину в парусном флоте так назывался звон в колокол на корабле в самый полдень. Сейчас рындой на кораблях называют колокол, отбивающий склянки.

Пока я умывался, он разгружал чемоданчик. За окнами еще было темно; к стеклу прилипали снежинки. Ярко светила над столом лампа. Мама, веселая, оживленная, разливала чай. Отец начинал рассказывать что-нибудь смешное: или о корабельном медведе, который стащил и съел кусок мыла и целый день пускал мыльные пузыри, или о корабельном коте, потерявшем в бою с крысами полхвоста и пол-уха. Отец изображал медведя и кота так смешно, что мы смеялись до слез.

Вдруг мама спрашивала:

— Юрий, ты к нам надолго?

— На целый большущий день!

Можно было подумать, что «целый большущий день» — это что-то вроде целого месяца. Но я знал, что «большущий день» пролетит в один миг и отец снова уедет в Кронштадт. И он нарочно говорил «целый большущий день», чтобы и нам и ему казалось, что мы проведем втроем много длинных часов. Как-то раз мама огорченно сказала:

— Ты ошибаешься, Юрий, думая, что твой дом в Ленинграде: твой дом — на корабле.

Отец засмеялся:

— Нинуша, ты же знаешь, где у моряка дом!

— В море, — тихо сказала мама.

Он крепко обнял ее и сказал, что больше всего на свете любит нас. Но мама возразила:

— Ну, уж никак не больше своего моря!

Да, отец любил море! Мы залезали на огромный диван, и он принимался рассказывать о ночных вахтах, когда не видно ни зги и лишь слышно, как плещется за кормою вода; о походах в шторм, когда пена, клубясь, перекачивается через палубу, и тогда держись! Заезвешься — подхватит и унесет в глубокое море. Он рассказывал о дальних рейсах в порты, где дома с чере-

пичными крышами не похожи на наши; о желтой лунной дорожке, пересекающей путь корабля. Море в рассказах отца то было тихим и гладким, как одеяло из зеленого бархата, то вдруг начинало бурлить, поднимались волны, и корабль тогда пробирался словно в темном ущелье, среди черных гор.

Одного отец не рассказывал: за что он получил ордена в войне с белофиннами. О том, как он воевал на торпедном катере и прорывался на Ханко, нам удалось узнать из газеты «Красный Балтийский флот», которую мне принес мой одноклассник Бобка Алехин, сын инженер-механика с крейсера «Киров».

Глава вторая

В КРОНШТАДТЕ

«Целый большущий день» пролетел в один миг. Бывало мы побываем в театре, в музее и на Невском, в кондитерской «Норд». Отец смешил всех, когда после кофе с пирожным заявлял, что он голоден и хочет сосисок. Вечером к нам приходили его товарищи. Засыпая, я слышал оживленные голоса.

На другой день отец будил меня до рассвета.

— Кит, проснись! — тормозил он меня через одеяло. — Едем! Пора!

Мама озабоченно спрашивала:

— А Никиток не простудится?

— Вот еще! — возражал отец. — Морякам это не позволено!

Часы-кукушка куковали шесть раз.

— Не скучай, Нина. Кит завтра утром вернется.

— А ты?

— Я думаю, через недельку, — говорил отец не очень уверенно.

Мама повязывала мне шарф и подавала отцу чемоданчик.

Мы наперегонки спускались по лестнице, выходили на пустынный проспект. В темном морозном воздухе медленно кружились снежинки. Где-то звонил трамвай и светились два огонька — синий и красный. Мы ехали через весь город на Балтийский вокзал.

Электричка уже стояла у узкой, запорошенной снежком платформы.

В этот ранний час в вагоне было полно моряков: они возвращались из воскресного отпуска.

— А, Рындины!—здоровались они с нами.

Поезд трогался. Лишь проезжали Стрельну, начинало светать. За окнами мелькали строения и деревья, на которых висели, словно елочные игрушки, сосульки. После Петергофа моряки поднимались с мест: они боялись опоздать к ледоколу. И когда электричка останавливалась у ораниенбаумской платформы, мы все пускались наперегонки к пристани, у которой уже гудел черный с красной трубой ледокол; он кричал: «Торопитесь!» Едва мы успевали вскочить на палубу, матросы убирали сходни. Отец советовал: «Пойди-ка ты, Кит, в каюту, обморозишь уши». Но мне не хотелось уходить вниз в тепло, где стучат машины. Наверху было куда интереснее. Ледяной ветер обжигал нос и лоб. Ледокол полз по узкой черной дорожке, а рядом по толстому льду спешили крытые брезентом машины. Вдали виднелись корабельные мачты. Из тумана выплывали собор с золотым куполом и острый шпиль штаба флота.

От пристани шли через город и парк. На памятнике Петру, словно белый плащ, лежала толстая корка снега.

Корабль отца, вмерзший в лед, стоял подле мола. Из трубы тянулся к белому небу дымок. Мы поднимались на палубу «Ладоги». Матрос в необъятной шубе пропускал нас. Вахтенный офицер расспрашивал отца, как тот провел воскресенье, и рассказывал корабельные новости. Корабельный дог Трос высовывал морду из люка и подходил, виляя хвостом. Он брел за нами, стуча когтями по палубе, больше похожий на теленка, чем на собаку, и ловко спускался по отвесному железному трапу.

Отец жил на «Ладоге» в каюте номер семнадцать: в два круглых иллюминатора были видны торпедные катера. На письменном столе стоял портрет матери; над столом на широкой полке — в два ряда книги; в железном шкафу, искусно раскрашенном под дуб (на военных кораблях мало дерева и все выделяется из железа и стали), висели парадная тужурка отца, его рабочий китель, клеенчатый плащ. Рядом со шкафом был прочно привинчен к палубе небольшой кожаный диван. Койка

с постелью над двумя лакированными ящиками, в которых хранилось белье, похожа была на комод.

Отец уходил на торпедный катер, которым командовал. Я садился за стол, перелистывал книги, потом отправлялся путешествовать по кораблю с Тросом. Попадавшиеся навстречу офицеры приветливо здоровались, называя меня «Рындин-младший».

На камбузе кок, ленинградец с Гулярной улицы, с лоснящимся широким лицом, всегда спрашивал: «На месте ли стоит Петроградская сторона?» Толстяк угощал дога костью, а меня—пирожком с мясом. В продовольственных складах у нас тоже были друзья: баталёры. Два полосатых кота, круглых, как мячики, обросшие шерстью, увидев Троса, начинали фырчать, но дог не обращал на них никакого внимания.

Все были заняты делом до полудня, когда боцманские дудки свистали обед.

Отец надевал новый китель, и мы поднимались в кают-компанию — большой круглый зал с кожаными диванами. Офицеры уже расхаживали вокруг стола. Старший (хотя он был моложе других) офицер, Николай Степанович Гурьев, сухощавый, с черными густыми бровями, радушно приглашал: «Прошу за стол!» И тогда каждый занимал свое место. Для меня ставили стул между Гурьевым и отцом. Вестовой приносил фарфоровую белую миску, и Николай Степанович разливал по тарелкам густой дымящийся борщ.

За столом рассказывали много интересных историй. Однажды товарищ отца, капитан-лейтенант Веревкин, вспоминал, как во время войны с белофиннами он высадил в глухих шхерах офицера. Вооруженный пистолетом и парой гранат, офицер ушел в ночь, один.

— Я не знал, — продолжал Веревкин, — какое ему было дано задание и не имел права расспрашивать. Когда мы снова взяли его на катер в условленном месте, он был весел, как школьник, получивший пятерку. Он еще два раза ходил в тыл врага и благополучно возвращался. В третий раз мы прождали его всю ночь и он не вернулся. Мы опять пришли в следующую ночь и долго ждали сигнала. Мы так и не дождались его, — закончил Веревкин.

Он встал и, обратившись к старшему офицеру: «Прошу разрешения от стола?», ушел.

Отец тоже рассказывал, как его катер, потеряв ход, был атакован тремя самолетами.

Вечером, просмотрев в салоне кинокартину, мы ложились спать — отец на койке, а я на диване и приставленном к нему кресле. Жужжал вентилятор. Что-то гудело. Гулко стучало над головой, когда матрос пробежал по палубе.

«Когда же я буду тоже ходить на катере, жить в такой же каюте?..» думал я.

— Папа, — спросил я однажды, — а что из предметов для моряка важнее всего?

— Математика.

— А языки?

— Минимум два, кроме родного.

Я хотел еще многое спросить, но отец уже крепко спал.

Рано утром я возвращался в Ленинград. Мама ждала меня с нетерпением. До ухода в школу я успевал рассказать ей о корабле, офицерах и боцмане. В школе мне приходилось еще раз рассказывать о кораблях и Кронштадте. И товарищи с удовольствием слушали. Ведь они не бывали на кораблях и торпедный катер видели лишь на картинках!

Глава третья

АНТОНИНА

Однажды зимой, в субботу, я отправился в свой любимый театр на Моховой улице.

Я долго ожидал трамвая на Кировском и от Лебяжьего моста бежал, чтобы не опоздать к началу.

Пробираясь по круглому залу и наступая ребятам на ноги, я нашел свое место. Оно было занято шупленькой девочкой в голубом платье, с длинными русыми волосами. Глаза у девочки были разные: левый — голубой, правый — зеленый, весь в карих крапинках. Пальцы были выпачканы в чернилах — отправляясь в театр, девочка не потрудила их вымыть.

— А ну-ка, потеснись! — сказал я сердито.

Девочка чуть подвинулась. Я втиснулся между нею и заворчавшим на меня мальчиком, свет погас и началось представление.

Я уже несколько раз видел историю Жана, которого старшие братья выгнали, отдав ему лишь кота. Кот выпросил себе сапоги и сумку, и они с Жаном отправились искать счастья.

Девочка заерзала, и я втихомолку толкнул ее.

— Ты всегда такой? — спросила она, отодвинувшись.

— Какой?

— Деручий и злой?

— А зачем ты все время вертишься? Не можешь сидеть спокойно?

— Мне плохо видно.

— Так иди на свое место!

— Я билет потеряла.

Сзади зашикали.

Жан с котом попали в королевский замок на бал.

— Вот бы нам туда! — схватила меня девочка за руку.

— Куда? — отдернул я руку.

— Туда!

Она вся подалась вперед. Ишь, куда захотела: на сцену, в сказочную страну!. Действие как раз кончилось, в зале стало светло.

— Ты в первый раз смотришь «Кота в сапогах»? — спросила девочка.

— Нет. В четвертый.

— А я — в третий. Ты любишь ТЮЗ?

— Очень.

— И я ужасно люблю...—протянула девочка.

— Так не говорят: «Ужасно люблю». «Ужасно любить» нельзя. Это глупо!

Она надулась и отвернулась. Но после звонка вдруг спросила:

— Ты позволишь мне тут сидеть? Или опять станешь толкаться?

— Сиди уж. Как ты прошла без билета?

— Я в раздевалке его потеряла... Тебя как зовут?

— Никитой?

— Никитой?..—переспросила она.—Мне не нравится.

— Ишь ты, не нравится! А тебя как зовут?

— Антониной.

— Ну, и никуда не годится!

— А я довольна, — возразила девочка. — Ай! — схватилась она за карман.

— Вот растеряха! Опять что-нибудь потеряла?
— Потеряла? Нет! Я думала, он сбежал.
— Кто сбежал?
— Солнечный зайчик.
— Зайчик?
— Не веришь? Я его поймала и приручила. Вот он у меня где сидит... Хочешь на него посмотреть?
— Ясно, хочу.
— В другой раз. Он спит.
И она засмеялась, довольная, что оставила меня в дураках.

Свет погас, и на сцене появился дворец людоеда. Мне стало не до девочки и ее выдумок. Людоед слопал короля и советника, но кот уговорил страшилище превратиться в мышонка. Едва успел людоед превратиться в мышонка, кот кинулся за ним и — хап! — съел его.

Все запели от радости — и коты и люди.

Ребята обступили со всех сторон сцену.

Я забыл про девочку и увидел ее лишь внизу, в раздевалке. За ней пришел морской офицер, смуглый, с черными усиками, — наверное, ее отец.

Глава четвертая

МЫ ЕДЕМ К ОТЦУ

И вот будто ветром сдуло счастливую жизнь. Гитлер напал на Советский Союз. Каждый день в городе завывали сирены и радио объявляло: «Граждане, воздушная тревога!» Мама стала работать на оборонном заводе и возвращалась домой поздно вечером. Отец долго не приезжал, и мы не знали, что с ним. Но вот он однажды приехал ночью. На этот раз он не звал нас за стол. Он сбросил на пол тяжелый мешок и сказал: «Это вам». Он уезжал на Черное море.

— В Севастополь?—спросил я.

— Да, в Севастополь.

Мама уложила в коричневый чемоданчик белье, бритву, хотела положить хлеба, но отец сказал, что не надо. Он взглянул на часы и сказал глухим голосом:

— Пора, а то опоздаю.

— Ты осторожнее, Юрий,— сказала мама, прислушаваясь к глухим разрывам.

Отец в последний раз взглянул на книжные полки, на картины на стенах, на фрегат, распустивший паруса над диваном, поцеловал меня, маму и вышел на лестницу. Дверь внизу глухо стукнула.

Пришла зима. Город начали обстреливать из орудий. Я больше не ходил в школу. Почти все мои одноклассники эвакуировались, но я не хотел уезжать без мамы. Боевые корабли, знакомые по Кронштадту, стояли на Неве и Фонтанке во льду. На них было больно смотреть.

Как-то раз я очутился на Моховой. Широкая дверь театра, раньше всегда ярко освещенная, была заколочена досками. Ветер с Невы нес сухую снежную пыль и теребив обрывок афиши, на которой было написано: «Кот в сапо...» Одно стекло было разбито.

Придя домой, я заснул и увидел во сне Антонину. Вооружившись палкой с сетчатым колпачком, она охотилась за солнечным зайчиком. Поймав его, она зажала сетку пальцами, выпачканными в чернилах, и спрятала зайчика в карман.

«Бежим, Никита, в сказочную страну!» позвала она и протянула мне руку.

Было лето, светило солнце. Мы очутились перед сказочным замком. Кот в сапогах, в шляпе с перьями, вышел на крыльцо.

«Прошу, дорогие гости!»—пригласил он...

Я проснулся от холода. Мама уже пришла с работы и, растопив печурку, жарила на ней тонкий лепесток бурого хлеба.

Она всегда резала хлеб на тоненькие кусочки и поджаривала их на плите. И я не раз замечал, что она хитрит: оставляет мне больше кусочков, чем себе...

Бедная мама! Ее золотые выющиеся волосы стали темносерыми, словно их посыпали пеплом. Вокруг синих глаз разбежались морщинки, щеки опухли, а маленькие руки ее покраснели и потрескались. Она закутывалась во все платки, какие были дома, потому что стояли сильные морозы. Раньше она носилась по комнатам и звонким голосом распевала песни. А теперь стала передвигаться медленно, с трудом, будто ноги ее, в неуклюжих валенках, прилипали к полу, и голос у нее стал тихий и хриплый.

Наша комната с забитыми фанерой окнами была холодна, как ледник, и пуста, как сарай. Мы сожгли все, что сгорало: столы, шкафы, стулья. Мама не решалась жечь только книги.

— Проснулся, Никиток? — спросила она. — Нам предлагают эвакуироваться в Сибирь... — Она сразу добавила: — Я бы из Ленинграда ни за что не уехала, но тебя я должна спасти. Будь что будет, поедем. Из Сибири доберемся к отцу.

К отцу! До отца было так далеко!..

...Темный поезд ощупью пробирался редким лесом. Болото чавкало, когда в него попадали снаряды. На Ладожском озере — на льду — нас бомбили. Потом другой поезд, длинный, из одних товарных вагонов, много дней вез нас в Сибирь. Мы очутились в городе с деревянными тротуарами. Тут был хлеб, даже масло. Мы довольно долго прожили в этом городе, хотя мама и торопилась уехать. Знакомые ленинградцы ее отговаривали: «Вы, Нина, с ума сошли — ехать в такую даль, на Кавказ!» Но мать никого не слушала. Она получила от отца письмо. Он писал, что защищал Севастополь, а теперь его катера кочуют по портам Черноморского побережья. Мы должны приехать в Тбилиси и найти там художника, отца его друга. Художник поможет нам добраться до отца.

Мама долго добивалась, чтобы нам выдали пропуска.

И вот мы поехали на юг, все на юг, переплыли Каспийское море, причем пароход качало и мама очень болела морской болезнью; снова ехали поездом и, наконец, поздно вечером очутились на тбилисском вокзале. Мы должны были пойти в город и отыскать художника. Письмо с его адресом до нас не дошло.

* * *

Когда мы ощупью вышли на площадь, мне показалось, что мы стоим на краю пустыни. Мама взяла меня за руку. Грузовик с синим глазом, грохоча, вынырнул из темноты и промчался мимо.

— Вас могло сшибить, — сказал какой-то человек. — Вы приезжие?

— Да, мы из Ленинграда, — ответила мама.

— Из Ленинграда? — повторил незнакомец. — Какую улицу ищите?

— Улицу? Я не знаю, на какой улице живет тот, кто нам нужен. Где тут справочное бюро?

— Уже закрыто, генацвале¹. Как его фамилия? — продолжал допытываться незнакомец.

— Гурамишвили.

— Гурамишвили?

Достав папиросу, незнакомец зажег спичку, и я увидел его лицо — немолодое, смуглое, с густыми черными усами.

— Гурамишвили живет со мной рядом. Это недалеко. Пойдем, провожу.

— Но, может быть, он не тот Гурамишвили? — спросила недоверчиво мама.

— Ва! Тот, не тот! Скоро ночь, ночью ходить нельзя, ночью патруль задержит. Идем.

Мама колебалась.

— Ты, генацвале, не бойся, — убедительно сказал незнакомец. — Я Кавсадзе, Бату Кавсадзе, портной. Меня тут все знают. Ночь на дворе, идем. Идем, ну?

Мама решилась:

— Идемте.

Незнакомец повел нас по темному городу. На перекрестках светились зеленые и красные огоньки. Мы шли, натываясь на людей.

— Держитесь за меня! — говорил Кавсадзе. Он свернул в ворота. — Сюда, пожалуйста, за мной. Мы пришли.

Двор был темный и, наверное, очень большой. Сквозь щели завешенных окон кое-где пробивался свет.

Портной стукнул в темную стеклянную дверь.

— Эй, Мираб! — крикнул он. — Это я, Бату!

В ярко освещенном прямоугольнике появился толстяк с густой шапкой черных с сильной проседью волос.

— Входите скорей, а то меня оштрафуют, — заторопил толстяк.

Едва мы вошли, хозяин тщательно завесил стеклянную дверь шерстяной занавеской. Мы оказались в комнате с широким низким диваном и огромным шкафом у белой стены. Пожилая женщина в черном платке хлопотала у печи, а за столом сидела чернокосяя де-

¹ Генацвале — ласкательное обращение, распространенное в Грузии.

вочка со вздернутым носиком и что-то писала. Девочка подняла голову и принялась меня разглядывать.

— Я нашел их, Мираб, возле вокзала, — сказал толстяку Кавсадзе. — Понимаешь, они ленинградцы и они первый раз в Тбилиси. Им нужен Гурамишвили.

— Гурамишвили — я, — отрекомендовался толстяк.

Мама взглянула на низенький столик, заваленный сапожными инструментами, колодками и старой обувью, и, немного смутившись, сказала:

— Мне нужен художник Гурамишвили..

— А я Гурамишвили-сапожник, — улыбнулся толстяк. — Познакомьтесь, пожалуйста: жена моя — Маро, дочка — Стэлла.

Жена сапожника вытерла полотенцем и протянула матери руку. У нее было широкое лицо с большими глазами, серыми, как у дочки.

— Значит, мы не туда попали? — растерянно спросила мама.

— Зачем «не туда»? — возразил толстяк. — Гурамишвили ищете? Гурамишвили — я.

— Но ведь вы — не художник, — улыбнулась мама.

— Нет, зачем, я — художник! Я художник в своем ремесле, — усмехнулся в усы толстяк. — Шалву Христовича вся Грузия знает. Но ночью к нему не попадешь, дорогая. Он живет за Курой, под горой Давида.

— Что же нам делать?

— Как «что?» Раздеваться, — решил за маму сапожник. — Отдыхать, кушать. Для ленинградцев в Тбилиси все двери открыты. Завтра утром я вас отведу за Куру.

— Но, право, это же неудобно, — возразила мать.

— Неудобно, удобно!.. А итти ночью по темным улицам удобно?.. Маро, Стэлла, помогите раздеться!

— Вот и отлично! — обрадовался Кавсадзе. Он даже крикнул от удовольствия, что все так устроилось.

Мама принялась благодарить портного. Бату рассердился:

— За что благодаришь? Подарил тебе что-нибудь, а? Не подарил. До свиданья! Желая отдохнуть хорошенько.

Он ушел, потрепав по щеке девочку и сказав ей что-то по-грузински.

Жена сапожника постелила на стол чистую скатерть и поставила тарелки с едой.

— Садитесь, садитесь же! — приглашала она.

Мама, сбросив платок, откинула голову на спинку стула.

— Устала? — участливо спросил Гурамишвили.

— Да, — ответила мама. — Мы ведь еще были в Сибири.

— Слышишь, Стэлла? — воскликнул Мираб. — Ленинград — где, Сибирь — где, Тбилиси — где... столько ехать!.. Шалва Христофорович твой знакомый? — спросил он маму.

— Нет. Его сын — друг моего мужа.

— Серго — друг мужа? Твой муж — моряк?

— Да, моряк.

— Про Серго в газете, в «Коммунисти», писали, с портретом. Герой! Наш старший, Гоги, тоже воюет.

— Гоги служит в минометных частях, — сказала девочка, — и прислал нам письмо с Кубани. Правда?

— Да, он в минометных частях и прислал нам письмо с Кубани, — как эхо, повторил ее толстый отец. — Где карточка, Маро? Дай сюда карточку.

И он показал фотографию черноглазого паренька с небольшими усиками, в солдатской фуражке. Это был Гоги, брат Стэллы, минометчик.

— Он ушел на фронт, когда фашисты бомбили Тбилиси, — сказала Стэлла.

— Да, они раза два или три нас бомбили, — подхватил Мираб, — но не причинили большого вреда. Они хотели прорваться к нам через перевалы и наступить Грузии прямо на сердце. Уй, проклятые! Забрались на перевалы!.. Наш Гоги пошел на фронт! И он получил медаль... Да ты кушай, дорогая! И ты кушай, мальчик. Тебя как зовут?.. Никита? Кушай, Никитó, кушай!

Как хорошо было тут, в теплой, светлой комнате, после холодных, темных поездов!

Пока я с удовольствием ел, Стэлла продолжала меня разглядывать, хотя делала вид, что пишет. А Гурамишвили все угощал и требовал, чтобы все было съедено. Он открыл шкаф, достал два больших апельсина, ловко взрезал их острым ножичком и положил перед нами, словно два оранжевых цветка с распустившимися лепестками.

Стэлла спросила меня:

— Тебе сколько лет?

— Тринадцать.

— Не-ет! — протянула она удивленно. — Я думала, больше. Ленинград красивый город? Я читала у Гоголя «Невский проспект», у Пушкина «Медный всадник».

Я принялся рассказывать ей о Ленинграде, и она часто восклицала: «Не-ет!» Сначала я думал, что она мне не верит, но потом понял, что она говорит свое «не-ет», когда чему-нибудь удивляется. Она училась в шестом классе и показала мне свои тетради, где все было написано незнакомыми буквами — по-грузински. И она даже написала по-грузински «Никита» и я должен был ей поверить на слово, что написано именно «Никита», а не что-нибудь другое.

Потом нам с мамой постелили на большом диване, прикрытом ковром, на котором, наверное, всегда спали хозяева, так как они легли на пол. Мираб назвал диван «тахтой». И как мама ни протестовала, и он и его жена настояли, чтобы мы воспользовались их гостеприимством.

Глава пятая

ДОМ ПОД ГОРОЙ ДАВИДА

Когда мы проснулись, в раскрытое окно ярко светило солнце и солнечные зайчики бегали по стенам. Было тепло, и не верилось, что на дворе зима. Стэлла, заплетая косы, болтала безустали, и казалось — заставить ее помолчать невозможно.

— Хочешь посмотреть на слона?—спросила она.—Мы пойдем с тобой в зоопарк, отец даст нам денег... Дашь? —обратилась она к отцу.

— Конечно, дам, дорогая, — ответил Мираб улыбаясь.

— Или мы с тобой ходим в цирк, — продолжала Стэлла.—Ух, и большой же у нас цирк! На одной стороне сидишь — другой не видно! А если хочешь, покажемся на фуникулере.

— А что такое «фуникулер»?

— Не-ет! Он не знает!.. Пойдем на двор, покажу.

Я оделся, и она потащила меня за собой.

Мне показалось, что я нахожусь внутри огромного стеклянного колпака: весь дом окружали стеклянные галерейки.

— Гляди! — показала Стэлла.

По отвесной горе за рекой, над городом, карабкалась белая букашка. Навстречу ей, сверху вниз, пробиралась другая.

— Рубль — туда, рубль — обратно, — сказала девочка. — Папка даст восемь рублей, и мы проедемся четыре раза на гору и обратно. Хочешь?

В ворота вошел рыжий ослик, тянувший тележку. В тележке сидел мальчик в лихо сдвинутой на затылок пилотке.

— Молоко, молоко, мацони!—закричал он пронзительно.

Усатый разносчик с лотком на голове прокричал: «Зелень! Тархун! Цицмады!». На лотке были разложены редис, зеленый лук и какая-то трава, похожая на салат. Тетя Маро купила пучок травы и редис. Потом позвала завтракать.

Мы сели за стол и ели редис, траву, простоквашу, которая называлась «мацони», и горячие ватрушки с сыром, залитые яйцом.

Я сказал, что в первый раз в жизни ем такие ватрушки.

— Не-ет! Он не ел хачапури!—воскликнула Стэлла. — Вкусно?

— Вкусно.

Стэлла продолжала болтать — о школе, подругах и книгах. Мама, отдохнувшая и повеселевшая, похвалила девочку. Гурамишвили расцвел и, казалось, готов был расцеловать всех, кто хвалит его любимицу-дочку.

— Она даже в кино снималась,—похвастался он. — Да только не получилось ничего, к сожалению. Ее заставляли плакать, а она все время смеется.

Когда мы позавтракали, Стэлла показала мне свои книги.

— Ты все это прочла?

— Конечно! По несколько раз. Возьму и пристану к папке: «Вий жил на самом деле?» Папка смеется и говорит: «Никогда, дорогая, такого чудища на свете не было». — «Не-ет, как же так не было, когда Хома Брут увидел его и от испуга умер?» А папка говорит: «Твоему Хоме Вий приснился». Ну скажи, Никито, разве могут такие сны сниться? Нет, тут что-то не то, уж что-нибудь там такое было. Хотела бы я посмотреть своими глазами.

Неужели писатели все выдумывают? И Тома Сойера тоже никогда не было?

— Том Сойер — это сам Марк Твен, а Гек Финн был его другом.

— Ну, вот видишь! Может быть, и Вий на самом деле существовал и его Гоголь увидел в одну темную ночь в старой церкви.

Она вся просияла, и у нее даже уши покраснели.

— А хочешь, пойдем в Муштайд?

— Куда?

— Не-ет, ты не знаешь?—удивилась она.—Это большой парк с пионерской железной дорогой. Я начальник станции,—объявила она гордо.—Я тебя посажу в вагон и дам сигнал отправления. Идем же!

Но Мираб, услышав наш разговор, сказал, что в парк мы пойдем в следующий раз, а сейчас он нас проводит к художнику. Он тут же сказал, что мы можем жить у них сколько захочется.

Мама надела пальто и расцеловалась с тетей Маро.

Стэлла кричала нам вслед:

— Приходи, Никито! Приходи обязательно, слышишь?

* * *

Мы шли по удивительно узкой улице. На горах, возвышавшихся над домами, виднелись остатки крепостных стен и церкви с остроконечными серыми крышами. Было совсем тепло, и мальчишки кричали: «Подснежник! Посмотри, пожалуйста, свежий подснежник!» Они продавали букетики синих подснежников и розовых фиалок.

На мосту стоял патруль — четыре моряка с автоматами. Глубоко под ногами бурлила коричневая река.

— Курá, — пояснил Мираб. — Это наша Кура.

— Разве она не замерзает зимой?

— Она так быстра, что мороз не может в нее вцепиться!..

Мы поднимались все выше, и дома с открытыми настежь окнами очутились у нас под ногами. На крыше, в крохотном садике, две маленькие девочки играли в куклы. Мы пересекли широкий проспект, похожий на лес — такие высокие там росли пихты. Шли войска,

мчались автомобили, троллейбусы и танкетки. Мираб повел нас по улице, круто поднимавшейся в гору. На горе, возле церкви, ветер раскачивал кипарисы.

— Гора Давида и храм Давида, — пояснил дядя Мираб.

Балконы выступали над первыми этажами и висели над головой. Мы порядком устали. Наконец мы вошли в ворота. Двухэтажный дом с галереей стоял в глубине двора.

— Пришли,—сказал Мираб отдуваясь.

Он одернул черную блузу и нажал кнопку.

Нам пришлось подождать. Наконец вышла пожилая, очень полная женщина в черном шелковом платье и черном платке.

— Гомарджоба!—поздоровался дядя Мираб.

— Гагимарджос, — ответила женщина густым, почти мужским голосом.

— Я привел гостей, Тамара.

— Шалва Христофорович болен, Мираб.

— Разве это простые гости?—убедительно сказал Гурамишвили.—Жена капитана, друга молодого Серго. Капитана Георгия знаешь? Это его сын.

— Жена Георгия? Его сын?! — воскликнула, словно испугавшись, Тамара.

С удивительной легкостью, подобрав длинные юбки, она убежала наверх, оставив раскрытой дверь.

— Ну, я свое дело сделал,—сказал наш новый друг.—Теперь он будет беседовать с вами целый день, а мне пора на работу. Приходите, дорогие, как только освободитесь.

— Спасибо, — сказала мама, пожимая руку сапожнику. Я не знаю, как вас благодарить. Вы нас приняли, как родных...

— Зачем говоришь такое? Тебе с сыном где оставаться? На улице?.. Разве можно на улице—зима на дворе... Принял, не принял... Вечером приходите. Стелла просила, жена... Запишите адрес.

Гурамишвили продиктовал адрес, приподнял кепку и ушел.

— Входите, Шалва Христофорович просит!—крикнула нам с лестницы Тамара.

Мы поднялись на второй этаж. На широкой стеклянной галерее стояли пальмы и олеандры в кадках.

Мы разделись. Тамара распахнула стеклянную дверь и сказала:

— Они пришли.

Комната, в которой мы очутились, была высока и просторна. Через огромные окна струился ровный зимний свет. На тахту, на которой мог бы свободно улечься великан, спал со стены пушистый ковер. Над ковром висели олени рога. На золотых с черными узорами обоях висели картины и кинжалы. На круглых столиках стояли узкогорлые глиняные сосуды. Бурая медвежья шкура распласталась на полу. Овальный черный стол стоял посередине комнаты. У окна, в глубоком покойном кресле с высокой спинкой, сидел старик с серебристыми вьющимися и мягкими, как шелк, волосами и пушистыми седыми усами. Лицо его было все в мелких морщинках.

— Прошу прощения, что не мог выйти навстречу, — сказал он.—Прошу вас, подойдите ко мне.

Мама подошла к художнику и протянула руку.

— Я очень рад, дорогая! Вас зовут Ниной, не так ли? Георгий много говорил мне о вас. А где же Никита?

— Никиток, — позвала мама,—подойди к Шалве Христофоровичу.

Художник погладил меня по голове и улыбнулся. У него были черные, ясные, совсем молодые глаза.

— Сядьте, рассказывайте, — попросил он.—Когда вы приехали?

Мама рассказывала, я разглядывал картины — горы в снегу, апельсиновые рощи, бульвары с пальмами, море, в котором борется с волнами корабль. Большая картина стояла на мольберте, завешенная серым холстом.

— Сколько вы перенесли! Как много горя на свете! — сказал, выслушав маму, художник.—Проклятая война! Жена моего сына Серго тоже была ленинградкой. Анна приезжала к нам в гости. Когда началась война, она стала разведчицей. Однажды, когда она перешла линию фронта, гитлеровцы захватили ее. Понимаете? Ее... — Голос художника дрогнул.—Они долго ее мучили и потом... повесили. Сталась девочка... Ее привез сюда один летчик. Она в деревне, у родственников...

Он умолк, мама тоже молчала.

— Серго горячо подружился с Георгием, Нина. Они оба отчаянные головы, эти мальчишки. Они командуют

катерами и повсюду ходили вместе. Кое-что они мне рассказывали, доверяли мне тайну,—с гордостью продолжал художник.—Один раз Георгий спас Серго жизнь. С той поры они стали братьями.. Они приезжали ко мне, оставались до вечера и переворачивали весь дом. Ваш Георгий надевал на себя медвсжью шкуру, кричал: «Берегись, загрызу! Я медведь!» А Серго гонялся за ним с пистолетом. Потом они принимались бороться на тахте, как мальчишки... Они и меня тормозили,—продолжал он смеясь. — Заставляли взбираться на Мтацминду. Вот, поглядите в окно. Видите гору? Это Мтацминда... А ты фуникулер видишь, Никита?

— Вижу.

Синий вагончик с белой плоской крышей медленно поднимался по отвесной горе, заросшей кустарником; другой спускался ему навстречу.

— Серго и Георгий катались вверх и вниз, как маленькие. А я помню время, когда не было фуникулера. Это было очень давно. Я был тогда молод и карабкался на вершину, цепляясь за колючий кустарник. Наверху, в духане «Отшельник» духанщик потчевал терпким вином и крепкими шутками. Я в этом доме родился и прожил шестьдесят девять лет... Тут и мой Серго вырос, тут и жена умерла и дочь... — Он помолчал. — Когда Серго узнал все об Анне, Георгий молча обнял его, прижал к себе, и так они сидели всю ночь—голова Серго на груди Георгия... Вы знаете, я нарисовал их однажды, хотя они и получаса не могли постоять спокойно. Намучился с ними!.. Взгляните, в соседней комнате... Простите, что не могу проводить вас...

— Может быть, вам помочь?—спросила мама.

— Нет, благодарю вас. Я посижу тут.

Мама отдернула занавесь, и мы вошли в небольшую комнату с низкой тахтой, прикрытой красным ковром, с письменным столом и книжным шкафом, набитым книгами.

— Мама, смотри! — схватил я ее за руку.

Над тахтой висела картина: мой отец стоит на балконе, обнявшись с моряком с густыми черными усиками. Оба смеются, будто увидели что-то очень веселое. Лицо моряка мне показалось знакомым. Где я встречал его, я никак не мог вспомнить... Но что это? Из красной с золотом рамы мне улыбалась та самая девочка, кото-

рую я видел в театре! Она сидела на перилах балкона и, держа в руке круглое зеркальце, гоняла по стене солнечных зайчиков.

— Шалва Христофорович!—крикнул я в соседнюю комнату.—Скажите, пожалуйста: тут девочка с зеркалом, кто она?

— Моя внучка.

— Антонина?..

— Разве ты ее знаешь?

— Конечно! Я встречал ее в Ленинграде.

— Ну, возможно, ты опять ее скоро увидишь. Она сейчас живет в деревне, у моря, там, где недавно стояли катера...

Теперь я узнал моряка на картине! Он приходил в театр встречать Антонину. Ее отец—Серго Гурамишвили!

— Вы Нина, живите, прошу вас, в комнате Серго, — предложил художник.—Боюсь, правда, вам будет там неудобно. Тогда здесь, может быть... в этой комнате... Я переберусь...

— Я очень благодарна вам, Шалва Христофорович, но мы сегодня уедем.

— Куда?

— К мужу. Ведь он так давно ждет нас!

— А вы знаете что? Мы отправим Георгию телеграмму, и он сам приедет за вами.

— Нет, нет! Мы так соскучились!—горячо возразила мама.—Каждый час кажется месяцем, а день—годом.

— Боюсь, вы не застанете Георгия,—с грустью сказал художник.—Когда они приезжали в последний раз, я подслушал... каюсь, старик, подслушал их разговор. Они опять собирались куда-то... и у них теперь даже нет адреса.

Мама покачала головой:

— Мы все же поедem...

— На побережье дождь, Нина. Проливной, декабрьский. Сплошное болото... Вам лучше подождать Георгия в Тбилиси.

Но мама поднялась и сказала с сожалением:

— Нам пора...

Я чувствовал, что она не хочет уходить из этого дома.

— Не хотите послушаться старика! — огорченно проговорил художник.—Будьте добры, передайте мне телефон.

Мама подняла с круглого столика аппарат. Художник медленно, словно припоминая цифры, набрал номер.

— Гомарджоба! — сказал он кому-то в трубку и продолжал разговор по-грузински.

Потом он хотел положить трубку, но долго не попал на рычаг. Я помог ему.

— Вам, Нина, оставлены билеты на городской станции.

— Я очень благодарна вам, Шалва Христофорович.

— Считайте мой дом своим домом... Никита, когда приедешь на место, разыщи Ираклия Гамбашидзе. У Кэто Гамбашидзе, своей тетки, живет Антонина. Передай ей... передай, что я без нее скучаю и скоро пришлю за нею Тамару.

Художник поцеловал меня в лоб, попрощался с мамой и снова опустился в свое глубокое кресло.

Мы вышли на галерею. В окна был виден двор, в котором росли каштаны. Внизу, на лестнице, человек в роговых очках и в мохнатом пальто выговаривал Тамаре:

— Зачем вы пустили гостей? Ему нужен покой. Я же предупреждал вас!

Увидя маму, человек приподнял шляпу и продолжал раздраженным голосом:

— Простите, пожалуйста, но я приказал к нему никого не пускать. Он тяжело болен. Я врач.

— Они приехали из Ленинграда, — оправдывалась Тамара. — Так далеко ехали, как не пустить?

— Из Ленинграда? — проговорил уже любезнее доктор и еще раз приподнял шляпу. — Дело в том, — продолжал он вполголоса, — что приблизительно год назад, когда война подошла вплотную к Кавказу, у Шалвы Христофоровича ослабло зрение — большое несчастье для человека, который пишет картины. Три дня назад он получил тяжелое известие: он узнал, что его сын Серго погиб во время боевой операции... И зрение, боюсь, оставило его навсегда.

Мама побледнела и схватилась рукой за перила.

— Что с вами? — спросил доктор. — Вам дурно?

— Сергей Шалвович — товарищ моего мужа, — еле слышно проговорила она. — До свиданья!

Доктор снял шляпу и долго держал ее перед собой в вытянутой руке.

Мама шла молча, медленно, как будто нащупывая дорогу. Я совсем растерялся. Мне показалось, что она сейчас упадет. Я взял ее под руку. Твердый комок вдруг подкатил к горлу. Я старался не плакать, чтобы мама ничего не заметила. Мне думалось: если я заплачу, она закричит на всю улицу.

Глава шестая

САМЫЙ СТРАННЫЙ КОРАБЛЬ, КОТОРЫЙ Я КОГДА-ЛИБО ВИДЕЛ

В тот же вечер Мираб и Стэлла проводили нас к поезду. Город был затемнен, и во мраке люди толкали друг друга. Мы с трудом отыскивали выход на перрон. На железнодорожных путях мелькали зеленые и красные огоньки и вполголоса гудели электровозы. Затемненный состав стоял у дальней платформы. В вагоне было темно, лишь кое-где в отделениях теплились свечные огарки. В нашем купе сидели три морских офицера. Они поднялись и уступили место у окна маме.

Мираб протянул сверток в желтой бумаге:

— Это вам на дорогу, Нина.

— Мираб Евстафьевич! Зачем?

— Как «зачем»? Мальчик кушать захочет, сама захочешь. Там курица, немного лаваша и сыра... Счастливого пути, Нина! Счастливого найти тебе мужа. Приезжай, дорога, к нам, будем рады.

Он очень торопился сказать сразу как можно больше. И мне казалось, что я давным-давно знаю этого славного человека с пестрыми усами и его дочку.

— Ну, пойдем, Стэлла!—позвал Мираб.—А то поезда привыкли нынче отходить без звонков. И мы уедем с тобой до самого Гори, а мама будет нас ждать до утра.

— Приезжай поскорее! — сказала Стэлла и звонко чмокнула меня в щеку.

Моряки засмеялись:

— Ого! Вот как надо провожать друга!

Но Стэлле они не смутили.

— Приезжай, — повторила она.— Мы с тобой пойдем в Муштайд. А хочешь, пойдем в зоопарк или в цирк.

— Приезжай, — повторил за ней отец.—Вы пойдете с ней в Муштайд, в зоопарк или в цирк.

Они ушли.

Поезд тронулся и медленно, словно ощупью, отошел от темной платформы...

Когда проводник отобрал билеты, моряки поинтересовались, зачем мы едем к морю зимой. Мама, стелившая мне постель, объяснила, что мы едем к отцу.

— Рындин? — повторили они нашу фамилию.—Как же, знаем: Рындин с торпедных катеров.

Они переглянулись.

Мама продолжала надевать на подушку хрустящую наволочку. Руки ее чуть дрогнули.

— Вам придется еще часа три идти от станции катером или ехать машиной,—сочувственно сказал юный лейтенант.—Они сейчас стоят в устье одной из бесчисленных речек, бегущих с гор в море. Мерзкое зимой место! Деревушка с домиками на сваях, дождь, грязь по колено, болото, лягушек до чорта — квакают всю ночь целым оркестром... И не знаю, там ли еще катера, на которых служит ваш муж,—они не задерживаются в одном месте подолгу...

Офицеры вскрыли консервы, нарезали хлеб и сыр и принялись угощать нас. Я сидел у окна, слушал рассказы о морских боях и о наших летчиках, сбивающих фашистские самолеты над морем.

Глухо стучали колеса, вагон немного покачивало, и я уснул...

Когда я проснулся, по стеклу текли толстые струи дождя. За окном было серое утро.

— Одевайся, Никиток!—торопила мама.—Скоро приедем.

Я вскочил. Поезд медленно тащился среди сплошной лужи, и казалось — мы плывем под дождем по большому озеру.

Потянулись мокрые постройки. Поезд подполз к нахмурившемуся вокзалу. Офицеры помогли нам вынести вещи и рассказали, где найти в этом приморском городке моряков — попутным катером или машиной они нас доставят к отцу. Мы вышли на вымощенную булыжником площадь. На площади стояли извозчицьи фаэтоны. Мы сели под клеенчатую покрышку. Кучер в мокром плаще с капюшоном хлестнул кнутом мокрых лошадей и

крикнул: «Лентяи! Вперед!» Копыта звонко зацокали по камням. Мы проехали несколько улиц, свернули на мокрый бульвар и остановились возле белого домика. У входа дежурил матрос.

* * *

Спустя два часа я трясся на «газике», прикрытом брезентовым верхом, по размытой дождями дороге. Мам: осталась в городке; моряки пообещали переправить ее на катере, как только успокоится море. Я сидел рядом с шофером, Костей-матросом, а позади разместились лейтенант-композитор, оказавшийся ленинградцем, и толстый мичман, загрузивший весь «газик» тюками с литературой.

«Газик» так встряхивало, что я больно стучался головой, тяжело вздыхал композитор и ругался толстый мичман. Один Костя-матрос невозмутимо курил папиросу за папиросой. Мы объезжали размытые мосты, и вода подбиралась нам под ноги. Разглядеть что-нибудь в стекло было невозможно.

— Что, малец, не приходилось тебе еще ездить по такой мокроте?—спросил Костя, лихо сдвинув на ухо бескозырку, и ловко разъехался с гудевшим грузовиком.

Мы ехали долго. Наконец Костя резко затормозил:

— Станция «Вылезай»! Приехали!

Я вылез в глубокую лужу, и в ботинках сразу захлупало.

— Идем, орел! — позвал композитор.

Он выругался, набрав полную калошу воды. Лицо у него было молодое, но волосы совершенно седые. Он легко перепрыгивал через канавы. На берегу узкой, словно проулок, речки были развешаны сети...

И вдруг перед нами вырос самый странный корабль, какой я когда-либо видел. Он стоял у берега, в камышах. По бортам, трубе и надстройкам вился пожелтевший виноград. Прямо на палубе росли деревья с твердой и блестящей, точно лакированной, листвой. Сходни, и те были превращены в дорожку, обсаженную желтым кустарником.

— Идем, идем же! — торопил композитор.

Мы поднялись по сходням.

Вахтенный офицер поздоровался с лейтенантом.

— А это чей хлопец? — спросил он.

— Сын капитана третьего ранга Рындина.

— Сын Рындина? — озадаченно переспросил офицер. — Почему он здесь?

— Он приехал из Ленинграда, хочет повидаться с отцом... Да пойдите же скорее! Я мокр, как дельфин.

Офицер, как-то странно посмотрев на меня, пошел по скользкой палубе.

— Не оступитесь,—предупредил он.

Мы спустились по железному трапу.

В узком проходе, освещенном тусклыми лампочками, офицер сказал:

— Подождите минутку.

Он постучал в одну из белых дверей.

— Войдите, — ответили ему.

Офицер вошел в каюту и притворил за собою дверь. Было слышно, как он докладывал о нас начальнику.

— О чем они там думают?—приглушенно проговорил начальник.—Ну все равно, пригласите.

Дверь отворилась.

— Прощу к капитану первого ранга,—позвал офицер.

В небольшой каюте, за письменным столом, ярко освещенным настольной лампой, сидел грузный человек с начисто выбритой, лоснящейся головой и с живыми, пронзительными глазами. Сказав композитору: «Садитесь», он протянул мне руку:

— Ну, здравствуй. Как же ты добрался до нас?

Я принялся рассказывать. Внимательно слушая, капитан первого ранга перебирал лежавшие на столе бумаги.

— Дело в том, что твоего отца сейчас нет,—сказал он.—Если хочешь, живи пока на корабле.

— А мама?

— Мама? — переспросил капитан первого ранга, подняв глаза к потолку. — Примем меры, чтобы ее обеспечили жильем и устроили на работу.

— Когда же папа вернется?

— Должен вернуться, — пообещал капитан первого ранга.

— Правда? — вырвалось у меня.

— Никита!—сказал капитан первого ранга, притягивая меня к себе и заглядывая мне прямо в глаза. — Запомни на всю жизнь: коммунист никогда не лжет,

всегда должен говорить правду. Даже если правда горька, как полынь... Твой отец — отважный и смелый человек. Он бывал и не в таких переделках и всегда возвращался... рано или поздно.

— А как же дядя Серго? Они ведь всюду ходили вместе?

— Тебе кто сказал?

— Его отец, художник. Вы знаете, Шалва Христофорович даже ослеп, когда узнал, что Серго...

Резко отстранив меня, капитан первого ранга встал:

— О чем ты говоришь?

— Мы с мамой встретили врача. Он сказал, что Шалва Христофорович получил извещение...

— Извещение?..

Капитан первого ранга нажал кнопку.

Вбежал широколицый матрос с голубой повязкой на рукаве.

— Начальника штаба ко мне! Вы извините, — обратился капитан первого ранга к композитору, — я попрошу вас зайти ко мне через час.

Композитор поднялся и откозырял.

— Вестовой!

Матрос вернулся.

— Проводите сына капитана третьего ранга Рындиша к Живцову.

— Есть!

— Иди, Никита, — сказал капитан первого ранга совсем другим, теплым голосом. — Познакомься с Живцовым — есть у нас тут один герой. Думаю, вы подружитесь.

— Идемте, — позвал, улыбаясь, матрос.

— Найдите начальника клуба, — приказал капитан первого ранга, — и передайте: пусть снимет в ленинской каюте газету.

— Есть!

Мы вышли в тускло освещенный проход и завернули в темный закоулок.

Глава седьмая

БЫВАЛЫЙ МОРЯК

В первый раз в жизни я видел мальчика моих лет — настоящего матроса. Он сидел на койке в такой тесной каюте, что, казалось, в ней двоим разойтись невозможно.

На синей фланелевке алел орден Красной Звезды и позвякивали две медали. Лицо мальчика было пестреньким от мелких веснушек. У него были огненно-рыжие волосы, оттопыренные уши и лихо сдвинутая набекрень бескозырка. Брюки были заправлены в такие большие сапоги, что, казалось, мальчик сам по себе, а ноги сами по себе или принадлежат другому.

Пестренький уставился на меня.

— Вот так штука... — протянул он. — Ты откуда свалился?

— Мне сказали, я буду с тобой жить.

— Добро! — показал он на верхнюю койку. — Ты что, от родителей сбежал?

— Почему? Я от родителей не бегал.

— Правду говоришь?

— А зачем мне врать?

— Дай честное морское.

— Но ведь я — не моряк.

— Оно и видно... — протянул пестренький, критически меня разглядывая. — Не воевал?

— Нет.

— Ну, садись, — предложил он снисходительно. — Куришь?

— Не курю.

Он презрительно свистнул, оторвал клочок газеты, достал из кармана кисет с табаком, скрутил цыгарку с палец толщиной, чиркнул о подошву сапога спичкой.

— Ты что, вырасти хочешь?

Я сел рядом с ним на койку.

— За что ты получил орден? — спросил я.

— Мы высаживали десант и на обратном попали в «вилку». Командира ранило, ранило и Фокия Павловича, боцмана. Ну, я встал на место командира и рулил. Доставил катер в базу.

— И командир жив?

— Живой. Усыновитель мой, Виталий Дмитриевич Русьев. Учиться гонит. Только я не хочу.

— Почему?

— Не желаю, да и все тут. Я воевать хочу, а он меня тянет в Нахимовское.

— Что это за Нахимовское?

— Ничего-то ты, я вижу, не знаешь! Училище открывают. Наберут туда нашего брата, начнут драить. Усы-

новитель говорит: «Учись хорошо — станешь офицером». А я не хочу в училище. Книжки и тут читать можно.— Он показал томик «Морских рассказов» Станюковича.— Твое как наименование?

— Никита.

— А я — Фрол Живцов.

Он придавил сапогом цыгарку и зашвырнул под койку. Потом приподнял подушку. Под подушкой лежал автомат.

— Трофейный,—сказал Фрол.—Да ты не дрейфь, он сам не стреляет,—добавил он.—Травить умеешь?

— Что, что?

— Ну, рассказывать небылицы.

— Нет, не умею.

— Значит, тебе — грош цена.

В дверь постучали.

— Прошу в кают-компанию, — позвал вестовой.

— Идем,—предложил я Фролу.

— Мое место в кубрике,—буркнул он.—Иди уж, рубай с начальством.

— Язык бы свой приунял, Живцов,—сказал матрос.

— А я что? Я ничего,—пробурчал Фрол и отвернулся к иллюминатору, за которым в камышах шумел дождь.

Глава восьмая

БЕЗ ОТЦА

Корабль был старый, ветхий. Палуба поскрипывала под ногами, а двери, стоило их тронуть, распевали на разные голоса. Вестовой пояснил, что до войны этот пароход совершал почтово-пассажирские рейсы по черноморским портам, но в войну ни разу не выходил в море. На нем временно поселились моряки с торпедных катеров.

— Бандура большая, места всем хватит,—заклучил матрос, показывая на каюты, расположенные по обеим сторонам коридора.

Кают-компания, в которую он меня привел, была тесная, низкая. На квадратных иллюминаторах висели красные занавески. Высокий курчавый капитан-лейтенант наигрывал что-то одним пальцем на стареньком

нианино. Когда я вошел, он захлопнул крышку, встал и протянул руку:

— Рад познакомиться! Я старший помощник командира. Меня зовут Андреем Филипповичем. Вот твое место,—подвел он меня к столу и указал стул.—Сейчас все соберутся.

Стол был накрыт на шестнадцать приборов. Один за другим стали собираться офицеры, и едва часы пробили двенадцать, как старший офицер пригласил всех к столу. Два стула остались незанятыми.

Вошел композитор, повесил фуражку и хотел было сесть на один из свободных стульев, но Андрей Филиппович поспешно сказал:

— Не сюда, пожалуйста. Вестовой! Дайте стул и прибор лейтенанту.

Когда композитор уселся на конце стола, где было так тесно, что офицеры с трудом раздвинули стулья, Андрей Филиппович сказал:

— Наши гости, прошу любить и жаловать: всем вам известный автор морских песен и...—он сделал паузу,—Никита Рындин, сын нашего Юрия Никитича. Приехал из Ленинграда, да не прямым путем, а через Сибирь.

— Вот это путешествие!—воскликнул старший лейтенант, который сидел от меня наискосок.

Он встал и протянул мне через стол руку. Остальные тоже принялись здороваться; но мне почему-то показалось, что я появился не во-время и мешаю им разговаривать. Только в конце обеда меня стали расспрашивать о Ленинграде. Потом начался разговор о налетах гитлеровцев, о том, как торпедный катер дрался один с тремя немецкими катерами, о шхуне, вчера потопленной фашистской подводной лодкой. Мне было трудно представить, что отсюда, где рыбаки ловят рыбу, моряки уходят в бой, на них сыплются бомбы и по ним бьют орудия.

Об отце никто не упомянул.

* * *

Каюта была заперта: Фрол ушел обедать и не оставил ключа. Я стал бродить по узким переходам. Фамилии офицеров, которым принадлежали каюты, были мне незнакомы. Но вот я увидел прикрепленную кнопкой узкую белую карточку: «Капитан 3-го ранга Рындин». Я подергал за ручку, но дверь была заперта. Соседняя

каюта принадлежала капитан-лейтенанту Гурамишвили. Я толкнул какую-то дверь и очутился в читальне. На длинном столе, покрытом красной скатертью, лежали газеты и журналы, а на стенах висели оперативные сводки Совинформбюро и газета «Катерник», написанная от руки. Под бешено несущимся катером были стихи:

Врагу не давать ни минуты покоя!
Фашистским мерзавцам за все отомстим:
За землю родную, за море родное,
За наш Севастополь, за солнечный Крым!

Я знал, что фашисты сделали с Севастополем. Они двести пятьдесят дней били по Севастополю из орудий. Со всех сторон на город шли сотни танков. Фашисты бросали бомбы в корабли, которые увозили раненых. Когда наши, по приказу командования, оставили Севастополь, в нем не осталось ни одного целого дома...

Я продолжал читать:

«КЛЯТВА

Идя на выполнение боевого задания, мы клянемся Вам, дорогой наш товарищ Сталин, что будем действовать решительно, смело, не щадя своей жизни для разгрома врага.

Пока сердце бьется в груди и в жилах течет кровь, мы будем беспощадно истреблять фашистов.

Мы будем идти только вперед!

Силы свои и кровь свою отдадим за счастье народа, за нашу любимую Родину.

С Вашим именем в сердце, товарищ Сталин, идем мы на выполнение боевого задания.

Капитан 3-го ранга *Рындин*
Капитан-лейтенант *Гурамишвили*
Старший лейтенант *Русьев»*

Дальше шло описание боя:

«Командир Рындин под ураганным огнем противника первым ворвался в порт. Крупнокалиберные немецкие пулеметы и автоматы яростно обстреливали катер со всех

сторон. Герои все же потопили стоявшие в порту танкеры и две баржи.

Уклоняясь от снарядов и мин, катер полным ходом вырвался из огненного кольца. Но вдруг он врезался в остатки бонов. На винт намотался трос. Команда бросилась на корму освобождать винт.

Враг, заметив стоящий без движения катер, открыл по нему прицельный огонь. Рулевое управление вышло из строя. Но герой-командир, капитан 3-го ранга Рындин, выбиваясь из сил, старался спасти катер. Глядя на своего командира, мужественно боролся за жизнь своего корабля и весь экипаж.

Освещая море осветительными ракетами, немцы засыпали катер снарядами. Работа подходила к концу, оставалось сбросить с винта последнее кольцо троса. В это время в катер попала мина. Раздался взрыв. Катер пошел ко дну. Оставшиеся в живых моряки вплавь устремились к берегу.

На помощь к ним ринулся катер Гурамишвили.

Он уже подобрал краснофлотца Бабаева, когда фашистские снаряды накрыли катер. Он стал тонуть. Последним прыгнул в воду капитан-лейтенант Гурамишвили и поплыл к берегу.

Катер старшего лейтенанта Русьева пытался подойти на помощь пловцам, но гитлеровцы открыли такой ураганный огонь, что ему не удалось этого сделать.

Мне казалось, я вижу море, подбитый катер, отца, плывущего в темноте... Значит они, если живы,—на земле, захваченной врагом.

Мне сразу вспомнилось, что капитан первого ранга сказал вестовому: «Пусть начальник клуба снимет в ленинской каюте газету». Вот о какой газете шла речь!

Глава девятая

ВСТРЕЧА

Я вышел на палубу и наткнулся на Андрея Филипповича.

— Скучаешь?—спросил он.—Пойди погуляй, пока не стемнело. Не опоздай к ужину... Пропускать во всякое время,—приказал он матросу у трапа.

О недавнем дожде напоминали лишь капельки на

голых ветвях да глубокие лужи. Над болотом клубился туман. Намокшие ивы купали ветви в реке. Каркали, отряхиваясь, вороны.

Небо стало розовым, в мелких лиловых облачках. Домá в деревне стояли высоко над землей, на столбах. Переплывая в ялике речку, пели матросы. «Прощай, любимый город...» затягивал тенор. «Уходим завтра в море...» вторил баритон.

На краю деревни несколько мужчин убирали сети.

Я спросил:

— Скажите, пожалуйста, где дом Ираклия Гамбашидзе?

— А зачем тебе, бичико¹, Ираклий?

Я сказал, что мне нужно видеть тетю Кэто, у которой живет Антонина, внучка художника.

— Иди в третий дом по улице, — ответили мне.

Большая собака с обрезанными ушами вышла из ворот, обнюхала мои брюки и повилыла обрубком хвоста.

Я уже собирался было крикнуть: «Тетя Кэто!», как у калитки появилась русоволосая девочка в синей юбке и серой вязаной кофточке. Я сразу узнал ее:

— Антонина!

Она остановилась и сморщила лоб.

— Не помнишь? Мы смотрели с тобой «Кота в сапогах!»

— Да, помню! Откуда ты взялся?

— Я вчера приехал. Ты знаешь, я в Тбилиси видел твоего деда. И он просил передать, что скучает и пришлет за тобой Тамару.

— Ты был под горой Давида?

— Да. Мы с мамой были у Шалвы Христофоровича. Какой он замечательный художник! Как жаль, что он не может рисовать.

— Да, он стал плохо видеть.

— Нам врач сказал — он ослеп.

— Ты что-то путаешь!

— Он получил...

— Что?

— Нет, ничего.

Я во-время спохватился. Чуть было не сказал: «Он получил извещение».

¹ Бичикó — мальчик.

— Пойдем отсюда, — сказал я.

Мы свернули на кладбище. Юркая змейка выползла из-под белой плиты. Я отпрыгнул.

— Это уж, ты не бойся,—успокоила Антонина.

Болотная птица низко пролетела над нами.

— Так он ослеп? — спросила вдруг девочка. — Нет, он не мог ослепнуть!

Она горько заплакала.

Я сказал:

— Когда я вырасту, я фашистам за все отомщу!

Она подняла заплаканное лицо:

— Тебя Никитой зовут?

— Да. Ты запомнила?

— А как твоя фамилия?

— Рындин.

— Рындин? Дядя Георгий ведь тоже Рындин!

— Это мой папа.

— Папа твой?

— Да.

Вдруг кругом все затихло. Матросы больше не пели. Замолкли на кладбище птицы. Ветер стих. Ветви не шевелились, и камыши перестали шуршать. Где-то далеко, в облаках, захрипело: «Ух-ух!»

— Слышишь? — спросила шопотом Антонина, словно боясь, что ее могут услышать там, в небе.

— Слышу!

Уж я-то хорошо знал этот мерзкий хрип «юнкеров»!

Мы стояли среди могил и крестов. Ну, сейчас им покажут зенитки! Зенитки молчали. Почему? В Ленинграде, лишь только приближались к городу «юнкеры», все начинало греть и в небе клубились разрывы.

— Вот так же они прилетали к нам в Ленинград,—шепнула Антонина.

— Да, каждый день!

Из-за дерева с оглушительным ревом вылетел огромный самолет со стеклянной будкой, похожей на морду осклизшего пасть гада.

— Ложись!

Я столкнул Антонину в канаву и сам лег прямо в воду. Что же зенитки молчат? Ведь он сбросит бомбы... Самолет медленно полз над нами. Он скрылся за кладбищем. За ним прополз второй, третий... пятый... десятый... Они гудели, ревели и, наконец, пропали вдаль.

Тогда я понял: фашисты не знают, что здесь скрываются катера... И они полетели в другое место. Поэтому и не стреляли наши!

Словно в ответ, вдали загремело. Один за другим слышались глухие удары, и при каждом ударе в небе будто вспыхивал лист бумаги.

Вымокшие и грязные, мы вылезли из канавы. В небе, подобно фейерверку, сверкали разрывы зениток.

— Ты приехал один? — спросила Антонина.

— Нет, с мамой.

— А где твоя мама?

— Осталась в городке. Где вокзал, знаешь?

— Знаю. А ты где живешь?

— На корабле, — ответил я с гордостью. — Видала, стоит в кустах?

— Ты надолго приехал?

— Насовсем. Я обучусь стрелять и управлять катером, как Фрол...

— Как кто?

— Один мальчик. Он на катере рулевым. Он спас и катер и командира. И я пойду в море и буду стрелять по фашистам.

— Разве тебя возьмут?

— Я попрошусь, чтобы взяли.

Мы дошли до калитки.

— Ты приходи завтра. Я хочу знать, взяли ли тебя на катер. Как я хотела бы быть не девочкой, а мальчиком!

— Зачем?

— Я бы пошла на войну. И отомстила бы им... за свою маму...

Глава десятая

ИХ НЕТ, НО ОНИ ВЕРНУТСЯ

Когда я вернулся, уже стемнело, и возле трапа покачивался синий фонарь над жестяным колпаком. Голубой луч скользил взад-вперед по высохшим листьям.

— Нагулялся? — спросил вахтенный офицер. — Иди-ка ужинать. Кают-компанию найдешь? Видел налет? Не испугался? Хотя ведь ты — ленинградец. Тебя не испугаешь.

Я спустился вниз, нашел щетку, почистился, вымыл лицо и руки и вошел в кают-компанию.

На моем месте сидел белокурый старший лейтенант с русыми жесткими усиками. Он что-то рассказывал, и все его внимательно слушали. Два стула были снова свободны. Я спросил у Андрея Филипповича:

— Мне сюда сесть?

— Нет, нет, не сюда! — поспешно сказал старший офицер. — Вестовой, дайте стул и тарелки.

Вестовой подал стул и поставил прибор.

— Ну, как тебе у нас нравится? — поинтересовался Андрей Филиппович, и когда я ответил, что очень нравится, он спросил:— Рыбу любишь ловить? Тут и сомы, и окуни, и даже форель... Вот попроси Лаптева, он возьмет тебя на рыбалку,— показал Андрей Филиппович на моего соседа. — Это и есть Никита, сын Рындина, — пояснил он офицеру со светлыми усиками.

Тот пристально взглянул на меня, кивнул и продолжал свой рассказ.

Ужин уже подходил к концу, а два стула, на которые никому не позволял сесть Андрей Филиппович, так и остались незанятыми.

Я не выдержал и спросил:

— Андрей Филиппович, скажите, пожалуйста, почему на эти стулья вы никому не даете садиться?

Все сразу замолкли. Старший помощник переглянулся с блондином, поглядел на всех остальных и только тогда ответил:

— Это, Никита, места твоего отца и Серго Гурамишвили. Они в отлучке, но мы надеемся на их возвращение. Вот почему для них накрыты приборы и им оставлены обед, ужин...

— И даже бутылка коньячку!—подхватил мой сосед.

Андрей Филиппович строго взглянул на Лаптева, но подтвердил:

— Да, найдется и коньяк. Ты хочешь еще компота, Никита?

— Нет, спасибо, не хочу.

Старший помощник поднялся из-за стола и подошел к пианино.

— Не поиграете ли нам, Владимир Александрович?— обратился он к композитору.

Композитора не пришлось упрашивать. Он сел за пианино и запел:

За тех, кто нынче с моря
Вернется в гавань вскоре,
Сквозь штормы пробиваясь и туман...

Андрей Филиппович подошел ко мне, обнял за плечи.
Офицеры подхватили:

За тех, кто с морем дружит,
За тех, кто морю служит,
За моряков поднимем мы стакан...

Мне показалось, что они поют об отце, о моем отце, который, если бы был здесь, тоже пел бы вместе со всеми, и веселил бы всех своими шутками, и сидел бы вон на том месте, где стоят нетронутые тарелки, прикрытые чистой салфеткой...

— Никита,—спросил Андрей Филиппович,—ты что?— Он провел по моей щеке ладонью. — Успокойся. Ну, прошу тебя, усойся!

Надев фуражку, он проводил меня до каюты и легонько постучал в дверь.

— Войдите, — ответил Фрол.

Андрей Филиппович пожелал мне спокойной ночи.

* * *

Живцов приподнялся с койки:

— Кто тебя врать научил?

— Ты о чем?

— Фамилию мне соврал?

— Почему соврал? Я не врал.

— А зачем говорил — ты Никитин, когда ты Рындин?

— Я сказал, что меня зовут Никитой. А фамилии ты у меня не спрашивал. Ну да, я Рындин.

— Ты бы сразу так и сказал! Твой отец — настоящий катерник! — Фрол протянул мне руку: — Буду с тобой дружить. Ты где пропадал?

Я сказал, что разыскал дочку капитан-лейтенанта Гурамишвили.

— Видал. Щупленькая такая. Ты ее давно знаешь?

— Еще с Ленинграда.

— Старые знакомые, значит? А по-моему, моряку с девчонкой дружить — это все равно что коту подру-

житься с мышонком, — презрительно сказал он. — Ну, чего стоишь? Ты ложись.

Я разделся и забрался на верхнюю койку. За иллюминатором плескалась вода. Я хотел спросить Фрола об отце, но не мог выдавить из себя ни слова.

— Спишь? — спросил Фрол.

— Нет, не сплю.

— Спи. Подъем в шесть часов. Ты что во сне смотреть будешь?

— То есть как это «что смотреть буду»?

— Я что хочу, то и гляжу, — сказал Фрол. — Захочу Африку — вижу Африку. Захочу Америку — смотрю про Америку. Захочу поесть — подают на стол всякие вкусные вещи, — он щелкнул языком: — печонку в сметане, пироги с ливером, мороженое вишневое...

Я никогда не слышал, чтобы во сне можно было видеть все, что захочешь. Фрол, оказывается, сам закачивает себе сны!

— Вот сегодня, например, — продолжал Живцов, — желаю я видеть Индию: слонов, тигров, пантер, ягуаров, удавов... факира с дрессированными гадюками. Ты знаешь, я тигра раздражаю — он погонится за мной, рычит, визжит, а я возьму да проснусь. Ну, тигр и остаётся в дураках. Не спишь?

— Нет, не сплю. Фрол...

— Что тебе?

— Меня возьмут на катер, если я попрошусь?

— Не знаю. Может, возьмут. А меня мой усыновитель вызывал. Поедешь, говорит, обязательно в Нахимовское. Что с ним поделаешь! Поеду. А не понравится, сбегу.

— Сбежишь?

— На Малую землю.

— Куда, куда?

Фрол не ответил. Он уснул и, наверное, видел во сне леопардов и факира с гадюками.

Глава одиннадцатая

«ПЕРЕД ТОБОЙ ЛЕЖИТ ШИРОКАЯ ДОРОГА В МОРЕ»

Фрол поднялся чуть свет и подергал меня за ногу:

— Бывай здоров. Ухожу в море.

— Далеко? — спросил я.

— Я так думаю — в Крым.

Я соскочил с койки и побежал умываться. Когда я вернулся, Фрола в каюте не было.

Я сошел на берег. Утро было холодное. Ветер трепал жустарник. Пройдя до конца деревни, я увидел серое море под низким серым небом.

Торпедные катера уходили стремительно, и за каждым тянулся белый хвост. Они шли туда, где горит и земля и камень.

Я пошел к Антонине. Она на дворе возилась с собакой. Черный пес прыгал, лаял и старался лизнуть ее в лицо.

— На, покушай! — протянула она ему кусок кукурузной лепешки.

И пес, завилыв обрубком хвоста, улегся на землю и, захватив лепешку передними лапами, принялся жевать, откусывая по маленькому кусочку.

— Ты знаешь, дедушка прислал телеграмму. Дядя завтра отвезет меня к поезду, там меня ждет Тамара. Хочешь, пойдем в дом?

Мы поднялись по лестнице на открытую галерею. Нас встретила высокая худощавая женщина; из-под черного шелкового платка у нее выбивались темнорыжие волосы, а из-под сросшихся бровей глядели карие глаза.

— Это тетя Кэто, — сказала Антонина.

— Входите, входите! — приветливо пригласила тетя Кэто, плохо выговаривая русские слова, и обратилась к Антонине по-грузински.

— Тетя не понимает по-русски, — пояснила мне Антонина. — А я очень плохо говорю по-грузински, но все понимаю.

Тетя Кэто угостила нас мандаринами и ушла во двор: было слышно, как она созывает кур.

Комната была чистая, с дощатым потолком и выбеленными стенами; в углу стояла тахта, на невысоком столике — патефон. На стене в больших желтых рамах висели портреты молодой женщины в кружевной белой косынке и юноши.

— Тетя и дядя, когда были молодыми, — сказала Антонина.

На другой стене был портрет молодого черноволосого мужчины с черными усами.

— А это дедушка.

Она подошла к комоду, выдвинула ящик, достала и протянула мне трубку:

— Узнаешь?

Да, это была одна из отцовских трубок!

— Дядя Георгий забыл ее в позапрошлом воскресенье. Я все ждала их: во вторник, в среду, в четверг...

Мне показалось — она заплачет. Но она не заплакала.

— Я все же думаю...— она схватила меня за руку,— я очень сильно думаю, что они не могли прощасть. Твой папа всегда говорил, что хочет дожить до ста лет. А мой папа... папа поддразнивал дядю Георгия, что он доживет до полутора года... Никита, когда папа вернется, ты скажешь, что я долго ждала его, но дедушка очень болен. Ты, когда в Тбилиси приедешь, приедешь?

— Приду, — пообещал я. — Обязательно!

* * *

В кают-компании обедали, кроме Андрея Филипповича, всего три офицера. Они молча поели и, испросив разрешения, ушли.

Я зашел в читальню. Стенной газеты, которую я видел вчера, больше не было. На столе лежал свежий «Красный черноморец». «На Крымском берегу, — прочел я, — гитлеровцы создали мощную противодесантную оборону. Фашистская артиллерия сторожит берег. Все побережье усеяно минами—это подлинные поля смерти... Хитросплетенные проволочные заграждения застилают не только берег, но и море. Керченский пролив буквально засыпан минами».

Да, нелегко сегодня приходится катерникам и Фролу!..

Я вернулся в каюту, взял со стола «Морские рассказы» Станюковича и читал до ужина. За ужином опять было малоллюдно, и композитор попрощался, говоря, что рано утром он уезжает.

Я спал один на своей верхней койке, и мне все казалось, что кто-то стучится в дверь. Я вскакивал несколько раз и спрашивал: «Кто там?», но никого не было.

* * *

Фрол вернулся только на другой день.

Я шел по улице, когда вдруг все загудело и к берегу пристал катер. Вся рубка катера была в рваных дырах.

Стальные листы на бортах шелушились. Один борт высоко поднялся кверху, тогда как другой совсем осел в воду. Два матроса, прихрамывая, кого-то несли на шинели. Я не сразу узнал того лейтенанта, который вчера сказал за столом, что отца ждет бутылка коньяку, и звал меня на рыбалку. Глаза у Лаптева были закрыты, щеки посинели, ввалились, нос заострился. Матросы, медленно и осторожно ступая, понесли Лаптева к бревенчатому бараку.

В это время другой катер пристал чуть подальше. На причал прыгнул Фрол, весь вымазанный в мазуте. Он подождал, пока его приемный отец, или, как Фрол его называл, «усыновитель», — старший лейтенант со светлыми усиками — и толстый боцман свели под руки на берег молодого матроса; голова матроса свисала на грудь. Когда они сошли на берег, офицер взял руку раненого, положил ее к себе на плечо. То же самое сделал и боцман, и они медленно пошли к бревенчатому бараку.

Я кинулся к Фролу. Почему-то мне захотелось его обнять.

— Видал, как нас покорежило? — спросил он отстраняясь. — Ух, и жара ж была!.. Будь спок.

Пройдя мимо меня, словно я был деревом или телеграфным столбом, Фрол направился к кораблю.

* * *

Прошло несколько дней. Фрол был такой неразговорчивый! Его катер дважды ходил в море, но Фрола не брали.

Мама прислала письмо: она работала в библиотеке у моряков, соскучилась без меня. Я целыми днями читал, ходил по деревне, наблюдал, как рыбаки ловят рыбу и чинят сети. Мне казалось, что я всем мешаю, и я старался не попадаться на глаза офицерам. Было стыдно жить так близко от войны, среди людей, которые каждый день воюют, и ничем им не помогать. Я ведь слышал о мальчиках, которые живут в лесу с партизанами, и о мальчиках, которые подносили снаряды на севастопольских батареях. Однажды я спросил Андрея Филипповича:

— Скажите, если очень попросить капитана первого ранга, он возьмет меня на катер?

— Не думаю, — покачал головой Андрей Филиппо-

вич. — Командующий и так недоволен, что мы взяли Живцова. Но, впрочем, попробуй... Только капитан первого ранга очень занят...

Я решил написать капитану первого ранга письмо. Я писал долго, волновался, составил черновик, потом переписал начисто и отнес в канцелярию. Вот что я написал:

«Дорогой товарищ начальник, капитан первого ранга! Пожалуйста, прочтите мое письмо, потому что я никак не решаюсь сказать вам на словах все, что хочу сказать.

Не сердитесь на меня за то, что я вас прошу. Я очень люблю папу и понял теперь что, быть может, больше никогда не увижу его. Я ведь знаю, как за ним катера ходили и его не нашли. И папу своего я не могу забыть ни на минуту.

Я вижу, как все уходит воевать, а я один ничего не делаю, точно отдыхаю, и мне стыдно, что я отдыхаю, когда все воюют.

Товарищ капитан первого ранга, я решил вам написать потому, что хочу, чтобы вы меня взяли в юнги. Я обещаю, что буду служить очень хорошо, и научусь стрелять, и буду делать всякую черную работу, какая потребуется. Я хочу жить по правде и, когда вырасту, обязательно буду коммунистом, как папа.

Пожалуйста, товарищ капитан первого ранга, сделайте как можно скорее, чтобы я мог итти воевать, определите меня на катер.

Пожалуйста, ответьте мне поскорее. Я боюсь, что, может быть, не сумел хорошо написать это письмо.

Любящий вас Никита Рындин»

Я с нетерпением ждал ответа. Фролу я ничего не сказал. Он продолжал относиться ко мне свысока. Еще бы! Я не приводил в базу подбитого катера, никогда не попадал в «вилку» и не умею заказывать себе сны!

Но вот однажды «усыновитель» Живцова, старший лейтенант Русьев уходил на своем катере в море. Фрол просил, чтобы его тоже взяли в поход.

— Не пойдешь, — отказал Русьев.

Фрол заревел.

— Моряк, а хнычешь! — бросил Русьев сердито. — Позор! Тебе нечего в пекло лезть, вся жизнь впереди.

Он легко вскочил на борт и скомандовал:

— Отдать швартовы!

Катер рванулся и ушел в море.

А Фрол стоял на берегу, размазывая по лицу слезы.

Русьев возвратился на следующий день с подвязанной рукой. Серая рубка катера была пробита снарядами. Когда я вошел в кают-компанию, он рассказывал офицерам:

— Они встретили нас таким огнем, что можно было подумать — ждут целую эскадру. У меня двое выбыли из строя. Самое обидное, что и на этот раз мне не удалось обнаружить нашего Рына...

Тут он увидел меня, поперхнулся и стал усиленно хвалить кока за вкусно приготовленную селедку.

Все обедали молча, мрачные и неразговорчивые. После обеда меня позвал дежурный:

— Рындин, к капитану первого ранга!

Капитан первого ранга что-то писал. Когда я вошел, он поднял голову и сказал:

— А, Никита! Я прочел твое письмо.

Он встал, подошел ко мне и положил на плечо руку:

— Пойдем со мной.

Мы вышли в коридор и дошли до белой двери, к которой была пришпилена карточка: «Капитан 3-го ранга Рындин». Капитан первого ранга достал из кармана ключ и отпер дверь. Можно было подумать, что отец вышел на минуту и сейчас вернется. В каюте знакомо пахло душистым табаком. На столе лежала раскрытая книга. Слева, как в Кронштадте на «Ладоге», стоял портрет матери. Койка была аккуратно застелена зеленым шерстяным одеялом. На вешалке висела парадная тужурка. На видном месте лежал большой серый конверт, на котором знакомым почерком было написано одно только слово: «Сын».

— Возьми, Никита, прочти, — протянул мне конверт капитан первого ранга. Он отвернулся к иллюминатору.

«Никита, дорогой мой, любимый сынок! — прочел я. — Я представляю себе, как ты вырос: два года прошло с тех пор, как я расстался с вами. Если бы ты знал, как я ждал вашего приезда! Возвращаясь, я всегда первым долгом спрашивал: «Мои приехали?» Проходили дни, а вас не было. И тем не менее я горячо верю, что вы

живы и скоро приедете ко мне. Как я хочу повидать, обнять, расцеловать вас! Но если нам не придется свидеться, помни, сыночек, что ты — сын моряка, внук моряка и правнук моряка. Перед тобой лежит широкая дорога в море. Предупреждаю: не поддавайся легкому соблазну. Конечно, заманчиво сразу же надеть морскую форму, вооружиться автоматом, вместе со взрослыми воевать. Но я считаю, что неуч не может стать морским офицером. Надо учиться и учиться. Твой прадед был рядовым матросом, но лучшим артиллеристом корабля, а потом — комендором на бастионе. Твой дед всю жизнь учился и учился и впоследствии командовал кораблем. Учился и я всю жизнь. Я хочу, чтобы ты, сынок, пошел в Нахимовское училище. Постарайся, Никита, чтобы никто никогда не сказал о тебе худого слова. Рындины — фамилия гордая. Ни прадед, ни дед твой, ни отец ее не запятнали. Наше правительство и партия дают тебе возможность стать отличным морским офицером. Так будь же им, будь лучшим в училище, будь настоящим комсомольцем! Флот у нас будет большой, лучший в мире, и велика честь носить звание офицера советского флота. Помни сынок, что отец хотел воспитать из тебя моряка. И если меня не будет в живых, тебя флот не оставит: ты будешь моряком. Береги нашу маму, она у нас очень хорошая. Будь ей верным помощником в жизни и другом. Помни, что, кроме тебя, у нее никого нет. Желаю тебе большого, большого счастья».

Капитан первого ранга обернулся:

— Я запросил Нахимовское училище и получил ответ, что ты принят. Твоя мама согласна. А ты?

— Согласен, — ответил я, глотая слезы.

— Ну, вот и отлично! Тем более, что и мы скоро уходим отсюда, ближе к Севастополю, к Крыму... Завтра утром пойдете с Живцовым на катере. Надеюсь, не посрамите нашего соединения. А мы тоже вас не забудем...

Он пожал мне руку.

...Во время ужина в кают-компанию вошли два вновь прибывших в соединение офицера. Они представились Андрею Филипповичу, поздоровались с остальными, и старший помощник кивком головы указал на места отца и Гурамишвили.

* * *

Мама жила в маленьком домике. В комнате было очень свежо и сыро. За окном плыла мутная река, кружились дикие утки. Портрет отца висел над простой железной койкой.

— Он всегда говорил, что хочет видеть тебя моряком, — сказала мама. — Я уверена, он обрадуется, когда узнает, что ты поступил в училище.

Мама удивлялась, что я не хочу есть обед, который она приготовила, а я не мог есть, хотя и очень хотел: сжимало горло, и я потихоньку плакал, когда она выходила за водой или в кухню. Я знал, почему на места отца и Серго за столом сели другие офицеры...

Вечером мама проводила меня на поезд. Дождь лил, как из опрокинутого корыта. Фрол явился в последнюю минуту, забрызганный грязью. Он держал в руках жареную курицу.

— Харч обеспечен, будь спок!— возвестил он гордо.

Колокол прозвонил два раза. Мама поцеловала меня и пожала руку Живцову.

Мы поднялись на площадку вагона. Мама осталась на мокрой платформе. Поезд тронулся, а она все не уходила, вся вымокшая, милая мама, под проливным декабрьским дождем...

Часть вторая

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Глава первая

В УЧИЛИЩЕ

На ночь новички устроились на полу, в пустом классе. За черными стеклами раскачивался фонарь. Укрывшись намокшей шинелью, мы с Фролом доели остатки курицы.

Я привык к Фролу. Мы были однолетки, но он относился ко мне свысока и говорил, что я «в жизни ничего не видал». Я не обижался. Я действительно ничего в жизни не видел...

Отец Фрола, корабельный механик, подрвался на тральщике. Мать убило в Феодосии бомбой. Фрола подобрала моряки с «Грозы», уходящей на Кавказ. Матросы сшили ему обмундирование. Фрол стал членом экипажа «Грозы». Два раза прорывалась «Гроза» в Севастополь. Но когда корабль в третий раз уходил с Кавказа, Фрола послали в город. Вернувшись, он увидел, что «Грозы» и след простыл. Побродив два-три дня по причалам, он познакомился с катерниками. Катерники взяли его к себе. Вскоре Фрол узнал, что «Грозу» потопила подводная лодка; не спасся ни один человек. Мне

думалось, что «Гроза» без Фрола ушла не случайно: точно так же пожалел Фрола Русьев. Он сказал: «Больше в море со мной не пойдешь».

Мы прижались друг к другу, чтобы согреться. В темноте перешептывались соседи. Один спрашивал:

— Нас будут в город пускать?

— Нет. Если пустят, только в строю, с воспитателем.

— Хорошего мало.

— И все же лучше, чем спать под воротами.

— А ты спал под воротами?

— Когда наш дом разбомбили, я и под дождем спал, на мокрой платформе.

— Спи, Кит, — посоветовал Фрол, засовывая руку мне под бок. — Давай поглядим на Малую землю.

Счастливец! Он умел заказывать сны, какие захочется, и, насмотревшись всласть, всегда хвастался.

А мне не спалось. «Ох, длинна ночь! — думал я. — Скорее бы утро!»

В темноте продолжали шептаться:

— Море близко отсюда?

— Какое тут море! Тут река, Кура... Море далеко, за горами.

Фонарь за окном потух, и стало темно, как в погребе. Дождь барабанил по стеклам, и казалось, что кто-то, озорничая, кидается в окна горохом.

— А по Куре пароходы ходят?

— Нет. Она слишком мелкая и быстрая.

Чиркнула спичка. В темноте затлел огонек папирсы.

Фрол храпел. Наверное, уже видел во сне Малую землю! А я думал о маме, вспоминал нашу квартиру на Кировском, с забытыми фанерою окнами, и то, что вчера сказал начальник училища — адмирал, когда встретил нас во дворе: «Вы все, я уверен, хотите быть моряками. И вы станете ими, преодолев все трудности, которые встретятся на вашем пути...»

Только немногие пришли, как Фрол, с флота, во флотской форме. Другие долго скитались в разрушенных фашистами городах и пришли в училище в рваных пальто и дырявых опорках.

Интересно, как мы будем выглядеть в морской форме? И я, я тоже надену завтра флотскую форму первый раз в жизни!..

Прогудело — наверное, поезд пошел через перевал, к морю.

Мне вспомнился странный корабль, заросший кустарником. Какой славный капитан первого ранга! Ему долго не верилось, что отец не вернется. Но потом он узнал, что отца нет в живых. Нет в живых!.. Когда я был маленький, мы усаживались с ним на полу и из кубиков строили дома, улицы и площади, по которым пускали автомобили. Потом он приносил из кухни гладильную доску, приставлял к дивану, называл доску трапом, диван — кораблем, и я мог, опираясь на его сильную, крепкую руку, сто раз подняться на «палубу» и сто раз спуститься обратно. И отцу никогда не надоедало водить меня вверх и вниз!.. Он выпиливал из дерева корабли и из носовых платков сооружал паруса, за что мама всегда нас журила. Потом мы напускали полную ванну воды и отправляли корабли в плавание; заводили моторные лодки, которые, немного поплавав, тонули. Отцу приходилось, засучив рукав сорочки, вылавливать их со дна...

Фрол перестал храпеть.

— Мамка! — пробормотал он во сне.— Мама, мамка моя!..

Значит, не Малую землю он видел во сне, а мать, которой уже нет на свете...

За окном переключались на разные голоса паровозы. В темноте все вздыхали, стонали, бормотали не поймешь что...

* * *

Мы проснулись от яркого света, заливавшего класс через огромные окна. Вчерашнего дождя не было и в помине. Дождевые капли сверкали на голых ветвях карагача, и пичужки, весело чирикавая, склевывали их. У меня болела спина, затекла рука, но Фрол вскочил как ни в чем не бывало. Он встряхнул шинель, успевшую высохнуть за ночь, и принялся командовать, как будто находился на катере:

— А ну, вставайте! Чего разоспались? Поднимайтесь, поднимайтесь!

В какие-нибудь две минуты Фрол успел растолкать всех, и новички поднимались, заспанные, с красными глазами и с затекшими руками и ногами, не соображая, что сна, где находятся.

А Фрол, расчесав на ходу свою огненно-рыжую шевелюру, совал кому-то расческу:

— Ты что, на сеновале спал, что ли? Гляди, солома набилась!.. А ты чего глаза выпучил? — говорил он другому. — Думаешь, придет бабушка, скажет: «Давай, внучек, вымоем ручки, вытрем носик?» Платок есть? Почему не имеешь? Эх, какой ты растяпа! На, возьми, утрись, да не забудь — верни... А для тебя что, особое приглашение требуется? — расталкивал он соню, свернувшегося калачиком в уголку. — Раз объявлен подъем, значит поднимайся! Тут разговоров быть не может, будь спок... А ты что глаза выпучил? Забыл, где находишься? Я тебе разъясню: в На-хи-мовском. В Нахимовском, понял?

Когда вошел пожилой усатый матрос, вчера встречавший нас под дождем на вокзале, все были уже на ногах, волосы у каждого были расчесаны и приглажены, а мусор прибран в угол.

— Ну, хлопцы, — сказал матрос весело, — бегом за партами да за койками! А там, глядишь, и париться в баньку!

Пробежав по пустым коридорам, мы широкой каменной лестницей спустились во двор, где, гремя цепями, разворачивался грузовик. У раскрытых настежь ворот стоял молодой матрос. Он поглядывал на нас, едва удерживаясь от смеха.

— А ну, хлопцы, растаскивай парты по классам! — зычно скомандовал усатый.

Но мы не знали, с какой стороны к грузовику приступить. Фрол встал на скат, залез в кузов и распустил веревки.

— Кит, что стоишь? — позвал он. — Залезай живо! А вы, остальные все, подставляйте ручки!

Фрол протянул мне руку, я залез в кузов, и мы вдвоем подняли парту.

— Принимайте! Полундра! — закричал Фрол.

И мы стали подавать парты в подставленные руки. Каждый раз Фрол кричал: «Полундра!» Парты таскали в училище, и было слышно, как их с грохотом ставят на пол.

— Не побейте добро! — кричал матрос в окно.

Новички расшевелились. Разгрузка вдруг превратилась из работы в веселую игру, и когда в ворота въехал

второй грузовик, наполненный кипами брюк, фланелевок и бушлатов, он был разгружен в какие-нибудь полчаса.

— А теперь всем в зал, стричься!— приказал матрос.

Мы с визгом и топотом ринулись вверх по лестнице. Посреди зала стояло кресло, а возле кресла, щелкая ножницами, нас поджидал курчавый грузин с черными усиками над губой и с густыми бровями. Он запахнул свой белый халат и пригласил:

— А ну-ка, шен генацвале, кто первый? Стрижка за счет начальства, денег не надо.

Застрекотала машинка, и меньше чем через час все были острижены наголо. Нельзя сказать, чтобы мы стали привлекательнее. У одного оттопырились уши. У другого на темечке обнаружилась лиловая шишка. А парикмахер с каждым шутил, каждому сообщал, что он стал красивее, и самым маленьким предлагал побриться с одеколоном и подстричь усы. Когда остался неостриженным лишь один Фрол и матрос легонько подтолкнул его к креслу, Фрол запротестовал, говоря, что, мол, пусть стригут сопляков, а он себя уродовать не желает. Матрос только руками развел, но в это время в зал уверенно и четко вошел старший лейтенант. Поняв, в чем дело, он подошел к Фролу:

— Фамилия?

— Живцов.

Старший лейтенант взглянул на его орден и медали и сказал:

— У нас все равны, Живцов, и боевые заслуги не могут служить преимуществом. Первым будет тот, кто станет лучше других учиться и отлично себя вести. Вам понятно?

— Понятно, — пробурчал Фрол, опускаясь в кресло.

Когда Фрола остригли, матрос построил нас и повел в баню. Она оказалась неподалеку, за углом.

В бане было тепло. Все повеселели, разобрали веники, мочалки и шайки и опрометью кинулись в парильню. Я никогда не парился, но Фрол сказал, что это очень полезно и выгоняет простуду, и заставил меня залезть на верхнюю полку и похлестать его веником. Горячий воздух набрался мне в рот и ожег горло, но я все же стегал Фрола веником по покрасневшей спине и любовался, как к малиновой коже прилипают зеленые ли-

сточки. Фрол кряхтел от удовольствия, крякал и подбадривал:

— Давай, давай хлеще, хлеще! Слабосильный ты, что ли? А ну-ка, со всей силы наддай, как у нас на флоте!

Вокруг все тоже хлестали друг друга, баловались и визжали. Фрол сразу утихомирил их, сказав, что «баня — это не цирк», и стал меня хлестать веником. Я едва вытерпел это мучение. Слезы текли из глаз, и я чуть было не задохся. Наконец Фрол меня отпустил, сказав: «Ну, теперь хватит». Я кубарем скатился по скользким ступенькам, сунул голову в чан с холодной водой и все же не мог очухаться. В этот день я впервые понял, что такое настоящая баня!

В предбаннике я с удивлением заметил, что мои брюки, курточка, ботинки, белье — все исчезло. Взамен на лавке лежали такие же, как у Фрола, брюки, синяя фланелевка, полосатая шерстяная тельняшка, форменка с синим воротником, бескозырка и бушлат.

— Ну, что же ты? Надевай! — сказал Фрол, обтиравший веснушчатое лицо, на котором выступили капельки пота.

Брюки застегивались непривычно, и если бы не Фрол, я, наверное, не сумел бы справиться с ними. Синяя фланелевка была очень теплая.

Я пожалел, что тут не было зеркала. Как преобразила всех форма! Вчера мы были разношерстной толпой. Теперь вчерашних новичков было не узнать. Надев морскую форму, правда, не становишься еще моряком, но, возвращаясь из бани, мы шагали уже почти в ногу.

Глава вторая

ОФИЦЕРЫ И СВЕРСТНИКИ

В просторных кубриках появились двухэтажные койки, в столовой—длинные столы, накрытые чистыми скатертями. С любопытством я рассматривал широкую парадную лестницу, винтовые трапы в дальних концах коридора, высокие двери, ведущие в учительскую, кабинет начальника и дежурную. Я знал, что мне придется жить в этом доме не день, не два и даже не год. Дома я при-

вык к своей комнате, к своей постели, столу, к своим книгам. У меня была своя чашка, ложка, свой книжный шкаф. Теперь моей была только койка в кубрике, рядом с койкой — тумбочка на двоих, а Фрол спал как раз надо мной. В тумбочку мы спрятали выданные нам мыло, зубной порошок и зубные щетки.

Весь день проходил по расписанию. И даже во двор выйти без разрешения не позволялось, не говоря уж о том, чтобы пойти на улицу. Сказать по правде, в первые дни такая жизнь мне совсем не понравилась. И Фрол приуныл: перестал командовать и распоряжаться. Он привык к независимости; на флоте он жил, как взрослый, а тут снова стал учеником.

Командир нашей роты — высокий и широкий в плечах офицер, с гвардейской ленточкой на кителе. Лицо у него обветренное, с большими прокуренными усами. Придя к нам, он разглядывал нас строгими глазами из-под бурых нахмуренных бровей.

— Сурков, командир канлодки, — толкнул меня Фрол локтем.

— Полагаю, вы понимаете, где вы находитесь? — спросил, нажимая на «о», командир роты.

— В Нахимовском военно-морском училище, товарищ гвардии капитан третьего ранга! — отчеканил Фрол.

— Молодец! — похвалил Фрола командир роты. — Служил на флоте?

— Так точно. На торпедных катерах.

— Фамилия?

— Фрол Живцов.

— Отлично, Живцов. Убежден, что мы с вами и здесь не забудем боевых черноморских традиций.

— Никак нет, не забудем!

Ответ Фрола, как видно, понравился командиру роты.

— Вот вы находитесь в Нахимовском военно-морском училище. А кто скажет мне, кто был Нахимов?

— Русский адмирал, — слышались голоса.

— Хорошо. А почему называли училище именем Павла Степановича Нахимова?

— Разрешите мне.

— Слушаю, Живцов.

— Потому, что для каждого моряка Нахимов может служить примером. Ни одного сражения не проиграл — раз (Фрол загнул палец), жил по правде, врунов не тер-

пел — это два (Фрол загнул другой палец), трусов он презирал — три (был загнут третий палец), матросов своих уважал и не обижал (Фрол загнул четвертый палец). Вот и всё, — сказал он.

— Что ж, приблизительно правильно, — одобрил капитан третьего ранга. — Нахимов явил нам пример беззаветного и честного служения родине. Служба морю и флоту была главным и единственным делом всей его жизни. Он «жил по правде», как сказал нам Живцов, уважал старших и был для младших отцом и другом. Он не задумываясь кинулся за борт спасти упавшего в море матроса. В другой раз, при столкновении кораблей, Нахимов бросился в самое опасное место, чтобы всем показать пример выполнения долга. Во время Севастопольской обороны он сам водил в атаку солдат и матросов. Трус, лгун и обманщик не был для него человеком... Какие выводы советую сделать? Вы отныне нахимовцы. Это звание налагает на вас большую ответственность. Имя Нахимова не может быть запятнано необдуманными поступками. Добивайтесь, чтобы о ваших делах отзывались с гордостью: «Это совершили нахимовцы». Достаточно понятно я говорю?

— Понятно! — послышались голоса.

— Я откомандирован в училище с действующего флота, — продолжал командир роты. — Канонерская лодка, которой я имел честь командовать, первая стала гвардейской. Это высокое звание заслужил ее экипаж упорным трудом, отвагой и любовью к выполняемому им делу. Я убежден, что и вы любовью к наукам, соблюдением воинской дисциплины добьетесь, что наша рота будет лучшей в училище. Полагаю, окажете мне содействие...

— Окажем! — поспешил Фрол ответить так громко, что капитан третьего ранга улыбнулся.

И тут я понял, что он только с виду суров.

Опросив наши фамилии, Сурков поинтересовался, кто приехал из дому, а кто пришел с флота. Каждого он старался запомнить в лицо.

Когда командир роты ушел, я спросил Фрола, откуда он знает Суркова.

— А кто же его не знает?—удивился Фрол.—Ох, и храбрый же человек!—добавил он восхищенно.—В Севастополь четыре раза под бомбежкой ходил. И когда ему

повстречалась подводная лодка, он притворился, что его «Буря» тонет, а когда лодка всплыла, взял да пальнул в нее прямою наводкой!

* * *

Класс наш был светлый, с большой черной доской на желтой стене; парты были старые и изрезаны ножиками. Вошел тот самый старший лейтенант, который заставил Фрола остричься. Он скомандовал: «Встать!», так как при его появлении вскочили лишь трое-четверо.

— Я воспитатель класса,—отрекомендовался старший лейтенант.—Моя фамилия—Кудряшов. Садитесь. Ну, давайте знакомиться!.. Авдеенко!—вызвал он.

Никто не отозвался.

— Авдеенко Олег здесь?—переспросил Кудряшов, заглянув в список.

С «камчатки» не торопясь поднялся мальчик с голубыми глазами и прозрачными ушками. Его пухлые губы были надуты. Я вспомнил, что видел его вчера в бане, в курточке, застегивавшейся «молнией», в коричневых гольфах и в желтых ботинках. Теперь, в форме, он стоял небрежно, одной рукой опираясь на изрезанную ножиками доску парты, и смотрел на офицера не то высокомерно, не то с недовольством, что его потревожили.

— Вы плохо слышите?—спросил старший лейтенант.

— Нет, у меня хороший слух,—тонким, как у девочки, голосом и слегка картавя, ответил мальчик.

— Почему же вы сразу не отозвались?—спросил Кудряшов.

— Мне здесь не нравится,—нараспев ответил Авдеенко.

— Почему вам не нравится в училище?

— Никуда не выпускают, холодно, плохо кормят.

— Вот как? Где вы жили?

— В Москве.

— Ваш отец?

— Генерал-лейтенант Авдеенко. Папа решил, что я должен быть моряком, но мама хочет, чтобы я был артистом.

— Если ваш отец хочет, чтобы вы стали моряком, вы должны понять, что море не любит баловней. Оно дружит с людьми, прошедшими суровую школу. Вам это понятно?

Авдеенко мотнул головой и сел.

— Воспитанник Авдеенко, я не разрешал вам садиться.

Авдеенко поднялся.

— Я не хотел бы ссориться с вами, но, боюсь, придется,—продолжал Кудряшов.—Садитесь!.. Владимир Бунчиков!—вызвал он.

Встал мальчик с черными бегающими глазами, небольшим носиком и квадратной головой.

— Сколько вам лет?—спросил Кудряшов.

— Четырнадцать.

— Неужели? Вот не сказал бы! Что это у вас?

Он показал на правую руку Бунчикова, испещренную синими рисунками. Бунчиков быстро прикрыл правую руку левой ладонью.

— Татуировка? Откуда она у вас?

— Это я еще в Баку,—буркнул Бунчиков.

— Может быть, некоторые из вас,—сказал воспитатель, — думают, что татуировка — непременная принадлежность каждого моряка? И, наверное, кое-кто мечтает как можно скорее обзавестись этой прелестью. Прошу взглянуть...

Кудряшов отогнул рукав кителя, поднял руку, и все увидели на руке, выше кисти, шрам и шершавое красное пятно.

— Когда-то,—продолжал он,—нам с товарищем вытравивали по якорю и по русалке. Товарищ мой умер от заражения крови; меня выходили врачи. Позже я прочел, что римляне татуировали военнопленных. Таким же способом, оказывается, клеймили дезертиров и каторжников. Один мой знакомый, работник милиции, рассказывал, что бандиты на груди татуировали знак принадлежности к шайке. И я с трудом разыскал врача, согласившегося вытравить татуировку. Это было больно и оставило след. Видите?—Он еще раз показал шрам. — Настоящий моряк не станет заниматься такими глупостями... Покажите руку! Да вы не бойтесь, не бойтесь...

Уставясь в пол, Бунчиков протянул руку. Кудряшов с минуту внимательно разглядывал татуировку, покачивая головой.

— Ваше счастье—татуировка поверхностная, ее легко вывести. У вас есть родители?

— Нету.

— Отец был моряк?

— С подводного плавания,—сказал Бунчиков и засопел носом.

— Вы в училище с охотой пошли?

— Еще бы!

Володины глазки вдруг засверкали, как два фонарика, плечи распрямились, и он сразу как будто стал выше ростом.

— Ну вот и отлично!—повеселел Кудряшов.—Садитесь!

Он продолжал вызывать по списку: «Волжанин! Волков! Гордеенко!..» Поднимались воспитанники, и он расспрашивал их, где они жили, учились, кто их родители... Чаще всего они отвечали: «Родителей нет». Их отцы погибли в Одессе, Севастополе, Новороссийске, а где их матери сейчас, они не знали.

— Девяткин! — вызвал Кудряшов.

— Есть Девяткин!—поднялся стройный мальчуган с военной выправкой, кареглазый, с высоким лбом и шрамом пониже уха. Хорошо пригнанную фланелевку он, как видно, носил давно.

— Служили на флоте?

— Так точно! В морской пехоте полковника Липатова,—звонко ответил Девяткин.—Товарищ старший лейтенант,—продолжал он быстро, словно боясь, что его остановят,—я поотстал, но буду стараться. Хочу быть моряком!

— Желание ваше благородно,—одобрил Кудряшов,—но не забывайте, Девяткин, что путь до моря далек, ой, как далек! Чтобы быть моряком, нужно стать образованным человеком.

— Я буду образованным человеком,—уверенно ответил Девяткин.

— Где вы учились?

— В Новороссийске.

— Ваш отец — капитан второго ранга Девяткин?

— Так точно.

— Садитесь!.. Забегалов!

— Есть Забегалов!—вскочил широколицый, курносый мальчик с двумя медалями на фланелевке.

Он был не толст, но широк в костях, и казалось, что если он упрется в землю своими крепкими ногами, его не сшибет никакой силач. Глаза у него были веселые,

и стоял он так подтянуто, бодро и весело, что на него было приятно смотреть.

— Тоже с флота?

— Так точно. С эсминца «Серьезный».

— У Ковалева служили?

— Помощником комендора.

— В боях участвовали?

— Под Севастополем и Констанцей.

— Ранены?

— В ногу, легко.

— Отец?

— Комендор Воробьевской батареи. Убит.

— Родные есть?

— Мать и двое братишек в Решме.

— Море любите?

— А как же его не любить? Оно ведь наше,—ответил Забегалов с такой широкой улыбкой, что сразу стало ясно: этот полюбил море на всю жизнь и не собирается с ним расставаться.

Опросив весь класс, воспитатель сообщил:

— Моим заместителем будет старшина второй статьи Протасов. Он приедет с флота сегодня вечером.

За стеной, как на корабле, пробили склянки. В коридоре пропела труба.

Глава третья

СТАРШИНА ПРОТАСОВ

Вечером, в кубрике, Фрол предупреждал новичков:

— Ну, ребята, держись! Сейчас явится дядька в шевронах и задаст вам перцу!

Все засмеялись.

— Таких морских волков,—продолжал Фрол,—мы перевидали. Усищи — во, ручищи — во, а голосище, будь спок, что гудок у буксира!

Тут дверь отворилась, в кубрик вошел молодой старшина; поставив к стене маленький синий сундучок с висячим замком, он сказал: «Здравствуйте». Его поношенные брюки были тщательно отутюжены, выцветший бушлат сидел на нем ловко, а в начищенные ботинки можно было смотреться, как в зеркало.

Старшина снял бушлат и бескозырку и повесил на вешалку возле двери. Его густые светлорусые волосы были расчесаны на пробор.

— Ну, вот мы и на новоселье,—сказал он.—Выходит, будем привыкать друг к другу.

— Выходит, будем,—ответил Фрол, сидя на моей койке.

— Станем жить вместе, спать вместе, есть вместе, а дальше видно будет — может, и поладим.

— Может, и поладим,—опять согласился Фрол.

— Наверняка поладим,—многозначительно взглянул старшина на Фрола.

Мне такой разговор не понравился. Я подумал, что старшина не может любить нас: он слишком молод, чтобы быть нам отцом, и слишком взрослый, чтобы стать нам товарищем.

— Среди вас есть служившие на флоте?—спросил он.

— Будь спок, имеются,—ответил Фрол.

— Вы и на флоте с вашим командиром разговаривали на «ты» и сидя?—без всякого раздражения спросил старшина.

— А вы на флоте на корабле служили или как? — в свою очередь, поинтересовался Фрол.

— Нет, не на корабле. Но там, где я служил, флотскую дисциплину чтили свято.

Фрол поднялся.

— Ваша как фамилия?—спросил старшина.

— Живцов.

— Ну, а моя—Протасов. Садитесь!

Протасов спросил, не занята ли нижняя койка с краю. Узнав, что свободна, достал из сундучка одеяло и аккуратно ее застелил. Сундучок он поставил под койку и сел на табурет возле столика.

— Вопросы есть?

— Есть, — отозвался Авдеенко.— Вы нас в театр отпустить будете?

— И в театр ходим,—пообещал старшина. — Давненько я не был в театре. Правда, не так давно был в одном, да там такое представление было!.. В зале фашисты, на сцене — мы. Фашистов мы вышибли, на том спектакль и закончился.

— Вы что, в морской пехоте служили? — высказал догадку Фрол.

— В морской пехоте.

— Не у полковника Липатова?—поинтересовался Де-вяткин.

— Нет. Я куниковец.

— А как же вы, товарищ старшина... воевали, воевали и вдруг — сюда? — спросил Фрол.—Прощтрафились или как?

— А вы, Живцов, прощтрафились или как?—отразил нападение Протасов.

— Зачем прощтрафился? Начальство командировало.

— Ну и меня — начальство. А раз начальство прикажет — надо выполнять без рассуждений, не так ли? Больше вопросов нет?

— Нету, — буркнул Фрол.

— Ну что же? Тогда спать. Утро вечера мудренее.

И он принялся раздеваться.

Глава четвертая

КОМАНДИР РОТЫ

В первые дни, пока не начались занятия, все были взбудоражены. Мы привыкли к свободной жизни, а тут часовой стоял у ворот и другой— в подъезде. Умывались мы под присмотром Протасова, с ним ходили на завтрак, и он, ведя нас по коридорам в строю, командовал: «Четче ногу! Ать, два!». За завтраком он следил, чтобы все было съедено. На прогулку во двор мы тоже ходили с Протасовым. Флотские вспоминали корабли, бои, своих взрослых товарищей, с которыми жили на равную ногу, были на «ты» и не обязаны были вставать, когда те к ним обращались. Ребята, явившиеся из дому, сучали по родителям.

Вечером Фрол, пользуясь кратковременным отсутствием старшины, занимался «воспитанием».

— А ну-ка, идите сюда. Будем играть в «морской словарь».

— А что это за «морской словарь»?

— Я называю «комната», ты отвечаешь «кубрик». Ответишь правильно—меня щелкнешь по носу, не ответишь — я тебя. Идет?—Фрол позвал:—Бунчиков!

Вова спросил опасливо:

— Чего тебе?

— Не «чего тебе», а «есть Бунчиков» надо отвечать
Подставляй нос!

Вова заработал крепкий щелчок. Глаза его наполнились слезами, а нос покраснел, словно ужаленный осой.

— Рындин!

— Есть Рындин!—четко ответил я.

— Молодец!

Я хотел уже щелкнуть Фрола, но он отодвинулся:

— Постой, это еще не игра.

Несправедливость была совершенно явная, но я смолчал.

— Это что?—ткнул он пальцем вниз.

— Пол.

— Подставляй нос!

— То-есть как это? Зачем?

— Не пол, а палуба. Всегда палуба, понял. Давай сюда нос!

Я покорился и получил щелчок по носу. Еще не опомнившись, я услышал:

— Уборная?

— Гальюн! — выпалил я.

— Знаешь!

Фрол подставил нос, и хотя от волнения я не сумел его как следует щелкнуть, все же я был удовлетворен.

— Подойди-ка ты,—поманил Фрол юркого смуглого, черноглазого мальчугана.—Тебя как зовут?

— Иликó Поприкашвили,—бойко ответил мальчик.

— Ну, сухопутный бобик,—сказал Фрол развязно, — соберись с духом и отвечай: кухня?

— Камбуз,—без промедления ответил Поприкашвили и ловко щелкнул по носу Фрола, прежде чем тот успел отстраниться.

— Лестница?

— Трап, — ответил Поприкашвили и еще раз щелкнул Фрола.

— Мыть полы?

— Производить уборку! Палубу драить!—отчеканил Поприкашвили и еще два раза щелкнул Фрола.

— Ого!—с уважением произнес Фрол.—Знаешь! Чистить пуговицы!

— Драить медяшку!—отбарабанил Поприкашвили.— Кого проверяешь?—спросил он Фрола, наделяя его

щелчком. — Сына подводника проверяешь! Со мной ни в какие игры играть не берись. Я на весь Зестафони первый игрок. В бабки играю, в футбол лучше меня голкипера нету!

— Вот не знал...—потер Фрол покрасневший нос. — Девяткин, иди-ка сюда, теперь ты поспрашивай.

— Я не буду играть.

— Почему?

— Да потому, что я щелкать по носам не хочу и никому не дам себя щелкать. Что я, собачка, что ли?

— Соба-ачка?—протянул Фрол.

— Ну да. Разве нет?

— Да ведь никому и не больно вовсе!

— Не больно, зато обидно!

— Обидно? А чего же тут обидного?—заносчиво спросил Фрол.

— А на катере ты кого-нибудь щелкал по носу?

— Не-ет... Там такой игры не было.

— Так и здесь ее незачем заводить.

Юра отошел. Тогда Фрол позвал Авдеенко:

— Пойди-ка сюда. Не бойся, я тебя щелкать не стану. Находятся тут, которые обижаются,—сказал он громко, чтобы Юра услышал.—Скажи ты мне попросту, без игры: это что, по-твоему?—ткнул он пальцем в койку.

— Что ты меня, за дурака считаешь?—огрызнулся Авдеенко.—Кровать!

— А вот и не кровать! Может, ты еще скажешь «постелька»? Это дома была постелька, а тут тебе койка! На корабле будешь спать в подвесной, в гамаке; держись за небо, чтобы не вывалиться ночью.

— А ну тебя!

— Нет, ты постой! А это, по-твоему, что за штука? — И Фрол описал рукой круг.

— Комната.

— Кубрик, милуша, кубрик! Запоминай на всю жизнь!

— Я не желаю запоминать! Очень мне надо!—рассердился Авдеенко.—Отстань!

— Что значит «отстань»? Я тут, будь спок, все равно что дома... Небось, мамаша тебе говорила: «Шейку закутай, не простудись, Олеженька, нынче ветерок поддувает. Не промочи ножки, Олеженька, не пей сырой воды, остерегайся собачек, они кусачие».

— Пошел вон!

Фрол вскочил:

— Кому это ты «пошел вон»?

— Вот пойду скажу старшине, что пристаешь,— плачущим голосом пригрозил Авдеенко.

Фрол схватил его за ворот.

— Жаловаться?—заорал он.—Да я из тебя все потроха вытрясу!

— Живцов затевает драку?—раздался вдруг густой бас.

— Смирна-а!—запоздало скомандовал дневальный: он прозевал появление командира роты.

— Это что же, Живцов таким образом насаждает флотские традиции?—укоризненно продолжал капитан третьего ранга.

— У нас драки не было, товарищ гвардии капитан третьего ранга,—довольно бойко ответил Фрол.

— А что же, вы полагаете, было?

— Просто я его поучил немного, чтобы он не задавался.

— На катерах вы тоже «учили» своих товарищей?

— Не-ет...

— Потому что они были старше вас и сильнее?

— Нет, товарищ гвардии капитан третьего ранга. Я же с ними в море ходил...

— А разве с Авдеенко,—кивнул Сурков на Олега, — вы никогда не пойдете в море?

— Ну, разве он пойдет?—презрительно кинул Фрол.

— Пойдет,—сказал Сурков убежденно. — Авдеенко носит такую же форму, как и вы. Думали вы об этом?

— Нет, — буркнул Фрол.

— А подумать бы следовало. Вы не должны забывать, что вы первые в Советском Союзе нахимовцы. Надо, чтобы у вас было настоящее морское товарищество. Как на кораблях. Посудите сами: разве можно ссориться с товарищем, с которым завтра ты пойдешь в бой, и он, может быть, первым бросится за борт, чтобы спасти тебя, раненного, перевяжет рану или, спасая тебя, пожертвует собственной жизнью? Пусть это вспоминается вам всякий раз, когда вы будете на пороге ссоры. Вы — моряки, а моряки славятся своей морской дружбой. Забияку, задиру, заносчивого и вздорного человека не потерпели бы в своей среде матросы на моей кано-

нерской лодке! Для него оставалось бы только два выхода: или перевоспитать себя, или списаться навсегда с корабля.

Сурков подозвал старшину и обошел с ним весь кубрик. Он пощупал койки—достаточно ли они мягки, и потрогал подушки—хорошо ли набиты. Сказал, чтобы заменили лампочку другой, более яркой. Обещал, что скоро у нас будут радио и библиотека.

Пожелав нам спокойной ночи, капитан третьего ранга, чуть сутулясь, вышел из кубрика.

Глава пятая

АДМИРАЛ

Я получил от мамы письмо, в котором она просила зайти к Мирабу и Стэлле и поблагодарить за гостеприимство, а если успею—заглянуть и к Шалве Христофоровичу. Об отце мама не писала ни слова, и я не знал, сказали ей правду или еще не сказали. Мама просила передать привет Фролу: «Он славный мальчик, и у него никого нет, поэтому он особенно нуждается в друге. Дружи с ним, Никиток».

Мама не знала, что давать увольнительные нам будут только через три месяца и что Фрол за последнее время сдружился с Забегаловым и Девяткиным.

Поэтому, когда Фрол однажды вечером сам подошел ко мне, достал из кармана коробку и предложил: «Кури, Кит», я сказал с сожалением:

— Ты знаешь, я не умею.

— Учись, коли не умеешь.

Чтобы не отставать от друга, я взял папиросу. Фрол чиркнул спичкой и дал прикурить. Рот заполнился дымом, но я затынулся—и мигом закашлялся. Вдруг я услышал голос Протасова:

— А ну-ка, отдайте папиросы.

Я попытался подняться, но зашатался и тяжело плюхнулся на койку. Голова кружилась, мутило.

— Два года курю,—пробурчал Фрол,—а тут и покурить нельзя. Что за порядки!

— Встаньте, Живцов, вы говорите с начальником, — приказал старшина спокойно.

Фрол встал, взглянул на свою грудь, украшенную орденом и медалями, а потом на фланелевку старшины, на которой не было ни орденов, ни медалей, и неопределенно гмыкнул.

— Приказываю отдать папиросы.

— Что ж, курите!—вызывающе протянул Фрол коробку папирос «Темпы».

— А я не курю,—не обидевшись, ответил Протасов и спрятал папиросы в карман.—Придется о вас доложить командиру роты.

— Докладывайте, — огрызнулся Фрол. — Мне «губа»—дом родной.

— Ни на гауптвахту, ни в карцер вас не посадят, можете быть спокойны. Но в соединение сообщат, и на флоте узнают, что вы, Живцов, нарушаете в училище дисциплину.

Фрол этого не ожидал. Он поспешил было за Протасовым, но вернулся и сказал:

— Пусть пишет!

* * *

На следующий день после завтрака нас вызвали к адмиралу. Значит, командир роты не решился нас наказать своею властью! Мы со страхом ожидали, что будет.

Мы видели адмирала всего один раз, в день прихода в училище, но Девяткин и Забегалов успели нам рассказать, что начальник училища воевал еще в русско-японскую войну. Адмирал командовал боевыми кораблями, участвовал во многих морских сражениях. Сотни офицеров на флоте были его учениками. Адмирал справедлив, наказывает строго, но никогда не позволяет плохо относиться к исправившемуся.

— А горячая баня вам будет,—предупредил Девяткин.—Адмирал терпеть не может, когда не уважают старших по званию. Держитесь!

С замирающим сердцем вошел я к начальнику. Адмирал сидел в просторном, светлом кабинете за большим, покрытым зеленым сукном столом. «Сейчас начнется!» подумал я. Худощавый человек с седыми волосами, расчесанными на пробор, со спокойным, уверенным, чисто выбритым лицом поднял голову и принялся рассматривать нас.

— Ну, курильщики, — сказал адмирал, — что мне прикажете с вами делать?

Такого вопроса ни я, ни Фрол не ожидали. Мы думали, он станет кричать.

— Я служил с вашим отцом, Живцов,—продолжал адмирал,—и вашего знаю, Рындин. Не думаю, чтобы они вас учили курить.

Мы молчали.

— И если вы, Живцов, научились курить от старших, на флоте, то совсем не обязательно обучать Рындина этому искусству.

Фрол ничего не ответил.

— Я категорически запрещаю курение в училище и буду за это строго наказывать. Вы хотите возразить?

— Никак нет!—выпалил Фрол.

— Возражать, по существу, и нечего. А знаете ли вы, почему я буду наказывать за курение?

— Никак нет!

— Да потому, что организм в ваши годы усиленно развивается. Крепнут легкие, устанавливается нервная система. От курения же нарушается нормальное развитие моряка. Вырастете—курите, но сейчас... Разве мне будет приятно, если вместо крепкого, здорового «морского волка» из вас, Живцов, или из вас, Рындин, вырастет чахлый, болезненный, гнилой человечек, который будет всем в тягость?

Он помолчал. Мы переступили с ноги на ногу.

— К помощнику воспитателя, Живцов, относиться свысока не рекомендую. Старшина второй статьи Протасов накануне высадки десанта в одном из портов поклялся перед своими товарищами, что он водрузит над городом флаг, и он сдержал клятву. Для этого ему пришлось залезть на заводскую трубу, в то время как фашисты били по ней снарядами. Вы этого не знали?

— Никак нет, не знал,—буркнул Фрол.

— Протасов не хвастается своими подвигами. И скромность я не считаю большим недостатком. Итак, вам не следует забывать: каждое взыскание, полученное в училище, будет занесено в дело. Ваше личное дело будет сопровождать вас всю жизнь. Не советую пятнать репутацию. Потом опомнитесь — будет поздно. На этот раз я ничего не напишу в ваше соединение, Живцов,—добавил адмирал.—Можете идти.

— Вот штука-то!—сказал Фрол, когда мы вышли в коридор.—Я думал, «губа» обеспечена, письмо уже в ящик опустили, а он—на тебе: «Из вас вырастет гнилой человечек».

Фрол расправил плечи, словно всем существом своим доказывая, что он не «гнилой человечек», а настоящий «морской волк».

На другой день нам зачитали приказ по училищу. В приказе разъяснялся вред, который приносит курение. Наши фамилии не упоминались.

Глава шестая

БУНЧИКОВ И ДЕВЯТКИН

Вова Бунчиков долго скитался до того, как попал в училище, и был очень запуганный. Ему казалось, что его каждый хочет обидеть. Только ко мне он относился доверчиво.

Мы садились с ним в кубрике, я доставал кусок хлеба, припрятанный от обеда, или булку от ужина и протягивал ему: «Хочешь?»

Я знал, что, наевшись за обедом или за ужином до отвала, Бунчиков через час снова был голоден. Раз я спросил его, где он жил до войны.

— В Севастополе,—ответил он, подбирая с колен крошки.—Ух, как мы жили! Каждое утро булки ели, с маслом. Не веришь?

— Верю.

— Мама спросит: «А варенье, Вовочка, хочешь?»—Хочу».—«Какого? Смородинового или вишню?»—«Вишню». И, понимаешь, она достает из буфета вишневое. Не веришь?

— Да верю же!

— А вечером мы в кино ходили. У нас в Севастополе хорошее было кино. После его разбомбили. Я по три порции мороженого в кино ел. Не веришь?

— Верю,—сказал я улыбаясь.

— Вот и не веришь!—огорчился Вова.—А было это, все было! И дом, и варенье, и кино! И папа, когда приезжал, привозил подарки, вот честное слово! Один раз обезьяну привез, из Сухуми. Только она все убегала, а

зимой заблудилась, простудилась и умерла. Кашляла, кашляла, свернулась калачиком и подохла.

Он помолчал немного, потом вспомнил:

— Я даже ананас ел! В банке. Отец привез. Вкусный! Не веришь?

— Верю.

— А я вот, бывает, и сам не верю,—сказал грустно Бунчиков.—Лежу я где-нибудь на вокзале... Это уж потом было, когда из Севастополя эвакуировался. Тогда я на вокзалах часто ночевал. Засну я бывало и вижу то, что было, и то, чего не было. Вот все и перепуталось. Обезьяна была, мороженое было, а ананаса, может, и не было... Мама как умерла, папа на подводной лодке снаряды привозил. А увозил из Севастополя раненых на Кавказ. Потом матросы с подплава сказали мне, что лодку его потопили. Они меня взяли с собой на Кавказ. Но они потом снова ушли в Севастополь, и я остался один. И вот, в Баку раз, в Баилове, вижу — два моряка идут... веселые, всё смеются. Я — к ним, а они на меня не смотрят. Я одного за китель подергал. Он обернулся, спрашивает: «Чего тебе?» А другой: «Дай мальчугану пятерку, он, наверное, голодный». Тот вынимает пять рублей, я не беру. «Ты что же не берешь?» Тут я им все как выпалю: про отца, про маму, про Севастополь. Поговорили они между собой и зовут: «Идем-ка». Привели на корабль, накормили. Пожил у них недельку, они мне бумагу дали, билет купили, в поезд посадили, и я — сюда. Ты моряком хочешь быть?

— Хочу. А ты?

— Я тоже. Наверное, будет трудно,—сказал он, морща нос.—Я ведь учиться разучился.

— А если я тебе помогу?

— Поможешь? Значит, мы с тобой будем дружить?

— Будем.

— А ты не врешь, Рындин?

— Раз сказал «будем», значит будем.

Бунчиков доверчиво протянул мне руку.

Юра Девяткин, уверенный в себе, ровный со всеми, быстро завоевал всеобщее уважение. Там, где Фрол петушился и готов был лезть в драку, Юра достигал результата самыми простыми словами.

Однажды старшина приказал Авдеенко подтереть в классе пол. Авдеенко разобиделся, упал на пол и за-

ревел. Фрол порекомендовал вылить на него ведро холодной воды. Но тут подошел Юра и сказал:

— Встань!

Авдеенко продолжал визжать. Тогда Юра крепко схватил его за ногу:

— Встань, тебе говорю, и не валяй дурака.

Авдеенко сказал плачущим голосом:

— Пусти ногу!

— Кто поверит тебе, что ты нервный?—Юра отпустил ногу.—Тебя дома избаловали. Вставай!

Авдеенко поднялся.

— А теперь выполняй приказание.

И Авдеенко, всхлипывая, поплелся выполнять приказание.

Юра служил в батальоне морской пехоты, который выдержал страшный удар фашистских танков под Севастополем. В том же батальоне служил матрос Алексей Калюжный, он и его шесть товарищей защищали взвод. Юра показал нам записанные в тетрадку слова, которые Калюжный написал перед смертью: «Родина моя! Земля русская! Любимый Сталин! Я дрался так, как подсказывало мне сердце. Истреблял гадов, пока сердце билось в груди. Я умираю, но знаю — мы победим. Моряки-черноморцы! Держитесь крепче! Клятву война я сдержал. Калюжный». В ту же тетрадь Юра записал и слова капитана первого ранга, который сказал мне, что «коммунист никогда не лжет, всегда должен говорить правду». Юра записал так: «Нахимовец никогда не лжет, всегда говорит правду, даже если правда горька, как полынь». Я поправил:

— Он же сказал не «нахимовец» — «коммунист».

— А нахимовец должен быть во всем коммунистом,— ответил Юра. — Ты ведь был пионером?

— Был. В Ленинграде. А ты давно в комсомоле, Юра?

— Еще с Севастополя. Перед боем матросы подавали заявления в партию, а я пошел в бой комсомольцем...

Глава седьмая

ПАРАД

Каждое утро мы выходили во двор, и старшина учил нас ходить в ногу, поворачиваться по команде — словом, всему тому, что нам должно было понадобиться, когда мы выйдем на парад по случаю начала занятий.

— Вы носите флотскую форму, — внушал нам Протасов, — и в строю пройдете через весь город. Не думаю, чтоб вам было приятно, если кто-нибудь скажет: «Нахимовцы, а строевым шагом ходить не умеют!»

«Флотским» наука давалась легко, и если Протасов командовал: «Правое плечо вперед!», Фрол, Забегалов и Девяткин быстро и четко сворачивали налево. Но бедный Бунчиков обязательно делал все наоборот и сбивал весь строй, а когда Протасов терпеливо ему выговаривал — терялся и путался еще больше, и ноги у него начинали заплетаться.

— Не стыдно ли вам, что малыши усваивают строй лучше вас? — укорял нас, случалось, Протасов, показывая на воспитанников младшего класса, маршировавших в другом конце двора.

И верно, у них получалось все как-то очень складно, и обучавший их матрос был ими доволен. Он покрикивал:

— Четче шаг! Не слышу ноги!

И тогда младшие так утапывали мерзлую землю, что, казалось, их ноги налиты свинцом. У нас же все долго не клеилось, получалось плохо. И мы начинали злиться и на Протасова и друг на друга. К тому же Авдеенко завел манеру выходить из строя.

— Вы что, Авдеенко? — спрашивал старшина.

— Устал.

— Отдохните.

— Мамина дочка! — бурчал Фрол.

— Разговоры в строю? — обрывал Протасов.

И Фрол на секунду убирал голову в плечи, но сразу же снова принимал «бравый флотский вид» и шагал, стараясь чеканить шаг.

Ну и выдержка была у Протасова! У одного развяжется шнурок на ботинке — нарушен строй. У другого голова заболит — и он просит разрешения удалиться. У третьего начнется икота. Четвертый оторвет на ходу подметку. Пятый... Ну, да что вспоминать! Во всяком случае, к Новому году мы ненавидели старшину, считая его мучителем и извергом, но зато ходили «флотским» шагом, что нравилось и нам самим, и Кудряшову, и командиру роты.

Сурков похвалил нас, правда, сдержанно, сказав, что

по двору-то мы ходим хорошо, а что будет на улице, с оркестром, под знаменем — это еще неизвестно.

И вот, наконец, настало первое воскресенье после Нового года. День был ясный, солнечный, чуть морозный. Снега не было, хотя над горами висели тучи: там, наверное, бушевали бури.

Впервые в жизни я шагал в строю, под оркестр, по улицам, в новенькой черной шинели, в начищенных до блеска ботинках и в бескозырке с черной муаровой ленточкой, на которой было написано золотом: «Нахимовское училище».

Впереди шел наш адмирал, в черной шинели, с золотым шитьем на фуражке, а перед каждой ротой шли командиры рот, офицеры, воспитатели и их помощники — старшины. Мы старались не сбиваться с ноги и не отставать. Ведь на нас смотрели тысячи глаз — из окон, с балконов, с тротуаров и даже с деревьев: на всех сучках сидели мальчишки!

На углу офицер, опиравшийся на палку, показывал на нас мальчику — наверное, сыну. Несколько девочек с сумками в руках глядели на нас во все глаза. Остановился трамвай, уступая нам дорогу. Два «ЗИС»а зафырчали на месте. И ребята на углах повторяли хором: «На-хи-мов-ско-е учи-ли-ще!»

Мы свернули на проспект Руставели. Пихты были седыми от утреннего мороза. Направо, на холме, белел Дом правительства.

Мне казалось, что я в моей флотской шинели перестал быть тем, кем был раньше. Раньше я мог погнаться за кошкой, поиграть с собакой на улице или постоять с мальчуганом, который похвастает своим роллером. Теперь я стал одним из нахимовцев.

Мы дошли до широкой квадратной площади, развернулись и построились лицом к мраморной трибуне. За сквером стояло белое здание с серыми мраморными колоннами.

— Вы имеете счастье, — сказал наш начальник, — расти и воспитываться в городе, где учился великий Сталин. Здесь он стал революционером, здесь он учил рабочих отстаивать свои права, здесь он выковывал первую большевистскую организацию Закавказья. Все в этом городе напоминает о Сталине: и здание, где была семинария, которое сейчас перед вами, и дома, где

Сталин жил, работал, встречался с товарищами. За горами бушует война. Ваши отцы, братья и старшие товарищи отдают жизнь за ваше счастье и ваше будущее. Вы должны оценить заботу о вас, нахимовцы! Товарищ Сталин лично заботится о том, чтобы вы спокойно учились и стали впоследствии офицерами военно-морского флота. Вы должны учиться так, чтобы стать достойными ваших отцов и гордого звания «нахимовец». Вы должны высоко нести знамя училища и нигде, никогда и ничем не запятнать его...

Когда мы возвратились в училище, по довольным лицам командиров и старшин мы поняли, что парад прошел хорошо.

А когда Протасов в кубрике снял шинель, мы увидели на его парадной фланелевке ордена Отечественной войны и Красной Звезды и несколько медалей. Он надел их по случаю парада. Раньше он их не носил.

Я подтолкнул локтем Фрола: и орденов и медалей у Протасова было вдвое больше, чем у него.

Глава восьмая

ПЕРВЫЕ ЗАНЯТИЯ

На другой день мы с Фролом очутились на одной парте.

Кудряшов представил нам учительницу русского языка, немолодую женщину с очень бледным, одутловатым лицом; очки в черепаховой оправе прикрывали выпуклые глаза. Учительница была в синем кителе с серебряными пуговицами, без погон. Она поздоровалась и сказала, что хочет проверить наши знания. Кудряшов присел на свободное место на заднюю парту, а учительница, раздав нам тетради, достала из бокового кармана книжку в красном коленкоровом переплете и принялась медленно диктовать.

Еще в Ленинграде, в школе, я писал без ошибок и хорошо разбирался в знаках препинания, поэтому для меня диктант был легким делом. Но Фрол вдруг запыхтел и, высунув кончик языка, с таким напряжением налегал на перо, будто выжимал тяжести. Его острый локоть задевал меня всякий раз, когда он заканчивал

строчку. Я увидел кривые буквы, разбросанные по бумаге, словно кто-то собрал их в горсть и потом рассыпал.

Перья скрипели так громко и все в классе так вздыхали и сопели носами, что учительница несколько раз удивленно поглядывала то на нас, то на Кудряшова. Но она продолжала диктовать — это был отрывок из «Капитанской дочки». Продиктовав до конца, сказала:

— Ну что ж, на этом закончим. Надпишите фамилии и сдайте работы дежурному. Я просмотрю их сейчас же, — добавила она. — Мне любопытно знать, с кем я имею дело.

Когда дежурный по классу Бунчиков положил на стол стопку тетрадей, учительница села за стол и принялась их просматривать.

— Забегалов — неплохо, — сказала она. — Я сегодня не ставлю отметок, но могла бы вам поставить «четыре». Рындин — совсем отлично. Ни одной ошибки и хороший, четкий почерк. Поприкашвили тоже на «четыре». Девяткин — хорошо. Очень хорошо, Девяткин. Авдеенко... Авдеенко, вы абсолютно невнимательны. Вы пропускаете буквы. Пишете «поутру» в два слова, «сонце» вместо «солнце» и «лижал» вместо «лежал». Как вы учились в школе?

— На пятерки.

— Почему же вы здесь не хотите учиться на пятерки? Садитесь!

Учительница достала носовой платок и протерла очки.

— Бунчиков — хорошо, только не надо в другой раз торопиться. Гордеенко — я бы вам поставила «пять». Живцов... — Она поднесла к очкам тетрадь. — Сколько вам лет, Живцов?

— Скоро четырнадцать, — буркнул Фрол поднимаясь.

— Четырнадцать?

Учительница, наверное, заметила его орден и медали, потому что спросила:

— Давно не учились?

— Как началась война, так и не учусь.

— Вы воевали?

— Да, дома не сидел.

— Видите ли, — сказала учительница — ваш дик-

тант — самый невообразимый диктант, который я когда-либо видела. Ошибок здесь втрое... да, втрое больше, чем правильно написанных слов. Пожалуй, точнее будет сказать, что во всем вашем диктанте нет ни одного слова, написанного по-русски. И если бы я сегодня ставила вам отметки, единственной достойной отметкой была бы единица. Мне думается, вас, по вашим знаниям, лучше было бы зачислить в младший класс.

Фрол обиделся, покраснел.

— Нет, нет, погодите. Командование училища несомненно поступило правильно, что не посадило вас на одну парту с малышами. Но вам придется много и упорно работать над собой. Способны ли вы всерьез заняться грамматикой?

— Я упрямый, — сказал Фрол, поднимая глаза на учительницу.

— Упрямство — нехорошее качество, но упорство — великолепная вещь. Надеюсь, скоро вы сами будете смеяться над вашей сегодняшней пробой пера, не так ли?

Она вырвала из тетради листок с диктантом, сложила его пополам, потом перегнула еще раз надвое и спрятала в записную книжку.

* * *

На втором уроке Кудряшов познакомил нас с учителем математики, инженер-майором Бурковским, а на третьем — с капитаном второго ранга Горичем. Это был совсем седой человек, подтянутый, с аккуратно засунутым в карман пустым левым рукавом кителя. Горич окинул нас веселым взглядом из-под лохматых седых бровей и сообщил:

— Я вам буду преподавать морские науки. Я уверен, вам всем известно, что наша Родина — морская держава и что ее границы омывают два океана и четырнадцать морей. Море—вот ваше будущее, хотя сейчас вы находитесь очень далеко от моря. Прошу поднять руки, кто умеет вязать морские узлы.

Фрол и Забегалов подняли руки.

— Отлично. Вы будете моими помощниками.

Он выложил на стол целый ворох концов:

— Разбирайте. Начнем.

Своей единственной рукой он ловко завязывал узел. Потом принялся обходить парты.

Это было похоже на игру. Забегалов терпеливо учил Вову Бунчикова, который пыхтел и помогал рукам языком, а Фрол, обучив вязать узел Гордеенко, перешел к Поприкашвили и от него к Авдеенко, возле которого надолго застрял, потому что Авдеенко не хотел понять Фрола.

— Ну, мамина дочка,— потеряв терпение, вполголоса сказал Фрол, — вяжи как следует, а то я тебя сейчас...

— Ну, к чему репрессивные меры? — сказал с улыбкой Горич и в несколько минут научил Олега завязывать узел.

Фрол только плечами пожал, а Горич продолжал обходить всех и каждому помогал. Перед концом урока он нас порадовал:

— У нас скоро будет морской кабинет. Мы получим модели кораблей, морские карты. Я покажу вам так много интересного, что, надеюсь, вы полюбите мой предмет и мы будем друзьями.

Он откланялся и вышел из класса. Фрол сказал:

— С этим не пропадешь. Видно сразу — весь просолился. Как ты думаешь, сколько ему лет?

— Наверное, шестьдесят.

После короткой перемены Кудряшов представил нам преподавателя истории, Максима Петровича Черторинского, и ушел, оставив нас с учителем.

Это был гражданский человек, несмотря на то, что на нем был флотский китель. Брюки, слишком широкие, обвивали его ноги винтом.

Он был бы совершенно лыс, если бы темнорыжий лух не прикрывал его виски над небольшими ушами. Из-под двух кустиков темнорыжих бровей на нас с любопытством смотрели темнокарие глаза.

— Ну-с, уважаемые товарищи, — обратился к нам преподаватель, — рад с вами познакомиться. Вы моряки и сыновья моряков и, конечно, знаете, что столица черноморских моряков — Севастополь. Я полагаю, многие из вас бывали в Крыму?

— Будь спок, бывали, — отозвался Фрол.

— Как вы сказали?

— Я сказал, что бывали.

— Так. А может быть, кто-нибудь из вас и родился в Крыму?

— Кто-нибудь и родился, — ответил Фрол.

— Вы, например?

— Предположим. И еще есть, которые родились.

— Судя по полученным вами наградам, вы воевали.

— И воевал.

— За Крым?

— И за Крым.

— А может быть, вы скажете мне, — спросил Фрола преподаватель, — знали ли вы, за что воевали?

— То есть как «за что»? За Родину.

— Отлично. За Родину. А что такое Крым, за освобождение которого вот сейчас, когда мы с вами сидим тут в классе, воюют наши бойцы и матросы и офицеры флота?.. Вы не можете мне сказать, что такое Крым? — обратился преподаватель к Фролу.

— Полуостров.

— Отлично. А что это за полуостров? Почему гитлеровцы так яростно дерутся за обладание этим полуостровом и почему мы его не раз так мужественно защищали?

— Севастополь в Крыму, вот почему!

— Великолепно. А не скажете ли вы, давно ли возник Севастополь?

— Нет, не знаю.

— А не думаете ли вы, уважаемый товарищ, что полезно знать историю того уголка своей Родины, который ты защищаешь?

«Уважаемый товарищ» ничего не ответил.

— И не хотите ли вы все послушать, — обратился преподаватель к классу, — что такое Крым, для освобождения которого сейчас брошены десятки дивизий и кораблей и сотни самолетов?

— Хотим, — сказал Девяткин. — Очень хотим.

— Так слушайте же. Издавна было известно: тот, кто владеет Крымом, становится хозяином над обширным Черноморским бассейном. С древнейших времен Крым привлекал к себе многие народы. В глубокой древности Крым населяли скифы, которые создали сильное государство со столицей Неаполь-Скифский.

— А где был этот Неаполь? — спросил Фрол.

— Близко от того места, где теперь стоит Симферополь...

Класс притих, и даже Авдеенко перестал скоблить ножом парту.

— Скифы вели с пришельцами — греками, римля-

нами — ожесточенные войны,—рассказывал Максим Петрович.—Киевская Русь была издавна связана с Крымом. В девятом-десятом веках в Крыму создавали свои поселения восточно-славянские племена. Они вели торговлю через крымские города Сурож и Корсунь. Но сначала кочевники-половцы, а потом татаро-монголы не давали славянам жить мирно. Татары превратили Крым в настоящее разбойничье гнездо. Они совершали набеги на русские земли, продавали за море русских невольников, разлучали детей с матерями, братьев с сестрами... Но вот Московское государство освободилось от татарского ига, оно стало добиваться выхода к Черному морю. Несколько веков шла борьба за Крым. Только в конце всенадцатого века Крым был окончательно присоединен к России и стал мощной крепостью на ее южных границах. Возле древнего Корсуня был построен Севастополь. Но жадные руки тянулись к Крыму. Соединенный флот Англии, Франции и Турции пытался взять штурмом Севастополь...

Теперь он рассказывал об адмирале Нахимове, о матросе Кошке, об одиннадцатимесячной славной обороне города.

В классе стояла тишина, в которой гулко раздавался голос учителя, перелистывавшего перед нами страницы истории. И мы с сожалением услышали звонок, прозвучавший как раз тогда, когда историк рассказывал о Михаиле Васильевиче Фрунзе, который перехитрил белогвардейцев, окопавшихся в Крыму, и направил Иркутскую дивизию в Крым не там, где белые ее ждали, а вброд через обмелевший от порывов ветра Сиваш.

— Мы не пойдем на перемену, — предупредил Фрол Максима Петровича.

— Заканчиваю,—улыбнулся учитель. — Сейчас та же дивизия опять идет выручать Крым. Сегодня мы снова наступаем на крымские берега, чтобы вернуть Крым нашему великому отечеству. Фашисты отрезаны, но борьба нелегка. И все же ваши отцы и братья скоро увидят перед собой лиловые Крымские горы, и снова красное знамя взвевается над Крымом. И я убежден, что вы, будущие моряки, тоже скоро побываете в городе славы, который освободят ваши отцы и братья!

Он вытер платком выступившие на лысине капельки пота, сказал: «До свиданья, уважаемые товарищи!» и

направился к двери, сутуловатый, в широких брюках, спадающих на старомодные ботинки на крючках. Мы сразу полюбили его, забыв его глубоко «вольный» вид.

Глава девятая

БУДНИ

По утрам Протасов поднимался раньше всех. Он безжалостно сдергивал с любителей сладких снов одеяла, торопил умываться и чиститься и не допускал к завтраку неряху, пока тот не примет «боевого флотского вида». Старшина учил нас не всасывать с шумом и хлюпаньем суп, есть котлеты не ложкой, а вилкой, и не облизывать соус с ножа. Фрол подсмотрел те книги, которые по вечерам читал старшина. Это были «Педагогика» и «Педагогическая поэма». Протасов никогда раньше воспитателем не был. Но когда ему приказали стать воспитателем, он не сказал: «Не умею», а принялся упорно учиться.

После завтрака начинались уроки.

Сразу выяснилось, кто учится лучше, кто хуже, кто трудолюбив, кто лентяй и лодырь. Приглядевшись к товарищам, я заметил, что Забегалов хотя и многое позабыл у себя на эсминце, но старается наверстать упущенное, на уроках не шелохнется, по вечерам, вместо того чтобы играть во дворе в бабки, сидит над тетрадкой — готовит уроки. Девяткину все дается легко, он все быстро запоминает, и учителя начали его отличать как лучшего ученика. Бедный Вова, когда его вызывают к доске, начинает от волнения заикаться. Но как ему хочется не отстать от товарищей! И как он бывает счастлив, когда вечерами старшина Протасов помогает ему готовить уроки! Часто он не понимает самой простейшей задачи. Протасов терпеливо ему разъясняет. Вова с усердием выводит цифры в тетрадке.

Поприкашвили учился в грузинской школе. И хотя он по-русски говорит хорошо, ему приходится трудно. Когда он стоит у глобуса, так и кажется, что он сначала думает по-грузински, а потом переводит на русский. Но он решил не плестись в хвосте. Он по пять раз переписывает письменную работу и едва успевает сдать ее к концу урока. У всех просят русские книжки и часто

спрашивает, правильно ли он произносит русские слова.

Авдеенко, если бы захотел, мог бы давно догнать и меня, и Юру, и Забегалова. Но он никогда не готовил уроков, и когда его вызывали, смотрел в потолок, что-то мямлил, а потом говорил: «Я, знаете, этого не выучил». Когда ему ставили двойку, он утверждал, что к нему придираются. Особенно не ладил он с учительницей русского языка. А по вечерам, вместо того чтобы готовить уроки, он сидел на подоконнике и смотрел на улицу или писал письма.

Труднее всех приходилось Фролу. Он все забыл, чему когда-то учился, все вылетело из головы, и, конечно, выпустить очередь из автомата или даже привести подбитый катер в базу для Фрола было гораздо легче, чем написать диктант хотя бы на тройку. Показать же на карте реки и города было для него настоящим мучением. Но что поделаешь, если Фрол отказывался от всякой помощи! Не раз подходил к нему Протасов, не раз я ему предлагал помочь, не раз Юра спрашивал: «Живцов, может быть сядем вместе готовить уроки?» Фрол только отмалчивался и, забравшись на заднюю парту, сидел над книжкой, ничего в ней не понимая. Конечно, это было глупо. В Ленинграде к моему отцу, офицеру, приходили такие же, как и он, офицеры-товарищи, и они занимались вместе и помогали друг другу. И не считалось обидным, что капитан-лейтенанту и командиру катера поможет подчиненный ему младший лейтенант. Фрол не хотел понять этого и продолжал хватать двойки и тройки. Четверки и пятерки у него были только по военно-морскому делу.

Это был наш любимый предмет. Благодаря капитану второго ранга Горичу любой из нас мог без запинки рассказать о Чесменском или Синопском сражении и Севастопольской обороне. Мы знали русских флотоводцев — Сенявина, Ушакова и Лазарева, Нахимова и Макарова — и могли описать все их подвиги. Наш преподаватель мог быть нами доволен.

Но однажды Горич, нахмурился, сказал:

— И все же я от вас не в восторге.

Класс замер от удивления.

— Вы готовитесь стать моряками Большого советского флота. Вы любите мой предмет, но этого мало.

Моряк должен быть грамотным и образованным человеком. Он должен знать в совершенстве по крайней мере два языка. А вы пишете и по-русски с ошибками. Разве может стать морским офицером юноша, не владеющий родным языком? Мне говорили, что Каир вы ищете в Южной Америке. Моряк, плохо знающий географию, — не моряк. Разве вас не увлекает эта романтическая наука? Кто, как не русские моряки, положил на карту все северные берега Европы и Азии? Кто исследовал север Сибири? Разве не имена моряков носят море Лаптевых, мыс Челюскин? Кому, как не вам, будущим флотоводцам, отлично знать географию?... А моряк без математики? Нуль! Без математики вы не сможете быть на корабле хорошим артиллеристом, механиком, штурманом... Я вами недоволен. Вас опередил младший класс. Надеюсь, что в дальнейшем я буду иметь дело не с неучами, а с образованными людьми. Настоящий моряк должен учиться всю жизнь, чтобы не отстать, не плестись в хвосте, суметь выйти с честью из любого трудного положения.

Я знаю великолепный пример, подтверждающий мои слова. Но не буду забегать вперед. Я расскажу вам об одном юнге, который родился здесь, в нашем городе, где мы учимся. Это было еще до революции. Отец его был машинистом. Иван—мальчика звали Иваном—учился неплохо. Но умер отец, и мальчику пришлось уйти из школы. Он сказал матери: «Я пойду в правление железной дороги. Попрошусь учеником машиниста на паровоз». — «Пойди, попробуй, — согласилась мать. — Может, ради отца примут». Но на паровоз мальчугана не взяли. Его сделали рассыльным и он так уставал за день, что едва добирался до постели. Сын с матерью не могли прокормиться в городе. Они уехали в деревню, на родину матери. Иван нанялся пасти лошадей. Но он никогда раньше не имел дела с лошадьми и напоил холодной водой вспотевшую кобылу. Хозяин прогнал его. Тогда он стал писарем. Почерк у него был красивый, и бумаги он составлял ловко. У писаря всегда были под рукой газеты. В газете он прочел объявление: «В Кронштадте открывается школа юнгов». «Поеду!» решил он... Продолжать?

— Продолжайте, продолжайте! — закричали со всех сторон.

— Продолжаю,—улыбнулся капитан второго ранга.—

Приехал он в Петербург, разыскал Кронштадтскую пристань. На борту парохода толпилось множество ребятшек. В Кронштадте их встретил бравый унтер. Он привел их в казарму, где собралось две тысячи ребят. А мест в школе было всего лишь пятьсот. «Принимать будут только очень здоровых», сказал один из бывалых. Все ощупывали друг друга.

«Ой, и тощий же ты!» говорили про одного.

«В чем душа держится!» — про другого.

«Грудь, как у цыпленка!»

«А ноги, ноги — гляди,ломаются!»

«Нет, браток, не бывать тебе юнгой!»

«А ну-ка, специалисты, поглядите меня!» предложил Иван, скидывая рубашку.

Десятки рук сразу протянулись к нему. Щупали его мускулы. Кто-то тщательно ощупывал грудь. Заглядывали в рот, почему-то залезали холодными пальцами в уши. Здоровенный парень предложил:

«А ну, поборемся, кто кого?»

Иван крепко уперся, в пол, изловчился и уложил верзилу на обе лопатки.

«Годишься! Примут!» сказал тот, вставая с пола.

Ивана приняли. Он был здоров и выдержал все испытания. В школе юнгов он стал отличным учеником и начал зачитываться книгами о флоте. Береговое обучение было закончено, и юнги пошли на практику на крейсер «Богатырь».

Старый боцман научил Ивана вязать койку. Артиллерийский унтер-офицер ознакомил его со сложным механизмом пушки. Через несколько месяцев юнга почувствовал себя заправским артиллеристом.

Жизнь на корабле приучила юнгов с ловкостью взбираться по трапам, влезать на мачты. Если на корабле играли боевую тревогу, юнга в несколько секунд оказывался возле своей пушки. Все были расписаны по специальностям, и когда «Богатырь» вышел в поход, юнги-кочегары подбрасывали уголь в топки, рулевые стояли у штурвала и под руководством старших вели корабль, сигнальщики передавали сигналы.

Герою нашему повезло: он побывал в Средиземном море и в Атлантическом океане. Он стал цепким, как кошка. Руки у него покрылись мозолями. Лицо обветрилось, кожа с носа и со щек слезла, зато он гордо разгули-

вал по улицам чужих городов в матросской форме и в бескозырке. Окончив школу, он был списан в учебный отряд и, пройдя обучение, стал артиллерийским унтер-офицером..

— А мы тоже пойдем когда-нибудь в дальнее плавание? — спросил Поприкашвили.

— Обязательно пойдем.

Фрол рассердился:

— Не мешай, не мешай! Продолжайте, товарищ капитан второго ранга.

— Продолжаю. В революцию артиллеристы избрали своего унтер-офицера председателем батареинного комитета. Он стал командовать батареей. Когда белогвардейцы окружили Царицын, его послали на Волгу.

Побывав в штабе флотилии, артиллерист вышел на берег. У причалов стояли пассажирские пароходы, буксиры, нефтеналивные шхуны. Военных кораблей не было. Он спросил у моряка, крест-накрест перетянутого пулеметными лентами, где найти корабль, на который его назначили.

«А вот он», показал моряк.

«Но ведь это буксир!»

«А ты что, настоящий корабль захотел? Мы с тобой не на Балтике».

Иван горько вздохнул. Что он, артиллерист, привыкший к морским орудиям, будет делать на буксире, на котором стояли две сухопутные пушки?..

Но буксир, прикрыв стальными листами свои борта, выступил в поход... И сухопутные пушки в опытных руках моряка стали действовать не хуже морских орудий.

Комендор отличился и был назначен на Балтику, на линейный корабль. Теперь ему доверили орудийную башню и роту моряков. Так юнга поднимался со ступеньки на ступеньку военно-морской службы. Пришел день, когда большевистская партия поручила Ивану принять командование линкором...

— Целым линкором? — удивился Фрол.

— Да, лучшим кораблем Балтики. И вот тут начинается самое интересное...

Фрол подался вперед.

— Однажды к командиру линкора постучался механик. Он рассказал о неполадках в механизмах. «Может, дадите совет, товарищ командир?» А командир почувствовал, что ничем не может помочь: он знал меньше

механика. Командир корабля отвечает за штурманов, артиллеристов, связистов. Он обязан исправить любую ошибку. Значит, он должен хорошо разбираться и в артиллерийском деле, и в штурманском, и в механизмах... Он не спал всю ночь. Он вспомнил, что отец всегда говорил: «Учись, всю жизнь учись! Необразованный человек — это полчеловека».

«Имею ли я право командовать кораблем? — думал он. — Мне еще так много надо учиться!»

На подъеме флага командир стоял с твердым решением: итти снова учиться...

— Отказался линкором командовать?

— Да. И пошел снова в штурманский класс.

— Вот здорово! Командовал линкором — и в класс!

— Нужно было иметь мужество снова решать на доске задачи, изучать звездный глобус, — продолжал Горич. — Ведь штурман должен быть астрономом. Перепутать звезды он не имеет права — в море они указывают путь кораблю. Штурман всегда точно знает, где находится корабль. Он не расстается ни с компасом, ни с секстантом. По ночам он стоит на мостике и вглядывается в темноту. Мелькнул маяк — штурман знает, что за маяк вдали. А днем штурман имеет дело с солнцем, с берегами, которые должен знать как свои пять пальцев... Штурманы открывали новые земли, составляли карты, и по этим картам смело шли в незнакомые моря корабли.

И молодой командир изучал астрономию, математику, навигацию, географию и историю. Штурман должен уметь чертить, рисовать. Изучал он и иностранные языки.

Когда штурманский класс был окончен, его назначили на корабль, уходивший в дальнейшее плавание. Иван видел Плимут, Неаполь, Аден, Коломбо, Сингапур. Ночью он стоял на вахте, всматривался в темноту, различал огни маяков, кораблей, парусных судов. За один только переход молодой моряк увидел целый мир, множество городов, стран, людей...

Так, шаг за шагом, он поднимался со ступеньки на ступеньку. Вот он командует быстроходным эсминцем. Ему доверили крейсер. Он командует соединением крейсеров. А потом он, уже адмирал, командует Черноморским, и после — Тихоокеанским флотом...

Вот видите, каким упорным и долголетним трудом

достигается высшее положение на флоте. Но достигнуть его может и юнга, и тем более нахимовец!..

В этот вечер все обсуждали судьбу юнги, ставшего командующим флотом.

— Ты смотри! — сказал Фрол, когда мы улеглись на койке. — А не пошел бы учиться — еще неизвестно, что бы из него вышло. Это понимать надо...

* * *

Однажды вечером Фрол спросил:

— Кит, у тебя есть бумага?

— Зачем тебе?

— Прошу — значит, надо.

Я достал из тумбочки тетрадь:

— Возьми всю, мне не жалко.

— Тебе делать нечего?

— Я уроки уже приготовил. А что?

— Пойдем в класс, подиктуй мне. Только ты не задавайся!

— А почему я должен задаваться?

Фрол испытующе посмотрел мне в глаза и неопределенно гмыкнул. Потом достал из тумбочки своего Станюковича, и мы пошли в класс.

На парте лежало чье-то письмо.

— Гляди-ка, — сказал Фрол, — ведь это Авдеенко пишет. Подписано: «Олег». Ай, гусь!

— Не нужно читать чужие письма, — сказал я. — Это нечестно.

— А ты послушай-ка лучше, что он пишет, — не обращая внимания на мои слова, продолжал Фрол. — Ай, штучка!

С трудом разбирая почерк Авдеенко, Фрол прочел:

— «Здравствуй, мама! Если ты получила мое письмо, то прошу дать такой ответ, какой я прошу». Ага, изволь дать ответ, какой просит! — фыркнул Фрол. — «Ведь ты не хочешь, чтобы я был моряком...» Не хочет, слышишь, Кит! «...и сама говорила, что лучше быть артистом. Разве ты не говорила, что хочешь сидеть в первом ряду и смотреть на своего знаменитого сына?» Ты погляди, какая знаменитость! — Фрол с чувством свистнул. — «Мама, прошу тебя, возьми меня ты отсюда, если отец не хочет понять мою просьбу. Здесь заставляют без конца учиться, никуда не пускают, мне тут плохо.

Мама, если хоть капельку любишь, то забери меня домой...»

Как раз в эту минуту Авдеенко вбежал в класс:

— Отдай письмо!

— А разве оно твое? — сказал Фрол.—Мы думали— не твое. Ты что же, знаменитость, петь будешь или танцевать в балете? — Фрол вытянул вперед руки и прекомично изобразил готовящуюся упорхнуть балерину. — Или «тру-ля-ля, тру-ля-ля»? — пропел он фальцетом.

— Отдай!

— Ну-ну, не вздумай реветь! Бери свою писульку.— Фрол с презрением протянул письмо. — Артист!

Авдеенко схватил листок, смял его и разревелся, плюхнувшись на заднюю парту.

Мне не нравилось, что Фрол прочел чужое письмо, но еще больше не нравилось слезливое послание. Я уважал артистов и любил театр. Но разве для того, чтобы быть артистом, не нужно учиться? Подумаешь— «заставляют без конца учиться!» Я знал, что и на артиста надо учиться много лет.

— Ну, ладно, — сказал Фрол, взглянув на всхлипывающего Авдеенко. — Проревется — и перестанет. Диктуй!

Он протянул мне книжку, раскрыл тетрадь и обмакнул в чернила перо.

— Ну, что же ты?

— Что тебе диктовать?

— Что хочешь.

— Пиши, — сказал я, раскрывая книгу: — «Жара тропического дня начинала спадать. Солнце медленно катилось к горизонту...»

— Постой, ты не самым полным.

Я стал читать медленнее. Но Фрол все же не поспевал, буквы разбегались по бумаге, как мыши, а кляксы догоняли их, словно большие черные кошки.

— «Подгоняемый нежным пассатом, клипер нес свою парусину и бесшумно скользил по Атлантическому океану...»

— А ты не можешь каждое слово отдельно, да пояснее, по буквам?

Я стал читать так медленно и так громко, что даже глухой разобрал бы каждую букву и написал бы без всяких ошибок.

— «Пусто кругом: ни паруса, ни дыма на горизонте...» — диктовал я.

— «Гаризонте» или «горизонте»? — переспросил Фрол.

— Го-ри-зон-те.

— А я думал — «гаризонт». Давай дальше!

— «Куда ни взглянешь — все та же безбрежная водяная равнина, слегка волнуемая и рокошущая каким-то таинственным гулом, окаймленная со всех сторон прозрачной синевой безоблачного купола...»

Я увлекся и, позабыв о том, что Фрол просил выделять каждое слово, продолжал читать залпом:

— «Воздух мягок и прозрачен; от океана несет здоровым морским запахом. Пусто кругом. Изредка разве блеснет под лучами солнца яркой чешуйкой, словно золотом, перепрыгивающая летучая рыбка, высоко в воздухе прореет белый альбатрос, торопливо пронесется над водой маленькая петрель, спешащая к далекому африканскому берегу, раздастся шум водяной струи, выпускаемой китом, и опять ни одного живого существа вокруг...»

— Вот здорово! — прервал меня Фрол. Он больше не писал. Да и мог ли он поспеть за мной, несшимся по строчкам «Морских рассказов» со скоростью торпедного катера! — Как это там? «Несет здоровым морским запахом. Воздух мягок и прозрачен». А ведь я это видел, Кит, когда выйдем бывало на катере ранним утром. «Фрол, — скажет усыновитель, — ты видишь, какая красота?» — «А как же ее не видеть, товарищ старший лейтенант? Вижу». И тяну носом воздух. А ветер вокруг нас так и рвет, так и рвет! Винты гудят, пена позади так и клубится... Эх, Кит, до чего это здорово! Мои-то, наверное, не сидят на месте, всё, поди, в море да в море... Кит! (Тут я заметил, что Авдеенко, сидящий на задней парте, больше не всхлипывает, а, наострив уши и вытаращив глаза, слушает Фрола.)

— А?

— Если писать с ошибками, выгонят из училища?

— Выгонят.

— Правду говоришь? А ну-ка погляди, что у меня получилось.

— У тебя, Фрол, ничего разобрать невозможно.

— Да ты слепой, что ли?

— «Воздук мягок и прозрачен»... Зачем ты пишешь «воздук» через «к»?

— Разве? Ну-ка дай сюда, переправлю.

Он переправил «к» на «х», посадил огромную кляксу, рассердился и, вырвав из тетради листок, смял его и бросил под парту.

— Диктуй все сначала. Только помедленнее. Понимаешь? Я не хочу чтобы меня выгоняли! — стукнул он кулаком по парте. — Пусть Авдеенко выгоняют!

Авдеенко, словно угорь, выскользнул из класса.

В опаловом колпаке вспыхнул свет, старшина Протасов не раз заглядывал в класс, а я все диктовал «Человека за бортом». Фрол, пыхтя, злясь и ломая перья, по нескольку раз переспрашивал каждое слово и сам не раз повторял его, прежде чем написать на бумаге. Хотя он и наделал ошибок, но меньше, чем в первый раз.

— Поставь мне отметку, — предложил Фрол, когда я подчеркнул все ошибки.

— Что ты Фрол! Как я могу тебе ставить отметки?

— А ты поставь, тебе говорят!

Я поставил ему три с плюсом вместо трех с минусом, которые ему причитались. Фрол был счастлив и не скрывал своего счастья: подышал на листок с диктантом, чтобы он высох, аккуратно сложил его и спрятал в карман.

Прозвучал отбой, и мы отправились в кубрик, где я, торопливо раздевшись и сложив по всем правилам одежду, ткнулся носом в подушку и заснул, как убитый, без всяких снов.

* * *

Сурков и Кудряшов не раз нам рассказывали, что матросы на их кораблях в перерывах между боями сидели над книжкой: одни готовились, как только кончится война, пойти в высшее морское училище, чтобы стать офицерами, другие — в какой-нибудь другой вуз. Мы внимательно слушали воспитателей, и нам становилось стыдно. Люди воюют и успевают учиться, а мы только учимся—и сплошь да рядом плохо готовим уроки. Мы горячо осуждали лодырей. И как весело и радостно было отчетливо ответить выученный урок по истории, решить на доске трудную задачу, найти на карте города, острова и реки, прочесть наизусть большое стихотворение!

В такие дни, когда все шло гладко, мы были довольны преподавателями, а преподаватели — нами.

С каждым днем в училище прибавлялось что-либо новое. Однажды на площадке парадного трапа появился написанный масляными красками портрет адмирала Нахимова во весь рост. В другой раз нас позвали выгружать множество ящиков. Мы снесли их в комнату; на двери появилась надпись «Библиотека», и на следующий день пришли столяры, чтобы сделать книжные полки. Через несколько дней библиотека была открыта. Все стали читать запоем.

Как-то Горич пришел с заговорщицким видом, приказал нам построиться и повел всех в дальний конец коридора, к наглухо запертой двери. Он достал из кармана ключ и велел дежурному открыть дверь.

Мы очутились в военно-морском кабинете. Там стояли модели кораблей, катеров и подводных лодок, развешаны были по стенам морские карты. Мы рассыпались между столами.

Военно-морской кабинет был делом рук Горича, и он им очень гордился.

Он часто после занятий стал запирается в кабинете с Фролом, с Забегаловым или с Девяткиным, и появлялась парусная яхта или гребная шлюпка с тщательно выточенными миниатюрными веслами.

Адмирал приказал назначить заместителей старшин из воспитанников. Заместителем Протасова был назначен Девяткин. Это не понравилось Фролу: он должен был подчиняться Юре. Но Юра не возгордился, и Фрол поостыл.

Начальник и офицеры из всех сил старались сделать училище похожим на корабль. Оно всегда отличалось корабельной чистотой. Я никогда не подумал бы дома вымыть полы, а тут, вооруженный скребком и шваброй, надраивал палубу.

По субботам, во время большой приборки, новый заместитель старшины не командовал и не распоряжался, а сам, засучив рукава и брюки, первый вооружался шваброй и ведром с водой и показывал всем пример, как надо драить палубу так, чтобы она блестела. И класс, и кубрик, и наш участок коридора, и парадный трап, которым мы, как старшие, владели, сверкали такой чистотой, какой славятся корабли на флоте. И если

Авдеенко возмущенно заявлял, что дома его никто никогда не заставлял мыть полы, это всегда делали другие, — Юра спокойно отвечал, что он тоже дома даже не прибирал за собой тарелок. И Авдеенко, морщась и боясь запачкаться, лениво тер шваброй пол. Все остальные охотно участвовали в авралах. Наблюдавший за нами Кудряшов подбадривал нас, говоря, что мы бы с нашим усердием не посрамили даже его «морского охотника». Но тут же добавлял, что нерадивых (он намекал на Олега) матросы не потерпели бы.

— Ленивый и нерадивый человек подводит товарищей, — говорил воспитатель.

Не знаю, доходило ли все это до Авдеенко.

По утрам Юра приносил свежую газету и до начала уроков прочитывал нам сводку Совинформбюро, а потом показывал на карте, как фронт продвигается к западу. Нас волновало то, что происходило за дальним хребтом, который был виден со двора в хорошую погоду. Наш класс первым захватывал в библиотеке «Красного черноморца» и мы читали вслух о боях, происходивших на подступах к Крыму. Здесь Фрол знал все: что такое «сейнеры», «мотоботы», как высаживается десант. Он радовался, когда в газете сообщалось о нашем соединении, об офицерах и матросах, с которыми он вместе ходил на катерах. Юра с чувством читал стихи:

Ночь... И море вздыблено норд-остом.
Вражий берег. Минные поля...
Знаем мы: не очень это просто
Город свой от немцев вызволять!
Смелый штурм! Вперед, за дело чести,
С палубы шагнул ты корабля.
Подлый враг не скроется от мести!
Под ногами — милая земля...

Фрол притопывал, будто под его ногами была земля, отвоєванная у фашистов.

— Эх, — говорил он, — наши катера там!

— Мой «Серьезный» — тоже, наверное, — подхватывал Забегалов.

— И мой батальон, — добавлял Девяткин.

Кудряшов, оказывавшийся тут же, подтверждал:

— Да, они выполняют боевые задания на «пятерки».

И, по-моему нам будет стыдно, если мы будем отставать от своих старших товарищей — моряков и плестись на тройках в хвосте. Следует и нам подтянуться. Ведь придет день — и мы отрапортуем флоту: «Смена растет и придет на флот знающими и образованными моряками». Не так ли?

Слова Кудряшова заставили многих из нас призадуматься.

Мы несли вахты, как на корабле. Нас назначали помощниками дежурного офицера, который встречает всех проходящих в училище — военных и «вольных» — и следит за порядком. Я чувствовал себя в такие дни совсем взрослым вахтенным офицером, который отвечает за благополучие и порядок на доверенном ему корабле. У меня даже походка переменилась — стала более уверенной, четкой.

Однажды на вахте у знамени училища я стал мечтать, чтобы именно в эту минуту зашел в училище фотограф, заснял меня, а потом поместил бы снимок в газете. Или чтобы на меня напали какие-нибудь ворвавшиеся в училище диверсанты (я весьма смутно представлял себе, что за бандиты могут ворваться в училище). Я был убежден, что буду защищаться до последней капли крови и крикну им в лицо: «Умираю, но не сдаюсь!» Или чтобы в училище возник пожар и все про меня забыли, но я стоял бы среди дыма и огня. А когда станет рушиться потолок, я спрячу знамя на груди и выпрыгну в окно. И адмирал скажет: «Вы настоящий нахимовец, Рындин. Я горжусь вами».

* * *

В воскресенье утром Протасов обрадовал нас, подняв с коек:

— Сегодня идем в театр.

Фрол, густо намылив голову в умывалке и подставив ее под холодную струю лившейся из крана воды, отфыркивался и сообщал Бунчикову, что уж если в театре устраивают пожар на сцене, так он настоящий, и, чтобы тушить его, вызывают пожарную команду. Я не посоветился соврать, что однажды видел в театре корабль, плывший по настоящей воде. А Авдеенко хвастался, что он в театре бывал чуть не каждый день и видел и оперу.

и драму, и балет, и даже оперетту. Что такое оперетта, он так и не сумел объяснить, как мы ни допытывались.

Когда мы, позавтракав, построились, перед тем как выйти на улицу, и Кудряшов, одетый по-праздничному, в черной тужурке и с черным галстуком на крахмаленной сорочке, оглядел нас, он остался нами доволен.

Приехав в театр, мы с любопытством рассматривали большой зеленый зал с креслами, крытыми зеленым бархатом.

После третьего звонка заняли места в ложах. Рядом со мной сидели Фрол, Девяткин, Поприкашвили, а позади нас — Протасов и Кудряшов. Свет погас, дирижер взмахнул палочкой. Возле ложи в партере сидел молодой лейтенант с девушкой. Он не перестал громко разговаривать даже тогда, когда на него сзади зашикали.

— Этот офицер плохо воспитан, — сказал шопотом Кудряшов.

В антракте он повторил это, чтобы слышали все его питомцы, и горячо стал доказывать, что разговаривать в театре, когда играет музыка или на сцене уже поднят занавес, — это значит быть плохо воспитанным человеком, и только невоспитанный человек будет стучать каблуками или передвигать стулья, усаживаясь, когда опоздает: ведь он мешает другим слушать, а музыкантам и актерам — играть.

Но никто из нас и не подумал бы нарушить тишину. Самые отчаянные, облокотившись на плюшевый барьер и положив голову на руки, казалось, оцепенели, жадно лоя глазами происходящее на сцене, настороженными ушами — чудесные звуки. Я поглядел на Фрола. Передо мной сидел новый Фрол, совсем незнакомый, с задумчивым, мечтательным лицом. Вот что делает с человеком музыка!

Юра подался вперед, покачивая головой, и беспрерывно шевелились его пальцы, лежавшие на бархате барьера. А Авдеенко, наверное, представлял, что он поет там, в черном фраке: «В вашем доме я встретил впервые...»

В антрактах мы разглядывали в фойе фотографии артистов. На нас все тоже поглядывали. Старик в золотых очках задал Бунчикову вопрос, сколько лет надо учиться, чтобы стать моряком. Вова заморгал, покраснел и смутился. Кудряшов тут же рассказал старику о нахимовцах, а когда мы вернулись в ложу, сказал:

— Нахимовец — будущий морской офицер, а морской офицер должен быть вежливым, общительным и воспитанным человеком. Вы пойдете в дальние плавания и будете встречаться с людьми, которые знают нашу страну только по газетам. Вы должны будете показать им, что такое советский человек.

Мы вернулись в училище, и разговоров хватило на целый день.

Фрол изображал дуэль Онегина с Ленским, нацеливаясь на Бунчикова подушкой, и требовал, чтобы Вова немедленно спел: «Куда, куда вы удалились...» Поприказшили, довольно правильно уловив мотив, напевал: «Любви все возрасты покорны...» Все выдумывали небывлицы, вроде того, что Олега Авдеенко разыскал директор театра и предлагал ему завтра же выступить на сцене, петь Ленского, что генерал Гремин похож на нашего Горича и что старик, приставивший с вопросами к Бунчикову, обратился к Кудряшову с просьбой зачислить его в воспитанники училища. И мы хохотали до слез. Я и Поприказшили завернулись в простыни, как в плащи, и разыграли сцену дуэли. Фрол несколько раз провозгласил хриплым басом: «Убит», тыча меня, лежавшего на полу, босой пяткой, а Авдеенко вспоминал: он в Большом театре в Москве слушал Козловского, и Козловский выходил раскланиваться с публикой после того, как его напоял убили.

— И мама сказала, что если я хочу быть скрипачом — я ведь на скрипке учился,— она пригласит самого лучшего музыканта, чтобы со мной заниматься. А отец...

— Послушай! — вспыхнул Юра. — Зачем ты тычешь всем в нос маму и папу? Вот я, например, — продолжал он горячо, — ни за что не хотел бы, чтобы меня только за отца уважали. Я бы добился... и я добьюсь, — сказал он с уверенностью, — чтобы мой отец мог мною гордиться. Я не знаю—может быть, музыку сочинять буду.

Кто-то хихикнул.

— Ну, чему смеетесь? — сказал Юра. — О Римском-Корсакове вы слышали?

— Слышали.

— Он был моряком. Другой композитор — Бородин, который написал «Князя Игоря», был химиком. А Цезарь Кюи—этот был инженер-генералом. Значит, можно быть моряком и в то же время музыкантом.

— Мой усыновитель Маяковского читал,— подхватил Фрол, — про советский паспорт. Боцман на аккордеоне играл, химист — на балалайке, а лейтенант пел: «О дайте, дайте мне свободу...» Ну и голосище же у него был! В бараке переборки шатались... Вот и мы можем устроить вечер.

— И показать, что и моряк может быть артистом,— добавил Юра.

— Отличная мысль! — сказал слушавший наш разговор Кудряшов. — Я поговорю насчет вечера с адмиралом.

— Разрешите воспитанникам получить письма, — обратился к нему появившийся в дверях Протасов.

Все кинулись в канцелярию — даже те, которые наверняка знали, что никаких писем не получат.

* * *

— Авдеенко! Рындин! Живцов! Поприкашвили! — выкликал писарь.

Мы хватали с жадностью письма, и каждый старался забраться в укромный уголок, чтобы прочесть письмо без свидетелей. Я ушел в кубрик, на свою койку. Один конверт был надписан знакомым почерком матери; другой, серый, из плотной бумаги, был со штампом полевой почты, и почерк был мне незнаком. Когда я вскрывал письмо, руки дрожали.

«Никита! — прочел я. — Мой старый друг, начальник училища, сообщил мне, что ты учишься хорошо, а Живцов старается наверстать упущенное. Я очень рад за вас. Ведь оба вы представители нашего соединения, и я убежден, что вы не запянете его недостойными поступками, тем более, что по приказу товарища Сталина, мы отныне гвардейцы. Мы уже находимся далеко от той тихой речки, где ты был у нас в гостях. Я не могу сообщить тебе, где мы, но мы с каждым днем продвигаемся и надеемся, что и ты и Живцов приедете к нам в Севастополь. Севастополь в непродолжительном времени будет нашим, поверь слову гвардейца! От имени всего личного состава я шлю вам самый горячий привет и пожелание дальнейших успехов. Выше головы, ребята, смело шагайте к морю!»

Капитан первого ранга не забыл нас!
Я вскрыл другой конверт.

«Никиток, мой любимый! — писала мама. — Есть надежда, что я скоро увижу тебя: я должна ехать в Тбилиси за литературой. Очень может быть, что я скоро уеду отсюда, куда — расскажу при встрече. Так радостно чувствовать, что наша армия все время идет вперед, что мы со всех сторон окружили Крым и, наверное, близок тот день, когда будет освобожден Севастополь. Ты помнишь, папа рассказывал, какой это красивый город? Фашисты его разрушили, там теперь одни развалины, но его снова построят, еще красивее и лучше, чем раньше. Я очень скучаю без тебя, мой любимый, и меня радует, что ты учишься хорошо. Какой у тебя, наверное, бравый вид! Как я хочу посмотреть на тебя в морской форме!

Я послала тебе немного денег, может быть ты захочешь себе что-нибудь купить или угостить друзей. Крепко целую тебя. Твоя мама».

Я разыскал Фрола и прочел ему письмо капитана первого ранга. Фрол, в свою очередь, показал мне письмо Русьева.

«Фролушка, — писал Русьев, — ты ни разу не сообщил мне, как ты живешь в училище. Я знаю, ты рассердился на меня за то, что я тебя не взял больше в море. А ведь я оказался прав. Вскоре после того, как ты уехал, мы попали в такую переделку, что я лежу в госпитале. Фокий Павлович лежит на соседней койке. Гуськову придется перенести тяжелую операцию, его увезли от нас. Что бы было, если бы я тебя не списал в училище? Я бы никогда себе не простил этого. Ведь война — не игра, а тяжелое и трудное дело. Я скоро выпишусь, и у меня будет новый катер. Надеюсь, успею повоевать и очистить от фашистской погани наше Черное море. Учись, Фрол, учись так, чтобы не осрамить нас. Будь в училище славным гвардейцем! Вперед, на полный!»

— Вот видишь, что получилось! А меня с ними не было.

— Но тебя бы и в живых не было, — возразил я.

— Я бы уцелел!

Тут вбежал Бунчиков:

— Фрол! Кит! Где же вы запропали? Идите в кубрик. Поприкашвили из Зестафони посылку получил, угощает! — Вова с наслаждением жевал.

В кубрике, над горою орехов, вяленой хурмы, коричневых яблок, каких-то длинных синих колбасок, стоял Поприкашвили и радушно приглашал:

— Ешьте, хватайте. Ничего не жалко, на всех хватит.

Он тут же наделял всех и пояснял, что синие колбаски называются чурчелой и делаются из сгущенного виноградного сока и орехов, а лучше хурмы нет плода на свете.

Все принялись жевать и похваливать угощение, а Поприкашвили следил, чтобы все ели досыта и говорил, что у его бабушки в Зестафони сад — всем садам сад.

Угостив всех, Илико принялся искать Авдеенко. Он нашел Олега в умывалке, на подоконнике.

— Зачем плачешь? — сказал Поприкашвили. — Возьми чурчелы, набей рот, и расхочется плакать.

Продолжая рыдать, Авдеенко принялся жевать чурчелу, а Поприкашвили допытывался:

— Плохие новости? Кто-нибудь заболел? Ой, как нехорошо!

Подошел и Юра.

— Олег, в чем дело? — спросил он. — Скажи, может быть мы поможем?

— Мне никто не поможет! — захлебываясь слезами, бормотал Авдеенко.

— Все равно расскажи. У тебя несчастье?

И столько искреннего участия было в Юрином голосе, что Авдеенко молча протянул ему скомканное и залитое слезами письмо. Я заглянул через Юрино плечо и прочел:

«Пишу тебе в последний раз. Мама и бабушка тебя избаловали, забили тебе голову театром. Я в твоём возрасте пас гусей в деревне и рад был, если имел горбушку хлеба и миску щей на обед. Я не имел возможности учиться. Тебе дана эта возможность, так учись и не задирай нос выше, чем тебе положено. Писем не жди, пока не узнаю, что ты стал человеком. Если тебя исключат из училища, я тебе больше не отец».

— Олег, — сказал Юра, — мы поможем тебе, если хочешь.

— Отлично! — одобрил подошедший Николай Николаевич Сурков. — Товарищи обещают помочь вам. Надеюсь, вы не откажетесь от их помощи?.. Пойдемте-ка, Олег, побеседуем.

И, обняв Авдеенко за плечи, Николай Николаевич отвел его в сторонку, сел рядом с ним на диван совсем по-отечески, будто беседуя с сыном. Его сыновей фашисты убили в Дорогобуже.

Глава десятая

МУШТАИД И МТАЦМИНДА

И вот мы дождались наконец увольнения!

Я получил немного денег от матери и поделился с Фролом. Он снисходительно принял эти несколько рублей.

В воскресенье старшина был весьма озабочен: ведь за всеми не уследишь! Протасов в последний раз оглядел и даже ощупал каждого. Все было в порядке: ноги и уши, перчатки, пуговицы и носовые платки. Недаром мы по нескольку раз бегали в умывальник, подставляли головы под ледяную струю воды и терли руки мылом и щеткой, а пуговицы — суконкой.

— Хочешь, пойдем со мной? — сказал я Фролу.

— Куда?

— К Стэлле. Мы с мамой жили у них, когда приехали из Сибири. А потом пойдем к Антонине, дочке капитан-лейтенанта Гурамишвили.

— Кругом девчонки! — процедил Фрол презрительно, но я понял, что у него нет знакомых и он пойдет со мной.

Я хотел позвать Юру, но он оставался дежурить в училище. Мы отправились вдвоем.

Пришла весна, все сады на склонах гор розовели; цвели персики и миндаль.

Мы шли по суетливой улице в ногу, размеренным «нахимовским» шагом, с достоинством приветствуя офицеров, неторопливо, но четко прикладывая руки в белых перчатках к вискам. Прохожие оглядывались. Малыши показывали на нас пальцами. Девушки — продавщицы цветов смотрели на нас через толстые стекла похожего на сад магазина.

— Давай разговаривать, — предложил Фрол.

— Давай, — согласился я.

Но все, о чем я мог поговорить с Фролом, вылетело из головы.

— Ну, что же ты? — сказал Фрол через два квартала. — Язык проглотил?

— Начинай лучше ты.

Но Фрол тоже не мог выдавить из себя ни слова.

Мы свернули в узкую улочку и облегченно вздохнули. Я увидел знакомые ворота.

— Здесь живет Стэлла. Войдем?

— Войдем.

Мы вошли во двор. Я постучался в стеклянную дверь. Толстый Мираб в недоумении уставился на нас:

— Моряки? Чем могу служить?

— Дядя Мираб, вы меня забьели? — спросил я.

— Никито, шен генацвале! — обрадовался толстяк. — А я тебя и не узнал в этой форме! Где твоя мама? Нашли отца?

Я сказал, что не застал отца на месте.

— Такую дорогу ехали — и не застали. Ай-ай!.. — Мираб покачал головой. — Заходите, моряки, заходите!

Мы вошли в знакомую комнату и поздоровались с тетей Маро.

— А Стэллы нет дома, — сообщила она. — Она часто тебя вспоминала! Всю зиму деньги копила, чтобы пойти с тобой на фуникулер, в цирк и еще куда-то... Прощу за стол.

Мы затоптались на месте, поглядывая на накрытый стол.

— Садитесь, садитесь! — пригласил радушно Мираб. — Как можно притти в гости и не сесть за стол? Или вы пришли не к грузину?

На белой скатерти появилась курица в ореховом соусе.

— Стэлла нынче дежурит на станции, — рассказывала тетя Маро. — Вы пойдите туда, она будет рада.

— Она будет очень рада, — как эхо, повторил Мираб.

— Она сегодня утром опять вспоминала...

— Да, опять утром тебя вспоминала, — вторил жене Мираб. — И говорила, что, если бы знала твой адрес, написала бы письмо.

— Она у нас любит писать письма: бабушке в Зестафони, другой бабушке в Хашури, тете в Кутаиси...

— Да, любит письма. И пишет, представьте, по-русски и по-грузински совсем без ошибок, — подхватил Мираб. — Кто читал, все говорят: нет ни одной ошибки, все запятые на месте, и все буквы — ровные, как напечатанные в газете... А Гоги уже на Украине. И он стал гвардейцем и прислал карточку.

Мираб достал фотографию и протер ее носовым платком. Сержант с черными усиками, увешанный медалями, стоял, держась рукой за картонную колонну.

— Гоги поклялся, что дойдет до Берлина, — сказала тетя Маро.

— А уж если поклялся — дойдет, — подтвердил Мираб. — Гоги дойдет!

Когда мы расправились с курицей, Мираб поставил на стол вазу с яблоками.

— Угощайтесь, прошу вас. Горийские яблоки, лучшие в Грузии... А твой отец тоже моряк?—спросил он Фрола.

— У меня нет отца, — ответил Фрол.

— А мать? — спросил дядя Мираб.

— И матери нету.

— Ай-ай, как нехорошо. Один? — Мираб взял из вазы несколько коричневых яблок: — Возьми, возьми, после скушаешь... Вас часто пускают в отпуск?

— Сегодня в первый раз, — сказал я.

— Приходите к нам... Если нужно, я сам зайду за вами.

— Конечно, приходите, — приглашала тетя Маро. — И мы с Мирабом и Стэлла — все будем очень рады...

Когда мы собрались уходить, сапожник и его жена набили яблоками наши карманы. Мираб показал нам дорогу.

Как и говорила когда-то Стэлла, Муштаид оказался большим парком на берегу Куры. Здесь пахло свежими листьями, дождем и фиалками, синевшими в молодой траве. Черные галки перелетали с дерева на дерево. Ребята бегали по дорожкам с мячами, обгоняли друг друга в деревянных автомобилях. Вдали пронзительно завизжал паровоз.

— Пойдем на станцию, — предложил я.

Мы поднялись на высокую деревянную платформу. Девочка в форменной куртке, в красной фуражке, с жезлом в руке увидела нас и направилась нам навстречу.

— Товарищи нахимовцы! — начала она торжественно

но. — От имени пионеров нашей дороги... Никито! — воскликнула Стэлла, бросаясь ко мне. — Никито, генацвале! — повторяла она, забыв про свое торжественное приветствие. — До чего же ты вырос и до чего тебе идет форма! Настоящий моряк!

— Мы были у тебя дома, — сказал я, стащив с руки перчатку и пожимая ей руку. — Отец сказал — ты дежурить.

— Да, но я скоро освобожусь. Отправлю поезд и сменюсь.

Она вопросительно уставилась на Фрола.

— Это Фрол Живцов, мой товарищ. Он воевал два года.

— Не-ет! — удивилась Стэлла. — В первый раз вижу мальчика, который воевал два года.

— Не веришь? — насторожился Фрол.

— Верю, — ответила Стэлла. — Ты стрелял из пушки?

— Я был рулевым на торпедном катере. Ты, наверное, не знаешь, что это за штука?

— Нет, — простодушно призналась Стэлла. — А что это?

— За ним не угонится и курьерский поезд. За кормой вот такой веер пены! И водой с головой заливают.

— Наверное, весело служить на катере?

— Будь спок, веселого мало. Только и гляди, чтобы не попасть в «вилку»!

— А что такое «вилка»? — спросила заинтересованно Стэлла.

— Это когда снаряды падают и с бортов, и с кормы, и с носа. Понятно?

Стэлле, наверное, было непонятно, но она не переспросила.

— Когда командира ранило, Фрол сам привел катер в базу, — похвастался я другом.

— Не-ет! Сам?

Вдали послышался гул.

— Я должна поезд отправить, — спохватилась девочка. — Прокатиться хотите?

Я призадумался: подобает ли нам, нахимовцам, кататься в детском поезде? Но мне досмерти захотелось.

Фрол мигом разрешил все сомнения.

— Хотим, — ответил он без раздумья. — А можно?

— Конечно, можно!

Сверкающий медью паровоз, пытая, остановился у платформы. Машинисту в форменной фуражке было лет двенадцать, не больше.

— Садитесь!

Нас не пришлось просить во второй раз. Мы мигом уселись в открытый вагончик.

— Я буду вас ждать! — закричала Стэлла и взмахнула флажком.

Паровоз свистнул, и поезд тронулся в путь.

— Смешная... — сказал Фрол. — Смотри ты, девочка, а начальник станции!

Мелькали деревья, пруды, в которых плескались утки. Поезд проскочил коридор из зеленых веток, вылетел на поляну, по которой бродил олень, потом очутился в тоннеле, и нас обдало в темноте теплым дымом. Вдруг в глаза нам ударил свет, и мы увидели, что едем по берегу бурливой Куры, которую медленно переплывает паром. Паровоз свистел, вагончики трясло и качало. Поезд снова нырнул в зеленую чащу, прогрохотал через мостик, повисший над ручьем, мимо скал, покрытых пестрым мхом, и резко затормозил, остановившись у той самой станции, с которой отправился.

Стэлла ждала нас на платформе. Теперь она была без красной фуражки, и ее черные косы висели до пояса.

— Куда мы пойдем? — спросила она. — В цирк? В зоопарк? На фуникулер?

— На фуникулер, но сначала зайдем за Антониной, — предложил я.

— Это дочка художника?

— Нет, его внучка.

Мы пошли по аллее. За нами шли любопытные. Стэлла болтала безумолку. Возле киоска с пирожками она спросила:

— Вы есть хотите?

— Не хотим, мы уже рубали, — ответил Фрол.

— Не-ет, почему ты так странно говоришь? — удивилась Стэлла. — Раньше сказал «будь спок», а теперь — «рубали». Я тоже один раз пришла в школу и сказала учительнице: «Вот я и притошала». Она рассердилась и спросила, знаю ли я, что такое настоящий русский язык, и читала ли я Пушкина. И правда, ведь Пушкин никогда бы не написал такие слова. У него все слова — как музыка, правда?

Против этого нечего было возразить, и у Фрола даже губа затряслась, а веснушки побагровели. Раньше не раз ему говорили Кудряшов и Протасов, что если он думает, что «будь спок», «рубали» и другие словечки — «флотский язык», то он глубоко ошибается, таким языком не разговаривают на флоте, но Фрол пропускал замечания мимо ушей. И вдруг девочка, встретившаяся в первый раз, заметила то же самое.

Троллейбус был переполнен, и кондукторша не хотела открывать дверь, но нам она все же открыла. Когда мы вошли, какой-то сердитый старик спорил с женщиной в шляпе с перьями. Заметив нас, они перестали ссориться и заулыбались. Взглянув в окно, я увидел, что троллейбус поднимается вверх по крутому подъему. Мы вышли на остановке у Дома офицера и пошли в гору, все в гору, мимо домиков с галерейками, пока не увидели знакомый белый дом в глубине двора. Тут было очень тихо. Я позвонил.

Тамара, отворив дверь, сначала, также как и Мираб, не узнала меня, но потом всплеснула руками, заахала и сказала, чтобы я заходил.

— А это твои друзья?

— Это Фрол и Стэлла. Им тоже можно?

— Конечно, можно. Вот Антонина обрадуется!

Мы поднялись по лестнице, прошли по стеклянной галерее и оказались в знакомой комнате. Окна были раскрыты настежь. Старого художника не было. Кресло стояло пустое.

— Антонина! — позвала Тамара. — Иди, скорей, посмотри, кто пришел.

— Никита! — воскликнула Антонина. — Да ты моряк! Ты давно приехал?

— Зимой.

— И не приходил?

— Нас не отпускали. Но теперь мы пришли за тобой. Это Фрол, это Стэлла. Идем на фуникулер.

Стэлла крепко пожала руку Антонине, а Фрол никак не мог сдернуть перчатку и так и поздоровался — рукой, наполовину застрявшей в перчатке.

— Я сейчас спрошу дедушку, — сказала Антонина. — Он, наверное, захочет с тобой поздороваться. Он часто тебя вспоминает. Дедушка очень болен, — прошептала

она, оглянувшись на занавес, — и почти не встает с постели.

Она ушла, а мы принялись рассматривать картины.

— Ты на рояле играешь? — спросила Стэлла Антонину, когда та вернулась.

— Играю.

— А ты знаешь «Цицинатэллу»?

— Нет, не знаю.

— Когда-нибудь я тебя научу. Хочешь?

— Конечно, хочу. Пойдем, Никита, к дедушке.

Я вошел в соседнюю комнату. Шалва Христович лежал на тахте. Он протянул мне руку:

— Здравствуй, Никита. Я рад, что ты приехал! — и поцеловал меня.

Как страшно он изменился! Щеки запали, шея под вырезом белой сорочки стала худой и морщинистой.

— Как мама? — спросил он. — Ты давно ее не видал? Антонина сказала, что ты моряк. Жаль, я не вижу твою форму.

Мне стало его жалко до слез. Я поднял глаза и увидел картину — отец обнимает дядю Серго на балконе. Подумать только, что всего несколько месяцев назад они оба были живы и веселы и гонялись здесь, в этой комнате, друг за другом, изображая охотника и медведя!

— Ну что ж, погуляйте. Антонине надо повеселиться. Она, как придет из школы, все со мной да со мной. Ей скучно с больным стариком. Ты почаще заходи к нам, Никита. И приводи друзей. Да пусть они смеются громче, мне это только приятно.

Антонина взяла жакет и сказала Тамаре, что мы уходим.

Мы спустились по лестнице, перешли двор и очутились в переулке, по которому шли два тяжело груженных корзинами ослика.

Фрол и Стэлла пошли вперед, и Стэлла показывала Фролу дворец и парк на высокой горе, к которой мы направлялись. Гора называлась Мтацминда. Кусты и деревья были словно усыпаны розовой пылью.

Антонина шла рядом со мной, наморщив лоб и глядя себе под ноги.

— Дедушке все хуже и хуже, — сказала она. — Доктор говорит — плохо с сердцем... А ты знаешь, Никита, — продолжала она, — ведь извещения о папе не было. Один

моряк, приехавший к соседям, сказал Тамаре. А дед услышал. Он крикнул: «Тамара, поверни выключатель! Почему так темно?» А в это время в комнате горели все лампы... Пришел врач и сказал: «Он ослеп...»

Мы вышли к скверу, за которым белел вокзал с широкими окнами.

— Сюда, — пригласила Стэлла, отворяя тяжелую дверь.

Мы вошли. В полутьме узкая лестница поднималась к окошечку кассы; слева, огороженный перилами, лежал толстый стальной канат. Вертушка, отщелкав, пропустила нас на платформу. Откуда-то сверху бесшумно спустился синий вагончик со скамейками, расположенными ступеньками. Зазвенел звонок. Вагончик медленно пополз вверх, прямо в узкое отверстие в стене. Стало светло, и я увидел, что мы ползем по отвесной горе, заросшей кустарником. Цветы, от которых вся гора казалась ослепительно желтой, росли так близко, что их можно было достать рукой. Полосатая церковь с остроконечной крышей, которую я не раз видел издали, теперь оказалась рядом. За каменной оградой белели могильные памятники.

— Видите?—спросила Стэлла. — Тут похоронен Грибоедов. Его, убитого, из Тегерана везли на арбе, и Пушкин встретил арбу на дороге. «Кого везете?» спросил он. «Грибоеда», ответили аробщики... Страшно, не правда ли?

Встречный вагончик разъехался с нашим.

И я и Фрол в первый раз в жизни поднимались на фуникулере. Мы видели множество домов, желтых, белых и серых, теснившихся друг к другу до самой реки, коричневой лентой рассекавшей город на две части. Вдруг вагончик остановился.

— Приехали!

Мы поспешили выйти и очутились на широкой утрамбованной площадке. Стэлла предложила нам пойти посмотреть на город.

— Знаете оперный театр? Вот он! — И она показала нам здание, словно сложенное из кубиков и увенчанное пестрыми башенками. — А направо, глядите, над Курой, Метехский замок—ему тысяча лет. А за рекой, видите, ходят поезда? Это вокзал. Оттуда можно поехать в Баку: и к Черному морю.

Было чудесно разглядывать огромный город, лежащий как на ладони!

— Пойдемте посмотрим парк, — прервала молчание Стэлла. — Гора была лысая, совсем лысая, деревья перед войной посадили.

Заросли невысокого кустарника были прорезаны посыпанными желтым песком дорожками. Мы подошли к киоску.

— Хотите воды с сиропом? — предложил Фрол.

— Мы сами заплатим, — поторопилась заметить Стэлла.

— У нас деньги есть, — поспешно добавила Антонина.

— Вот еще! Зачем нужно, чтобы вы платили? — важно сказал Фрол. — Воды с сиропом, пожалуйста. С двойным, — добавил он щедро.

Когда он расстегнул бушлат, чтобы достать деньги, Стэлла заметила его медали и орден.

— Не-ет! — удивилась она. — Что это у тебя?

Продавщица тоже с уважением взглянула на Фрола.

— С каким сиропом хотите, товарищ командир? — спросила она очень вежливо.

— Вот с этим, зеленым, — показала Антонина.

— Это фейхоа, — пояснила продавщица. — Очень вкусно.

И мы выпили по стакану бьющей в нос зеленой воды, пахнувшей одновременно клубникой и ананасом.

— Еще по одному? — спросил Фрол.

Переглянувшись, мы молчаливо согласились и выпили по второму стакану.

Продавщица отсчитала сдачу, и мы принялись бродить по дорожкам, среди молодого леса. То и дело вдали появлялись мосты, висящие над рекой, и белые здания на холмах. Мы увидели высокие горы, покрытые снегом, уходящие в облака. Снизу, из города, этих гор не было видно.

Вдруг Стэлла, хлопнув меня по плечу, побежала. Я оглянулся — прохожих не было — и пустился за ней. Антонина пролетела, как вихрь, с развевающимися светлыми волосами, преследуемая Фролом. И мы гонялись по парку, пока Стэлла чуть не сбила с ног важного старика, оторопевшего от изумления. Мы извинились и пошли через песчаную площадку к вокзалу, где уже ждал нас синий вагончик.

В сквере мы ели мороженое. Нас угощали девочки, заявившие, что если мы не примем их угощения, они с нами рассорятся. Фрол совсем разошелся. Он не сказал больше ни одного грубого слова, не повторил ни разу «будь спок» и «рубали» и изо всех сил старался понравиться Стэлле. Но ведь он говорил, что для моряка подружиться с девчонкой так же позорно, как кошке дружить с мышонком! А теперь — откуда взялось! — он не унимаясь рассказывал, как жил на флоте, ходил на катерах в море и два раза тонул, но его во-время вылавливали матросы. Он даже на этот раз не «травил», то есть не рассказывал небылиц, но все его рассказы были столь необычайны, что Стэлла то и дело повторяла свое «не-ет».

Антонина тоже развеселилась, и мы вспоминали, как испугались самолетов, которые и не думали нас бомбить. Мы смеялись, вспомнив, как забрались в канаву, и совсем забыли, что тогда нам было не до смеха.

И на всех нас напало смешливое настроение. Фрол споткнулся и чуть не упал. Мы хохотали. Пробежал куцый пес. «Не-ет! — кричала Стэлла. — Вы посмотрите только, какой он смешной!» Антонина показывала пальцем на ослика, лягавшего какого-то мальчугана, — и мы умирали со смеху. Она откидывала русые волосы и оглядывалась — над чем бы еще посмеяться.

Фрол принялся изображать, как Авдеенко драит палубу, как Протасов по утрам стягивает с нас простыни, чтобы мы поскорее вставали, и в заключение мы разыграли с ним сцену дуэли из «Евгения Онегина».

Часы на башне пробили шесть.

— Пора домой, — спохватилась Антонина.

— Не-ет, домой? — удивилась Стэлла. — А я думаю, мы пойдем в зоопарк.

— Нам пора в училище, — сказал я огорченно.

Действительно, кончался срок наших увольнительных.

— Но вы в другой раз придете? Приходи, Антонина, вот тебе адрес. Мы будем подругами, правда? И вы приходите, мальчики. Вы ведь видели моего папку? Он у меня добрый и всегда говорит: «Пусть твои друзья приходят, Стэлла. Твои друзья — мои друзья».

В училище мы пришли как раз во-время и сдали свои увольнительные. Солнце садилось за горы, и камни во дворе порозовели.

Глава одиннадцатая

МЫ — КОМСОМОЛЬЦЫ!

День, которого я так долго ждал, наконец наступил. Меня, Фрола, Бунчикова, Илюшу принимают в комсомол. До сих пор у нас в классе комсомольцами были лишь Девяткин и Забегалов. Начальник политотдела училища говорит о том, что комсомольцы должны быть примером для всех остальных, должны их вести за собой, помогать отстающим товарищам, добиваться, чтобы наш старший класс был флагманским классом в училище.

Я очень волнуюсь. Обстановка такая торжественная.

Рассказываю все, что могу рассказать о себе: как учился, был пионером, ездил с отцом на «Ладогу», мечтал стать моряком; как узнал, что отца нет на свеге, стал проситься на катер, хотел воевать, отомстить за отца, — но мне отказали...

— Обещаю ничем не запятнать высокого звания комсомольца, — говорю я, и мой голос дрожит, но на душе так легко и так радостно!

Бедный Бунчиков тоже так волновался, что не мог выговорить ни слова. Но за него горячо говорили Юра и Кудряшов, и Вова от счастья заморгал, убедившись, что его поняли и без слов.

Прием в комсомол Илюши Поприкашвили тоже не вызвал ни у кого возражений. Но вот занялись Фролом. Выслушали его биографию.

— Вам придется, Живцов, — сказал Кудряшов, — над собой поработать серьезно. Вы забываете часто, что вы воспитанник, свысока говорите не только с товарищами, но даже с начальниками, пытаетесь вступать в пререкания. Забываете, что, придя с действующего флота, вы должны показывать пример дисциплинированности и успеваемости. Наш класс—старший, по нему должно равняться училище. А могут ли другие классы равняться на нас?

— Нет, — сказал Юра, — класс сбивается с курса.

— Хорошо сказано. А почему сбивается с курса?

— Потому что хватаем двойки, — сказал Фрол мрачно.

— Вот именно! — подхватил Кудряшов. — А разве не в ваших силах от них избавиться?

— Трудновато, — мотнул Фрол головой.

— Трудновато? И это Живцов говорит? Вы лучше остальных знаете, что на корабле не может быть плохих специалистов. Представьте, что будет, если в бою человек плохо управляет механизмом. Он погубит корабль и товарищей. И это только потому, что он был нерадив, когда его обучали... А в классе? Отстающий губит репутацию класса и подводит товарищей. Вот вы, Живцов, на флоте просили товарищей помочь вам освоить специальность, и они помогли вам. Почему же в училище вам стыдно попросить помощи у воспитателя, у товарища по классу? Это ложный стыд.

Фрол густо покраснел: Кудряшов попал в самую точку.

— Вы, я надеюсь, меня поймете. Мне тоже тяжело было расставаться с действующим флотом, с катером, на котором я воевал, с товарищами, которые вместе со мной воевали. Мой катер был первым в соединении. Скажу вам правду: вначале я подал рапорт по команде, просил вернуть меня в действующий флот. Теперь я взял свой рапорт обратно. Я уверен, что наша комсомольская организация поведет за собой класс, так же как в бою вели за собой в атаку бойцов коммунисты. И с помощью комсомола мы добьемся: наш класс будет первым в училище! И добьемся честным путем. Успехи, достигнутые подсказками, списыванием, обманом учителей, воспитателей, — дешевые, позорные успехи. Я уверен, что комсомол будет непримиримым врагом всего этого. Только настоящая комсомольская дружба, когда один помогает другому, поддерживает отстающего, приведет нас к победе!

Взял слово Юра:

— Давайте решим сегодня же: если у тебя кто просит списать — не давай. Нахимовец должен быть честным! И если тебя под бок на уроке толкают: подкажи, мол, — не подсказывай, а лучше помоги урок выучить, помоги задачу решить. Вот, Фрол знает, будешь ты изучать, скажем, пушку. Тебе раз подскажут два под-

скажут, списать что-нибудь дадут, а потом на корабле приставят тебя к этой самой пушке, и ты вдруг увидишь, что ничего в ней не понимаешь. Что тогда будет, а?

— Хорошего мало, — изрек Фрол. — Уж если ты в пушке не разбираешься, или, скажем, в автомате, или в рулевом управлении — грош тебе цена. Словом, я даю обещание: товарищеской помощью не гнушаться.

— Вот и отлично! — одобрил Кудряшов.

Фрола приняли в комсомол. Но сколько ему пришлось вытерпеть!

* * *

После собрания мы долго не могли успокоиться. Фрол в кубрике ораторствовал:

— А ведь Кудряшову в самом деле обидно! Его «охотник» первейшим был, а тут какие-то шкертики его класс опережают. Ну, я больше двоек хватать не буду, а другие? Авдеенко, например?

— Я не виноват, ко мне учителя придираются.

— К вам придираются?! — возмутился Протасов. — Отец прислал в училище ваши табели и тетради. Вы отлично учились дома.

— Вот видишь! — накинулся на Авдеенко Фрол. — Дома на пятерки учился, а здесь класс портишь?

— Ну что ты ко мне пристал? Отстань!

— Ох, не получится из тебя моряка!

— Получится! — возразил Фролу Протасов.

Глава двенадцатая

БЕЗ ПОГОН И БЕЗ ЛЕНТОЧКИ

В субботу в училище зашел незнакомый матрос и принес записку. Товарищ Фрола по катеру лежал в морском госпитале на улице Шио Читадзе. В воскресенье Фрол пошел к другу. Вернулся он мрачный.

— Ему ногу отрезали, — сказал он. — Это тот Гуськов, о котором Русьев писал, моторист. Усыновителя в голову ранило, Фокия Павловича, боцмана, — в грудь, а Гуськову раздробило всю ногу. Парень теперь сам не свой. В двадцать три года без ноги остаться, ты понимаешь? И ты знаешь, кого я там встретил, в госпитале? Стэллу!

— Стэллу? А она что, больна?

— Да нет. Раненым книги читает. Их там много, девчонок; прямо из школы приходят в госпиталь, помогают. Она тебе просила привет передать.

* * *

В понедельник капитан второго ранга Горич сказал:

— Могу признаться, что меня радует ваш класс. И я тоже хочу вас порадовать: лучшие из вас поедут летом на флот.

Мы готовы были расцеловать его.

— Я понимаю вашу радость. Море для моряка должно стать родным домом. Так давайте же войдем хозяевами в этот дом, а не временными жильцами. До завтра, друзья!

Если бы он знал, что еще сегодня один из нас свергнет класс в пропасть!

Фрол исчез из училища, не испросив разрешения. Разрешение спрашивать было бесполезно — он знал, что до воскресенья увольнения не будет. Старшина младшего класса проходил возле рынка и наткнулся на Фрола, он продавал свой бушлат — старый, в котором пришел с флота (он умудрился каким-то образом его сохранить). Фрол вступил в пререкания со старшиной и наговорил ему дерзостей. Старшина доложил начальству.

Класс притих, словно перед грозой. У командира роты даже усы опустились. А мне показалось, что что-то тяжелое, мутное навалилось откуда-то сверху и нас придавило.

— Что ты наделал, Фрол? — сказал я. — Как ты мог это сделать? Ты забыл, что ты нахимовец, комсомолец...

Фрол посмотрел на меня диким взглядом. Он был взъерошен, взбудоражен, и лицо его было все в красных пятнах.

— Нашел чем пугать меня — карцером! — выкрикнул он, очевидно, вспоминая разговор с задержавшим его старшиной. — Меня пугать карцером! — повторил Фрол. — Да мне «губа» — дом родной. Кто на гауптвахте не сидел, тот не моряк! Так я ему и сказал!

— А кто в гауптвахту влюблен, тот плохой комсомолец, — выступив вперед, сказал Забегалов. — Ты, Живцов, замарал наш класс, позоришь комсомольскую организацию, в которую тебя только что приняли...

— Ах, я не нравлюсь вам? — крикнул Фрол. — Вот возьму и уйду на флот!

— А кто тебя, Живцов, пустит?

— Сам уйду!

— Прекрасно, — заметил Юра. — Собираешься совершить дезертирство...

— Это на действующий-то флот — дезертирство?

— А что бы про тебя сказали, если бы ты ни с того ни с сего ушел из своего соединения?

— Ну, из соединения бы я не ушел!

— А у нас — не морская часть? И ты — не первый в Советском Союзе нахимовец?

Фрол смутился.

— А ты что обещал, когда тебя в комсомол принимали? Прекратить пререкания со старшими, пример всему классу показывать... Нечего сказать, хороший пример показал! Тебя все уважали, любили...

— Скажешь тоже, «любили»!

— Да, и до сих пор любят! — выкрикнул Забегалов. — Мы все хотим, чтобы ты был не только Живцовым, который спас катер и командира, но и таким комсомольцем, с которого все бы брали пример. А теперь...

— Живцов, к командиру роты! — позвал Протасов.

* * *

Фрол и подумать не мог, что его ждет наказание гораздо более тяжкое, нежели карцер. Командир роты спросил, на что ему нужны были деньги. Фрол упорно отмалчивался. Это отягчало вину. Командир роты доложил адмиралу и на вечерней поверке, огорченный и хмурый, прочел приказ по училищу:

— «Воспитанник Фрол Живцов опозорил честь нахимовца. За самовольную отлучку, попытку продать бушлат и грубость, допущенную в разговоре с начальником, лишить Фрола Живцова права носить погоны и ленточку нахимовца на один месяц».

Фрол сразу побледнел, только уши его горели.

— Ножницы! — приказал Сурков.

Протасов подал ему ножницы.

Фрол, ставший бледнее полотна, не успел опомниться, как погоны с него были срезаны.

— Вольно! Разойдись! —скомандовал командир роты.

Фрол, понуря голову, побрел в кубрик.

Вечером, лежа на койке, он читал письмо Русьева. Я помнил, какими словами заканчивалось письмо: «Учись, Фрол, учись так, чтобы не осрамить нас. Будь в училище славным гвардейцем! Вперед, на полный!»

Теперь же Фрол скомандовал себе: «Все машины — стоп!»

— Фрол... — подошел я к нему.

Он не ответил.

— Фрол! — повторил я.

Руки его чуть дрогнули, но головы он не поднял.

Тогда я легонько тронул его за плечо.

— Отстаньте от меня все!

— Это я, Фрол.

— Уходи, Рындин! — пробурчал Фрол в подушку.

— Фрол, — не отставал я, — я твой друг и товарищ.

— Кит! Я бы лучше сто раз отсидел на гауптвахте.

— Понимаю!

— Правду говоришь?

— На что тебе нужны были деньги, Фрол?

— Ты никому не скажешь?

— Нет.

— Дай честное флотское.

Я дал слово.

— Помнишь, я в госпитале был? Гуськов лежит и горюет. «Без ноги, — говорит, — какой я боец? На флот никогда не вернусь, на свой катерок!» Отвернулся от меня к стенке — вижу, ему свет не мил. А мы с ним вместе бывало птиц певчих приманивали. «А что, — подумал я, — если птицу ему принесу?» Тут один старик дрессированного скворца продает.

— Ты скворца подарить хотел?

— Думал, может Гуськову полегче станет.

— И для этого ты без спроса отлучился из училища, пошел продавать бушлат? Да почему же ты денег не попросил у товарищей?

Фрол только головой мотнул.

— И почему ты не сказал командиру роты, на что тебе были нужны деньги?

— Потому, что я в снисхождении не нуждаюсь! — вспыхнул Фрол.

— Снисхождения бы ты и не получил, Фрол. Но ведь Сурков мог другое подумать...

— Ну и пусть думает!

— Вот опять ты ершишься. Зачем? Я, как и ты, комсомолец. Я бы ничего не скрывал.

— Меня и из комсомола исключат!

— Будешь правду скрывать — исключат.

— Ты думаешь?

— Да.

— Значит, все рассказать, по-твоему?

— Обязательно.

* * *

На другой день на комсомольском собрании Фрол услышал много суровых слов, но почувствовал, что товарищи, осуждая его, все же не отвернулись от него. Фрол споткнулся — и его поддержали. Кудряшов сказал: он надеется, что Живцов не совершит больше проступков.

Когда Фрола спросили, на что ему нужны были деньги, он чистосердечно рассказал о скворце и матросе.

И на скворца не было сделано скидки. Фрол заслужил строгий выговор. И он обещал, что никогда больше не совершит проступков, позорящих звание нахимовца и комсомольца.

Забегалов внес предложение: купить скворца сообща и отнести в госпиталь. Это принято было единогласно.

— Вот видите, — сказал Кудряшов Фролу, — вам нужно переломить свой характер. Обратились бы сразу к товарищам, к воспитателям — и не пришлось бы отчитываться в своих тяжелых проступках, вы не совершили бы их. Понимаете это?

Вечером, в кубрике, я подошел к другу, лежавшему на своей верхней койке:

— Фролушка!

— А?

— Ты спишь?

— Нет. Я думаю.

— О чем?

— Как о чем? О том, что я вчера на всех зол был, у меня вот тут (он стукнул себя по груди) все кипело, а сегодня полегчало как будто. И еще знаешь о чем, Кит, я думаю?

— Ну, о чем?

— О том, что ты, Кит, мой самый лучший друг!
И он спрыгнул вниз и крепко меня обнял...

Часть третья

С НАХИМОВСКИМ ПРИВЕТОМ

Глава первая

ПИСЬМО НА ФЛОТ

— Веселенькая жизнь! — бурчал Фрол, с завистью поглядывая на мои погончики.

Он бы с удовольствием отсидел месяц в карцере, чтобы не появляться в классе и в столовой без погон и без ленточки. Фролу казалось: каждый собирается напомнить, что он одет не по форме. Но нахимовцы упорно делали вид, что ничего не замечают. И преподаватели делали вид, будто не замечают, и хвалили Фрола, если он хорошо отвечал урок. Один только Бунчиков, когда Фрол с ним заговаривал, краснел от подбородка до самых оттопыренных ушек. Вова старался не замечать, что у Фрола на плечах нет погон, а на бескозырке—ленточки, но Вовины глаза, как назло, останавливались именно на плечах Фрола и на его бескозырке.

До конца месяца было далеко, когда мы отнесли скворца в госпиталь. Вся палата собралась поглядеть на скворца, а Гуськов посадил птицу на грудь и говорил: «Скворушка! Скворушка!» Скворец смотрел на него похожими на черные кнопки глазами и вдруг, к общему

удовольствию, крикнул на всю палату: «Полундра!» Раненые смеялись до слез, улыбнулся и моторист — по словам соседей, за всю болезнь в первый раз. Он спрашивал нас, где Фрол. «Дежурит», отвечали мы. И Гуськов просил передать Фролу большое флотское спасибо.

Когда мы вернулись в училище, Фрол расстроился. Ему было больно до слез, что не он отнес скворца в госпиталь.

* * *

— Ты знаешь, — сообщил мне Фрол через несколько дней, — я от Стэллы письмо получил. Обидное.

— Да ну? Покажи.

Очень крупно и четко, без единой помарки, Стэлла писала Фролу:

«Я узнала, что ты заходил к нам, Фрол, и прочла твою записку. Ну и неграмотно же ты пишешь! А тут к папе приходил один офицер — он служит в вашем училище, — и я спросила его о тебе. Он сказал, что ты боевой моряк, но мало дисциплинирован, получаешь тройки, а теперь тебя наказали за самовольную отлучку и на целый месяц сняли с тебя погоны и ленточку.

Я не знаю, что это значит, но, наверное, большое наказание. Я хотела с тобой дружить, но поняла, что ты заходил ко мне, когда был в самовольной отлучке, а это очень нехорошо. Ты приходи, когда у тебя будут пятерки и тебя отпустят...

Папа прочитал письмо и просил приписать, что ты, конечно, придешь и он будет рад видеть тебя и Никиту. До свиданья. Твой друг Стэлла».

Многие буквы замаслились и стерлись — наверное, Фрол читал письмо много раз.

— Хвастается своими пятерками! — сказал Фрол сердито. — Я ей покажу! Я приду к ней и суну ей в нос пятерки. Одни пятерки и ни одной тройки!

— У тебя же их нет...

— Будут! — ударил Фрол кулаком по тумбочке. — И пятерки, и погоны, и ленточка! Все будет, будь спо... спокоен будь, Кит. И на море летом поедem. Ты знаешь, чем море пахнет?

— Ничем, по-моему.

— Врешь, славно пахнет! Вот не скажу тебе чем — не то рыбой, не то дегтем, стружками, а хорошо пахнет... Эх, Кит! Я во сне катер увидеть хочу, да не получается. Лягу на койку, про катер думаю, а засну — вижу другое. Всякую чепуху вижу, Кит! Будто тащат меня на гауптвахту: кто—не пойму, а только за ухо дергает и все приговаривает: «Не нарушай дисциплину, не нарушай дисциплину!» Проснусь в темноте и радуюсь: не было этого! А засну — опять начинается. Будто из училища выпроваживают. Сняли с меня все флотское, распахнул Кудряшов дверь: «Иди, Живцов, на четыре стороны!» А куда я пойду? На катера? Они ведь гвардейцы. У них ленточки — черные с желтым, на два кабельтова видно. а у меня... — И Фрол с ожесточением нахлобучил на уши потерявшую весь шик бескозырку.

— Смирно! — скомандовал Вова Бунчиков: он дневал по кубрику.

Мы вскочили. В кубрик вошел адмирал, совершавший вечерний обход. Мы привыкли к посещениям начальника. То он появлялся во дворе во время гимнастики; то приходил в столовую и спрашивал, сыты ли мы и всем ли довольны; то заходил в класс на урок или появлялся в коридоре на перемене. А ночью, проснувшись, я видел адмирала в кубрике. Он проходил между рядами коек и старался ступать неслышно, чтобы не нарушить наш сон. Адмирал был строг к нам в тех случаях, когда мы были виноваты, но зато и за нас стоял горой. Все знали, что он «распушил» кока, приготовившего невкусный обед, выгнал кладовщика, пытавшегося украсть от каждой порции несколько граммов масла, отдал под суд гардеробщика, приносившего в училище папиросы и в обмен выманивавшего сахар и белый хлеб. «Всякого, кто мне будет мешать воспитывать будущих моряков, — говорилось в приказе, — я безжалостно удалю из училища».

И сейчас адмирал проходил между койками, приподнимал одеяла и проверял, чисто ли постельное белье. Посмотрев, он ловко и красиво, одним неуловимым и, как видно, давно привычным движением застилал койку. Пройдя мимо нас, он, как все, сделал вид, будто Фрол не наказан и ничем не отличается от других. Похвалив Бунчикову за отличное состояние кубрика, отчего Вова отчаянно заморгал, адмирал вышел.

— Как ты думаешь, Кит, — спросил Фрол озабоченно: — адмирал написал на катера?

— Нет, не написал.

— А ты откуда знаешь?

— Адмирал бы прямо сказал: «Напишу».

— А командир роты?

— Ну, Сурков не напишет.

— А Кудряшов?

— Нет, Фрол, я думаю, и Кудряшов не написал.

— Ну, тогда Протасов настрочит. Его ведь вздраил за меня адмирал. А когда человека дряют, он на всех злится.

— И все же Протасов хороший.

— А ты откуда знаешь, хороший он или нет? Пойди-ка лучше спроси.

— Ну как я спрошу, Фролушка?

— Как, как! «Товарищ старшина, разрешите обратиться?» А когда разрешит, начинай: «Написали вы про Живцова? И если не написали, то, может, не надо, а?»

Я решил выполнить просьбу друга.

Я знал, где найти Протасова, и направился в пустой класс.

Старшина сидел за дальней партой и читал только что полученное письмо.

— Товарищ старшина!

— Протасов не откликнулся.

— Товарищ старшина, — повторил я громче, — разрешите обратиться?

Старшина поднял голову.

— Я вас слушаю, Рындин.

— Скажите, пожалуйста, вы не написали про Живцова на флот?

Он уставился на меня непонимающими глазами.

— Живцов не хочет, чтобы знали на катерах. Они ведь гвардейцы теперь, ему стыдно. А кроме них... кроме них, у него никого нет на свете.

— У кого никого нет на свете? — переспросил старшина странным голосом.

— Да у Живцова же — ни отца, ни матери! А старшего лейтенанта Русьева, усыновителя, фашисты ранили, в госпитале лежит. Если не написали, товарищ старшина, то может, не надо, а?

— Ах, вот вы про что! — понял Протасов. — Вы друзья с Живцовым?

— Еще с катеров!

— Почему вы решили, что я стану писать о Живцове?

— Да как же? Мы боялись — напишете.

— Знаете, Рындин, — сказал старшина, — я уверен, гвардейцы хотят узнать о Живцове более приятные вещи.

— Так не написали?

— Нет. Зачем? Я убежден, что это больше не повторится.

— Спасибо. Вот большое спасибо!

— За что благодарите? — удивился старшина. — Живцов достаточно наказан.

Он поднялся из-за парты, и лицо его вдруг прояснилось.

— Славные вы ребята! — сказал он удивительно теплым голосом. — Идите, Рындин, скажите Живцову: я не сомневаюсь, он будет отличным нахимовцем.

Возвращаясь в кубрик, я думал: «Живет старшина с нами рядом, не отходит от нас ни на шаг, он везде с нами — в кубрике, в классе, в умывальной, а мы долгое время не знали, что его зовут Павлом. И не знаем, есть ли у него отец, мать, сестры, братья. Мы с Фролом — друзья, а у старшины нет друзей. Он самый молодой из старшин в училище. А его боевые товарищи так далеко!»

Я сообщил Фролу:

— Не написал.

— Правду говоришь?

— Честное морское! «Когда Живцов заслужит, — говорит, — напишу. А плохое писать не стану. Зачем, — говорит, — я буду плохое писать?»

— Вот это здорово! — обрадовался Фрол. — Так тебе и сказал?

— Точно так и сказал и добавил: «Я не сомневаюсь, он будет отличным нахимовцем».

Фрол помолчал.

— Что ж? Будем нажимать. А пока знаешь что? Давай сочиним письмо. Только пиши ты, а то я ошибок наделаю.

— Кому письмо?

— На катера, капитану первого ранга.

Я взял перо и чернила и придвинул тумбочку к койке. Фрол прошелся по кубрику.

— Пиши, Кит, — начал он диктовать: «Дорогой товарищ капитан первого ранга! Пишут вам нахимовцы Рындин и Живцов». Написал? «Получили от вас письмо и радуемся, что вы гвардейцы, и скоро будете освобождать Севастополь». Написал? Погоди... — Фрол потер лоб.

— Давай напишем, что нам в училище нравится, — предложил я.

— Пиши: «Нам сначала в училище не понравилось, а теперь нравится. И учиться вначале было скучно и тяжело, а теперь стало легче и веселее». Написал? Валяй дальше: «Рындин учится хорошо, а Живцов пока плохо».

— Что ты, Фрол!

— Пиши, говорю! «Живцов дает честное гвардейское, что он нажмет и будет учиться хорошо и даже отлично». — Он положил руку мне на плечо. — А теперь пиши: «У Рындина с дисциплиной хорошо, а у Живцова неважно. Мы сначала курили, но в училище не разрешают курить, и нас вызывали к адмиралу, который сказал, что, если будем курить, из нас «морских волков» не получится, а вырастут дохленькие человечки. А потом Живцов...» — Он передохнул. — «...Живцов совершил такой проступок, что с него сняли погоны и ленточку на целый месяц. Это самое большое наказание, которое можно придумать. Такого наказания у нас на катерах нет. И сидеть на гауптвахте куда легче. Но Живцов дает честное флотское, что, дорогой товарищ капитан первого ранга, больше с ним ничего такого никогда не случится. И на каникулах мы приедем в гости, если вы позовете и у нас все будет на «отлично».

Выпалив все это одним залпом, Фрол пробурчал:

— Ты пиши чище, чище! На катера пишешь!

— Да ведь ты, Фрол, торопишься.

— Я тороплюсь, чтобы не позабыть, а тебе торопиться незачем.

Фрол долго соображал, уставившись мне в переносицу.

— Дописывай: «Желаем вам поскорее перебить всех фашистов. С нахимовским приветом Никита Рындин, Фрол Живцов».

«Нахимовский привет» я одобрил. Фрол подписался четко и огромными буквами.

— Будем посылать? — спросил я.

— Глупый вопрос!

— И про тебя, и про ленточку, про погоны?

— Почему нет? Подписывай.

— Но ведь ты сам боялся, что адмирал напишет на флот... Или Кудряшов... Зачем я ходил к Протасову?

— Чудак, Кит! Как ты не понимаешь? Когда другие про тебя пишут — одно, а когда ты сам про себя — другое. Вот, знаешь, — продолжал Фрол, — я раз зимою дома большущую миску разгрохал. Хотел на кота свалить, а потом взял да признался. Мама ругать не стала, только сказала: «Мне миску жалко, но ты, Фрол, молодечина». Это тебе понятно?

Он запечатал письмо в конверт. Я надписал адрес.

— Отнеси. Хотел бы я знать, где оно их застанет? В Крыму?..

Я отнес письмо в канцелярию.

Глава вторая

ПОЧЕМУ ГОРЕВАЛ СТАРШИНА

На первый взгляд старшина был такой, как всегда: аккуратный, подтянутый, требовательный; попрежнему сидел на уроках, по вечерам помогал отстающим или читал. Но на вопросы вдруг стал отвечать невпопад. Что-то случилось повидимому. Старшина горевал. Почему горевал старшина, вскоре выяснилось: однажды вечером Кудряшов вошел в кубрик с свежим номером «Красного черноморца». Протасова не было: он был в городе.

— Часто вы огорчаете воспитателей необдуманными проступками, — сказал Кудряшов, — не задумываясь, что у воспитателя тоже могут быть свои горести и заботы. Сегодня я говорю о Протасове. Большое у него горе...

Воспитатель развернул «Черноморца».

— «Перед посадкой на мотоботы, когда батальон шел в десант, — стал читать Кудряшов, — командир зачитал куниковцам письмо:

«Товарищ командир! Я бабушка Павла Протасова, который два с половиной года не был дома и не знает, что мать его, Марью Дмитриевну расстреляли фашисты, брата среднего, Бориса, угнали в Германию, отца гитлеровцы в тюрьму увезли. И Павлу больно будет все это

узнать, поэтому и прошу вас, как родного отца, сообщите ему это сами, как он потерял мать и брата своего навсегда. С почтением Ольга Протасова».

Куниковцы поклялись, — продолжал читать Кудряшов, — жестоко отомстить за семью своего товарища и написали ему (он полгода как выбыл из батальона), что в Крыму они будут бить гитлеровцев еще беспощаднее, чем били их на Малой земле».

Старшина знает, — сказал Кудряшов, — он получил письмо. Теперь все, что у него есть на свете, вся его семья — вы. Поберегите и поддержите его, ребята!

Перед уроком математики Протасов хотел передвинуть тяжелую доску. К нему подскочил Авдеенко:

— Позвольте я помогу вам, товарищ старшина.

Инженер-майор Бурковский, когда вызванные к доске Фрол и Поприкашвили решили задачи, не мямля и не потирая под носом мелом, удивился:

— Что с вами сделалось, не пойму! Вы внимательны, как никогда.

Перед уроком Горича целая процессия двинулась за Протасовым в морской кабинет, чтобы помочь принести модели кораблей для урока.

После уроков Фрол попросил разрешения сделать приборку. И палуба в классе, парты, стекла были натерты до блеска.

После ужина, когда старшина достал бритву, на тумбочке уже стояла принесенная с камбуза горячая вода. Когда Протасов, как всегда, сел за книгу, аккуратно обернутую в газету, Фрол попросил:

— Может, вы почитаете нам?

— Почитаю, если хотите, — согласился Протасов. Он положил книгу на стол и начал: — «Все выше и выше поднималось небо, шире расплывалась заря, белее становилось матовое серебро росы, безжизненнее становился серп месяца, звучнее — лес, люди начинали подниматься, и на барском конном дворе чаще и чаще слышалось фырманье, возня по соломе и даже сердитое визгливое ржанье столпившихся и повздоривших за что-то лошадей...»

В этот вечер я услышал историю бедной лошади Холстомера. Когда я сам читал книги, я обычно старался скорее добраться до сути, не обращая внимания на описания природы. Теперь я понял, что книги нельзя проглатывать, надо вникать в каждое слово.

— «...Солнце уже выбралось выше леса и ярко блестяло на траве и извилах реки,—читал Протасов. — Роса обсыхала и собиралась каплями; кое-где около болотца и над лесом, как дымок, расходился последний утренний пар. Тучки кудрявились, но ветру еще не было. За рекой щетинкой стояла зеленая, свертывавшаяся в трубку рожь, и пахло свежей зеленью и цветом. Кукушка куковала с прихрипываньем из леса, и Нестер, развалившись на спину, считал, сколько лет ему еще жить. Жаворочки поднимались над рожью и лугом. Запоздалый заяц попался между табуна и, выскочив на простор, сел у куста и прислушивался...»

Когда старшина устал, Юра предложил:

— Хотите, я читаю?

Юра читал хорошо. Потом опять читал старшина, и когда дошел до конца, у многих на глазах были слезы. Прослушав про головастых волчат, которых худая, облинявшая волчица кормила остатками Холстомера, мы не сразу заговорили.

Юра, видя, что старшина задумался и глядит в одну точку, спросил:

— Хотите, прочту о Кавказе?

Он прочел стихотворение о горах, бурных реках, ущельях.

— Ты это сам сочинил? — спросил Фрол.

— Это Пушкин, Фролушка, Пушкин!

— Удивляюсь, как можно так много запомнить! — не смущаясь, заявил Фрол.

Юра прочел еще несколько стихотворений Лермонтова и Пушкина. И не успел Протасов сказать: «Пора спать!», как все лежали на койках, раздетые и укрытые одеялами до подбородка.

...На другой день мы упросили Протасова рассказать, как он воевал.

— В 1941 году, — начал он, — с эсминца «Отчаянный» меня списали в морскую пехоту. Я был разведчиком. Моей помощницей была Зина Миронова, росточка крохотного, от земли не видать, но отчаянная. Бывало везде пройдет, все разузнает. Когда мы стали готовиться к высадке на Малую землю, и она запросилась с нами... А знаете, где Малая земля?

— Это за Новороссийском, — сказал Фрол.

— Да. И мы должны были этим клочком завладеть

и на нем закрепиться. Людей подбирали тщательно. Сам майор Цезарь Куников вызывал к себе каждого: «Если у тебя, — говорил, — сердце слабое, скажи прямо, никто тебя не осудит. Хуже будет, если струсил в бою». Зину он не хотел с собой брать, но я за нее заступился: «Страху в ней нет, — говорю, — товарищ майор. Очень она нам подходит». По ночам мы, так сказать, репетировали. Грузились на мотоботы, переплывали бухту, прыгали в воду и шли атаковать пустые сады. Наконец настал день и час выступления. Переодели нас (говорили, форма демаскирует): ушанки, ватники да штаны из маскировочной ткани — вид не матросский. Но я бескозырку свою не сдал и припрятал, чтобы как итти в бой, надеть. И вот, иду на погрузку по пирсу, а навстречу мне — адмирал. Увидел бескозырку: «Что за вид? Безобразие!» — «Товарищ адмирал, — говорю, — я виноват, но поверьте, нам без бескозырки нельзя. Фашист ее, как огня боится. — Достал из кармана ушанку, надел а бескозырку — за пояс. — Как пойдем на фашистов — снова надену». Адмирал усмехнулся и пошел дальше. «Разрешил! — думаю. — Разрешил!» В ту же ночь высадились. Зина вперед других лезла, кричала звонче всех: «Полундра, фрицы! Матросы пришли!» Ну и ранило ее. Куников говорит: «Вот видишь говорил я тебе: не лезь с нами!» — «Ничего, товарищ майор, я еще повоюю». Она и вправду вылечилась и потом с нами воевала... А майор Куников погиб на Малой земле.

— А как вы флаг над городом подняли? — спросил Фрол.

— А это уже в другой раз было. Я поклялся товарищу Сталину, что флаг моего корабля будет развеиваться над Новороссийском. После высадки, когда выбили врага из вокзала, залез я на крышу. Пули вокруг так и жужжали, но флаг я поднял. И пока в городе шли бои, фашистам его никак сбить не удавалось. Сбили только на третий день. Мы с Зиной и с другими товарищами сидели как раз в элеваторе, а фашисты подвели танк и палили в упор. Но тут наша армия прорвала линию обороны, и танк куда-то исчез. Флага у меня больше не было, но я взял у Зины косынку и полез на заводскую трубу. Труба высокая. «Не долезу», думаю, а все лезу. Прикрепил я косынку, ветерок ее колыхнул, развернул. Горит она алым пламенем, а снизу «ура» кричат. Наши!

Фашистские снайперы на прощанье меня все же снять попытались, да мимо. Вот слезать было страшно: как вспомню эту высоту, до сих пор дрожь берет... Ну, пора спать, ребята!

И Протасов направился к своей койке.

Глава третья

ПОДГОТОВКА К ВЕЧЕРУ

Комсомольская организация училища взяла подготовку первомайского вечера в свои руки. Хор воспитанников всех классов с увлечением разучивал «Раскинулось море широко» и «Песню о Родине». Малышам крепко доставалось от Фрола, когда они заглядывались на птиц, на котов, разгуливавших по крышам, и начинали фальшивить. Бунчиков всовывал ноги в рукава бушлата, катался по полу, и казалось, что борются двое. Фокус именовался «нанайской борьбой». В другом конце зала Поприкашвили, сняв ботинки, в одних носках, скользил по полу, вертелся так, что в глазах рябило, потом медленно, плавно шел по кругу и вдруг перепрыгивал сразу через три стула. Довольный, покрасневший, он говорил: «Вот как пляшут у нас в Зестафони!» Его двоюродный брат, артист, обещал достать грузинский костюм, кинжал и мягкие сапоги. У других тоже оказались таланты. Например, у Гордеенко, долговязого, молчаливого воспитанника, ничем раньше не выделявшегося. Он вдруг сгибался в три погибели, сморщивал лицо — и перед нами появлялся старик, торговавший орехами возле училища. Гордеенко очень похоже передразнивал Фрола и показывал встречу человека со свирепой собакой. «Ну, песинька, ну, песинька, ты меня, пожалуйста, не кусай!» — уговаривал оробевший прохожий, а пес в ответ рычал и лаял. Корзинкин, толстый мальчик с румянцем во всю щеку, запоминал шестизначные числа и называл их в обратном порядке. Воспитанник младшего класса Милухин очень смешно рассказывал сказки.

Я по вечерам писал декорацию. На большом холсте появились море, корабль с огоньком на клотике и луна, похожая на большую дыню. Добровольные помощники разводили краски.

— А почему мы не привлекли Авдеенко? — спросил Юра.

— А что он будет делать?

— Как «что»? Он играет на скрипке.

— Но где достать скрипку?

— Надо попросить адмирала.

Я, по правде сказать, сомневался, что из Олега может что-нибудь получиться. Только на-днях я спросил его:

— Олег, неужели ты не хочешь летом поехать на флот?

— Я поеду.

— Нет, не поедешь.

— Поеду. Раз все поедут — и я.

— Поедут только отличники.

— Ну, чего я там не видал! — протянул Авдеенко.

— Мы пойдем в подводный поход. И в водолазных костюмах будем спускаться на дно. И грести научимся. И под парусами сходим, и на торпедном катере. А ты ничего не увидишь...

Он не ответил.

«Ничем его не прошибешь» — подумал я.

И вот как-то утром адмирал вызвал Юру и передал ему продолговатый лакированный ящик. На нем была надпись: «От студентов консерватории — нахимовцам». Юра сказал, чтобы я разыскал Авдеенко. Я нашел Олега в библиотеке. Авдеенко сдал книгу и вышел за мной.

— Тебя Девяткин зовет.

— Зачем?

— Дело есть.

Он посмотрел на меня недоверчиво, но пошел.

— Олег, разве ты не сыграешь на вечере? — спросил Юра.

— На чем? — удивился Олег.

— На скрипке.

— А где же скрипка?

Юра протянул Олегу футляр.

Авдеенко натер смычок коричневым камешком и притронулся к струнам. Скрипка издала резкий звук. Олег взмахнул смычком, и мелодия полилась по кубрику.

— Что ты играл, Олег? — спросил Фрол.

— Чайковского.

— Вот на вечере и сыграй, — предложил Юра. — Эта скрипка — твоя.

— Моя?

Авдеенко никак не мог сообразить, в чем дело.

— А «Вечер на рейде» ты можешь, Олег? — спросил Фрол.

— Я не умею. Но если хочешь, я выучу.

— И ты можешь выучить все, что захочешь? — полюбопытствовал Фрол.

— Не очень трудное. Я мало учился.

— Дай мне попробовать.

Фрол попилил по струнам — скрипка взвизгнула. Он еще раз прошелся смычком — скрипка ужасающе взвыла...

— Ишь ты, не получается! — И Фрол отдал скрипку Олегу.

Глава четвертая

МАМА

Перед Первым мая адмирал вызвал Фрола.

— Вы, надеюсь, поняли, — спросил он, — почему вы так строго наказаны?

— Понял, товарищ адмирал. Я же флотский, и с меня вдвойне спрашивается.

— И вы комсомолец, Живцов. Значит, с вас тройне спрашивается.

— Так точно! — согласился Фрол с адмиралом.

— Вы будущий офицер, Живцов, и вам будут доверены люди, которые захотят брать с вас пример. Я думаю, случившееся с вами послужит вам уроком.

— Так точно, товарищ адмирал, на всю жизнь!

— Я не запишу взыскания в ваше личное дело. Срок вашего наказания еще не истек, но разрешаю вам надеть ленточку и погоны. Ведь завтра у нас первомайский вечер...

Фрол пришел от адмирала растроганный и, облегченно вздохнув, пришил погоны.

Вечер удался на славу. Зал был переполнен. В первом ряду сидели адмирал, командиры рот, воспитатели и преподаватели. Хор стройно спел «Раскинулось море широко». Малыши читали стихи. Вова Бунчиков всех насмешил «нанайской борьбой», и адмирал хлопал ему больше всех. Авдеенко сыграл «Вечер на рейде», а Юра исполнил на рояле маленькую веселую пьеску. Поприказавили плясал «хоруми» в грузинском костюме. Горде-

енко изображал то побитых фрицев, то посетителя зоопарка, разговаривающего с тигром, то человека, нарвавшегося в чужом дворе на собаку, то весь наш класс, отвечающий невыученный урок.

Адмирал сказал, что он всячески будет поощрять развитие наших талантов. А командир роты объявил, что послезавтра старший класс поедет на экскурсию в Гори.

Мы легли спать довольные и счастливые.

На другой день я был помощником дежурного по училищу—Кудряшова. После обеда я в дежурке рисовал корабли. Задребезжал звонок—часовой вызывал к подъезду. Подтянув ремень и чуть сдвинув на ухо бескозырку, как это требовалось училищным шиком, я неторопливо, стараясь шагать с достоинством, спустился к посетителю по широкому трапу. Возле часового стояла... мама!

— Разрешите мне повидаться...—начала она обращаясь ко мне в полутьме.—Никиток!—узнала она меня.—Никиток, родной!

— Мама, — сказал я, удерживаясь, чтобы не кинуться к ней на шею,—я дежурю. Я попрошу разрешения—тебя впустят, меня подменят...

Ее глаза с любовью и нежностью глядели на меня в полусумраке училищного подъезда.

С трудом сдерживаясь, чтобы не ринуться по трапу бегом, я поднялся в дежурную комнату. Кудряшов, нахвистывая что-то очень веселое, рассматривал мои рисунки.

— Да вы, оказывается, настоящий художник, Рындин,—сказал он.—Вчера—декорация, а сегодня, гляди,—корабли.

— Товарищ старший лейтенант,—начал я докладывать,—просит разрешения повидаться с сыном... Моя мама приехала!.. Что мне делать?

— Как «что делать»? Встречать, да встречать получше! Я освобождаю вас на два часа, воспитанник Рындин. Идите скорее к вашей маме и пригласите ее... пригласите в приемную. Возьмите ключ. Вам никто не помешает наговориться вдоволь. Давно не виделись?

— Целых полгода!

— Вы свободны. Идите!

Через несколько минут мы сидели с мамой в приемной. За широкими окнами желтел майский закат. Мама говорила, что я очень вырос и стал похож на отца. А я

спешил рассказать обо всем: о том, что мы едем в Гори, что я комсомолец и мы летом поедem на флот. Я так много должен был рассказать, что хватило бы на неделю, но мама сообщила, что сегодня вечером уезжает. Завтра уходит корабль в Геленджик...

— В Геленджик? Ты в Геленджик едешь?

— Да, с библиотекой.

— Но ведь это так далеко, под Новороссийском! Мама! Мамочка!..

— Ну, милый; ну, успокойся... Ну что ты!—гладила мама мой ершик.—Ты знаешь, я навестила Мираба и Стэллу. Они удивляются, что ты не приходишь. Там была Антонина...

— Ты знаешь... Когда папа вернется, возьмем ее к нам.

— Когда папа вернется...—повторила мама, взяв мою голову в руки. Она вздохнула и едва слышно сказала:— Нет, Никиток, наш папа больше никогда не вернется...

Она встала, подошла к окну, сорвала с карагача листок, и он, подхваченный ветром, поплыл мимо, а потом стал, кружась, опускаться вниз, подобно зеленой бабочке.

— Я хотела бы повидать твоих друзей.—Лицо ее, когда она обернулась, было спокойно.—Фрола и другого твоего друга. Его Юрой зовут?

— Я схожу позову их.

Через несколько минут Фрол и Юра здоровались с мамой, и она, пожав им руки, стала расспрашивать об училище. Они рассказали ей обо всем, рассказали о вечере и моих декорациях.

— Жаль, не попала я на ваш вечер!..

Когда мама собралась уходить, Юра тихонько толкнул локтем Фрола, и они деликатно оставили нас вдвоем.

— Ну, Никиток, до свиданья. Учись как можно лучше, родной, и помни: папа всегда хотел, чтобы ты стал моряком... Ты проводишь меня?

«Как незаметно прошли два часа!» думал я, спускаясь по трапу.

Тяжелая дверь подъезда захлопнулась, я вернулся в дежурную комнату и доложил, что «воспитанник Рындин явился».

— Молодец!—похвалил Кудряшов.—Аккуратен. Хвалю... Что приятно, когда приезжает мама?—И он тут же добавил:—Моя старушка тоже ко мне в училище из Ор-

ла приезжала. Как сейчас помню: вызывают в приемную, а она сидит на кончике стула, маленькая, седая и ждет... Как увидела меня, охнула да как кинется ко мне...

Вечером Юра спросил, когда мама придет еще раз. Я сказал, что не скоро, она уезжает.

— В Геленджик?—переспросил Юра.—Мы там жили на даче. В море купались, музыку слушали, на велосипедах катались. У нас сад какой был—со сливами! И мама моя... ?

Фрол с верхней койки сказал приглушенным голосом:

— Потише о мамах, ребята!—И он кивнул на сидевшего у стола старшину.

Глава пятая

ГОРИ

На другой день мы утренним поездом ехали в Гори. Все вокруг зеленело, цвело; все было яркорозовым, желтым. Кура несла к морю мутные волны, горы были затянуты синей дымкой. То тут, то там паслись овцы; буйволы пили мутную воду; козы легко перепрыгивали с камня на камень. Мальчишки выбегали навстречу и что-то кричали. Мы махали им бескозырками. Поезд несколько раз останавливался на маленьких станциях. Электровоз гудел и одним рывком стягивал состав с места. Поприкашвили знал каждую станцию: по этой дороге, за Гори и за Хашури, его родной Зестафони. Илико показал на высокие скалы, в которых темнели отверстия:

— Смотрите, ребята: это пещерный город Уплис-Цихе. Ух, тут когда-то жило много людей!

— Под землей?—удивился Фрол.

— Под землей. Там были базары, и спальни, и душаны, и церкви.

— Но к чему же жить под землей, когда и на земле много места?—недоумевал Фрол.

— Как «к чему»? А враги? Они с гор бывало придут, всех переережут или уведут.

— Зачем?

— В плен. Как только появятся враги, все входы задраят. Попробуй возьми!

— Так это было давно? — протянул Фрол. — Когда бомб и артиллерии не было?

— Конечно, давно. Мой дед говорит—Уплис-Цихе тысяча лет.

Поезд подошел к Гори. По длинному мосту через Куру, буйволы тащили неуклюжие арбы; рядом шагали погонщики в войлочных шляпах. Серdito гудя, их обгоняли грузовики, горбатые, как верблюды, от вздвнувшегося брезента. Прошла рота бойцов с шинелями в скатку. Несколько осликов несли груженные корзины. Подминая асфальт, проскрежетал тяжелый оливковый танк. Фаэтон, запряженный парой серых в яблоках лошадей, вздымая пыль, обогнал нас. Прошла еще одна рота; скосив веселые глаза, бойцы поглядывали на нас из-под зеленых касок. На низком грузовике с прицепом колыхался, как надутый пузырь, серебристый «слоник»—аэростат заграждения. На широком плацу под платанами бойцы кололи штыками чучела.

— Почему тут так много военных?—спросил я Кудряшова.

— В Гори формируются части для фронта. Отсюда они пойдут прямо в бой.

— Прямо в бой?

— Да. С Кавказа они пойдут на Берлин!

Кудряшов сказал это с нескрываемой завистью. Они будут бить фашистов, а он, командир «морского охотника», должен нас водить на экскурсии!..

Мы дошли до одноэтажного дома с мраморными колоннами. Это был необыкновенный дом: одни колонны и крыша, без стен. Но под ним, словно под навесом, стоял другой домик—кирпичный, старый, со срезанной, косой крышей, с открытой галерейкой вокруг. Здесь родился товарищ Сталин.

Во дворе стояли обогнавшие нас бойцы. Молодой офицер поднялся на галерейку.

— Завтра мы уходим на фронт,—сказал он.—Поклянемся, что ни один из нас не посрамит ни Родины своей, ни чести!

Опустившись на колени и приподняв край алого знамени, офицер поцеловал его.

— Клянемся тебе, наш Сталин,—продолжал он проникновенно,—здесь, в доме, где ты родился: мы будем драться смело, умело, уверенно, по-гвардейски, до по-

следнего вздоха. И клянемся тебе: мы вернемся с победой!

— Вернемся с победой!—подтвердили бойцы.

— Вернемся с победой!—повторило эхо на желтом утесе.

Построившись, солдаты запели и пошли по залитой асфальтом улице. Долго была слышна их песня.

Мы вошли в домик. Тут была одна комната, очень бедная, чистая; казалось, хозяева только что вышли и скоро вернуться. На комодѣ стояли ярко начищенный самовар, керосиновая лампа, в углу—большой сундук, покрытый тонкой тканью с рисунками, и тахта, прикрытая ковром. На стене висел портрет чернобрового, коротко остриженного мальчика. Рядом с портретом, в рамке под стеклом, я увидел аттестат Горийского духовного училища—аттестат, отметкам которого мог позавидовать каждый: по всем предметам и поведению были выведены пятерки.

«Да,—подумал я,—ему тяжело жилось: и все же он учился отлично. Значит, для него не существовало слов «не могу». Не существовало слов «не могу» и тогда, когда он бежал из ссылки и когда царская полиция охотилась за ним повсюду. А почему мы, когда на завтра задано что-нибудь трудное, говорим: «О, это выучить я не могу»? Ведь солдаты и офицер, которые ушли сегодня на фронт, никогда не сказали бы: «Не могу». «Дойдем до Берлина!—обещали они.—Дойдем и вернемся с победой!» А мы? Разве мы не можем сказать: «Все преодолеем, все трудности, но окончим на «отлично»?..»

Я думал об этом, пока мы осматривали музей; думал, когда шли по узким улочкам, забрались на утес, в старую крепость.

«Завидуйте, я гражданин Советского Союза!» вспомнил я слова Маяковского, когда смотрел с крепостной стены на далекие, покрытые снегом горы, на серебристые полосы рек, сады и селения. «Это все моя Родина,—думал я,—горы, реки, долины, сады... Моя Родина и дальше—там, за горами, до самого Ленинграда, и вон там, за другим хребтом, до самого Тихого океана...»

Когда мы возвращались на вокзал, из большой белой школы гурьбой высыпали ребята. Нас окружили. Кто-то спросил, бывали ли мы в Севастополе. Илико показал на Вову:

— Севастополь—его родной город.

Бунчикова стали спрашивать, сильно ли был разрушен Севастополь до того, как его захватили гитлеровцы.

— У нас есть письмо из подземной школы,—сообщил нам школьник, которого звали Арчиллом.—Хогите посмотреть?

Мы вошли в школу, и нам показали письмо на стене, в рамке: севастопольские ребята писали, что учатся под землей, и хотя город бомбят, они все же получают пятерки.

— Ты знаешь эту школу?—спрашивали Бунчикова.— Она действительно под землей?

— Да, когда школу разбомбили, мы стали учиться под землей, в пещере.

— Мы получили письмо в сорок первом году, — рассказывал Арчилл,—и обещали, что не отстанем от севастопольцев. Мы послали им наши отметки. Но они, я боюсь, их не получили.

В сумерках школьники провожали нас на вокзал. Мы шли шумной толпой по улицам. Горийцы приглашали приехать осенью, когда поспеют яблоки.

Подошел поезд, и мы расстались.

В поезде Авдеенко вдруг спросил:

— В Севастополе под землей учились?

— Ты же сам слышал.

— И во время бомбежки?

Он задумался и отвернулся к окну.

Глава шестая

КАК МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ

После поездки в Гори не я один задумывался над тем, каков я есть и каким я должен быть на самом деле. Задумывались и другие. На родине Сталина бойцы поклялись, что будут воевать смело, умело, уверенно. А мы? Разве мы не бойцы? Мы носим матросскую форму. На наших бескозырках—матросские ленточки. Матросы высаживались на Малую землю. Им было нелегко. Еду и патроны им подвозили морем. С трех сторон были гитлеровцы. Враги старались сбросить их в море. И все же куниковцы держались. «Почему же мы не можем за-

воевать и удержать за собой первое место в училище?» — спросил как-то нас Кудряшов.

Командир роты Сурков обучал нас стрельбе из винтовки. Кудряшов каждый день занимался с нами гимнастикой, и если первое время мы натирали себе на руках мозоли, безуспешно пробуя влезть на полированную скользкую мачту, или повисали мешком на кожаной «кобыле», пытаясь ее перепрыгнуть, то теперь многие стали ловкими и цепкими и мгновенно взбирались на мачту, легко перемахивали через «кобылу» и на руках подтягивались по трапам до самого потолка.

— Кто хочет заниматься боксом? — спросил однажды Протасов.

Конечно, вызвались все. Старшина повел нас в спортивный зал и с гордостью показал несколько пар толстокожих перчаток, лежавших на подоконнике.

Я видел бокс только в кино. Протасов рассказал, что занимался боксом еще до флота, а от своего эсминца «Отчаянный» участвовал в соревнованиях флота.

И он терпеливо принялся обучать нас приемам. Фрол петушился, наскакивал на Протасова и барабанил перчатками по его крепкой, словно налитой свинцом, груди. Старшина показывал, как надо обороняться: руки и локти его прикрывали голову, грудь и живот, и когда я наскакивал на него в азарте, я повсюду встречал препятствие, как будто у старшины было десять рук. Потом наступал Протасов, и как я ни выставлял вперед руки и локти, его меткие короткие удары достигали меня везде. И я чувствовал, что если бы старшина ударил хоть один раз в полную силу, я бы свалился с ног. Но после нескольких уроков все мы становились крепче, сильнее.

Однажды вечером, когда окна были раскрыты и терпкий запах тополей наполнял классы, я мечтал:

«Летом поеду на флот... А вдруг попаду на катера? Капитан первого ранга спросит: «Ну как, не посрамил нашего соединения, Рындин?» Я покажу отметки. «Молодец! — похвалит он. — Ты можешь сегодня же выйти в море». И вот я выхожу в море. Управлять катером нелегко, но вскоре я привыкаю и управляю не хуже Фрола. Мы мчимся в порт, занятый врагом. Перед нами — цепочка бонов. Катер делает рывок. «Торпеды, товсь!» Торпеды скользят к фашистскому кораблю. «Лево руля!» Позади взрыв. Попали! Огромная волна чуть не сшибает

с ног. Снаряды падают с обоих бортов. «Вилка!» Я не теряюсь и вывожу катер из «вилки». Самолеты пикируют; бомбы воют. Я привожу катер в базу, докладываю капитану первого ранга, что задание выполнено. «Вот ты и получил боевое крещение!»—говорит капитан первого ранга.—Ты такой же моряк, как и твой отец». И пожимает мне руку...

А дальше?

Нахимовское окончено. Я еду в высшее военно-морское училище. Мама живет в Ленинграде. По воскресеньям я—дома. Я изучаю высшую математику, астрономию. Товарищи приходят ко мне заниматься. Училище окончено — и с какой радостью я прикрепляю к кителю золотые погоны! Я получаю кортик. Настоящий кортик! Мама плачет: ведь я уезжаю. «Не плачь, ты же знаешь: дом моряка—в море», говорю я словами отца... Я снова на катерах. Капитан первого ранга постарел и стал адмиралом. «Хорошо, что ты прибыл именно к нам. Слышал? «Война».—«С кем?»—«С теми, кто хочет поработить нашу Родину». Мне дают катер. Я с радостью иду в бой с теми гадами, которым завидно, что мы живем лучше всех на свете!..»

Тут вошел командир роты и сообщил, что мы скоро выедем в лагерь. Отличники поедут на флот во второй половине лета.

* * *

Радио объявило, что нашими войсками освобожден Севастополь. Фрол ходил именинником, его и Бунчикова все поздравляли.

Юра вспоминал:

— До войны отец меня всегда брал с собой в Севастополь. От вокзала бегали в город маленькие открытые трамвайчики, и так весело было на них ехать! Они звенели, как колокольчики... И в городе было больше лестниц, чем улиц. Бежишь наверх и считаешь ступеньки. Отец бывало уйдет по делам, а я иду на Приморский бульвар смотреть, как уходят корабли в море. Я все корабли знал: вот «Красный Кавказ» снялся с бочки, вот сторожевые катера пошли... Когда корабли уходили, я бежал на базар. Сколько было там рыбы! Рыба-игла, например, узкая, длинная, и зеленый хребет просвечивает. А потом еще камбала—плоская, широкая, как ле-

пешка. И мидии—это такие моллюски в раковинах. Их тоже едят. А яблок, винограда, груш! Нагуляешься, за день—и опять на бульвар. Корабли возвращаются. На верхних палубах выстраиваются команды. А вечера темные, и вдруг бухта засветится словно огоньками на елке—зелеными, красными, белыми... А на улицах—моряки, все в белом... Теперь там — одни развалины...

— Одни развалины,—подтвердил Бунчиков.—Но он снова наш, Севастополь!

Да! В Севастополе снова наши, и Севастополь наш, и снова нашими стали его голубые бухты! И, наверное, одними из первых ворвались в бухту катера нашего с Фролом соединения! «Были бы живы отец и дядя Серго—думал я вечером, слушая салют,—и они были бы в Севастополе!»

Кудряшов и Николай Николаевич Сурков целый вечер рассказывали, как дрались севастопольцы с гитлеровцами; они горевали, что бомбы разрушили знаменитый Дом флота, изрыли воронками Приморский бульвар.

— Но теперь снова все восстановят,—говорил Сурков.—И Севастополь станет красивейшим городом, гордостью флота!

* * *

Дни шли за днями. Однажды Протасов, войдя в класс, приказал:

— Рындин, немедленно к адмиралу!

— Зачем он тебя вызывает?—обеспокоился Фрол. — Ты что-нибудь натворил? Держись, Кит!—Он ободряюще похлопал меня по плечу.

Я шел по коридору, обдумывая: в самом деле, зачем меня вызвал адмирал? Я замедлил шаг; перед кабинетом начальника постоял, не решаясь постучать. Наконец я собрался с духом и осторожно стукнул.

— Войдите,—послышался знакомый спокойный голос.

Я отворил тяжелую дверь и ступил на ковер. Адмирал сидел за столом, а перед столом, спиной ко мне, стоял сухощавый офицер и что-то рассказывал адмиралу.

— По вашему приказанию воспитанник Рындин явился!—отрапортовал я, чувствуя, как непростительно дрожит голос.

Офицер, прервав на полуслове рассказ, обернулся. Где я видел его лицо? Почему оно мне так знакомо? И почему он на меня так пристально смотрит?..

— Никита?—спросил офицер.

— Отвечайте,—приказал адмирал.

— Никита.

— Очень рад тебя видеть!

Офицер подошел ко мне, обнял меня, заглянул в глаза. И вдруг я узнал его! Я не решался назвать его имя. А что, если я ошибаюсь?..

— Тебе от мамы письмо,—протянул он мне вчетверо сложенный листок.

Плохо слушавшимися пальцами я развернул письмо и прочел: «Никиток, мой родной! Спешу сообщить тебе большую-большую радость: папа вернулся...»

Все завертелось у меня перед глазами; я почувствовал, что куда-то проваливаюсь, скатываюсь, лечу...

Очнулся я на диване. Рядом со мной сидел Серго-Гурамишвили (ну конечно же, это был Серго!) и гладил меня по голове. Адмирал говорил улыбаясь:

— Сколько лет на свете живу, но не видал, чтобы от радости умирали.

— Дядя Серго?—спросил я.

— Ну да, Серго, разумеется!—просиял капитан-лейтенант.—Узнал?

Я вскочил:

— Папа где?

— В Севастополе. Я все расскажу по дороге. Товарищ адмирал разрешил тебе пойти со мной к Антонине. Вы ведь друзья? Мне твоя мама рассказывала... Завтра полетишь со мной в Севастополь.

Я готов был кинуться к адмиралу и расцеловать его. Но, во-время вспомнив, что воспитаннику не полагается лезть с объятиями к начальнику, я сказал:

— Благодарю вас, товарищ контр-адмирал! Очень, очень благодарю вас!

Адмирал поздравил меня и сказал, чтобы я передал привет отцу. «Если он меня помнит», добавил начальник.

— А теперь идите и одевайтесь, пойдете с капитан-лейтенантом.

Не чуя под собой ног, я побежал в класс.

— Ну что?—спросил Фрол тревожно.—Попало?

— Да нет! Мой отец жив!.. И Гурамишвили живой! Серго приехал из Севастополя и сидит в кабинете у адмирала!

— Да ну! Кит, не врешь? — не поверил своим ушам Фрол.—Где отец?

— В Севастополе! Я к нему на самолете лечу.

— Вот штука так штука!.. Эй, ребята! У Никиты отец нашелся!—закричал Фрол на весь класс.

Меня обступили и принялись поздравлять. У всех были такие радостные, сочувствующие и веселые лица! Пришли и Кудряшов и командир роты и тоже меня поздравляли. Один Бунчиков отошел в сторонку, сел на парту и опустил голову на руки.

— Бунчиков, что с вами?—спросил командир роты, сел рядом с Вовой на парту и стал гладить большой рукой по его коротко остриженной голове.—Ну, успокойся, милый,—в первый раз обращаясь к кому-либо из воспитанников на «ты», проговорил Николай Николаевич. — Ну, успокойся, Вова, не надо...

— Рындин, готовы?—вошел в класс Протасов.—Капитан-лейтенант вас ждет.

— Ты что, уже уезжаешь?—спросил Фрол.

— Нет. Мы идем к Антонине.

И я пошел в кубрик, мигом переоделся и выскочил в вестибюль, где терпеливо ждал меня Серго. По дороге я рассказывал про Антонину и Шалву Христофоровича. Я сказал, что Антонина все время надеялась на возвращение Серго.

— А отец... совсем ничего не видит?

Услышав ответ, Серго задумался и молчал всю дорогу.

— Пойди ты вперед, Никита,—сказал он, когда мы вошли во двор знакомого дома.

Он отошел под каштан, а я позвонил.

— Открыто, входите!—крикнула из окна Тамара.— А, это ты, Никита? Иди к Антонине, она скучает.

Я поднялся по лестнице. Шалва Христофорович сидел у открытого окна.

— Кто пришел, Тамара?

— Это я, Шалва Христофорович.

— Никита? Входи, дорогой!.. Антонина, Никита пришел!

Антонина радостно закричала:

— Никита! Пойдем, я тебе покажу... Что-нибудь случилось?—вдруг спросила она с тревогой.—Ведь сегодня не воскресенье, почему тебя отпустили?

Я не знал, как сказать, что ее отец жив и вернулся.

— Ты один? Ты один пришел?—насторожилась она и вдруг закричала:—Нет, ты пришел не один!

Я никак не мог сообразить, почему она поняла, что я пришел не один.

— Никита, скажи, да скажи же!..

И вдруг с криком: «Папа вернулся!» она, задев меня платьем, побежала на лестницу.

— Что ты сказал ей, Никита?—спросил художник, приподнимаясь с кресла.—Ты ничего не сказал... Откуда она взяла? «Ты пришел не один, это папа вернулся...» Нет, неужели? Не может быть!—повторял он все громче.

— Шалва Христофорович, это правда! Дядя Серго вернулся! Он пришел к нам в училище и...

Я мог не продолжать, потому что со двора уже слышалось: «Папочка!.. Папа, папа!..»

Они поднимались по лестнице. Серго повторял:

— Антонина, моя дорогая, ну полно!

А Антонина твердила:

— Я всегда знала, что ты вернешься!

И вот Серго вошел в комнату, а за ним—Антонина, такая счастливая...

— Это ты?—спросил Шалва Христофорович.

— Я, отец,—ответил капитан-лейтенант.

Он подошел к Шалве Христофоровичу, опустился перед ним на колени и прижался губами к руке старика.

— Вот мы и снова все вместе!—сказал Серго.—Я говорил, что вернусь,—и вернулся...

Глава седьмая

ГДЕ ОНИ ПРОПАДАЛИ

Старый художник, закрыв глаза, застыл в своем кресле. Мы с Антониной забрались на тахту. Тамара то и дело вытирала концом передника слезы. Серго рассказывал:

— ...Когда мой катер пошел на дно, я поплыл за Георгием...

Отца ранило в руку, и он плыл с трудом. Серго помог ему выбраться на берег. По мокрым камням шарил прожектор.

— ...Несколько раз луч скользнул по нас, но мы были неподвижны, как камни..

Русьев не хотел уходить без друзей. Но лучи прожекторов скользили и по морю и накрыли, наконец, прыгавший на волне катер.

— «Уходи, уходи, Виталий!» кричал я ему, как будто он мог в этом вое меня услышать. Катер рванулся и исчез в темноте. Трассирующие пули преследовали его по пятам...

Серго разорвал на себе рубаху и перевязал отцу руку. «Надо уносить ноги, скоро рассветет». Скалы были отвесные, скользкие, а отец мог цепляться за них лишь одной рукой. Они выбились из сил, пока очутились высоко над морем, в небольшом темном гроте, где шумел водопад. Отцу стало плохо: он потерял много крови. Серго посмотрел вниз и увидел передвигающиеся светлые точки. Гитлеровцы обшаривали берег! Серго показалось, что он слышит собачий лай. Но светлые точки вскоре погасли. Когда наступил рассвет, перед Серго открылось пустынное море. Берег кишел солдатами.

— ...Георгий бредил так громко, что я опасался, как бы не услышали гитлеровцы. Очнулся он в полдень. «Уходи! — сказал Георгий. — Оставь меня, уходи!» Я ответил: «Не говори глупостей». Тогда он мне стал приказывать. Я сказал, что он может меня расстрелять, но это приказание я считаю незаконным. Тут Георгий опять впал в беспамятство и вспоминал Ленинград, жену и тебя, Никита. Я все прислушивался, не идет ли кто. Но никто не шел, только шумело море...

Серго не мог развести огня: не было спичек, да и дым от костра выдал бы их. И Серго целый день сидел рядом с отцом. А в это время Русьев докладывал обо всем, что случилось, капитану первого ранга. Капитан первого ранга разрешил Русьеву вернуться. И катер Русьева снова понесся к тем берегам, где остались в беде товарищи.

— ...Ночь тянулась томительно. Георгий спал, а я сидел у входа в грот, вглядываясь в темноту. Вдруг в море замелькал огонек. Может быть, мне это показалось?.. Нет, это был сигнал: кто-то с правильными промежутка-

ми зажигал карманный фонарик. Точка — тире, точка — точка — тире... Я прочел: «Где вы? Где вы? Я — Русьев, я пришел, отвечайте». Виталий пришел на выручку! «Георгий! Скорее, скорее вставай!» — «А? Что?» — «Виталий пришел за нами». — «Где?» — «У нас нет фонаря. Мне нечем ответить. Он уйдет, думая, что нас нет в живых». Георгий с трудом встал. Как он спустится вниз по острым и скользким скалам?.. «Скорей, скорее Георгий! Сможешь ты плыть? — «Попытаюсь»...

Дул резкий ветер. То и дело у них из-под ног вырывался камень и с грохотом скакал вниз. Тогда они замирали. Вокруг все молчало... Они поплывут туда, где Серго видел сигналы. Но сможет ли отец плыть? Далеко ли от берега катер? И как они дадут знать о себе Русьеву?.. Кричать? Не услышат ли крик на берегу гитлеровцы?.. Отец и Серго спускались все ниже, и море шумело совсем под ногами.

— ...Я снова увидел мелькающий огонек. «Смотри, Георгий! Ты видишь?» — «Вижу». — «Это Виталий». «Где вы? Где вы? Я пришел. Отвечайте», сигналил Виталий. «Скорей, Георгий, скорей!» Но тут загрохотало и все осветилось: берег, море и катер. Мы упали и остались лежать, а прожекторы продолжали обшаривать берег...

Так и не удалось им в ту ночь добраться до катера. Русьев ушел. Он не знал, что его друзья были близко, почти в нескольких метрах! А теперь они снова карабкались наверх, в грот, обдирая руки и прижимаясь к скале всякий раз, когда их нащупывал луч прожектора.

— ...Я понял, что морем нам не уйти. У нас нет фонаря, и мы не можем ответить Русьеву, если он снова придет за нами. Фашисты настороже и катер к берегу не подпустят. Они заподозрят, что кто-то прячется в скалах. Надо уходить, и как можно скорее. Куда? В горы. Там мы найдем партизан, и они помогут нам выйти к морю...

Было холодно. Пошел снег. Они были голодны. Серго находил какие-то корешки, которые они ели. Они шли день, другой, третий... Серго повторял: «Мы, Георгий, еще повоюем!» Лес становился все гуще, снег все сыпал и сыпал, и вдруг из-за дерева вышла девушка в полушубке. Так попали они в отряд партизана-севастопольца «дяди Кости».

— ...Дядя Костя был тоже моряк. Из Севастополя он

ушел одним из последних, взорвав свою батарею. Та девушка, что нас повстречала, оказалась врачом и принялась лечить Георгию руку. Когда я сказал, что мы хотим выйти к морю и добраться до своих катеров, дядя Костя покачал головой: «Провести-то вас к морю можно, а толку что? Фашисты кишмя кишат по всему побережью. Пропадете ни за понюх табаку... Подлечитесь, и тут для вас найдется работа...»

О том, какая это была работа, Серго рассказал очень скупо. Но, наверное, можно было бы написать толстую книгу.

В Керчи были гитлеровцы, а на другом берегу пролива, на Чушкэ,—наши. Фашисты каждый день стреляли через пролив, а поезда подвозили им в Керчь снаряды. И вот четверем партизанам (среди них были отец и Серго) поручили взорвать такой поезд. Они вышли из леса. Шли открытой степью. Дошли до железнодорожного полотна и заложили под рельс взрывчатку. Вскоре послышался грохот приближающегося поезда. Едва они отползли, произошел взрыв, и они увидели, как свалился под откос паровоз и как полезли друг на друга вагоны. Начался пожар, стали рваться снаряды и бомбы. Теперь надо было поскорее добраться до леса. Они бежали изо всех сил. Когда рассвело, они зарылись в забытый стог сена. Гитлеровцы, двигаясь цепью, обыскивали степь. Это называлось «прочесом». Кто-то подал команду — и в стог вонзились штыки. Отцу прокололи плечо, а Серго—ногу. Застони они—и они бы пропали. Но они только закусили губы до крови. И гитлеровцы пошли дальше. До вечера партизаны сидели в сене, а вечером добрались до леса.

Один раз отцу поручили связаться с подпольщиками в городе, и он, переодевшись в немецкую форму, ездил в Симферополь, занятый фашистами.

Каждый шаг мог ему стоить жизни.

А однажды они с Серго даже выкрали немецкого коменданта!..

Вот какая у них была работа! Это было как раз тогда, когда я жил на корабле, стоявшем в кустарнике, и Русьев ходил за ними, и фашисты встречали его таким огнем, что можно было подумать — они ждали эскадру. Русьев решил, что отца и Серго нет в живых, и доложил капитану первого ранга. И тогда капитан первого ранга отдал мне письмо, а старший офицер разрешил другим

офицерам занять за столом места отца и Серго Гурамишвили. Товарищи считали их погибшими. Но они были живы! Они истребляли врага. Недаром они, уходя, поклялись: «Пока сердце бьется в груди и в жилах течет кровь, мы будем беспощадно уничтожать фашистов».

Дядя Костя был ими доволен. Но они тосковали по своим катерам. Дядя Костя успокаивал их: «Скоро, скоро вернемся мы в Севастополь!»

Партизан в лесу становилось все больше. Теперь они смело выходили из леса, окружали и уничтожали фашистские гарнизоны. Много раз гитлеровское радио сообщало, что лес «прочесан» и партизан в Крыму больше не существует. А на другой же день взлетал на воздух новый поезд со снарядами, или взрывался новый мост под штабной машиной, или партизаны окружали деревню, в которой стоял вражеский гарнизон.

— ...Но вот, — продолжал Серго, — пришел тот счастливый день, когда наши орудия загремели на перешейке, а корабли подошли к крымским берегам. «Действовать!» приказал начальник партизанского района. «Есть действовать!» повторил приказ дядя Костя. Мы должны были выйти к морю и отбить у фашистов советских людей, которых они уводили...

Да, гитлеровцы пригнали в Крым много советских людей с Кубани и теперь гнали их к морю. Куда, зачем? Надо было спешить!.. Куда бы, в какое село ни входил отряд, его встречали пустые дома и виселицы. И везде были расклеены листовки: «Командующий немецкими войсками в Крыму скорее повесит сто тысяч русских, чем даст освободить их».

Чтобы добраться до моря, отряду надо было пройти через горы. Снег слепил глаза. Повсюду догорали дома, сторожки, лежали мертвые люди. Здесь прошли гитлеровцы к морю...

Как было страшно то, что рассказывал Серго! Он наткнулся на старого деда, лежавшего в снегу на повороте дороги. «Что с тобой, дед?» — «Умираю. Торопитесь, сынки! Повели всех к морю». — «Не уйдут от нас, диду, даем тебе черноморскую клятву!» сказал дядя Костя.

Дорога круто шла вниз. Лес редел. Несло холодом из ущелий. Из-за туч выглянуло солнце. Вдруг скалы раздвинулись — и партизаны увидели море.

— ...Три буксира дымили у пирсов. Автоматчики за-

гоняли на баржи женщин и ребятишек, отбирая у них мешки, узелки и кошелки и сбрасывая всё в кучу. «Напрямик!» приказал дядя Костя и спрыгнул с обрыва в колючий кустарник. Мы свалились им на головы, как лавина с гор. Гитлеровцы отступили под прикрытие барж, рассчитав, что мы, опасаясь задеть детей и женщин, стрелять не станем... Они очутились по пояс в воде. «Живьем бери гадов!» закричал дядя Костя. Он поднялся во весь рост, за ним — другие... И тогда один фашист дал очередь по барже. Там находились женщины, дети... Умирать буду, этого не забуду. Стрелять в беззащитных! Пули жужжали вокруг, как шмели, но ни одна не задела дядю Костю. Он схватил стрелявшего в женщин гитлеровца, вдавил его в воду, выволок на песок...

Партизаны врукопашную избивали фашистов. Они не могли стрелять, а гитлеровцы стреляли из автоматов! По барже стали стрелять фашистские буксиры. «Сходи с баржи!» скомандовал дядя Костя. Люди прыгали в воду.

— Раздался взрыв, — продолжал Серго. — Неужели взорвалась баржа?.. Нет, цела. Зато буксир разломился пополам, тонет. «Наши!» вдруг закричал дядя Костя. «Наши? Где наши? Откуда?..» Ба-а! В бухту влетел серый катер. Торпедный катер, наш, понимаете? «Ура черноморцам!» Я кинулся на пирс. «Здравствуй, чортушка Русьев!»

— Усыновитель? — спросил я быстро.

— Почему «усыновитель»?

— Да ведь он усыновил Фрола.

— Ну да, Виталий, конечно!.. «Куда держишь курс?» спросили его мы с Георгием. «На Севастополь!» ответил Виталий. «Бери нас с собой!» Он доставил нас на базу, мы получили катера и пошли освобождать Севастополь...

* * *

Я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете, но когда пришел в кубрик, старался не обнаруживать перед всеми своего счастья. Я понимал, что если буду слишком проявлять свою радость, это будет больно Фролу, Вове, Ивану Забегалову — ведь их отцы никогда не найдутся!

— Ты полетишь на самолете? — спросил Юра. — Счастливец!

А Фрол сначала сказал, что самолеты часто разбиваются и он предпочитает ходить на корабле или на катере, но тотчас добавил, что хотел меня поугубить: он не видел ни одного угробившегося самолета, кроме тех фашистских, которых подбили наши, и сам бы с удовольствием полетел со мной повидать Русьева.

— Ты ему расскажи на словах, что Живцов идет еще не на самый полный, но двоек уже давно не хватает, — сказал он гордо.

В письме Фрола Русьеву не было ни одной ошибки.

* * *

Самолет был большой, зеленый, с красной звездой на хвосте и со звездами на крыльях. По узенькому отвесному трапу мы поднялись в просторную кабину. Едва мы сели, прошел мимо летчик; он захлопнул за собой дверцу. Что-то загудело, и самолет задрожал. Серго вытянул ноги, откинул голову и смотрел в потолок, нисколько не интересуясь тем, что мы сейчас оторвемся от земли. Он сидел так, как сидят в поезде или в трамвае.

— Дядя Серго, а когда мы полетим?

— А мы летим.

— Летим?..

Я увидел в окно убежавший куда-то в сторону серый вокзал, крохотные автобусы и распластавшиеся на выгоревшей траве самолеты.

Облака сдвинулись и затянули всю землю, и только изредка было видно что-то похожее на домики и на траву.

Серго молчал, а я думал: «Сегодня я увижу отца! И маму увижу, и Севастополь!»

Облака разошлись, и я увидел горы, покрытые снегом. По снегу бежала черная тень самолета. Стало холодно, у меня начали мерзнуть ноги.

— Хочешь, Никита, есть? — спросил Серго.

Я отказался. Как можно есть бутерброды, когда мы летим выше гор!

Прошло часа два или три, все внизу стало яркозеленым. За желтой полосой впереди все блестело, сверкало. Было больно смотреть.

— Дядя Серго, смотрите, что это?

Он взглянул:

— Это море, Никита, Черное море!

Я различил желтый берег, белую пену прибоя и черные точки посреди голубого пространства: это шли корабли. Мы долго летели над морем, и берег то исчезал, то вновь появлялся. Наконец самолет резко накренился на крыло, выровнялся, опять накренился, и коричневая земля, белые постройки на ней и краешек моря — все поднялось, стало боком, словно тарелка, поставленная на ребро.

— Испугался? — спросил Серго. — Садимся. Мы дома!

Как хорошо он сказал про Севастополь: «мы — дома»... Запрыгав по твердой земле, самолет подрулил к землянке. Слегка пошатываясь, я стоял под синим небом, и мне казалось, что все кругом синее: груды обломков неподалеку, близкое море и тень на земле от крыла самолета.

Я удивился: Серго не торопится, беседует с летчиком и не сердится, что за нами еще не приехали.

Но вот, прыгая по кочкам, подскочила тупоногая зеленая машина. Матрос в лихо заломленной на ухо бескозырке пригласил садиться. Я узнал его — это был тот самый Костя, который на «газике» отвозил меня в прибрежную деревню.

— Костя?!

— О господи! Тот малыш, которого я возил в прошлом году! А я бы тебя не узнал, так ты здорово вырос. И на тебе шикарная форма! — Он протянул мне руку.

Через несколько минут мы мчались по пыльной дороге. На холмах валялись подорванные танки, машины, повозки. Костя, не замедляя хода, пролетел мимо разбитого моста, свисавшего одним концом с насыпи, мимо обломков вагонов, загроздивших ущелье, и влетел в город.

— В соединение? — спросил он.

— Нет, в госпиталь, — ответил Серго.

Почему в госпиталь?..

На всей длинной улице, которую мы проехали из конца в конец, я не увидел ни одного уцелевшего дома. Стояли лишь стены. Трамвайные столбы были опутаны обвисшими проводами, и из мостовой торчали острые железные лапы рельсов. Открылся кусочек бухты с мачтами затопленных кораблей. Среди развалившихся стен, на которых чернели надписи: «Мин нет», моряки разгре-

бали мусор и камни. Над городом висели «слоники», и за холмами ухало.

— Подрывают мины. Их тут до чорта: и на земле и в воде. Осторожней ходи по городу, в развалины не заглядывай — напорешься, — предупредил Костя.

Машина поднялась в гору и въехала в отворенные настежь ворота. Костя круто затормозил возле двухэтажного дома с желтыми заплатами на стене. Буйно цвела сирень. Матрос в сером халате так решительно и быстро прошел на костылях, будто для своего удовольствия двигался на ходулях. У матроса было веселое и раскрасневшееся лицо, но я увидел пустую штанину, спущенную так низко, что если не присмотришься — не заметишь, есть нога или нет. Под кустами сирени сидели раненые с забинтованной головой, с рукою на перевязи; возле некоторых стояли костыли.

— Георгий! — позвал Серго. — Георгий, где же ты, дорогой?

Один из раненых, в сером халате, опираясь на палку, поднялся и пошел к нам, размахивая свободной рукой.

— Никита! — сказал он знакомым голосом! — Кит!

Неужели отец?.. Глаза были очень знакомые, губы тоже, но откуда взялись седина в волосах и широкий багровый шрам на щеке? И разве у отца раньше было такое худое лицо, обтянутое коричневой кожей?..

Я кинулся его обнимать и, наверное, сделал ему больно. Он поморщился.

— Тебя сильно ранило?

— Нет, — ответил отец. — Зато мы им задали жару! Правда, Серго?

— Еще бы, дорогой, помнить будут!

Я принялся целовать сухие, горячие щеки отца, потрескавшиеся губы.

— Хорош! — одобрил отец, легонько отодвинув меня и разглядывая. — Хорош, Никитка: вырос, поздоровел. И выправка отличная, и форма тебе идет... Что, Серго, правда настоящий моряк?

— Самый настоящий! — подтвердил Серго.

— Мама сейчас придет, три раза уже прибежала.

Отец снова поморщился. Я понял, что хотя он и выздоравливает, но у него все еще где-то очень болит...

— А вот и мама! — сказал отец радостно, и отбросив палку, слегка прихрамывая, пошел по дорожке.

Мама спешила к нам. Расцеловав меня, она поздоровалась с Серго. Он сказал, что пойдет по делу, и простился. Мы остались втроем на скамейке под белой сиренью.

Не знаю, поняли ли в тот день отец с мамой что-нибудь из моих рассказов. Все перемешалось: училище, адмирал, Антонина, Шалва Христофорович, Фрол, Бунчиков, Стэлла, вечер в училище, поездка в Гори, фуникулер, полет в самолете...

Когда я рассказал, как капитан первого ранга передал мне письмо и на место отца за столом сел другой офицер, мама вздохнула, отец же сказал:

— А ведь бутылка-то коньяку нас все-таки дождалась!

И его глаза стали такими же смешливыми, как прежде.

Наговорившись досыта, мы продолжали сидеть молча, глядя на синюю бухту. Алел закат.

— Ну, идите домой,—сказал наконец отец.—Я приду завтра утром. Выписываюсь.

— Не рано ли?—спросила озабоченно мама.

— Я здоров.

Мама поняла, что отца переспорить трудно.

Глава восьмая

КОРАБЛИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В СЕВАСТОПОЛЬ

На другое утро отец пришел в белый домик на Корабельной. Китель висел на нем, как на вешалке, но он все же был лучше серого халата.

— Пойдем-ка, Кит, в город,—предложил отец.

— Долго не пропадите,—сказала мама.

— Нет, мы скоро вернемся.

Узкая, вымощенная белым камнем дорожка вилась по крутому берегу, вдоль стены, пробитой снарядами. Из воды торчали мачты и мостик затонувшего судна. Город за бухтой казался отсюда совсем неразрушенным. О том, что война продолжается, напоминали лишь «слоники» в синем небе.

— Я приехал сюда, когда началась осада,—сказал отец.—Мы держались двести пятьдесят дней...

Отец помолчал, глядя на медленно приближавшийся ялик.

— Мы знали: чем дольше мы держимся, тем больше оттягиваем фашистских дивизий. Восемь месяцев непрерывной осады!.. Ты слышал о Воробьеве? Вон там, на Северной, стояла его зенитная батарея. Фашисты вплотную к ней подвели свои танки. Батарея держалась. Воробьевцы превратили зенитки в противотанковые орудия и из зениток били по танкам! Когда не осталось ни людей, ни снарядов, последний командир батареи—Пьянзин радировал: «Огонь со всех батарей—на меня!» И ворвавшиеся гитлеровцы были сметены с лица земли... Воробьевцы были настоящими севастопольцами!.. Когда мы, последние, уходили из горящего города, каждый брал с собой... Ты слышал о заветном севастопольском камне? — Нет.

Отец достал из кармана бережно завернутый в платок осколок:

— Каждый брал с собой камень и клялся, что принесет этот камень обратно в родной Севастополь. И когда товарища убивали в бою, другой брал себе его камень. С заветным камнем я ходил на катере в Крым с Кавказа, с ним плыл раненный, в скалах скрывался, прошел через крымские леса.

Отец бережно положил осколок к стене, и он слился с ней, словно вернулся на то самое место, откуда был взят в июле сорок второго года.

Мы спустились по каменному трапу на пирс. Я помог отцу сойти в ялик, и седой яличник, с пучками седых бровей на красном лице, поплевал на ладони и взялся за тяжелые весла.

— На Корабельную нынче и пассажиров-то нету, — сообщил он осипшим голосом.—Все—в город да в город. Поглядите-ка, с Северной — тоже... — И он показал на перегруженные народом ялики, переплывавшие бухту.

Впереди, перед нами, над бухтой высилась стройная белая колоннада, от которой сбегала к воде широкая лестница.

— Графская пристань,—сказал отец.

Графская пристань! Сразу в памяти ожили «Севастопольские рассказы». Значит, Толстой поднимался когда-то по этой пологой лестнице, и Нахимов, и не раз избегал в город Кошка, знаменитый матрос!

— Чудом она уцелела, Графская,—сказал яличник. — Две осады выстояла—ни огонь, ни снаряды ее не тронули...

Яличник выскочил первым и протянул руку отцу. Мы медленно поднялись по лестнице, к колоннаде, на белом фронте которой я увидел цифру «1846», и вышли на площадь.

— Дом флота, морская библиотека,—показал отец на серые стены развалин.—Идем, как бы не опоздать.

— Куда?

— Увидишь.

Что-то необычайное творилось сегодня в разрушенном городе. Вчера мы ехали по безлюдным улицам. Сегодня из каждого узкого, засыпанного камнем проулка выходили люди. Широкий людской поток стремился к морю. Удивительно, что в городе, где не осталось ни одного целого дома, вдруг оказалось столько людей! И у всех были праздничные, радостные, счастливые лица, все как будто ждали чего-то. И мы влились в этот поток и шли с солдатами в касках, офицерами, стариками — отставными матросами, словно обросшими седым мохом, в обтертых матросских бушлатах, с девушками в красных косынках и белых праздничных платьях...

— Приморский бульвар,—сказал отец.

— Где? — удивился я, не видя вокруг ни кустов, ни деревьев.

Лишь в большой черной воронке с краю цвел ярко-желтый цветок. И люди старались не наступить на него и бережно обходили.

— Бульвар сожжен, но он снова будет, — ответил отец.—Посадим цветы, деревья. И будем гулять как до войны...

— Будем, товарищ капитан третьего ранга, обязательно будем!—подтвердил шагавший рядом с нами матрос. — День-то нынче какой! Подумать только, день-то!

День был действительно замечательный. Солнце так празднично светило с неба! Море, спокойное, гладкое было удивительно синим. Уцелевший куст на обрыве был словно осыпан розовой росой. Бронзовый орел смотрел в прозрачную воду с колонны, выходившей из моря.

— Памятник Погибшим Кораблям,—показал отец на колонну. — Тоже уцелел.

— Идут! Идут!—загудело вокруг.

— Да нет, не идут еще. Показалось.

— Да нет, да идут же! Идут, родимые!

— Где, где?

— Смотрите лучше!

— Идут! — пронзительно крикнул звонкий девичий голос.

— Отец, кто идет?

— Смотри, смотри!—крепко сжал он мне руку.

И тут я понял, почему все стремились сюда, что сегодня за праздник, почему отец так взволнован и так боится опоздать.

Из-за мыса выдвинулся корабль, голубой, с голубыми башнями. Его окружали тральщики. Корабль входил в бухту медленно, величаво, уверенно—так, как хозяин входит в свой дом.

— «Севастополь!»! «Севастополь!» — загудело вокруг.

До чего же он был хорош! Длинные дула орудий вытягивались из амбразур орудийных башен. Вся верхняя палуба была бело-синяя—на ней, выстроившись, стояли матросы.

— Ура нашим родным кораблям!—крикнул кто-то.

— Ура-а!—закричали вокруг.

«Ура» поднималось все выше и замирало на высоких холмах, а эхо за бухтами подхватывало и откликалось. Люди со счастливыми лицами, с глазами, наполненными слезами, бросали в воздух фуражки, и алые трепещущие косынки летали в воздухе. Все обнимались и целовались и снова кричали «ура» и «Да здравствует Черноморский флот!»

Отец снял фуражку, а я сдернул бескозырку, и мне хотелось подкинуть ее выше всех. Что-то подхватило меня и несло как на крыльях. Я тоже кричал до того, что охрип.

Корабли возвращались в свою родную столицу, в дом, захваченный было врагом и снова освобожденный. Корабли шли один за другим—стройные крейсера, легкие, стремительные эсминцы, подводные лодки и неуклюжие серые транспорты. И люди называли каждый по имени.

Рядом с нами стояли старик со старушкой и девушка, маленькая, очень бледная, с заплаканным лицом. Старик, опираясь на палку, говорил кораблям: «Родные!» А девушка, вдруг улыбнувшись, отчего ее лицо сразу стало удивительно красивым, прошептала: «Родной мой!»

— Снова дома! Ну, теперь уж навеки!—сказал старик.

— Навеки!—подтвердил отец.

В ясном небе вдруг грянул оглушительный гром. Корабли салютовали своей столице. Они приветствовали голубые бухты, защитников и освободителей Севастополя и говорили своему городу: «Ты будешь снова построен!»

Отгремел последний салют; наступила тишина. Отец обратился ко мне:

— Ты можешь сказать товарищам: «Я видел своими глазами, как возвратились корабли в Севастополь». Этот день будет записан в историю, и мы не забудем его до конца своих дней...

Он стоял с просветленным лицом, не стирая слез, катившихся по щекам, и крепко сжимая в руке простую суковатую палку.

Глава девятая

КОМАНДУЮЩИЙ ПОЗДРАВЛЯЕТ ГЕРОЕВ

Теперь весь народ ринулся на Графскую пристань. От кораблей, пришвартованных к бочкам, раздвигая спокойную воду, бежали к пристани быстрые катера. Матросы в белых форменках соскакивали на пристань, взбежали по лестнице, торопясь поскорее вступить на заветную землю, встречали знакомых, обнимались и целовались троекратно—по-русски. Откуда-то вдруг появился оркестр и заиграл тут же, на площади. Толпа расступилась, по кругу понеслись белые форменки и алые косынки.

— Пойдем-ка, Кит, прогуляемся по городу.

— А тебе не тяжело ходить?

— Нет, не тяжело.

Мы поднимались по сбитым ступенькам, обходили воронки и груды мелкого камня. Я видел дом, в котором, казалось бы, и жить невозможно, а в нем уже жили люди. В окно были вставлены мутноватые зеленые стекла, и из форточки торчало коленце железной печки. На уцелевшей половине дома появилась надпись: «Парикмахерская». Матросы вставляли стекла в доме с белой мраморной доской, на которой было написано золотом: «Здесь жил Нахимов». В другом месте расчищали завал

и засыпали щебнем воронки. А дальше чинили пирсы, водолаз опускался на дно. Грузовики везли мясо, муку, сахар...

Отец показал мне круглое здание Севастопольской панорамы, без крыши, все в дырах от попавших в него снарядов.

С бульвара, изрытого траншеями, мы видели обе бухты—Северную и Южную—и корабли, отдавшие якоря и пришвартовавшиеся к разбитым пирсам. На линкоре пробили склянки; словно эхо, отзвонили склянки на всех кораблях.

Отец рассказывал, что здесь, на бульваре, стояла зенитная батарея. Там был подземный госпиталь, тут—подземное кино.

Мы сели на камень, и отец вдруг спросил:

— Скажи, Кит, мне честно: хочешь быть моряком?

— Хочу! Я буду жить так, как ты!

— Нет, лучше! Лучше меня живи, Никита! С тебя больше спросится. Я пришел в военно-морское училище самоучкой, а ты—окончив Нахимовское!

К нам подошел запыхавшийся матрос.

— Товарищ гвардии капитан третьего ранга,—обратился он к отцу,—я вас повсюду разыскиваю. Капитан первого ранга приказал вам явиться.

Мы спустились к причалам и очутились возле небольшого транспорта. Он был базой катерников, вместо старого корабля, давно оставленного на побережье Кавказа.

— Где вы пропадали?—встретил нас Серго.—Я ходил к вам домой. Адмирал должен притти.

— Зачем?

— Не знаю. Дал семафор. Кажется, будет дело.

— Ты думаешь?—оживился отец.

— Уверен. Жаль, ты не сможешь...

— Кто не сможет? Я?

— Ты же только что выписался.

— Я здоров!—горячо сказал отец.—И сидеть здесь, когда все пойдут в море, не собираюсь. Курс на Констанцу?

— Полагаю, что да.

Отец снова собирался туда, где воюют!

В кают-компанию стали входить офицеры, и почти все оказались знакомыми. Они пожимали руку отцу, поздравляли с выздоровлением; расспрашивали, как мне живется

в Нахимовском. Когда я передал Русьеву письмо Фрола, он сказал, что соскучился и ждет сына в гости. Капитан первого ранга, в парадной тужурке, с аккуратно повязанным черным галстуком, поблагодарил за то, что мы писали ему из Нахимовского. Андрей Филиппович сказал, что он тоже прочел письмо. А Лаптев пообещал, что уж тут-то мы рыбки половим.

— Смотри какой рыбки,—подхватил другой лейтенант.—Ловись, ловись, рыбка, большая и маленькая!

Завязался разговор о торпедах, метко пущенных в фашистский транспорт, об упущенной фашистской барже, которую пришлось догонять моему отцу и Гурамишвили, о шторме в семь баллов и караване гитлеровских судов, который они искали в тумане. Смеялись, что у Серго кошачий глаз, что он первый во тьме разыскал затемненные фашистские корабли, а отец и Русьев первыми пошли на них в атаку. Я понял, что отца ранило в бою за Севастополь.

Я видел его оживившееся лицо, смотрел, как он набивает трубку, прижимая пальцем светложелтый табак, раскуривает ее от спички—все это неторопливо, спокойно,—и думал: «Он пережил столько, сколько другому не пережить за всю жизнь».

Вошел вахтенный и что-то тихо доложил капитану первого ранга. Капитан первого ранга надел фуражку и вышел.

Послышались быстрые шаги, и в кают-компанию вошел вице-адмирал, плотный, с живыми карими глазами и чисто выбритым загорелым лицом.

— Прошу садиться,—предложил адмирал, снял фуражку и быстрым движением пригладил свои стриженные ежиком темные волосы.—Рад сообщить вам, что командующий флотом дал «добро» на выход вашего соединения. Операцию нужно провести по-гвардейски. Черное море должно быть навсегда очищено от врага. Я убежден, что вы выполните и это задание... Вы не преждевременно выписались из госпиталя, Рындин?

— Никак нет, товарищ вице-адмирал. Я выписался как раз во-время. Прошу вашего разрешения пойти в операцию.

Адмирал чуть склонил набок голову:

— Я знаю, что глубоко обижу вас, если не допущу на катер. Даю «добро». Тем более (он встал и положил

руки на стол), что в завтрашней операции будут участвовать три Героя Советского Союза. Советское правительство высоко оценило заслуги офицеров вашего соединения и постановило присвоить звание Героя Советского Союза славным сынам нашей великой Родины, морякам Черноморского флота Георгию Рындину, Серго Гурамишвили и Виталию Русьеву.

Отец, Серго и Виталий Дмитриевич встали, растерянные от неожиданного известия.

— Поздравляю, Рындин!—Адмирал обнял и трижды поцеловал отца.—Поздравляю, Гурамишвили!—сказал он, обнимая и целуя Серго.—Поздравляю, Русьев!—обнял и поцеловал он Виталия Дмитриевича.

Капитан первого ранга подозвал вестового, и тот откупорил шампанское.

— За тех офицеров,—поднял стакан адмирал,—которые шли на благородный риск. Риск—благородное дело, когда он соединяется с отвагой и мастерством. Бесстрашие, мужество, дерзость плюс мастерство, трезвый и смелый расчет—в этом залог победы. За смелых и дерзких моряков, за героев!

Он осушил стакан.

Мне тоже досталось полстакана вина, и я чокнулся с отцом, дядей Серго и Русьевым. Адмирал улыбнулся и спросил:

— А это чей молодец?

— Мой,—ответил отец.

— Наш,—поправил отца капитан первого ранга. — У нас их двое, воспитанников. Есть еще Живцов.

— Нахимовец?—обратился ко мне адмирал.

— Так точно, воспитанник Нахимовского военно-морского училища, товарищ вице-адмирал! — отчеканил я как только мог лихо.

— Добро!

Он снова поднял стакан:

— За будущее поколение моряков! За большой флот! За того, кто нас вдохновляет на подвиги, за нашего Сталина!

После ужина началось веселье. Играла музыка — где радио, где аккордеон,—плясали русскую и отбивали каблуками чечотку, пели «Катюшу», и можно было подумать, что никакой войны нет и никто не собирается завтра на рассвете уходить в море. Все расспрашивали меня про

Живцова, просили ему передать привет и очень смеялись, когда я рассказал, что Фролу в училище запрещают курить.

В кают-компании очень молодые лейтенанты, только что приехавшие из военно-морского училища, горячились и спорили. Один из них был веснушчатый, рыжий, как Фрол, другой напоминал Юру, и я представлял себе, что когда-нибудь и мы с Фролом, окончив высшее военно-морское училище, придем на корабль, будем спорить перед завтрашним выходом в море и волноваться, как, очевидно, волнуются лейтенанты, но не хотят показать, что волнуются, и стараются выглядеть совсем настоящими моряками-вояками, и это им плохо пока удастся. Но и капитан первого ранга и Андрей Филиппович поглядывали в их сторону с улыбкой, когда в их углу становилось особенно шумно.

Отец подошел к патефону и завел свой любимый вальс из «Щелкунчика».

— Помнишь, Никита, Кировский театр?— спросил он.

— Конечно, помню.

— Ты еще досмерти испугался мышиного короля.

— Ну вот еще! Я не испугался.

— А зачем же ты хватал меня за рукав?..

Каюта отца на плавбазе была совсем крохотная. И здесь на маленьком столике стоял портрет матери; в углу на вешалке, как всегда, висели его рабочий китель и кожанка.

Серго сел за стол и быстро написал что-то на листке бумаги.

— У тебя есть конверт, Георгий?.. Передай Антонине, Никита. Вы, я слышал, здорово подружились?

— На всю жизнь!

— Ого, даже на всю жизнь!—засмеялся Серго.

Отец взглянул на часы:

— Нам пора домой.

Когда мы поднялись на палубу, в небе светили звезды, крупные, как грецкие орехи. В воде тоже плавали звезды, и казалось, что это светящиеся морские зверьки движутся в глубине. По небу и темным горам бегали лучи прожекторов.

Отец спросил:

— Ну, Кит, а что мы теперь скажем маме?

— Скажем, что ты—герой.

— А ведь знаешь, как-то неудобно. Притти домой — и вдруг, сразу: «Здравствуйте! Я—герой».

— А Фрол, тот сказал бы.

— Ну, Фрол твой — смелый.

— Тогда я скажу, хочешь?

— Пожалуй, лучше ты. Войдешь первым и скажешь.

— Катер у борта!—сообщил из темноты вахтенный офицер.

Мы сошли на катер, и он быстро заскользил через бухту. Мы не садились, а, по обычаю моряков, стояли с отцом на корме. Мы молчали. Я знал, что он завтра опять уйдет в море, а я уеду в училище и долго его не увижу.

За кормой журчала вода. Звезды ярко горели в черном небе, во тьме южной ночи... Луч прожектора выхватил из темноты белую колоннаду со сбегаящими к воде ступенями, скользнул дальше—и она исчезла, как чудесное ночное видение...

Глава десятая

ВОЗВРАЩАЮСЬ В УЧИЛИЩЕ

Утром веселая девушка-письмоносец принесла свежие газеты.

— Ух, и много же сегодня в газете про вашего папу! Поздравляю,—сказала она и крепко пожала мне руку.

Я развернул «Красного черноморца» и стал читать статью, которая называлась:

«ПОДВИГИ НАШИХ ГЕРОЕВ»

«Герой Советского Союза Рындин вписал в историю Черноморского флота немало выдающихся страниц. Он не раз вступал в бой с двумя, тремя, четырьмя вражескими катерами и всегда оставался победителем. На его счету много потопленных вражеских кораблей. Он не страшился ни шторма, ни огня, ни вражеских пикировщиков.

Вот один из последних подвигов командира отряда, капитана третьего ранга Рындина, рассказ о котором записан со слов его товарищей...»

И я прочел, как ночью, в шторм, среди ревущих и стонущих волн шли катера на задание. Зеленые и красные вереницы пуль оплетали их паутиной. Фашистский транс-

порт мечется, ускоряет ход. Торпеда догоняет его. Взрыв—и на воде плавают лишь обломки. Второй, третий транспорт идут ко дну. Катера делают по второму заходу. Враг не ушел...

Я показал газету отцу и маме. Пришли Серго с Русьевым.

— Пора!—посмотрел отец на часы.

— Да, пора,—сверив свои часы; подтвердили Серго и Русьев.

Отец пожелал мне успехов. Русьев передал письмо и пятьдесят рублей.

— Пусть только Фрол не вздумает покупать паниросы,—засмеялся он.

— Нет, что вы, он больше не курит!

Мы с мамой проводили их до бульвара. Через полчаса катера, гудя, промчались в море...

— Вот и опять он ушел!—вздохнула мама.

— Но он скоро вернется.

— Конечно, вернется! Пойдем, сынок, а то, пожалуй, ты опоздаешь.

Мы спустились на пирс.

— Ну, прощай, Никиток!

Она поцеловала меня.

Один из катеров уходил в Сухуми. Прощаясь, капитан первого ранга, протянул мне две гвардейские, черные с желтым, ленточки:

— Это вам с Живцовым, на память.

Я бережно спрятал ленточки.

Катером командовал рыжий молодой лейтенант. Он был обижен: ему хотелось пойти в бой с другими, а его посылали в тыл. Он особенно звонко отдавал команды, как будто не был уверен, что его станут слушаться молодые матросы. Но все быстро заняли места, загудели моторы. Катер высоко задрал нос и вышел в открытое море. Лейтенант, наконец, взглянул на меня.

— Хорошо, а?—спросил он, стараясь перекричать гул мотора.

— Хорошо!—крикнул я. Мне хотелось петь и плясать.

Мы неслись мимо гор, кораблей, оставляя за собой стаи резвящихся дельфинов. Я представил себе, как отец, Серго, Русьев так же стремительно несутся на запад.

До Сухуми было далеко, и я успел проголодаться. Наконец, уже к вечеру, катер влетел в широкую бухту, развернулся и стал у высокого пирса.

— Приехали, Рындин!—сказал лейтенант в шутку, потому что моряки говорят, не «приехали», а «пришли».

Ветерок шевелил листья пальм.

— Пойдем выпьем?—предложил лейтенант.

— Я не пью!—отказался я, вообразив, что он предлагает мне водки.

— Лимонаду!—рассмеялся от души лейтенант, очень довольный, что удалась его шутка.

Поздно вечером я уехал в Тбилиси.

Глава одиннадцатая

ПЕРЕД ВЫХОДОМ В ЛАГЕРЬ

Я рассказал друзьям, как летел в Севастополь, и как видел море сверху, как выглядит город и где живут люди. Вова Бунчиков допытывался, видел ли я его дом. Он очень огорчился, узнав, что на улице, где он жил когда-то, ничего не осталось, кроме развалин, и принялся расспрашивать, пришли ли с эскадрой «щуки».

— И «щуки» шли и «малютки», — отвечал я, потому что знал, что одни подводные лодки называются «щучками», а другие—«малютками».

— Папа тоже служил на «щучке»,—сказал Вова грустно.

Забегалов все добивался, видел ли я «Серьезного» Авдеенко, широко раскрыв глаза, слушал.

Меня заставили прочесть вслух все, что написано в газете об отце, Русьеве и Гурамишвили.

— А теперь они пошли на Констанцу.

— Счастливыцы! — позавидовал Фрол. — А золотые звездочки они получили?

— Нет, они их получают в Москве, в Кремле, как вернутся.

— А адмирал, говоришь, их расцеловал?

— Да.

— А капитан первого ранга?

— Он подарил нам ленточки.

— Гвардейские?!—ахнул Фрол.

Конечно, мы не имели права надеть гвардейские ленточки на свои бескозырки. Но все рассматривали их с завистью.

И Фрол несколько раз примерял перед зеркалом свою ленточку, а потом бережно ее спрятал.

Пришел Кудряшов и спросил, не видел ли я «морских охотников». Я сказал—видел: они стояли у пирса. Сурков поинтересовался, не пришла ли в Севастополь его «Буря». А Протасов спросил, что я слышал о куниковцах.

— Куниковцы уже не в Крыму, они на румынском берегу.

— А моего отца видел?—спросил Поприкашвили.— Подводник с густой черной бородой—второй такой бороды ни у кого нету.

— Нет, не видел.

— А моего?—спросил Юра.

— Нет. Разве он в Севастополе?

— Должен быть в Севастополе.

Только «отбой» заставил нас разойтись по койкам.

На другой день Авдеенко отвел меня в сторону:

— Послушай, Никита, что я скажу: я хочу поехать на флот.

— Из любопытства?

— Нет, не из любопытства! Ты сможешь мне подготовиться к испытаниям? Я ведь многое запустил.

— Помогу, конечно. Но ведь раньше ты говорил, что тебе все равно, поедешь ты или не поедешь.

— Теперь мне не все равно!—сказал Олег горячо. — Веришь?

— Верю.

* * *

Я выдержал испытания на пятерки. Да и почти весь класс подтянулся и вышел к концу года с честью.

Особенно нами был доволен капитан второго ранга Горич. Но и остальные преподаватели нас хвалили. Историк сказал: он надеется, что «уважаемые и почтенные» его ученики «и дальше будут такими же молодцами». Учительница русского языка похвалила Авдеенко за хороший слог. Для Фрола она приготовила сюрприз: отдавая тетрадь с сочинением, под которым синим карандашом была выведена четверка, она сказала, что

впервые в жизни встречает столь упорного человека и надеется, что впоследствии он, как адмирал Макаров, будет автором ученых трудов, а пока, на память о его первых шагах, она отдает ему его первый опыт. И учительница, так мило и тепло улыбаясь, что Живцов никак бы не смог на нее обидеться, протянула Фролу аккуратно сложенный листок его первой диктовки. И Фрол не бурчал в этот раз и не обозлился, а тоже улыбнулся, щелкнул каблуками и сказал: «Спасибо». Он доказал, что одолеет, если захочет, даже грамматику, дававшуюся ему с таким трудом.

После испытаний у нас был концерт. На этот раз выступали артисты. Потом был объявлен список тех, кто поедет на море—на флот—для ознакомления с кораблями.

— «Руководитель группы,—читал Кудряшов,—капитан второго ранга Горич. Его заместитель—капитан третьего ранга Сурков. Воспитанники, удостоившиеся посетить флот: Авдеенко, Бунчиков, Живцов, Забегалов...»

Я не слышал других фамилий, пока он не произнес: — «...Поприкашвили, Рындин...»

И хотя я был твердо уверен, что поеду на флот, я чуть не закричал на весь зал «ура» от счастья.

* * *

В воскресенье перед выходом в лагерь мы собрались в последнее увольнение.

Фрол предложил пойти к Стэлле и позвал с собой Юру.

— А может, возьмем и Олега?—сказал он.

Мы согласились.

Стэлла увидела нас в окно и, выскочив нам навстречу, закричала: «Папка, папка! Это Никита, и Фрол и еще я не знаю, кто с ними!»

— Не-ет, как я рада!—говорила она, пожимая нам руки.—Антонина, где же ты, генацвале? Смотри, кто пришел!

— Никита, мы только вчера тебя с дедушкой вспоминали!—кинулась ко мне Антонина.

Я передал ей письмо и сказал, что Серго опять ушел в море.

Фрол, отставив ногу назад, полез в карман и как только мог торжественно заявил:

— Помнишь, Стэлла, ты писала в письме, чтобы я

не приходил к тебе без пятерок? Так вот, чтобы ты не задавалась, я принес тебе свои отметки.

Стэлла засмеялась и откинула за плечо косу:

— А я знаю твои отметки!

— Откуда? Тебе кто сказал? — спросил Фрол, наступая Юре на начищенный ботинок.

— Твой начальник.

— Какой? Старшина Протасов?

— Да нет же! Начальник.

— Кто? Старший лейтенант Кудряшов?

— Ах, причем тут старший лейтенант, я не понимаю! Разве адмирал не начальник?

— Адмирал?..—растерялся Фрол.

— Не-ет! Какой ты непонятливый! — засмеялась Стэлла.—Он шел по улице, такой важный, серьезный, погоны—как у генерала, только звездочка черная. Я подошла к нему и спросила: «Товарищ адмирал, скажите, пожалуйста, у вас учится Фрол Живцов?»

— С ума сошла!—выдохнул Фрол.—А он что? Рассердился? Дальше пошел?

— Зачем? Остановился, улыбнулся и говорит: «Да, у меня, в Нахимовском. А ты, девочка, знаешь Живцова?»—«Знаю,—говорю,—он мой большой друг».—«Вот как!—отвечает твой начальник.—И давно вы с ним дружите?»—«С весны,—говорю.—И я ему сказала, чтобы он не ходил к нам, раз учится плохо и за плохую дисциплину с него сняли погоны и ленточку».—«Вот так девочка!—сказал адмирал, а сам улыбнулся. — А тебя как зовут?»—«Стэлла».—«Красивое имя. И косы у тебя замечательные! Так вот что я тебе скажу: твой друг Живцов молодец и стал учиться отлично. Отлично, понимаешь? И я его посылаю на корабли. Ты довольна?»—«Я так рада!» сказала я. А потом мы попрощались за руку, и я пошла в школу. Я оглянулась—он все стоял и смотрел мне вслед. И он совсем простой, хороший, адмирал, ну, как мой папа. Или как дедушка Антонины.

— Стэлла, веди своих друзей скорее в дом!—позвал с порога Мираб.—Четыре моряка в моем доме!—радовался он.—Маро, Маро, принимай гостей, голубка!

Через несколько минут мы сидели за накрытым столом в прохладной комнате, и Мираб угощал нас чурчхой и разбавленным водкой вином.

— Это очень полезно,—убеждал он.—Натуральное

кахетинское, чистый виноградный сок, утоляет жажду.

Юра и Юлег чувствовали себя так, будто они уже не первый раз в гостях у Мираба. Говорили о театре, о море, и о том, что Гоги, брат Стэллы, воюет далеко на западе. А Мираб, подняв стакан за моего отца и отца Антонины, ни словом не напомнил о том, что они пропали и нашлись, потому что знал, что отец Фрола никогда не вернется.

Потом отец с дочерью спели нам «Цицинатэллу», «Сулико» и много других грузинских песен. Песни были то печальные, то веселые, но все красивые и мелодичные. И когда я сказал: «Жаль, что нет скрипки, а то бы Олег сыграл», Стэлла переглянулась с отцом, он кивнул, и она, открыв шкаф, достала потертый футляр. В футляре оказалась старенькая скрипка.

— Это скрипка нашего Гоги,—сказал Мираб.—Возьми, поиграй! Может, она не так хороша, как твоя, но все же отличная скрипка.

— Вы пойте, а я вам буду подыгрывать,—предложил Олег.

— Отлично!—одобрил Мираб.—Вот так нам всегда подыгрывал Гоги!

И они снова запели «Сулико», и Олег очень быстро подхватил мелодию песни, и мы слушали, долго слушали, а соседи стояли под окнами и тоже слушали, как поют отец с дочерью и как им вторит скрипка их Гоги.

Потом мы отправились в Муштаид, где два раза прокатились в пионерском поезде; сидели на берегу Куры.

— Мы уезжаем в лагерь,—сообщил я девочкам.

— А я еду в Хашури, к бабушке, — сказала Стэлла.

— А ты, Антонина?

— Я поеду в Сухуми. Там живет мой дядя, ученый; он скрещивает мандарины, лимоны...

— И фейхоа?

— Фейхоа—не цитрус, но у дяди в саду есть и фейхоа. Знаешь, как она растет? Зеленый огурчик на кустах... Когда я окончу школу, я пойду в институт. И буду, как дядя, добиваться, чтобы у меня вырастали мандарины со сладкой кожицей—их можно будет есть целиком. И сладкие лимоны. Или такие апельсины, которые будут созревать даже в Москве. Папа сказал, что это очень хорошая специальность.

— А я,—сказала мечтательно Стэлла,—буду водить

электровозы. Ты знаешь Сурамский перевал? Высокие горы, ветер, снег, буря—электровозу все нипочем. А еще, знаешь, есть высоко над Боржоми, в горах, Бакуриани. Сейчас туда ходит обыкновенный поезд, плетется на гору три часа. А мы будем за двадцать минут на вершине! Не-ет, как это здорово, понимаешь? Внизу—жара, внизу пьют воду со льдом, а наверху—на лыжах катаются, понимаешь? Бакуриани...

— А меня на электровоз ты возьмешь? — спросил Фрол.

— Конечно! А ты меня — на торпедный катер?

— Ну нет! Женщинам на катере быть не положено.

— Даже мне?

— И тебе нельзя. Запрещено, понимаешь?

— Не-ет, как несправедливо! Тебе на электровоз можно, а мне на катер не положено. Почему?

Все засмеялись—так смешно Стэлла осудила несправедливость.

Часть четвертая

УХОДИМ ЗАВТРА В МОРЕ

Глава первая

В ЛАГЕРЕ

Наш корабль называется «Гордый». Волна обрушивается на палубу. Штурман докладывает: «До земли двадцать два кабельтова, по носу—подводные рифы». Командир подает команду: «Лево руля!» Мы прошли Дарданеллы, Средиземное море и Суэцкий канал. Мы стали закаленными моряками. Командир наш—Живцов, Бунчиков—старший механик, Девяткин—штурман, Авдеенко—радист, Поприкашвили—минер, я—старший артиллерист.

«Гордый» существовал только в нашем воображении. Мы жили в лагере среди гор, где в ущелье за камбузом дрались, визжа, шакалы и намного километров вокруг не было даже речушки. Неподвижная шлюпка, такая же жалкая здесь, как рыба на прибрежном песке, и была нашим эсминцем—нет, крейсером «Гордый». Днем мы учились грести. Весла были тяжелы и неповоротливы. А может быть, неповоротливы были мы сами? Но вечером, под звездным небом, так легко было превратить шлюпку в корабль, песок—в море, горы—в берега дальних стран, а светлячков—в огоньки на клотиках!

По ночам в палатках подавались во сне команды: «Отдать швартовы!» или «Первая башня—огонь!»

Мы огорчались, что наш лагерь не похож на корабль, хотя мы несли вахту по палаткам, по камбузу, по столовой, и сутки делились у нас на шесть вахт, и каждые полчаса отбивал склянки большой колокол.

Ровно в восемь утра все училище выстраивалось на передней линейке. Звучал горн. Подавалась команда: «На флаг!» И белый с синей полосой флаг замирал выше сосен, на мачте.

В лагере не было ни парт, ни классов. Занимались гимнастикой, греблей, боксом, лазили по горам. Горич нас научил «семафорить»—переговариваться флажками. Он посвятил нас в тайны корабельных сигналов. В нашем распоряжении был полный набор сигнальных флажков. Горич же вычертил силуэт парусного корабля и рассказал, что такое бугшприт, что такое фок-, грот- и бизань-мачта. Он составлял альбом «морской славы», куда мы под его руководством переписывали из книг и газет описания подвигов русских моряков.

Я записал со слов Горича рассказ о бое в 1905 году броненосца «Адмирал Ушаков» с японцами. И Горич и мой дед Никита служили на «Ушакове». «Ушаков» на предложение сдаться открыл огонь и поднял флаг: «Псгибаю, но не сдаюсь».

Другой рассказ я переписал из «Красного черноморца» при свете «летучей мыши». Я снабдил его заголовком: «Так поступали комсомольцы-черноморцы. Учитесь у них!»

Пятеро моряков-комсомольцев поклялись любой ценой остановить фашистские танки.

Комсомолец Цыбулько первой очередь убил водителя танка; он взял гранаты и пополз навстречу второму танку; подорвал танк, но сам был смертельно ранен.

На смену товарищу с четырьмя бутылками в руках ринулся Красносельский. Метким броском он зажег сначала один танк, потом другой и... погиб на глазах у товарищей.

Осталось трое.

Танки были в пятидесяти метрах. Тогда вышел Фильченков. Обвязавшись гранатами, он бросился прямо под гусеницы. Раздался взрыв, и фашистский танк грузно свалился набок.

Два танка шли так уверенно, что можно было подумать—их не остановит никакая сила... Но такая сила нашлась. Одинцов и Паршин обвязались гранатами. Они были настоящими комсомольцами, такими же, как Калужный, который на комсомольском собрании сказал: «Мы молоды, нам бы только жить, а не умирать. Но мы поклялись не опозорить морскую славу...»

— Хорошие слова, — сказал Фрол: — «не опозорить морскую славу».

Горнист сыграл отбой, мы стали укладываться. Фонарь едва освещал палатку. Фрол лежал рядом со мной.

— А ты бы хотел кораблем командовать?—спросил я друга.

— Почему «хотел бы»? Я хочу и буду. Затем и в Нахимовское пришел.

— Ты не хотел в Нахимовское. Помнишь, говорил: «Убегу на Малую землю».

— Малой земли давно нет. Есть одна, Большая земля, советская... А знаешь, Кит, если б и была еще Малая земля, я бы теперь не ушел из училища даже к куниковцам.

— Правду говоришь?

— Честное флотское!

Фонарь замигал и погас.

— Боюсь я, шакал залезет,—жалобно сказал в темноте Бунчиков.

— Иди ко мне, я не боюсь шакалов,—позвал Илюша.

Было слышно, как Вова перелез к Илико на койку. Его досмерти напугал однажды шакал, забравшийся ночью в палатку.

— Спи, Кит, — пробурчал Фрол совсем сонным голосом.

Я не спал. Те черноморцы, которые, обвязавшись гранатами, бросались под танки, так же, как я, учились в школе, отвечали уроки, старались иметь побольше пяттерок. Они были комсомольцами, как я, Фрол, Девяткин, Забегалов...

* * *

Почта приходила через день. Большая зеленая машина с белой полосой на борту на минуту останавливалась возле штаба. Письмоносец сбрасывал мешок и в обмен

забирал другой — с нашими письмами. Машина бежала дальше, оставляя за собой облако едкой пыли.

Мама писала: «Папа вернулся живой и здоровый. Сегодня он, Серго и Русьев вылетают в Москву».

Вова Бунчиков, ни от кого никогда не получавший писем, вдруг получил письмо и пятьдесят рублей от своих каспийцев. Они не забыли его!

«Мы только что ходили в Иран,—писали ему офицеры,—и видели, как такие же мальчишки, как ты, по двенадцать-четырнадцать часов работают на фабриках. Они изможденные и голодные. Мы видели таких же, как ты, мальчуганов, просящих на улицах подаяние. Их так много в Иране, что если каждому дать по копейке, и то никаких денег не хватит. Мы видели ребятишек, ночующих в порту, на тюках. На них нападают крысы и портовые надсмотрщики. Если бы мы рассказали иранцам, что ты, потерявший отца и мать, не имеющий своего дома, теперь сыт, одет, обут, учишься и будешь морским офицером, нам просто не поверили бы. Будь это возможно только в нашей стране, где каждый спокоен за свое будущее. Желаем тебе успехов и счастья. Не забывай нас, малыш. Приезжай, Вова, к нам в гости на Каспий!»

Бунчиков целый день не выпускал письма из рук и перечитывал его вслух. А Сурков, прочтя письмо всей нашей роте, рассказал о том, как дети живут за границей—в Америке, в Англии. Он принес целую пачку книжек, мы их расхватили и читали с волнением. Как эта жизнь не похожа на нашу счастливую жизнь!

Илико получил письмо от отца. Поприкашвили-старший потопил еще один неприятельский транспорт. Протасову принесли пять «треугольничков» с печатью полевой почты. Адрес на всех пяти был написан одним и тем же почерком. Получил письмо Юра и, вместо того чтобы обрадоваться, вдруг загрустил.

Я спросил:

— Что с тобой?

— Сегодня, Кит, день моего рождения.

— Да ну? Поздравляю.

— Как хорошо всегда было в этот день! Отец обязательно дарил что-нибудь. А мама... мама утром будила

меня и смеялась: «Соня, проспишь день рождения!» Ты знаешь, Кит, она совсем на твою не похожа, а все же, когда твоя мама пришла в училище, я чуть не заревел. Я позавидовал, да, хоть завидовать нехорошо. Когда я увижу маму? Она далеко, в Сибири...

— Увидишь,—сказал я.—Скоро увидишь!

— Я и отца не видел два года!..

— Кит!—позвал Фрол.—Поди-ка сюда!

Он вытащил из кармана газету:

— Читай!

На первой странице был напечатан приказ о награждении моряков. Первым в списке был вице-адмирал, которого я видел на базе катерников в Севастополе. Потом перечислялись незнакомые фамилии офицеров.

— Ниже, ниже смотри!

Я прочел:

«Орденом Красной Звезды награждаются... краснофлотец Девяткин Юрий».

— Наш Юрка?!

— Иди-ка собирай класс. Вот и подарок ко дню рождения!

Я мигом разыскал одноклассников. Фрол зачитал им приказ.

— А теперь зови Юрку!

Я нашел Юру и потащил к палатке. Фрол взял под козырек. Лица у всех были торжественные и серьезные.

— От имени класса горячо поздравляем тебя, товарищ заместитель старшины, с днем рождения и с высокой наградой!—сказал Фрол с таким выражением, будто был адмиралом.

Юра взял газету.

— Да не там читаешь! Ниже, ниже смотри!

Юра прочел и совсем растерялся.

— Да ты газету не мни!—крикнул Фрол.—Спрячь на память.

— Я бы с ума сошел от такой радости!—сказал Бунчиков.

— Подумать только, Красная Звезда! — подхватил Поприкашвили.

— У меня есть ленточка, совсем новая, — вспомнил Фрол.—Ордена ты еще не получил, но ленточку тебе носить можно, приказ объявлен. Рассказывай, за что тебе дали орден?

— За что? Но я, право, не знаю.

— Орденов зря не дают. Говори, за что тебя наградили?

— Честное слово, не знаю... Ничего не было... Я пойду, мне там кое-что переписать надо...

Он убежал.

— Не привык получать награды,—заключил Фрол.

Вот уж он-то не растерялся бы, если б даже его наградили орденом адмирала Нахимова! Он отчеканил бы: «Служу Советскому Союзу!» и принял бы награду, как полагается.

Только много дней спустя Юра показал мне маленькую вырезку из газеты бригады морской пехоты: «Будучи в разведке, юнга Девяткин был ранен. Целые сутки ползком добирался юнга до своего батальона. Он доставил командованию чрезвычайно важные сведения о подошедших резервах противника, о подвезенных им пушках и минометах. Во-время открыв ураганный огонь, наши артиллеристы нанесли врагу огромный урон, сорвав подготовку к атаке. Девяткин представлен к награде».

Глава вторая

К МОРЮ!

Наконец-то мы ехали на море! Мы получили «сухой паек» на дорогу, уложили вещи в мешки, и грузовая машина отвезла нас в Тбилиси. Зашли в училище. Так пусто было в огромном здании! Горич разрешил мне и Фролу отлучиться до вечера.

Мы пошли к Стэлле. У нее была Антонина и еще одна рыжая кудрявая девочка.

— Это Хэльми Рауд, она сидит со мной на одной парте,—познакомила нас Антонина.—Она эстонка из Таллина, а теперь живет в Грузии; ее отец работает на Закавказской железной дороге. Им бы пришлось очень плохо, если бы они остались при фашистах: фашисты повесили бы ее отца-коммуниста. Она бежала с отцом по полям, вокруг падали бомбы, и самолеты гонялись за ними, стреляя из пулеметов.

Хэльми рассказала, что в Таллине было много моряков до войны: это ведь морской город! Но она никогда

не видела таких маленьких моряков, как мы с Фролом. Фрол хотел было обидеться, заявив, что он вовсе не маленький, воевал на катере, но Стэлла и Антонина закричали в один голос: «Знаем, знаем! Все рассказали Хэльми: как ты водил катер и даже попадал в «вилку»!..» И все рассмеялись, даже Фрол. А Антонина вытащила корзину и принялась угощать нас невиданными плодами—их в Сухуми выращивал ее дядя: мандаринами, которые можно есть с кожицей; помесью апельсина с лимоном; сочной красной хурмой и грейпфрутом. А потом достала несколько зеленых огурчиков и сказала:

— Вот это вам, наверное, понравится.

— Огурцы после мандаринов?—удивился Фрол.

— А ты попробуй.

Фрол откусил кусочек и вдруг зачмокал от удовольствия.

— Фейхоа!—сказал он, зажмурившись, как кот.

— Ну да, фейхоа!.. Никита, это и есть те фейхоа, из которых готовят зеленый сироп.

Огурчики были так вкусны, что я мог бы съесть целый десяток. Но нам досталось всего по две штуки.

— Мы уезжаем на флот,—сообщил Фрол.

— Когда?

— Через три часа.

— Не-ет, так скоро?

— И завтра же выйдем в море. Даже если будет шторм в восемь баллов.

— А восемь баллов—большой шторм?—спросила Стэлла.

— На палубе не удержишься—смочет.

— Не-ет! Я не хочу, чтобы тебя смывало!

— Хорошо, я привяжусь.. И мы уж наверняка опустимся на дно в подводной лодке.

— А вы не боитесь, что она вдруг не выплывет?—с опаской спросила Антонина.

— Таких случаев не бывает.

— Рядом с нами в квартире жил старшина-подводник,—поспешила сообщить Хэльми.—Он был веселый, все песни пел.

В это время вернулись Мираб и его жена и в изумлении остановились на пороге.

— Никита! Фрол!—воскликнул Мираб.—Слышали? Батальон нашего Гоги уже перешел границу!

— И Гоги прислал фотографию. Он теперь старший сержант,—подхватила Маро.

— Да, он старший сержант и дважды орденосец,—повторил, как эхо, Мираб.—А Стэлла учится водить паровоз. Она вам уже рассказала?

— Она больше не начальник станции, хочет быть машинистом,—вторила ему Маро.

— Будет электровозы водить. И я поеду тем поездом, который Стэлла поведет через перевал... Что же вы стоите? Садитесь.

Но нам пора было уходить. Девочки пошли провожать нас. Хэльми так много болтала, что даже Стэлла не могла с ней сравниться.

— Вы едете к морю?—говорила она.—Значит, мой папа вас повезет до Хашури. Мы живем возле самой железной дороги, и он всегда дает гудок, когда проезжает мимо. Днем я выбегаю и машу платком, а ночью он гудит тихонько, чтобы не разбудить нас, если мы спим, а если не спим—чтобы мы услышали: «Спокойной ночи». И мы отвечаем с мамой: «Спокойной дороги». Наши хозяйева знают, что это мой папа проехал, и всегда говорят: «Хэльми, твой отец пожелал тебе спокойной ночи. Слышала, он гудел?» Когда мы приехали, хозяйева нас взяли к себе и сказали: «Ничего, дорогие, наша армия вернет вам ваш город, и тогда мы приедем к вам в гости». Конечно, они приедут к нам. Только наш дом разбомбили, и у нас еще нет квартиры.

— Будет новая!—сказал Фрол уверенно.—Еще лучше прежней. Построят!

Мы вышли на берег Куры. Рыбаки, подвернув брюки и засучив рукава, стояли по колена в воде и вытаскивали сети, полные рыбы.

— Когда вы вернетесь, мы пойдем форелей ловить. Хорошо?—сказала Стэлла.

Мы распрощались и пришли в училище как раз вовремя. Солнце садилось за горы. Через несколько минут мы отправились на вокзал.

Поезд стоял у платформы. Я успел дойти до электровоза и увидеть в окне сухощавого человека с решительным и суровым лицом, такого же рыжего, как и его дочка Хэльми.

И когда поезд тронулся и пошел в темноте, электровоз негромко загудел один раз, другой и третий, и я по-

нял, что суровый эстонец желает своей дочке «спокойной ночи», а она смотрит в окно, в темноту, и отвечает: «Спокойной дороги».

* * *

Город был весь залит солнцем. Мы сбросили вещевые мешки в повозку извозчика, и Сурков приказал отвезти все в порт. Было так жарко, что асфальт таял под ногами. Названия улиц были написаны на дощечках на двух языках—аджарском и русском. Бородатые аджарцы в шерстяных башлыках сидели за столиками под пальмами и пили из маленьких белых чашечек кофе. За домами виднелись горы, на которых еще не растаял голубой снег. И хотя это был самый отдаленный от фронта порт, вездеходы тянули на прицепах орудия, встречалось много военных и еще больше—моряков. На ленточках бескозырок проходивших матросов мы читали: «Подводные силы», «Торпедные катера ЧФ», «Кама», «Красный Кавказ»...

Прямая улица упиралась в набережную. Перед нами открылась бухта. Круглая, глубокая, она лежала в кольце синих гор. Серые транспорты стояли возле причалов. Матросы поднимались по сходням, пригибаясь под тяжестью туго набитых мешков. Посреди бухты, неподалеку от черной цепочки бонов, голубой глыбой врос в воду крейсер.

— «Красный Кавказ»,—сразу определил Забегалов.

Длинные дула орудий смотрели из амбразур башен в море. Крейсер сторожил этот солнечный город, тихое жаркое утро и зеленые пальмы. Над бухтой покачивались серебристые «слоники».

Бухту разделял надвое мол, облепленный с обеих сторон катерами, подводными лодками, тральщиками и вспомогательными судами. Возле мола стоял большой светлосерый корабль с толстой серой трубой.

— Это «Кама»,—сказал Сурков.—На ней мы и будем жить. Постарайтесь освоиться с корабельной жизнью, почувствовать себя на корабле как дома. Ведь вам всю жизнь придется прожить на кораблях!

Чтобы добраться до «Камы», нам пришлось обойти всю бухту. Мы прошли мимо катеров, вытасненных на берег, и подводной лодки с выпуклым, ржавого цвета

брюхом. «Кама» росла на глазах. Сколько было на ней мостиков, палуб и трапов!

— Ого!—сказал Фрол.—Махина здоровая!

Фрол поднялся по трапу с таким видом, будто ему была приготовлена встреча. Когда нас выстроили на палубе, он так выпячивал грудь, что его медали было видно, наверное, даже с мостика. Капитан второго ранга, командир «Камы», поздоровался с Горичем и с Сурковым и обратился к нам с приветствием: «Добро пожаловать, дорогие нахимовцы!»

— Ваша фамилия?—спросил он Фрола.

— Живцов, товарищ капитан второго ранга!—отчеканил Фрол.

— Не из морской пехоты, случайно?

— Никак нет, товарищ капитан второго ранга! С гвардейского соединения торпедных катеров. А только шесть месяцев и семнадцать дней состою воспитанником первого в Советском Союзе Нахимовского военно-морского училища!

— Ну какой молодец!—восхищенно сказал командир Суркову.—А ваша фамилия?—спросил он Вову.

— Бунчиков.

— Бунчиков? Ваш отец служил в нашем соединении,—сказал осторожно, как бы боясь потревожить Вовино горе, капитан второго ранга.—Я рад, что сын пошел по стопам отца, одного из лучших подводников...

Услышав мою фамилию и фамилии Забегалова и Девяткина, командир «Камы» прямо-таки расцвел и сказал Горичу:

— Ого! Я вижу, у вас тут собрались потомственные черноморцы!

Он подошел к Илико и спросил уже совсем весело:

— Скажите, а вы не Поприкашвили?

— Поприкашвили, товарищ капитан второго ранга.

— Вылитый портрет!—сказал он Горичу.—Отлично, товарищи нахимовцы!—обратился он к нам — Живите, осматривайтесь, набирайтесь морского духа. Я думаю, на «Каме» вам будет хорошо и спокойно. Места всем хватит.

На «Каме», действительно, места было больше чем достаточно. Это был океанский пароход. Горичу и Суркову отвели каюты, а нам палубу, просторную, светлую, чистую. Меня удивило, что в палубе мало коек.

— Будешь спать в подвесной, Кит, и цепляться за небо, — успокоил Фрол.—Пойдем-ка посмотрим, что за штука эта самая «Кама».

Найдя каюту Горича и лихо откозыряв, Фрол попросил разрешения «пойти с Рындиным осмотреть корабль». Горич разрешил.

Я бы сразу запутался в лабиринте коридоров и трапов, но Фрол шел, ни у кого не спрашивая дороги. Я был спокоен, зная, что Фрол не забредет по ошибке в салон командира соединения или в офицерскую кают-компанию, куда нам входить не полагалось.

В коридорах гудели вентиляторы, шевелившие красные репсовые занавески на раскрытых дверях кают.

— Хорошо расположились подводнички!—прищелкнул языком Фрол.—А ты знаешь, они ведь, как и катерники, все больше в море живут. «Кама» у них—вроде гостиницы. Только наши уходят на день, на два, а эти—на три, на четыре недели.

— И неужели все время живут под водой?—спросил я.

— Не под водой—на позиции,—поправил Фрол. — Днем спят, а ночью воздухом дышат. И сторожат подходящего гада.

Матрос, стоя на коленях, начищал суконкой блестящие поручни трапа.

— Драишь, дружок?—спросил Фрол.

— Как видишь,—ответил матрос.

— Песочком протираешь или «чистолем»?

— «Чистолем».

— «Чистолем»-то лучше.

Матрос проводил нас удивленным взглядом.

В одном из кубриков спали подводники, пришедшие с позиции. Один из подводников, свесив ноги с койки, штопал носки.

— Отдыхаете?—спросил Фрол.

— Отдыхаем,—ответил матрос.

— Ну, отдыхайте. Потопили кого-нибудь?

— Нет.

— Не повезло, значит? Ничего в другой раз повезет. Идем, Кит.

На камбузе Фрол спросил:

— Суп с чем нынче? С бараниной?

— С бараниной. А тебе откуда известно?—улыбнулся худой рыжеусый кок.

— По запаху,—не смущаясь, ответил Фрол.—Я в запахах хорошо разбираюсь. Лаврового листу положил? А красного перца?

И он пустился в разговор о приготовлении пищи с таким знанием дела, будто сам был опытным коком.

Фрол заглянул и в радиорубку, где совершенно очаровал радиста, и тот дал нам послушать, что творится в эфире. В радиоузле Фрол пообещал выступить с рассказом о Нахимовском, и за это нам завели патефон, и мы услышали арию Гремина из «Евгения Онегина» и вальс из «Спящей красавицы». Фрол выведал у кино-механика, часто ли бывает на «Каме» кино и какие будут показывать фильмы. В библиотеке он сказал матросу-библиотекарю: «Вот мой дружок ужас сколько читает. Ему можно брать по две книги?» В парикмахерской Фрол привел в недоумение парикмахера, заказав «нахимовскую стрижку». Парикмахер, не зная, что это такое, но не желая признаться, осторожно нащупывал, похожа ли эта стрижка на бокс или на полубокс. Фрол остался доволен и щедро расплатился. Мы попали в баню, похожую на салон.

— Жаль, что нет пару, — сказал Фрол. — А то бы попарились, Кит! (Я с ужасом вспомнил мою первую баню, когда Фрол чуть не досмерти захлестал меня венником).

К обеду мы уже были коротко знакомы с парикмахером, коком, радистом, библиотекарем, киномехаником и матросом, владевшим патефоном и пластинками, а к ужину чувствовали себя на «Каме» как дома.

* * *

Только что я видел во сне отца, маму, Стэллу и дядю Мираба. Мы все пришли к Антонине, и она радостно сообщила: «Вы знаете? Дедушке сделали операцию, он опять видит...» Но сна досмотреть не удалось. В ушах пронзительно засвистело, я проснулся, подпрыгнул, больно стукнулся обо что-то лбом и чуть было не вывалился из койки. Тут я вспомнил, что живу в матросской палубе, боцманские дудки свищут подъем и нужно немедленно вскочить, собрать постель, уложить койку, отнести ее наверх, в специальный ящик, именуемый «сеткой», одеться и бежать умываться.

С трудом выкарабкавшись из качающегося гамака,

я шлепнулся на палубу, мигом натянул брюки и форменку, зашнуровал ботинки. Фрол уже скатал постельное белье, одеяло, подушку и койку в ровную, аккуратную колбаску. Искусство укладывать койку давалось мне с большим трудом. У меня обязательно что-нибудь торчало — то кончик подушки, то кусок одеяла, то конец простыни высовывался, словно заячье ухо.

Умывальная на «Каме» была большая, со множеством кранов, обильно выпускавших горячую воду; толчеи не было, места хватало, и все успевали быстро помыться.

Умывшись, я побежал с котелком к камбузу и стал в очередь. Кок, длинный, худой, с рыжими усами, разливал по котелкам завтрак.

После завтрака меня позвал Фрол.

— Погляди-ка, — сказал он, перегибаясь через фальшборт, — «щука» с «дела» пришла.

Я увидел внизу голубую подводную лодку. Она, как детеныш к киту, прильнула к высокому борту «Камы». Матрос, вооруженный кистью, начал замазывать на рубке «щуки» вписанную в красную звезду цифру «13».

— Знаешь, что это значит? — спросил Фрол.

— Нет. А что?

— Это значит, что они утопили тринадцать кораблей.

— А зачем же матрос замазывает «тринадцать»?

— Погоди, увидишь.

Оставив в неприкосновенности единицу, матрос вывел на месте тройки красивую, ровную цифру «4».

— Эй, дружок! — сложив ладони рупором, закричал Фрол любовавшемуся своей работой матросу. — Потопили?

Матрос задрал голову кверху и кивнул.

— Такого? — раздвинул Фрол над фальшбортом ладони.

Матрос замотал головой.

— Значит, такого? — раздвинул Фрол руки пошире.

Матрос опять замотал головой.

— Так, значит эдакого? — закричал Фрол и развел руки доотказа.

Матрос широко раздвинул руки, держа в одной руке ведро, в другой — кисть.

— Ого! — похвалил Фрол. — Тысяч на двенадцать.

— Чего «тысяч на двенадцать»? — спросил я.

— Тонн, чего! Штука большая. Сегодня узнаем, что и как.

— А как ты узнаешь?

— Проспятя — расскажут. Вот попасть бы на поросенка!

— На поросенка?

— Подводники, как потопят корабль, по радио сообщают в базу: у нас, мол, удача. А там уже понимают: поросенка режут и жарят. Ух, и вкусно до чего, за уши не оттянешь!

Подошел Горич и тоже посмотрел на свеженькую цифру «14».

— Надеюсь, командир лодки разрешит побывать вам на «щуке».

Он пошел по палубе, а нас с Фролом чуть было не окатило водой: началась утренняя приборка. В училище воду надо было таскать ведрами из умывальника. Здесь по всем палубам вытягивались длинные, похожие на змей шланги, и эти змеи выплевывали густую струю ослепительно чистой воды. Вода ручейками бежала по дереву палуб, по голубой обшивке надстроек, по запотевшему стеклу толстых иллюминаторов, по медной окантовке люков, по черным желобкам возле борта. Никуда нельзя было скрыться от этого утреннего потопа, он настигал повсюду, и матросы разгоняли воду щетками и швабрами.

Наконец корабль был вымыт и весь сверкал; прозрачные капли высыхали на голубовато-серой обшивке.

— Стать к борту!—раздалась команда.

С первого же дня жизни на «Каме» я полюбил эту торжественную минуту. В лагере тоже каждое утро поднимали флаг, но здесь подъем флага был гораздо торжественнее. Каким бы делом ни был занят офицер или матрос, он тотчас же становился спиной к борту. Только минуту назад было шумно на палубе: один матрос бежал на ют с мостика, другой—с бака на мостик, боцман крепко выговаривал кому-то за плохо надраенные поручни трапа, переговаривались сигнальщики, и шофер, привезший полный грузовик мяса, перекликался с баталерами и коком,—и вот все стихло, все замерло, настала такая тишина, что стал слышен далекий цокот копыт по асфальту.

— На флаг!—разнеслась по всему кораблю команда.

Мы все резко повернули головы. Очень медленно флаг корабля пополз к небу. И на всех кораблях, стоявших в бухте, выстроились по борту матросы и офицеры, отдающие честь флагу. И, наверное, в эту минуту по всему Черному морю, на всех кораблях — в Севастополе, в Одессе, до самого устья Дуная — матросы и офицеры стояли, отдавая честь флагу.

Флаг дошел до места. Этот флаг—знамя корабля. Он никогда не будет спущен перед врагом, и если будет сбит в бою, его тотчас же заменят другим. «Погибаю, но не сдаюсь!» поднял сигнал броненосец «Адмирал Ушаков». Не спустив флага, пошел ко дну «Стерегающий», дравшийся один с целой японской эскадрой. Под таким же флагом, как флаг на «Каме», корабли высаживали десант на Малой земле и проводили караваны на Севере; крейсера «Киров» и «Аврора» защищали Ленинград и Кронштадт; стоящая тут у борта «щука» потопила четырнадцать вражеских кораблей; «Кама» отбивалась от немецкой подводной лодки и от трех самолетов... Протасов поднял такой же флаг над освобожденным городом.

Вот какому флагу мы отдавали честь!

Прокричал горн, просвистали дудки, пробили склянки. Часовой стал у флага, и каждый взялся за то дело, которое он на минуту оставил.

— Здорово, Кит?—спросил Фрол.

— Хорошо!

Мне действительно было хорошо в это ясное утро.

— Гляди-ка, гляди!—показал вдруг Фрол на спускавшегося с мостика чернобородого офицера в белом кителе.—Узнаешь?

— Поприкашвили?

— Он самый!

Если бы нашему Илико приклеить усы и бороду, он был бы вылитым капитан-лейтенантом Поприкашвили!

Илико рванулся было вперед, но сдержался и подошел к отцу так, как нахимовцу подобает подходить к офицеру. Выслушав сына, отец крепко расцеловал его и похвалил за настоящую флотскую выправку. Потом Поприкашвили-старший поздоровался с Горичем и Сурковым.

— Сегодня ночью прихожу с моря, говорят: на «Каме» нахимовцы. «Отлично,—думаю,—вдруг и мой здесь!»

— Так это ваша «щука», товарищ капитан-лейтенант?—спросил Фрол.

— Моя.

— Значит, это вы четырнадцать кораблей потопили?—воскликнул Авдеенко.

— Стало быть, я,—улыбнулся Поприкашвили-старший.

— А вы еще много потопите, а?—совсем глупо спросил Бунчиков.

— Боюсь, что пока счет закрыт,—ответил Поприкашвили.—Это был последний фашистский корабль в Черном море.

Он подергал свою густую черную бороду, словно проверяя, крепко ли она держится.

— А вы расскажете, как потопили четырнадцатый корабль?

— Лучше я расскажу, как потопил первый. Вот эту самую «щуку» я получил за три месяца до войны, прямо с завода. Я сам поднимал на ней военно-морской флаг. Мы все полюбили наш новенький подводный корабль. Глядите, хорош?

Мы единогласно одобрили его «щуку».

— Вы думаете, мы в первый же день войны стали топить врага?.. Ничего подобного! Несколько суток мы ждали противника, а его все не было. До чего же нам было досадно! Вторая и третья позиция тоже не принесли нам военной удачи...

— Так никого и не потопили? — спросил Фрол.

— Были у меня нетерпеливые ребята, вроде тебя,—сказал Поприкашвили—Всё спрашивали: неужели мы ничего не потопим? Пришлось им внушать, что умение ждать на войне так же необходимо, как и способность к стремительным действиям. Каждый день, проведенный в море без сигнала атаки, казался нам вечеркнутым из жизни. Мы говорили друг другу: «Может быть, завтра наконец встретим?» И вот мой помощник обнаружил у берега транспорт. Как только стемнело, мы всплыли. Перед носом лодки возвышался черный корпус большого корабля. Я произвел залп. Лодка вздрогнула. Я скомандовал: «Лево на борт!» Нельзя было терять ни секунды. Через полторы минуты я услышал взрыв. Когда мы всплыли, на месте транспорта поднимался столб дыма. С берега зашарили прожекторы. Мы скры-

лись, не замеченные противником. «С первой победой!» поздравил меня командир соединения.. И вот я четырнадцатый раз возвращаюсь в базу с рапортом о потоплении корабля, но слова «С первой победой!» остались для меня самой памятной, самой дорогой наградой!

— Еще о чем-нибудь расскажите!—попросил Фрол.

— Еще о чем-нибудь—в следующий раз,—засмеялся Поприказшили.

— А мы можем осмотреть вашу «щуку»?—спросил я.

— Безусловно.

— Сегодня?

— Во всяком случае, не позже чем завтра утром. А теперь, прошу прощения, я должен идти к командиру соединения. Приглашаю вас всех на обед. У нас—жареный поросенок.

Фрол даже крикнул от удовольствия: он любил вкусно покушать. Одно, как видно, его огорчало: если разделить поросенка на всех, достанется каждому по крохотному кусочку!

* * *

Но поросенок оказался целой свиньей, пуда в полтора весом. Как и в какой печи умудрился зажарить целиком свинью рыжеусый кок—осталось навсегда его тайной.

«Именинники», в новых форменках, в орденах, встретили нас очень радушно и принялись усаживать за стол в шестом кубрике «Камы». Я с удивлением заметил, что все были усатыми. Правда, у одного усы росли хорошо, у другого—плохо. У молодого торпедиста, сидевшего слева от меня, усы были русые, шелковистые. У комендора с цыганским лицом, с черными глазами и со шрамом на щеке, сидевшего от меня справа, — густые, пушистые, черные. У рыжего акустика, рядом с Фролом, были рыжие усики колечками. У боцмана, который сидел возле Илюши, усы были редкие, неопределенного цвета и росли, очевидно, медленно, потому что он то и дело не то вытягивал их, не то подкручивал. С Забегаловым сидел второй торпедист, с черными усиками, торчащими кверху, как стрелки. Словом, среди экипажа «щуки» не было ни одного безусого матроса...

Боцман огромным ножом разделил поросенка на аппетитные, сочные, хрустящие куски. Каждому доста-

лось, кроме того, по большой ложке гречневой каши. Все с большим удовольствием принялись уничтожать праздничное блюдо. Хозяева подкладывали нам всё новые куски, подшучивали над нами и предлагали завтра же вместе с ними «прогуляться на позицию».

— Не сдрейфите? — спрашивали они.

— Не сдрейфим, не беспокойтесь,—отвечал Фрол.— Вы лучше расскажите-ка нам, как вы транспорт топили.

— А что, расскажем, пожалуй?—подмигнув, спросил боцмана рыжий акустик.

— Расскажем. Как не рассказать таким славным ребятам!

— А вы как, травить будете или рассказывать правду? — спросил Фрол.

— Ого, да тебя не проведешь?—удивился боцман. — Ты, я вижу, бывалый.

— Он даже катер водил,—сообщил Илко.

— И в «вилку» попадал,—добавил Авдеенко.

— Как, даже в «вилку»?—заинтересовались артиллеристы.—Расскажи, расскажи!

Фролу пришлось рассказать. Расчувствовавшийся боцман положил Фролу на тарелку еще свинины и сказал:

— Нет, мы травить не будем. Мы расскажем про поросенка, который нам достался труднее всех. Это был пятый наш поросенок. Ну, кто начнет?

— Скажите, товарищ боцман,—спросил я не выдержав: — почему у вас на «щучке» все до одного с усами?

Хозяева переглянулись и вдруг расхохотались. Хохот стоял такой, что, казалось, дрожит весь кубрик.

— Вопрос в самую точку!—давясь от смеха, сказал боцман.—А вы такую песню слыхали: «Давайте же, товарищи, в свободные часы отращивать, отращивать гвардейские усы»?—пропел он.—Лодка у нас гвардейская? Гвардейская. Командир у нас с усами? С усами.

— Но ведь командир с усами и с бородой!—поправил я боцмана.

— А что мы можем поделывать, если бороды не растут? — обиженно проговорил рыжий акустик, и опять все захохотали.

— Придется, значит, и нам с тобой, Кит, усы отращивать, — сказал Фрол, приводя в восторг подводников.

— Начинай, Чепчик,—сказал боцман, когда все перестали, наконец, хохотать.

Мой сосед, торпедист, по фамилии Чепчик, начал:

— Было это на второй год войны. Вышли мы на позицию...

— Днем находились под водой,—продолжал мой другой сосед, комендор,—а ночью всплывали подышать свежим воздухом. Мы, комендоры, с нетерпением ждали: ух, встретиться бы поскорее с врагом!

— А мы, торпедисты, не ждали?—обиделся торпедист.

— Ждали все,—примирил их боцман.—И вот, ровно в тринадцать ноль-ноль, штурман доложил командиру: «Входим в квадрат». Мы вошли во вражеский порт. В тринадцать десять вахтенный командир заметил в перископ танкер. Командир встал к перископу. Лодка легла на боевой курс.

— Мы все наблюдали за командиром, ждали команды,—продолжал торпедист.—Не отрываясь от перископа, он приказал: «Аппараты товсь!»

— Как только торпеды ушли из аппаратов,—подхватил боцман,—лодка быстро пошла на глубину. Ведь сразу же после взрыва «охотники» кинулись нас искать!..

— Мы услышали двойной взрыв, — сказал торпедист:—значит, в цель попали обе торпеды! Потопили танкер!..

— Тишина была мертвая,—вставил рыжий акустик.—Ведь мы знали, что «охотники» выслушивают нас гидрофонами...

— Все головы поднимались кверху,—продолжал боцман.—Мы слушали и даже шептаться не смели. Когда в одном из отсеков стала капать вода, нам показалось, что враг и это услышит. Я осторожно, на цыпочках, подошел и подложил кусок мягкой пакли...

— Тишина... Минуту, другую, третью...—не выдержал акустик.—Но вот—снова шум над кормою. Работали винты корабля. Послышались глухие, тяжелые взрывы: нас закидывали глубинными бомбами. Лодка вздрогнула, ее подбросило кверху. Мы все попадали. Лодку теперь так ударило, что из плафонов посыпались стекла. Свет погас...

— Век буду жить, а того, как нам пятый поросенок достался, никогда не забуду!—продолжал боцман. —

Тихо-тихо кругом, будто в могиле, и вдруг слышу — вода журчит... просачивается в лодку... течет где-то! Неужели сдал корпус? Не может быть!.. А вода все журчит да журчит... Во входной люк просачивается! Поджали люк, стало снова тихо... Дело прошлое, теперь прямо скажу: понял я, что дело наше—труба. Фашист, он не оставит лодку, придет бомбить снова...

— Так и было, — продолжал рыжий акустик.— Через полчаса снова начал, да как! Бомбы рвались у бортов. И потом вдруг по борту как заскрежешет...

— А что это было? — не выдержал Авдеенко.

— Фашист на якорь встал да зацепил нас якорной цепью — вот что было! — пояснил боцман. — Девяг с половиной часов подряд он нас, проклятый, бомбил. Дышать стало нечем. И вдруг ровно в полночь кто-то постучал в лодку...

— Ой! — испугался Бунчиков.

— Стучит да стучит, — продолжал боцман. — А зачем стучит? Кто? Догадался я: нас специальными приборами с носа до кормы остукивают. Промеривают, значит, наши размеры. Утром снова примутся за бомбежку. А может, решили, что прикончили нас, и собираются поднять лодку...

— А дышать-то уже совсем нечем было, — напомнил акустик.

— Мы на нашего командира дивились, — продолжал торпедист: — тяжело ему, как и нам, а лицо спокойное, будто знает, что и лодку и нас он выручит. Как посмотришь на него — и у тебя спокойнее на сердце...

— А он в это время задачу решал, — сказал боцман. — И задача была вот такая: что, если всплыть да фашиста обжулить? Другого-то выхода нету. Ослабеют люди. Не позже чем через час ослабеют. Тогда и механизмами управлять не смогут. И вот наш «батя» приказал шопотом: «Готовиться к всплытию. Артиллерийский расчет — ко мне!»

— Приходим мы к командиру, — продолжал комендор. — Дышим, как рыба на льду. «Как только лодка всплывет, — шепчет командир, — мигом люки отдраить, артиллерийский расчет выбегает на верхнюю палубу к пушкам, открывает огонь по врагу. Остальные забрасывают фашистов гранатами. Лодка должна прорваться!» И так уверенно все это «батя» шепчет!.. Не прошло

и минуты, как наша «щучка» оторвалась от грунта — и давай всплывать...

— Ну? Ну? — послышалось со всех концов стола.

— Лодка всплыла. Командир открыл люк. Сам — на мостик, за ним — остальные... И что мы видим? Темнота кругом. Один буй по корме светится, другой — по носу, а против рубки светится крестовина. Это, значит, фашист указывает, что лодку нашупал. Наша «щучка», оставив за собой сети, буй, крестовину и зазевавшихся фашистских «охотников», полным ходом пошла в открытое море... Ух, и дышали же мы!..

— И дышали же! — повторил акустик.

— Воздух был свежий, ночной, соленый! — с чувством сказал комендор.

— Одно слово — черноморский воздух! — подхватил торпедист.

— Давно мы так не дышали!..

— А как домой торопились! Но только в базу мы пришли через много часов...

— И нас как раз уже ждал пятый жареный поросенок, — заключил рассказ боцман.

— А фрицы и по сию пору не найдут нас на дне морском! И удивляются же! — засмеялся торпедист.

— Ну, а теперь отдыхать, дорогие гости! — сказал боцман, поглядывая на опустевшее блюдо. — Отдых — дело святое...

Когда мы пришли в свою палубу и стали располагаться на отдых, все набросились на Илюшу:

— Ты что же про своего отца никогда ничего не рассказывал?

— А что я мог рассказать? — возразил Илико. — Что я мог рассказать, я вас спрашиваю? К отцу пристаешь бывало, а он тебе в ответ: «Вышли. Ждали. Дождались. Обратно в базу пришли». Вот и всё.

Глава третья

ПОДВОДНОЕ „КРЕЩЕНИЕ“

На другой день Горич сказал, что мы выйдем на «щуче» в море.

Довольно неуклюже мы спускались один за другим по штурмтрапу на спину «щуче». Наши новые друзья приветливо с нами здоровались.

Поприкашвили-старший ждал нас на мостике, веселый, свежий и выпавшийся.

По узенькому железному трапу мы поднялись к бордату командир.

— Ну что ж, крестники, давайте осматривать наше хозяйство. Прошу! — И Поприкашвили широким жестом пригласил спуститься в люк.

В стальной овальной коробке, куда дневной свет проникал из открытого люка, было как-то торжественно тихо, нас окружали многочисленные приборы.

— Это центральный пост, здесь сосредоточены все приборы управления лодкой и отсюда я управляю торпедной стрельбой, — объяснил Поприкашвили.

Наш вчерашний знакомый — боцман — показал вертикальный руль, служащий для поворота подводного корабля влево или вправо, и горизонтальные рули, при помощи которых лодка может погружаться или всплывать.

— Хотите посмотреть в перископ? — предложил командир.

Я очутился возле глазка довольно толстой трубы, уходящей вверх, и прильнул к ней глазом. Зажмурив другой глаз, я увидел мутный светлый круг, расчерченный какими-то мелкими черными черточками.

— Поверните штурвальчик, — посоветовал командир.

Мутное пятно прояснилось, и я увидел — четко и ясно, как будто все это находилось передо мной в двух шагах — набережную, белые дома, людей, спешивших куда-то. Я видел даже лица прохожих.

Я повернул штурвальчик влево — и набережная исчезла, появился катер; матросы отдавали швартовы.

Еще поворот штурвальчика — и я увидел совсем близко белую гору. Что-то шевелилось на снегу — человек или зверь. Я только хотел рассмотреть получше, но...

— Дайте другим посмотреть, — прервал удовольствие командир.

И Авдеенко, дрожа от нетерпения, протиснулся на мое место.

Когда все до одного ознакомились с перископом, командир лодки повел нас по отсекам.

После просторных палуб и кубриков «Камы» здесь было тесно. Хотя воздух был свеж — он широкой струей зрывался в раскрытые настежь люки. — мне показалось,

что он все же какой-то спертый. Почему-то пахло резиной. Вместо дверей отсеки соединяли узкие овальные лазы, в которые такой большой человек, как Сурков, навряд ли вообще пролез бы. Матросы охотно отодвигались от приборов в сторонку, чтобы мы могли рассмотреть все как можно лучше. Вчерашний мой сосед по столу — торпедист — показал нам торпедные аппараты, в которых притаились торпеды, объяснил, как торпеда выходит из аппарата и как производят стрельбу: стоит аппарат пустить в ход — торпеда заскользит под водой и взорвет корабль. Интересно, волнуется ли торпедист, отправляя торпеду?.. Он рассказал, как однажды лодка, на которой он тогда служил, потерпела аварию; командир решил спасти людей, выстрелив ими из торпедных аппаратов. И вот матросы один за другим залезали в длинную темную трубу, он стрелял, и люди вылетали на поверхность моря. В конце концов лодку подняли, спасли и командира... Потом торпедист показал нам размещенные вдоль бортов узкие койки на которых подводники спят в походе.

Когда всё на лодке — и крохотная кают-компания, и такой же крохотный камбуз (подводный кок рассказал, как однажды яичница так подпрыгнула у него на сковородке, что прилипла к подволоку), и каюта командира — было осмотрено, Поприкашвили-старший предложил нам погрузиться.

— Дрейфить не будете?

— Не будем! — ответили мы дружно, хотя и не совсем твердыми голосами. Шутка ли — вдруг очутиться под водой!

— А кто мне скажет, когда была построена первая подводная лодка?

— Триста лет назад, — сказал Юра. — И ходила она на веслах.

Поприкашвили-старший распределил нас по отсекам и ушел в центральный пост.

Наверху что-то происходило: наверное, отдавали швартовы.

Палуба под ногами чуть дрогнула, и я понял, что лодка движется и, наверное, выходит в море. Матросы сжимали рукоятки приборов. Вот так же они стояли в ту ночь, когда топили вражеский транспорт! Какие умные механизмы! Лодка, идущая под толстым слоем воды,

имеет глаза и уши; стоит нажать кнопку, прижать рычаг, повернуть штурвал — и торпеда выскакивает из аппарата и скользит к цели, а лодка уходит на глубину. Но что бы делали механизмы, если бы не было людей — торпедистов, мотористов, акустиков? А далеко-далеко отсюда, где-нибудь на Урале, другие люди вытаскивают отдельные части торпеды, собирают ее, начинают взрывчатое вещество и снабжают хитроумным механизмом, который двигает ее к цели...

Что это?.. Звонок! Боевая тревога?.. Щелкнул, захлопнулись, люк.

— Заполнить балластные цистерны!

Сразу все словно погрузилось в вату. Вата набилась в уши и в рот. Я еще не успел сообразить, в чем дело, как вдруг палуба стала ускользать из-под ног. «Тонем! — подумал я. — Авария!» Я пошатнулся, вцепился в Фрола, а Юра — в меня. «Ай!» крикнул Вова Бунчиков, глядя на нас вытаращенными глазами. Но палуба под ногами выровнялась и стала на место.

— Перепугались, хлопцы? — спросил боцман. — Это же диферент называется.

И хотя я не понимал, что такое «диферент» и почему это мудреное слово должно меня успокоить, я сообразил, что никакой аварии нет и лодка вовсе не собирается тонуть, а просто погружается, и теперь над нашими головами лежит толстый слой воды. Моторы глухо гудели.

— Мы что, под водой? — спросил Юра шопотом.

Я кивнул головой.

— Погрузились, значит, — изрек Фрол и поковырял пальцем в ухе.

— Ну вот и сподобились! — сказал боцман, когда лодка всплыла и люки открылись. — Поздравляю с «крещением»!

Мы поднялись на палубу. Лодка, мокрая и скользкая, как дельфин, не торопясь вошла в бухту и направилась к «Каме».

— Напугались? — спросил командир лодки, посмеиваясь в свою пушистую бороду.

— Нет, чего там! — ответил Фрол.

— Напугались, — признался Бунчиков.

— Я сам, когда в первый раз погружался, тоже напугался, — засмеялся командир. — Мне все казалось.

что случится авария и лодка навсегда останется под водой. Признайтесь: и вы так думали?

Забегалов, краснея, признался, что подумал — лодка тонет.

— Значит, не мне одному было страшно!

Когда мы, распрощавшись с подводниками, поднялись на «Каму», пообедали и расположились на отдых, Авдеенко сказал:

— Не знаю, как вы, а я буду подводником!

Фрол свистнул. Тогда Авдеенко повторил:

— Не веришь? Буду подводником!

Это было сказано так убедительно, что Фрол откликнулся со своей койки:

— Что ж, если очень захочешь — будешь. Вот я, например, обязательно буду адмиралом...

Мы расхохотались.

— ...лет через двадцать пять. Верите?

Все ответили хором:

— Верим, Фролушка, верим!

— Спите, огольцы, довольно вам барабанить! — услышали мы сердитый окрик и, мигом нырнув под одеяла, умолкли, потому что понимали, что мешаем отдыхать матросам, вдоволь потрудившимся до обеда.

Глава четвертая

ЗАБЕГАЛОВ ВСТРЕЧАЕТ СТАРЫХ ДРУЗЕЙ

На другой день мы шли по набережной и любовались легкими катерками, стремительно бороздившими спокойную воду. В бухту входил эсминец. Забегалов забеспокоился:

— Ребятки! Да это же мой корабль!

Как мог он узнать? Все эсминцы похожи друг на друга. Но Забегалов уверял:

— Он, он, мой милый! Ребятки, за мной! — скомандовал он так решительно, что наши ноги сами собой оторвались от песка и мы побежали, удивляя прохожих, вообразивших, что, наверное, на бульваре проводится кросс.

Забегалов бежал легко, прижав к груди локти. Корабль шел к угольному молу, и нам надо было пробе-

жать по крайней мере три километра по бульвару, по улицам и по территории порта. Иногда дома и пакгаузы скрывали от нас эсминец, и мы видели только две тонкие, острые движущиеся иглы — его мачты.

Охрана не хотела впускать нас в порт, но Забегалов так убедительно сказал им: «Да что вы, не видите? Это же мой «Серьезный!», что бородатые охранники расступились. Мы прыгали на бегу через натянутые канаты, через какие-то бочки и вбежали на мол как раз в ту минуту, когда матросы готовились подать концы на берег.

Нас сразу заметили с палубы.

— Полундра, да ведь это же наш Забегалов! — известил басом всех на корабле огромного роста матрос в промасленном комбинезоне.

— Ваня!

— Иван!

— Давай, давай, нажимай!

— Эх, волк тебя задери, до чего ты вырос!

Десятки рук протянулись к Забегалову, и он очутился на палубе. Матросы обнимали его, похлопывали по плечу, жали руку. Как они были рады встретить снова своего Забегалова! А он повернул к нам счастливое лицо и закричал:

— Давайте все сюда!.. Это мои товарищи, нахимовцы, из училища, — пояснял он матросам.

И мы очутились на палубе и видели вокруг такие приветливые лица, что они показались мне давно знакомыми и эсминец тоже знакомым, как будто я на нем долго плывал.

— Что за базар на юте? — раздался голос откуда-то сверху.

— Забегалов прибыл, товарищ командир! — ответил огромный старшина так, будто ему давно было известно, что Забегалов прибывает на корабль именно здесь.

И тотчас с мостика сбежал офицер небольшого роста, со светлыми усами, голубоглазый и загорелый. Матросы расступились, и Забегалов, встав по всей форме, отработал:

— Товарищ капитан третьего ранга, воспитанник Нахимовского военно-морского училища Забегалов Иван прибыл повидаться с боевыми товарищами.

Офицер, приложив руку к козырьку, с удовольствием

выслушал рапорт, с еще большим удовольствием оглядел ладную фигуру своего бывшего воспитанника (капитаном третьего ранга и был тот самый Ковалев, о котором не раз рассказывал Забегалов) и, подойдя к Забегалову, обнял его и троекратно расцеловал.

— Рад тебя видеть, Ваня! Слышал о твоих успехах. Молодец! Всегда помни, что ты в училище — представитель «Серьезного». Это что-нибудь да значит: кораблик наш — неплохой.

— Я никогда не забываю, — сказал Забегалов. — А моим товарищам на корабле побыть можно?

— Не можно, а должно, — поправил Ковалев. — Ну, Иван, как твоя рана? Не беспокоит?

— Я про нее забыл, товарищ капитан третьего ранга.

— А мама, братишки? Здоровы?

— Здоровы, товарищ командир. Митюха уже в пятый класс перешел.

— Попрежнему собирает марки?

— Меняются. Товарищ командир!

— Что, Ваня?

— Я хочу показать товарищам свое орудие.

— Показывай.

Мы осмотрели орудие, из которого Забегалов стрелял по фашистам возле порта Констанцы. Тогда ранило комендора; тогда же и Забегалова ранило.

— Вот тут повсюду кровь была, — показывал он начисто вымытую палубу. — Из меня столько крови вытекло — беда!

Склянки пробили полдень.

— Приглашай товарищей обедать! — предложил Ковалев.

Через несколько минут мы сидели на палубе, ели борщ, и матросы старались положить Забегалову побольше мяса. Второго — рисовой каши с черносливом — Забегалову положили тройную порцию. Нас тоже угощали радушно и требовали, чтобы мы всего ели вволю.

А после обеда Забегалов показал койку, на которой спал в кубрике (теперь она принадлежала новому комендору), ленинскую каюту, камбуз — все, чем можно на корабле похвастать.

Каждый старался чем-нибудь одарить Забегалова: один матрос полез в сундучок и достал носовой платок с синей каемкой, другой — какой-то чудной пятицветный

карандаш, третий, при общем смехе, подарил Ване новую безопасную бритву и пять ножичков.

— Бери, пригодится, Ваня! Года через два бриться придется, не покупать же тебе бритву, — уговаривали растерявшегося Забегалова.

Комендор принес румынских марок. Радист подарил мыльницу с душистым мылом, кок — плитку шоколада, мичман — носки, пачку конвертов (чтобы писал почаще), перочинный нож.

Как все любили Забегалова! А он благодарил, отказывался («Тебе самому нужно»), но матросы записывали подарки в карманы. И дарили ему от всей души.

Потом нам показали «Историю корабля» — толстую тетрадь с фотографиями, и Ковалев сказал, что когда историки будут составлять историю нашего флота, то прочтут и то, что написано на сорок первой странице:

«В бою под Констанцей, когда тяжело ранило комендора Вахрушева Ивана, на его место стал воспитанник корабля Забегалов Иван, 1930 года рождения, и продолжал посылать во врага снаряды, даже будучи раненным в ногу. Награжден медалью «За отвагу». После излечения в госпитале был зачислен в Нахимовское училище».

Этими скупыми словами была рассказана вся жизнь Забегалова.

Мы сидели над книгой, когда что-то мягкое и мохнатое скатилось с трапа прямо нам под ноги. Оно, это мягкое и мохнатое, вдруг поднялось на задние лапы и оказалось довольно большим медведем, бурым, с лоснящейся шерстью, с бусинками-глазами.

— Шкертик! — воскликнул Забегалов. — Шкертик, милый!.. Вы не бойтесь, ребята: он хоть медведь, но смирный.

Медведь обнюхал Забегалова и лизнул его прямо в нос. А Забегалов уткнулся головой в лохматую грудь медведя и трепал его острые уши. Медведь принялся лизать Забегалову его русый ершик.

— Узнал! Глядите-ка, Ивана узнал! — восторгались матросы.

Преуморительный это был зверь! Матросы обучили его всяким штукам. И он танцевал лезгинку, пил из бутылки воду, ходил на передних лапах, стоял на носу, ложился спать, умирал, оживал, потом спрыгнул в воду и с наслаждением выкупался. Его выловили, мокрого,

и приказали итти отдыхать в кубрик, а нам рассказали, что из-за этого медведя перессорились три корабля: все хотели иметь Шкертика членом своего экипажа.

Вдруг мы вспомнили, что капитан второго ранга Горич, наверное, о нас беспокоится. Ковалев приказал просемафорить на «Каму», что мы находимся на борту эсминца, отобедали и он просит разрешения задержать нас еще на часок.

«Разрешаю», ответили с «Камы». И мы пели вместе с матросами, Поприкашвили танцевал лезгинку, а Вова Бунчиков читал стихи.

Было весело, и уходить не хотелось. Ковалев сказал на прощанье:

— Ну, завтра мы опять в море. До новой встречи, Забегалов! Расти, учись, нас не забывай. До новой встречи, товарищи!

— До новой встречи!

Он подарил Забегалову записную книжку в кожаном переплете, написав на первой странице:

«Боевому матросу, нахимовцу, будущему офицеру — от любящего его Ковалева».

Когда на другой день мы вышли на палубу «Камы», эсминца у стенки не было: на рассвете он ушел в море.

Глава пятая

ТРАЛЬЩИКИ

— Сегодня пойдем на тральщики, — сказал капитан третьего ранга Сурков.

Я давно хотел побывать на тральщиках. Эти небольшие серые корабли всегда жили дружной семьей. В порту они стояли у пирса, прижавшись друг к другу бортами. В море тральщики тоже всегда выходили семейством.

— Они работяги. Советую приглядеться получше, — говорил нам Сурков. — Сколько они провели за войну караванов! Отбивались и от подводных лодок, и от торпедоносцев, и от пикировщиков. И каждый день они ходят над смертью. Другой выловит двадцать мин, а на двадцать первой подорвется. Вы слышали, что бывают мины со счетным механизмом? Сидит такая мина на якоре, проходят над ней корабли и не подозревают, что смерть

стережет их. Пройдет над миной корабль — механизм, словно счетчик, отщелкивает. И вот отщелкнул он восемнадцать кораблей, а поставлен механизм, скажем, на «девятнадцать». Проходит девятнадцатый корабль, и чина, освобождаясь от якоря, поднимается кверху и взрывается.

— А разве нельзя ее найти, выловить? — спросил Бунчиков.

— Вот этим-то и занимаются тральщики. Экипажи их верно и преданно служат флоту. Ведь каждая уничтоженная минами мина — это сотни спасенных человеческих жизней. Недаром на флоте минеры пользуются таким уважением.

Тральщик, на который привел нас Сурков, отличался от своих братьев-близнецов лишь большим белым номером на борту. Чтобы добраться до него, нам пришлось перейти через все остальные тральщики. Это был маленький корабль, и все на нем было крохотное: кают-компания в которой едва могло уместиться за столом четыре человека; кубрик, где был рассчитан каждый сантиметр площади; камбуз, где кок орудовал на игрушечной плите. Командир тральщика, лейтенант Алексей Сергеевич Зыбцев, оказался приветливым, веселым и разговорчивым человеком, а корабль, на который мы попали, — одним из самых заслуженных тральщиков флота. Он прошел десятки тысяч миль по минным полям и остался невредим. Он выловил и уничтожил добрую сотню мин, и ни разу не случилось несчастья. Он провел больше ста транспортов с войсками и грузом в осажденный фашистами Севастополь. Стоило послушать рассказы Зыбцева! (Он рассказывал очень коротко и, казалось, боялся, что его заподозрят в желании похвастать подвигами.)

— В нашей жизни бывает много горя и радостей, — рассказывал Зыбцев. — Горе — когда погибают товарищи, а радость — когда нам удается выполнить задание с честью. Большой радостью было, когда мы в одиннадцатибальный шторм, под бомбежкой, все же доводили до Севастополя транспорты. Великой радостью было, когда нам удавалось выбросить роту-другую матросов в тылу у врага. Никогда не забуду бомбежку под Новороссийском перед Новым годом. Да, я думаю, и никто из тех, кто остался жив, не забудет. Бомбы сыпались на нас одна за другой. Пулеметы и пушки до того накали-

лись, что, казалось, расплавятся. Корабль накрывало градом осколков, камнями, кирпичом и землей, заливало водой и грязью. На полубаке начался пожар, и мы его с трудом потушили. Новый год мы встречали в море. Перевязали друг другу раны. Заделали пробоины. Разлили по кружкам спирт и подняли тост — единственный тост в ту ночь — за Сталина, за победу!

Лицо у Зыбцева было простое, открытое, глаза ясные, голубые, а подбородок прикрывала небольшая русая борода.

— В январе 1942 года, — продолжал он, — мы доставляли бензин в Феодосию, освобожденную нашим десантом. Противник наступал на густой, унылый, похожий на кладбище город. Над нами пронеслись и рвались в бухте снаряды. Груз наш, сами понимаете, был не из приятных. Стоило одному лишь осколку попасть в бочку... Мы вздохнули легко, когда освободились от груза и взяли на борт раненых. Мороз — двадцать градусов. Ветер крепчал, а корабль был перегружен. Волны накрывали его. Мои ребята ухаживали за промерзшими ранеными, уступали им койки и кубрики. Дошли мы до места благополучно... Что еще рассказать? Первого июля 1942 года мы в последний раз прорвались в Севастополь. Моросил дождь, было пасмурно. мы шли прямо по минному полю к берегу, чтобы подобрать раненых. Взрывались последние батареи. Мои ребята вплавь доставляли раненых и спасли женщину с двумя маленькими детишками. Мы нагрузили корабль до предела и ушли из горящего города на Кавказ... После одной из бомбежек мы хоронили товарищей. На правом шкафуте на поручнях поставили доски. «Прощайте, товарищи!» Доски с телами матросов скользнули с поручней и исчезли в зеленой волне...

Юра спросил, пойдут ли они на боевое траление.

— Да, пойдём.

— Простите, товарищ лейтенант, а вы нас с собой не возьмете?

— Нет, не возьму. Не возьму! — повторил Зыбцев. — Но сегодня мы идем обезвредить блуждающую мину. Я вас приглашаю с собой.

Командир встал на мостик и подал команду. Матросы отдали швартовы. Тральщик оторвался от своего близнеца и пошел в море.

— Вот так же отец выходил на корабле, — сказал Фрол.

— Ты провожал его? — спросил я.

— Да, всегда! В тот раз — тоже. И, ты знаешь, вдруг к вечеру что-то ухнуло. Ухало целый день — ничего, а на этот раз ухнуло — я почему-то о «Буйном» подумал! И мне представилось...

— Что?

— Нет, ничего, Кит. Только «Буйный» так и не воротился.

Мы были уже за цепочкой бонов и шли вдоль берега. Тральщик осторожно раздвигал голубую воду. Были видны зенитные батареи, прикрытые зеленью, белые санатории, пальмы, машины, спешащие по прибрежной дороге.

— Где же мина? — спросил Бунчиков.

— Подойдем — увидишь, — ответил Фрол.

— Ее будут расстреливать из орудия? — поинтересовался Авдеенко.

— Да что вам рассказывать: сами увидите...

Большой рыбачий баркас покачивался на волне. Тральщик направлялся к нему. Рыбаки чем-то махали.

— Ишь, пляшет! — сказал Фрол.

— Где, где?

— Гляди левее баркаса.

Большой темный шар то вздымался, то опускался, словно это дышало живое чудовище.

— Ишь, тиной как обтянуло! — пробормотал Фрол.— Рогатая смерть..

Звякнул машинный телеграф. Тральщик замедлил ход и затем остановился.

— Тузик спустить! — скомандовал с мостика Зыбцев.

Два матроса спустили на воду крохотную, хрупкую лодчонку, в которой могло поместиться не больше двух человек: это и был так называемый «тузик».

— Выполняйте! — коротко приказал командир.

Один из матросов сел за весла, другой уместился на корме. Тузик понесся к мине. Рыбачий баркас запустил мотор и полным ходом уходил к берегу.

— Наблюдайте внимательно, — сказал нам Сурков.

Он протянул мне бинокль. Перед глазами был лишь туман. Сурков повернул регулятор:

— Теперь видите?

— Вижу.

Я увидел совсем близко матроса, который сидел на корме. Он приподнялся, припронулся к mine. А если она вдруг взорвется?.. Фрол выхватил у меня бинокль. Вся команда тральщика стояла у самого борта и наблюдала за своими товарищами.

— Надел на рожок подрывной патрон, — сказал Фрол. — Поджигает шнур.

Без бинокля я видел только, что тузик стал быстро удаляться от зеленого шара. Звякнул машинный телеграф: тральщик полным ходом уходил от тузика и от мины. «Как же матросы?—подумал я. — Зачем мы их оставляем?»

Тузик замер. Матросов не было видно.

— Легли, чтобы их не задело осколками,—пояснил Сурков.

Вдруг раздался такой оглушительный взрыв, что корабль затрясло. Зеленый столб дыма и пламени поднялся к небу и огромным зелено-красным грибом повис над водой, закрыв от нас берег. Когда дым рассеялся, мы увидели спешащий к нам тузик. Матросы взообразились на борт. У них были взволнованные, но счастливые лица.

— Скажите,—спросил я минера,—вы в первый раз подрывали мину?

— В сорок четвертый.

— Не страшно?

— Сегодня — нет. А один раз натерпелся страху. Пошли мы на тузике. Море было неважное. Поджег я шнур. «Давай греб!» говорю. Вдруг, слышу, командир кричит с мостика. А что кричит—не пойму. Наверное, велит торопиться. «Нажимай!» говорю. Но командир берет рупор—и теперь я слышу: «В моторах неисправность, корабль идти не может!» А что это значит, чувствуете? Корабль пропадет. «Назад!» говорю. Товарищ мой побледнел, как смерть, а все же гребет. Подошли опять к mine. Ну, руки у меня задрожали. Но ведь все равно она, подлая, взорвется, другого выхода нет. Чуть тузик не опрокинул, так сердце у меня колотилось. Но я сорвал подрывной патрон, загасил шнур чуть не в самую последнюю секунду. Руки сжег... Вернулись на корабль. Ну и пережили товарищи за эти двести секунд!.. Механик, наконец, доложил, что машины исправлены. Что по-

делаешь? Мину оставить нельзя—напорется кто-нибудь... Так мы с моим дружкой еще раз все то же самое проделали...

Корабль вошел в бухту и пришвартовался к борту своего товарища—тральщика.

Поблагодарив Зыбцева, мы пошли на «Каму».

Глава шестая

ОТЪЕЗД

Мы побывали на крейсере, на десантных судах, на катерах-«охотниках», наблюдали, как работают водолазы. И здесь, в этом далеком порту, все напоминало о том, что война продолжается. Неподалеку от «Камы» стоял большой серый транспорт с оторванной кормой — его привели на буксире. В доках и прямо на стенке ремонтировались раненные в боях катера и подводные лодки. То и дело уходили в море юркие «охотники».

Когда матросы бывали свободны, мы все собирались на полубаке. Под аккордеон плясали и пели. Но когда матросы бывали заняты, а у нас день был свободен от посещения кораблей, мы оставались одни.

Стоило на «Каме» случиться авралу—всем находилось кроме нас. Мы были «пассажирами», хотя и во флотской форме; по боевому расписанию у нас не было места.

Однажды ночью, когда по всем палубам «Камы» задребезжали звонки, Фрол крикнул: «Боевая тревога!» Мы повскакали с коек, натянули брюки, ботинки и меньше чем в две минуты оделись. Но идти было некуда. Мы должны были оставаться в палубе, чтобы не мешать матросам, уже стоявшим у зенитных орудий и готовым отразить налет неприятельских самолетов. Налет, правда, не состоялся (а может быть, тревога была учебной), но Фрол с Забегаловым прямо из себя выходили—ведь они на своих кораблях уже стояли бы: один— у штурвала, а другой—у своего кормового орудия. Тем не менее Горич объявил нам благодарность за быстрый сбор по тревоге.

На другой день нам разрешили купаться прямо с корабля.

Горич осведомился, кто из нас умеет хорошо плавать; остальные пойдут на пляж, где мелко и нельзя утонуть.

Но разве морякам подобает купаться на пляже? Куда интереснее прыгнуть в глубокую воду, где дна не достанешь! Вся палуба «Камы» покрылась бронзовыми телами. Один из матросов, в синих плавках, такой загорелый, что казался совсем шоколадным, вышел на бугшприт и, подняв над головой руки, прыгнул. Тело описало кривую и врезалось в радужную от маслянистых пятен воду. Он сразу же вынырнул и поплыл. Другие прыгали прямо с борта и с трапа. Фрол решил доказать, что он настоящий моряк: поднял над головой руки и плюхнулся с бугшприта в воду. Он сразу же вынырнул, отфыркиваясь и отплевываясь, и поплыл, разбрасывая воду сильными взмахами рук и зовя нас за собой.

Забегалов, Юра и Илико последовали его примеру. Мы с Бунчиковым не осмелились прыгать с бугшприта и прыгнули с трапа. Меня еще в Сестрорецке, под Ленинградом, отец учил плавать.

— Олег, иди! Или ты не умеешь?—позвал я Авдеенко, стоявшего в нерешительности на нижней ступеньке.

— Пусть лучше идет на пляж!—посоветовал Фрол.

— Вот еще! Кто тебе сказал, что я не умею плавать?

Олег прыгнул с трапа и поплыл по-собачьи.

— Далеко не отплывай! — предупредил Фрол.

Но Олег отплывал все дальше.

Я устал и решил подержаться за трап. Вова тоже устал, и мы, держась за ступеньки, любовались Фролом, Юрой и Забегаловым, решившими, видно, обогнуть весь корабль. А где же Авдеенко?

— Ай, мама!—услышал я в эту минуту отчаянный крик.

Несколько матросов устремились к Олегу. Но Фрол опередил всех и через какие-нибудь полминуты подтащил к трапу тяжело дышавшего, перепуганного Авдеенко.

— Говорил — не умеешь плавать, иди на пляж! — ворчал Фрол, вытаскивая Олега на трап.—А то «я», «я», а тут на глазах у всех тонуть вздумал! Позоришь нахимовцев!

Фрол всердцах даже замахнулся, чтобы шлепнуть Авдеенко по мокрому затылку, но во-время сдержался.

— Над нами теперь все смеяться будут! Тьфу!

Но никто не смеялся. Подплывшие матросы окружили трап и участливо осведомлялись, как Олег себя чувствует,

не наглотался ли он воды и не надо ли вызвать фельдшера; успокаивали, говоря, что такое может случиться даже с отличным пловцом — или судорога схватит ногу, или напечет голову, или просто человеку станет не по себе, и он...

— Я же умею плавать! А тут отплыл далеко, и мне показалось, что обратно не доплыву. И что-то книзу тянуло, — рассказывал Олег, тронутый участием матросов.

А они повторяли: «Бывает, сынок, бывает!» и убедившись, что Авдеенко обойдется и без их помощи, снова принялись плавать, и в шутку топить друг друга.

— Ну, вот видишь!—сказал Фрол остывая.—Значит, со всеми бывает. Ты на меня не сердись. Я не хочу, чтобы смеялись над нашим училищем!

— А я тебе докажу, что умею плавать. Это со мной сегодня, я сам не знаю почему, случилось,—твердил Авдеенко.

— Говорю, не сердись на меня,—примирительно повторил Фрол.

— А я и не сержусь! Ну, посуди сам: за что мне на тебя сердиться? Спасибо,—сказал Олег, глядя Фролу в глаза.

* * *

Наступил день расставания с флотом. Горич и Сурков собрали нас в палубе. Мы были огорчены и расстроены. Мы готовы были выполнять самую черную работу, чистить картошку на камбузе, каждый день драить все палубы—лишь бы еще немного побыть на флоте! Но пора было возвращаться в училище.

— Я вижу, вы огорчены, — сказал Горич.—Могу вас порадовать: флот нас провожает с подарками. Мы повезем с вами целый вагон экспонатов для нашего кабинета. Тральщики подарили нам мину, подводники—торпеду, морские «охотники»—глубинные бомбы. Кроме того, мы получили якоря, снаряды и много других полезных вещей. От вас будет зависеть, чтобы все эти вещи были не мертвыми, а живыми для тех воспитанников, которые не побывали в этот раз на флоте. А вы видели многое. Будущим летом весь ваш класс и все другие классы должны побывать на море. Я не могу сказать ничего определенного, но смею надеяться, что в будущем году мы получим свой корабль.

— Свой корабль!

— Да, свой корабль, и не какой-нибудь транспорт, а настоящий, большой боевой корабль с большой боевой биографией.

— А как его зовут?—спросил Бунчиков.

— Этого я вам пока не скажу, так как решение еще не утверждено. Но корабль будет. Корабль, на который вы войдете хозяевами и на котором каждый получит по боевому расписанию свое место. Есть еще одно решение,—добавил Горич,—не менее радостное. Как только окончится война, будет поднят вопрос о переводе нашего училища к морю.

— К морю?!

— Да. Ведь наше училище было создано во время тяжелой войны, когда на побережье не было безопасного места. Война кончится—и для нас будет построено великолепное здание в Севастополе или в Одессе. Тогда уже вам не придется встречаться радостно с морем весной и с горечью покидать его осенью. Вот и все. Мне остается отметить, что я могу доложить адмиралу: за все время пребывания на флоте ни один из вас не опорочил чести училища, не совершил проступка, не был наказан. Об этом вы тоже сможете сообщить вашим товарищам в лагере. А теперь собирайте вещи. Поезд идет через три часа.

Через два часа мы, распрощавшись с командиром и с матросами «Камы», пошли на вокзал. День был солнечный, теплый, но на душе у меня было пасмурно. Мне не хотелось уезжать с флота, расставаться с подвесной койкой на «Каме», с ее широкими палубами, с бухтой, в которую то и дело приходили корабли с моря. Я знал, что мои товарищи чувствуют то же самое.

Каждый из нас, побывав на море, выбрал будущую морскую специальность. Если мы с Фролом решили не изменять катерам, то Авдеенко, Поприкашвили и Бунчиков твердо решили стать подводниками, а Юра—минером. Наш выход в море и рассказы Зыбцева увлекли Юру, и он решил стать минером, а впоследствии, может быть, и командиром корабля, как лейтенант Зыбцев.

Мы уходили все дальше и дальше от порта. Некоторое время я видел высокие мачты «Камы» над крышами, потом и они исчезли. Только гудки напоминали о существовании порта.

Мы уже подходили к вокзалу, когда на перекрестке нам преградила путь медленно двигавшаяся процессия. Несколько матросов несли венки из роз и пальмовых листьев, другие—ордена на подушках. Оркестр играл траурный марш. На большой грузовой машине с опущенными бортами на пальмовых листьях стояли три гроба. Две бескозырки—на двух гробах по бокам; на среднем лежала офицерская фуражка под белым чехлом, с золотым «крабом». Позади шли офицеры. Матросы с винтовками за плечами завершали процессию.

Мы стояли, ошеломленные и подавленные. Мимо нас проходила смерть, ворвавшаяся в этот солнечный, яркий день черной тенью.

— Кого хороните?—спросил тихо Сурков у одного из офицеров.

— Лейтенанта Зыбцева с соединения траления и двух его матросов...

* * *

Юра смотрел в окно на убегавшее от нас море. Он молчал. Да и все мы молчали. Не хотелось ни о чем говорить. За один день мы успели полюбить славного лейтенанта, так скромно и просто рассказывавшего об удивительных делах своего корабля. Перед глазами так и стояло простое, хорошее лицо Зыбцева с небольшой русой бородкой и голубыми глазами. Никак не верилось, что это он, Зыбцев, лежал там, среди роз и пальмовых листьев, прихлопнутый крышкой гроба, под фуражкой, которую он больше никогда не наденет. Я вспомнил его ответ, когда Юра спросил, возьмет ли он нас на боевое траление. Он ответил: «Нет, не возьму».

Горич и Сурков тихо разговаривали в своем отделении.

Юра, отойдя от окна, за которым темнело, сказал:

— А я все-таки пойду на тральщики.

Глава седьмая

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Выйдем на рассвете утром рано
На просторы голубых дорог
И пойдем в моря и океаны,
Может быть, на очень долгий срок.

Наши адмиралы,
Флагманы бывалые,
Нас поведут сквозь штормы и туман.
Мы в море закалимся,
Насквозь все просолимся,
Нам лучшим другом будет океан...

— Чище, чище!—наставлял Фрол. — Слова лучше выговаривайте, чеканьте, чеканьте! Чтобы за двадцать кабельтов было слышно!

— И мы «чеканили» так, что, наверное, нашу песню слышали даже в дальней деревне за горой:

Вот настало утро долгожданное.
На своем любимом корабле
Мы, пройдя моря и океаны,
Приближаемся к родной земле.

Повсюду побывали,
Мы много повидали
И городов, и рейдов, и людей.
Но где бы мы ни были,
Нигде не находили
Земли мы краше Родины своей.

— Реже, реже!—командовал Фрол, и мы запевали последний куплет:

Если же захочет гость незванный
К нам на нашу землю заглянуть,
Встретим его в море, в океане
И ему на дно укажем путь.
Мы флоту свято служим,
Мы с морем крепко дружим
Нахимовскою дружбою большой.
Мы стали крепче стали,
Родной, любимый Сталин,
Всегда готовы мы на смертный бой!

Николай Николаевич Сурков одобрил песню. Одобрил ее и Кудряшов. Слова сочинил Юра, музыку подобрал Олег — и они были очень горды, что их песню поет все училище.

По приезде в лагерь мы не имели ни минуты покоя. Не побывавшие на флоте воспитанники осаждали нас просьбами: «Расскажите, что повидали, на чем плавали, далеко ли ходили».

Фрол охотно рассказывал: «когда мы вышли на позицию на подводной лодке...» (хотя мы вовсе не выходили на позицию, а свое подводное «крещение» получили на рейде, в двух шагах от бухты и берега), «когда мы затралили магнитную мину...» (хотя мина была не магнитная, и ни мы, ни тральщик, на котором мы находились, ее не затраливали, а просто она оборвалась и блуждала под берегом); дальше следовали рассказы о том, как мы чуть было не взорвались и как лодка наша лежала на грунте. Таков уж был Фрол—любил все приукрасить, безобидно приврать, «потравить», как говорится на флоте. Послушав однажды рассказы Фрола (Фрол не смущался «травить» даже при воспитателях, поясняя, что этим самым он «затраливает» не нюхавших флота и моря, чтобы они покрепче и позлее учились и обязательно на будущее лето поехали с нами на флот), Кудряшов сказал:

— А почему бы нам не издавать рукописный журнал? Каждый из вас может написать о том, что он видел на флоте. Можно писать в прозе и в стихах.

Кудряшов сам немного писал. Фрол говорил, что видел в «Красном флоте» статью о нашем училище, которая была подписана «Ст. лейтенант Кудряшов», и что Кудряшов составляет «Историю Нахимовского училища».

— Журнал наш будет выходить по мере накопления материала,—продолжал Кудряшов,—и я охотно помогу тем, кто захочет попробовать свои силы. Что касается обложки и иллюстраций, то, я думаю, за этим дело не станет. У нас есть Рындин; Авдеенко тоже рисует неплохо; найдутся еще художники.

— А как будет называться журнал?—спросил Фрол.

— «Уходим завтра в море». Впрочем, названия я вам не навязываю. Может быть, кто-нибудь предложит лучшее, мы обсудим и примем.

— Нет, мне нравится «Уходим завтра в море!» — одобрил Фрол.—Кит нарисует нам катер... торпедный катер, который уходит в море!

— А почему катер?—спросил Илюша.—Почему не подводную лодку?

— Да, почему не подводную лодку? — поддержал Илюшу Авдеенко.

— Тральщик, — предложил Юра.

— Эсминец! — перебил Забегалов.

— Крейсер! — посоветовал Гордеенко.

— Тогда уж лучше линкор! — предложил Бунчиков.

— Я вас всех помирю, — улыбнулся Кудряшов. — На обложке одного номера будет уходить в море тральщик, на обложке другого — торпедный катер, потом — «охотник», подводная лодка, эсминец, крейсер, линкор...

— Почему бы и нет? — вскричал Фрол. — Отлично придумано!

В этот вечер все сочиняли, а я рисовал обложку первого номера.

Фрол написал неуклюжий рассказ. «Как мы выходили на позицию». Забегалов сочинил восторженные стихи, где «Серьезный» рифмовал с «грозным» и воспевал свой эсминец. Юра прочел нам маленькое стихотворение, которое называлось «Знамя училища»; оно нам очень понравилось, потому что в нем говорилось о том, что наше знамя священно и мы готовы отдать за него жизнь. Другой, короткий рассказ, написанный Юрой, был о тральщиках. Война закончилась нашей победой, никто больше не воюет, все учатся. Только тральщики продолжают расчищать морские дороги, чтобы днем и ночью по морю ходили большие, прекрасные теплоходы. Подрывается офицер Званцев, но на его место тотчас встает другой, молодой, отважный, по фамилии Десятников. И тральщик снова уходит в море... У Бунчикова не ладилось с рифмой, но он все же написал в журнал «О Севастополе, морской столице, о которой морякам поют песни птицы». Сколько листков было изорвано, сколько перечеркнуто слов, так легко укладывавшихся в голове и так трудно излагавшихся на бумаге!

Материала поступило в первый номер так много, что хватило бы на пять журналов. Кудряшов терпеливо разбирает наши каракули и отбирал самое лучшее. Прочтя заметку Олега Авдеенко «Как я стал нахимовцем», он сказал:

— Это хорошая, честная заметка, Олег. Мы ее обязательно поместим.

Авдеенко описал все, как было: как он не понимал,

что такое Нахимовское училище, как он, имевший всегда в школе пятерки, нарочно был невнимателен и получал тройки и двойки, лишь бы его отправили домой.

«Никому не советую делать так,—заканчивал заметку Авдеенко.—Очень плохо, когда тебя не любят товарищи. Я рад, что теперь вошел в нахимовскую семью».

Да, Олег вступил в нахимовскую семью и заслужил право вступить в комсомол. Его приняли единогласно — ни у кого не нашлось возражений.

День выхода первого номера журнала был большим праздником. Журнал читали запоем. Адмирал одобрил наше начинание. А мы готовили уже второй номер, и я рисовал вторую обложку.

Для второго номера я написал рассказ «Клятва моряка». Как умел, я рассказал о клятве, которую дали Сталину мой отец, Русьев и Серго Гурамишвили. Они чуть было не погибли, но клятву выполнили. Протасов тоже выполнил свою клятву и поднял над городом флаг.

— Хорошо, Рындин!—похвалил меня Кудряшов. — Немного, конечно, надо подправить, но в общем — хорошо.

Второй номер читали нарасхват все классы.

Однажды, когда мы на полянке за палатками обсуждали материал, поступивший в третий номер, дневальный на первой линейке подал команду: «Смирно!»

Мы вскочили. Я увидел коренастого генерала в белом кителе, в фуражке с красным околышем и с белым чехлом, быстро шедшего по дорожке от штаба. Заметив нас, он свернул в нашу сторону.

— Не знаете ли, товарищи...—начал он.

— Папа! — воскликнул Авдеенко.

Мы хотели было исчезнуть, но генерал сказал просто и приветливо:

— А вы куда, товарищи? Оставайтесь, не помешаете. Ну, здравствуй, давно не видались,—сказал он сыну.— Поздоровел, загорел, поправился — не узнать. Молодец! Мне сообщили, что и фанаберии свои ты забыл и учишься хорошо. Значит, больше не хочешь, чтобы я тебя забрал отсюда?

— Нет!—ответил твердо Олег.

— А зачем же ты писал матери, что я тебя не понимаю, чтобы она меня упростила взять тебя из Нахимовского?

— Ты знаешь, был композитор Римский-Корсаков?

— Ну, предположим, знаю, — усмехнулся генерал. —

А что?

— Он ведь тоже был моряком.

— Ну, допустим. Что дальше?

— А я... я хочу быть подводником.

— Даже подводником? Вот как! Но какая связь, не пойму, между подводной лодкой и Римским-Корсаковым?

— Знаешь, мне подарили скрипку. Отличную скрипку. И начальник училища мне сказал, что осенью я смогу заниматься в консерватории. У нас на вечере я играл Чайковского.

— А ты заслужил своим поведением этот подарок? — спросил, поглядев веселыми, насмешливыми глазами, генерал.

— Когда получил, то еще не заслужил, а теперь заслужить стараюсь. Я ведь стал комсомольцем, ты знаешь?

— Знаю и радуюсь.

— И мы только что были на кораблях. Подводное «крещение» получили.

— Поди, струсил?

— Струсил.

— Так как же ты: струсил—и вдруг в подводники?

— Не он один струсил, все струсил, — вступил в разговор Фрол.—И командир подводной лодки говорил, что он в первый раз тоже струсил. А теперь он четырнадцать кораблей потопил!

— А может быть, вы мне расскажете, товарищ...

— Живцов, товарищ генерал-лейтенант, — подсказал Фрол.

— ...товарищ Живцов, почему мой Олег так домой просился, а теперь вдруг...

— Расскажу,—сказал Фрол.—Олегу вашему вначале у нас плохо было. Его никто не любил.

— А почему его не любили?

— Да потому, что он сам никого не любил.

— А теперь вы, значит, окончательно признали его своим товарищем?

— Окончательно,—подтвердил Фрол.

— А вы не кривите душой, Живцов?—Генерал испустяще смотрел на Фрола.

— Нахимовец никогда не лжет, всегда должен говорить правду, даже если правда горька, как полынь.

— Это что же, ваше неписаное правило?

— Так точно, товарищ генерал-лейтенант!

— Ну, очень рад, что вы приняли Олега в свою семью, — сказал генерал.—По правде говоря, я с самого начала знал, что ему трудно придется. Уж очень его мамаша и бабушка избаловали. Но я знал, что он попадет в дружную семью будущих моряков, комсомольцев и они с него гонор собьют. В коллективе нельзя жить одиночкой, не правда ли? Я побывал у вашего начальника, видел вашего воспитателя и надеюсь, что ваша комсомольская организация воспитает Олега настоящим моряком. Не так ли? Садитесь,—предложил он, опускаясь на скамейку.

Генерал снял фуражку (у него были коротко стриженные седые волосы), достал из кармана плитку шоколада и принялся нас угощать.

— Я прилетел из Болгарии и лечу в Москву, — сказал он.

Мы упросили его рассказать, как там воюют. Потом показали ему наш журнал, и он с особым вниманием прочел заметку Олега «Как я стал нахимовцем».

Он играл с нами в бабки и в «козла» и искренне радовался, когда ему удавалось разбить одним ударом сложную фигуру или забить «сухую» противникам.

Он развеселился и, пробив у нас до ужина, с сожалением стал с нами прощаться.

— А хорошо я, ребята, провел с вами день!—говорил он, расчесывая усы. — Ну, желаю вам успехов на море. А ты, — сказал он, прощаясь с сыном,—будь истинным моряком. Будь настоящим комсомольцем.

* * *

— Ребята, глядите-ка, новички пришли!

Мы опрометью кинулись к окнам. Неужели мы были такими же? Были! Так же вот неумело строились в шеренгу, так же неловко топтались на месте, не зная, куда девать руки...

Во двор вышел начальник училища и сказал новичкам, наверное, что-нибудь очень приветливое, потому что они приободрились. И так же, как мы, новички отправились в баню и из бани вернулись в фланелевках и беско-

зырках. Неужели и на мне наша форма сидела когда-то так мешковато, как с чужого плеча?..

Когда истек карантин, в большом зале был устроен вечер. Мы стали «старичками». Я читал где-то, как старожилы царского кадетского корпуса унижали новичков. Они обирали их, били, ездили на них верхом, заставляли чистить свои ботинки и бляхи. У нас же даже Фрол запаса терпением и, если новичок был нерасторопен, втолковывал ему, как себя вести.

И вот на вечере после речи нашего начальника слово было предоставлено нам. Одним из первых выступил Фрол. Он взгляделся в первые ряды зала, где сидели новички, и спросил:

— Вы знаете, куда вы попали?

Кто-то робко ответил из третьего ряда:

— В Нахимовское...

— В первое в Советском Союзе военно-морское Нахимовское училище. А кто такой был Нахимов, вы знаете?

— Адмирал,—пискнул тот же голос.

— Великий русский адмирал Нахимов сам трусом не был и трусов, нерях, обманщиков, очковтирателей презирал. Старших всегда уважал, а младших не обижал. Всем понятно?

— Понятно,—раздалось сразу несколько голосов из зала.

— Ну, то-то!—продолжал Фрол.—Это понимать надо. И если у вас там друг у дружки списывали или друг дружке подсказывали, учителей обманывали, то у нас этого не водится. У нас учиться надо по совести, уроки готовить по-честному, а если трудно, проси товарищей помочь—и помогут. Да что—меня проси, я помогу. Подойди вот так прямо, попросту, без стеснения, не как младший к старшему, а как товарищ к товарищу, и скажи: «Помоги, Фрол Живцов». И я помогу. Обязательно! Потому что у меня по всем предметам «хорошо» и «отлично».

Фрол еще раз оглядел новичков.

— И раз вы пришли к нам в училище, — продолжал он,—помните, что такого училища нигде никогда не было, а потому и жить в нем придется по-нашему. А что это значит: жить по-нахимовски? Знаете? Нет, не знаете. Если вы покуривали, про это забудьте. Наш товарищ начальник не хочет, чтобы из вас выросли дохленькие

человечки, а желает, чтобы все вы были настоящими «морскими волками» и, может быть, адмиралами. Заулыбались? Нечему улыбаться. Кем был отец нашего нахимовца Рындина, прославленный Герой Советского Союза и капитан второго ранга? Юнгой он был, вот кем. Понятно?

— Понятно,—послышались голоса.

— И имущество, что тебе доверено—парту, ложку там, или полотенце, или форменку, или бушлат,—беречь должно больше, чем свое. И это понятно?

— И это понятно,—отвечали из зала.

— Если кто из вас драться любит или по носу щелкать кого, как собачку,—пусть позабудет. Потому что первый я не позволю унижать нахимовское достоинство. Ты нашей формой дорожи, потому что в ней матросы под танки кидались... на Малую землю куниковцы высаживались... Знаете, что такое Малая земля?

— Нет.

— После расскажу. Подойди прямо ко мне и спроси: «Расскажи, Фрол Живцов, про Малую землю и про куниковцев»—и я расскажу. В таких, как у нас, фланелевках они воевали. Это понимать надо. Все сказал.

Фрол спустился со сцены, красный, распаренный. Ему очень хлопали, больше всех—адмирал.

После торжественной части начался концерт. Особенный успех имела наша песня. Новички очень быстро подхватили ее и уже через несколько дней распевали:

Выйдем на рассвете утром рано

На просторы голубых дорог...

* * *

До начала занятий мы успели разместить привезенные нами с флота подарки. И теперь не только в военноморском кабинете, но даже в вестибюле у парадного трапа лежали якоря, якорь-цепи, рогатая мина, торпеда, которую можно было развинтить и посмотреть, что там внутри, глубинные бомбы, снаряды...

Начались занятия, и мы с удовольствием встретились с нашим Горичем, с историком Черторинским, с инженер-майором Бурковским, с учительницей русского языка, которая сказала, что, прочтя наш рукописный журнал, она убедилась—среди нас растут будущие Станю-

ковичи. В классе появились капитан третьего ранга Со-рокин, который стал преподавать нам английский язык, и учитель пения, профессор консерватории Иноземцев.

Однажды Кудряшов представил нам учителя танцев. Это был заслуженный артист республики Любим Михайлович Зорский (мы видели, как он танцевал в театре).

Поздоровавшись, Зорский выяснил, что один лишь Авдеенко танцует вальс и Поприкашвили — лезгинку.

— Ну, это не беда!—успокоил нас Зорский и сразу же приступил к уроку.

Он показывал па, приподнимаясь на цыпочки, а мы неуклюже пытались ему подражать. Он утешал нас, говоря, что не боги горшки обжигают.

Шаг за шагом мы освоили вальс, полонез, мазурку. Особенно лихо плясали мазурку Фрол и Бунчиков, а самым способным к вальсу оказался Юра.

Мы поняли за год, что значит «жить по-нахимовски». Отстающим помогали, как Юра—Бунчикову, которому с великим трудом давался английский язык: он вместо «гуд бай», ужасно краснея, говорил «бай-бай». Задачи решали вместе. Сочинения прочитывали вслух. За первый месяц ни один из нас не попал в карцер. Мы два раза побывали в опере—на «Пиковой даме» и «Даиси»—и два раза в ТЮЗе.

Русьев, возвращаясь из Москвы, заехал в Тбилиси. Он зашел в училище. Фрола и меня вызвали в приемную. На синем кителе Русьева блестела золотая звездочка.

— Тебе привет от отца, Никита,—сказал Русьев. — Здорово мы с ним покروшили фашистов тогда под Кон-станцей!

— Расскажите, — попросил Фрол.

Но Русьев был плохим рассказчиком.

Мне он подарил набор цветных карандашей и ящик красок, а Фролу—часы, которые светились в темноте и отбивали, если нажать кнопку, время, Фрол был в во-сторге.

— Ну, Фролушка, учись лучше всех, будь гвардей-цем,—пожелал на прощанье Русьев.—До свиданья, сы-нок!

Когда он ушел, Фрол принялся всем показывать часы и заставлял их вызванивать часы и минуты.

— Вот какой у меня усыновитель!

Я спросил:

— Почему ты называешь его усыновителем?

— А что?

— Это как-то нехорошо. Он тебя сыном зовет: зови его отцом.

— Отцом? Нет. Уж тогда я лучше буду звать его Виталием Дмитриевичем. Ты знаешь, Кит, я своего отца никогда не забуду.

— Он был добрый?

— Ну, чтобы очень добрый, я бы не сказал. Случалось, он меня и ремнем драл, но всегда за дело. Виталий Дмитриевич—этот помягче, хотя тоже крут. Ты помнишь, как я на катер просился, а он отказал?

— Помню... Фрол, а ведь ты тогда плакал!

— Кто, я?

— Ну, да.

— Выдумываешь! Моряки никогда не плачут. Это мне что-то в глаз попало... Сам знаешь—комары, мошкара, букашки...

— Мошки, блошки, таракашки!—подхватил я.

Фрол сердито взглянул на меня.

— Виталий Дмитриевич... — повторил он несколько раз.—Виталий Дмитриевич... А ведь это, пожалуй, лучше, чем «усыновитель».

— Идите получать письма,—позвал дневальный.

Я получил письмо от мамы; Юра—два письма: от матери из Сибири и от отца из Новороссийска; Бунчиков — целую пачку писем из Севастополя, от учеников той школы, где он когда-то учился.

— Как они меня вспомнили?—удивлялся он.—И откуда они знают, что я в Нахимовском?..

Илюшу отец извещал, что ему все-таки удалось «закрыть свой военный счет» не на четырнадцатом корабле, а на пятнадцатом, потому что возле Варны он утопил последнюю в Черном море фашистскую подводную лодку: она забилась в одну из бухт и отсиживалась, неизвестно на что надеясь. «Это был поединок один на один, и фрицы дрались с отчаянием осужденных на смерть», писал Поприкашвили сыну.

Четыре письма получил Протасов. Это были опять аккуратные треугольнички, на которых адрес училища был написан одним и тем же почерком. Протасов долго сидел на койке, разбирая послания.

«Значит, у него есть кто-то, кто о нем думает», решил я.

Вскоре выяснилось, откуда Протасов получал треугольнички.

Я был помощником дежурного по училищу, и вахтенный вызвал меня звонком вниз. Спустившись по парадному трапу, я увидел маленькую девушку в синем костюме, на лацкане которого поблескивал орден Ленина. Из-под шапки темнорусых волос на меня смотрели озорные серые глаза. Девушка улыбнулась, повидимому удивившись, что дежурный — и вдруг не взрослый.

— Товарищ дежурный, — спросила она, — могу я видеть старшину Павла Протасова?

— Сейчас доложу. Как сказать?

— Скажите: приехала Зина Миронова.

— Зина Миронова? — воскликнул я и, наверное, так уставился на нее, что она спросила, правда ли чуточки не смутившись:

— А вы разве обо мне что-нибудь слышали?

— Ну еще бы! Нам старшина рассказывал.

Так вот она какая, Зина Миронова!

Я думал, это девушка в огромнейших сапогах, в пятнистых штанах из маскировочной ткани, в ватной телогрейке и в ушанке с собачьим мехом. И уж обязательно с автоматом!

— Товарищ старшина, — доложил я, найдя Протасова в кубрике, где он повторял урок с Бунчиковым, — вас внизу спрашивают.

— Кто?

— Девушка одна. «Вольная».

— Девушка?

— Товарищ старшина, она говорит: она — Зина Миронова.

— Миронова?.. Простите, Бунчиков, вы позанимайтесь сами, а я пойду... Зина Миронова, Зина Миронова! — повторял он, сбегая за мной по трапу.

Протасов, очевидно, ожидал увидеть Зину такой, какой она высаживалась с ним на вражеский берег, какой была на Малой земле и в Новороссийске. Он долго в недоумении смотрел на нее. Зину, стоящую в вестибюле, нельзя было представить себе с автоматом, кидающей в окна гранаты и кричащей изо всех сил: «Полундра, фрицы! Матросы пришли!»

— Зина?—не поверил глазам Протасов.

— Ну да, Зина, товарищ старшина, Зина! Меня учить послали, сказали: «Довольно тебе воевать». Вот я и выбрала Тбилиси. Ты рад, что я приехала?

— Как наши там?—не отвечая на вопрос, спросил Протасов.

→ Много наших погибло, Павел,—с грустью сказала Зина.—Корабль, на котором мы шли в десант, подорвался под Констанцей на mine. Сережи нет, и Володи нет, и Бориса. Коле Игнатову оторвало ногу. Свешников без руки. Да и меня крепко стукнуло—вот, смотри...—Она откинула русые волосы и показала шрам повыше виска.—Чуть пониже—и не было бы в живых...

— Где ты будешь жить?.

— В общежитии. Ты придешь?

— Да, приду.

→ Сегодня?

— Нет, в воскресенье. В будний день я не могу своих ребят бросить.

— Хорошо, приходи в воскресенье. Я буду ждать, Павел!—И совсем тихо, так, чтобы я не услышал (но до меня долетело все-таки), она добавила:—Ведь я только для тебя и приехала, Павел. Ты понимаешь?

Он пожал ее руку и, вздохнув, сказал:

— Идемте, Рындин, пора.

В этот вечер Протасов показал нам фотографию той, прежней Зины—в пятнистых штанах, в ватнике и в ушанке. Глаза были те же, но Зина—другая. Вот эта Зина, конечно, палила из автомата и кричала: «Полундра, фрицы! Матросы пришли!»

Через две недели нам стало известно, что Протасов женится. Все его поздравляли. Наконец-то старшина стал брать увольнительные записки! Он уходил с виноватым видом: раньше он без нас никогда не увольнялся из училища в город.

* * *

Наше товарищество все крепло. И дело было совсем не в том, чтобы подсунуть шпаргалку другу или ловко подсказать ему при ответе учителю. Честь класса теперь была в другом: все должны учиться отлично. И без ложного стыда я часто просил Юру помочь мне, а Бунчиков обращался за помощью к Олегу Авдеенко; помо-

гали и Фролу, помогал и он сам, кому мог,—вот это и было настоящим товариществом.

Однажды, когда Фрол дежурил, а Юра пошел в комитет физкультуры, мы с Олегом отправились к Стэлле. Девочки ждали нас, чтобы пойти на Куру. Мираб и отец Хэльми, Август, вооружившись удочками, отправились с нами. Хэльми и Стэлла болтали безумолку.

День был удивительно теплый. Мы подошли к Куре, к парому, который тотчас же отвалил. Паромщику приходилось бороться с течением. Девочки о чем-то шептались (такая у них манера—шептаться), потом вдруг принялись хохотать. Мираб и Август спорили насчет сегодняшней ловли.

Вдруг (я не видел, как это случилось, потому что мы отвернулись от девочек, обиженные, что они шепчутся) Антонина и Стэлла отчаянно закричали, паромщик затормозил паром, Мираб и Август бросились к борту... Хэльми не было, рыженькая исчезла!

Не раздумывая, я прыгнул в воду. Меня подхватило и потащило вперед. Я увидел в воде что-то розовое. Вдали висел над рекой мост, и я знал, что там, за мостом, много острых камней и бурлит водопад: Хэльми разобьется об эти острые камни. Олег вырвался вперед, схватил Хэльми и стал грести к берегу. Но течение относило к мосту. Издали приближалась рыбацья лодка: она была так далеко!

Заплыв справа, я принялся помогать Олегу вытащить Хэльми на берег. Теперь нас не так сносило. Я устал, Олег греб из последних сил. «Почему я не сбросил ботинки?—думал я.—Почему я не сбросил ботинки?» И вдруг, когда мне уже казалось, что я не проплыву ни одного метра, я почувствовал под ногами вязкое дно. Вскочив, я схватил Хэльми на руки и, не удержавшись, плюхнулся тут же, у самого берега, в воду, больно ударившись коленкой. Но уже несколько рук протянулось ко мне, к Олегу, нас вытащили на берег, и Мираб с Августом нагнулись над неподвижной Хэльми. Она зашевелилась и едва слышно сказала: «Папа!»

Через полчаса мы, мокрые, но счастливые, подъехали в фаэтоне к дому Мираба. Хэльми переделалась в Стэллино платье, а мы с Олегом сидели, завернутые в простыни, пока Антонина, Стэлла и тетя Маро, затопив печку, высушивали наши форменки, ботинки и брюки.

Суровый эстонец был очень взволнован: он то пожимал нам руки, то нежно целовал свою дочку, то снова принимался благодарить нас.

— Я вдруг оступилась и очутилась в воде,—говорила Хэльми.—Я ведь плаваю хорошо, родилась у моря, но тут такое течение, что я не успела вздохнуть, как меня потащило куда-то... Мальчики, я этого никогда не забуду!

Когда мы вернулись в училище и рассказали о нашем приключении Фролу, он заметил:

— Значит, не зря я тебя тогда, Олег, чуть не стукнул на «Каме». Вот видишь—и научился плавать! А скажите, ребята, по правде, вы рыженькую не нарочно столкнули?

Это была только шутка, но Авдеенко расстроился до слез и чуть не поссорился с Фролом. Нам удалось все же их помирить.

Глава восьмая

ЗИМОЙ

Наши форменки, бушлаты, шинели просто подгонялись по росту. Зато, когда дело дошло до мундиров, нам сшили их по особому заказу. Пришел важный, толстый портной в роговых очках, похожий на профессора (это он и его помощники в мастерской Военторга шили наши мундиры). Портной критически осматривал каждого.

Я взглянул в зеркало и оторопел: передо мной стоял незнакомый моряк в отлично сшитом мундире, с золотым шитьем на воротнике, вышитыми золотыми буквами «Н» на погонах, с широкой грудью, высокими плечами и гордо поднятым подбородком.

Портной осмотрел меня, как осматривают в музее скульптуру. Он отошел, склонив набок голову, посмотрел, приподняв очки, опять надел очки на нос, еще посмотрел, подпернул сукно на плече, повернул меня боком, снова отошел и принялся рассматривать издали.

— Хорошо, — решил он. — Переделок не требуется. Прощу следующего.

Фрол огорчился, когда у него портной принялся чертить мелом возле плеча и подмышками и сказал подбежавшему помощнику, что надо перешить рукава.

— Не огорчайтесь, будущий флотоводец, — успокоил

портной Фрола, — зато мундир будет сидеть, как влитой.

— А если я вырасту? — озабоченно спросил Фрол.

— Тогда вам сошьют новый мундир, — обнадежил портной. — И я надеюсь, что именно мне придется шить вам мундир с лейтенантскими погонами.

— А ты знаешь, Кит, — размышлял Фрол, когда мы после примерки зашли в кубрик, — по-моему, если под мундир посадить мелкую душонку, толку не будет. Мундир будет сам по себе, а хозяин его — сам по себе. Вот если под мундиром будет настоящая флотская душа... Ты как думаешь?

Конечно, я был согласен с Фролом.

Мы с нетерпением ждали, когда, наконец, сможем обновить новый мундир. Сурков успокоил, что ждать придется недолго. И мы, действительно, вскоре пошли на концерт в консерваторию, куда нас пригласил Авдеенко.

Может быть, Олег имел успех потому, что он был единственным музыкантом, который вышел на сцену в мундире Нахимовского училища? Нет, он играл хорошо! Это сказал и сидевший рядом с нами пожилой человек — музыкант или профессор.

Когда концерт кончился, Фрол вызвался нести скрипку.

— Ты устал, а мне это ничего не стоит. Да ты не бойся, не уроню, — успокоил он Олега и бережно понес лакированный футляр, стараясь не задеть им прохожих.

Вернувшись в училище, мы попросили Олега повторить то, что он играл на концерте, и он охотно исполнил нашу просьбу.

* * *

На другой день на стадионе «Динамо» состоялись стрелковые соревнования, и наше училище набрало больше всего очков. Министр внутренних дел, молодой генерал, грузин, приехал к нам, роздал ценные подарки и сказал, что мы отныне стали его «любимцами» и он пришлет нам в награду полное оборудование стрелкового тира. Он выполнил свое обещание: пришли рабочие и выстроили во дворе тир.

Стрелки теперь проводили там все свободное время.

Наш класс взял на себя обязательство — оборудо-

вать морской кабинет во Дворце пионеров. Ну и закипела работа! Я рисовал корабли в бушующем море, бой с подводной лодкой. Протасов, Юра, Фрол, Илико, Авдеевко, Бунчиков целыми днями строга́ли, строили под руководством Горича модели шлюпок, яхт, кораблей.

Мы пришли на торжественное открытие кабинета. Пионеров набралось множество. Нам пришлось им все объяснять.

— Неужели вы все это сделали сами? — спрашивали ребята.

— Сами. А кто же, кроме нас, будет делать?

— И фрегат и подводную лодку?

— И фрегат и подводную лодку.

— И даже крейсер?

— И крейсер.

Крейсер поместили в искусно задрапированной лохани, и крошечные огоньки на клотике и в иллюминаторах отражались в воде, словно в море.

В этот день во Дворце пионеров были танцы, и со мной танцевала девочка Нина. Я постеснялся сказать ей, что танцевал в зале, под оркестр, первый раз в жизни, но сообщил, что у нас в училище под Новый год будет бал, и сказал, чтобы она приходила.

...В день бала паркет в большом зале был натерт до блеска. Монтеры перетирали суконками электрические лампочки и проверяли большую люстру.

Пробило семь часов. За окнами стемнело. В коридорах зажглось электричество. В зале оркестранты настраивали инструменты. Протасов осматривал мундиры, перчатки, носовые платки.

В половине восьмого вспыхнул свет над парадным трапом. Ярко осветился парадный подъезд. Раньше всех пришел Зорский и отправился проверять оркестр.

— Рынди́н, встречать гостей! — приказал Кудряшов.

Несколько офицеров, в парадных тужурках, в крахмальных воротничках, уже стояли под портретом Нахимова на главной площадке.

Тяжелая дверь внизу то и дело раскрывалась. Некоторые девочки входили робко, предъявляли билеты и в недоумении останавливались, глядя на пушки, якоря и пузатые мины. К ним тотчас же подходил кто-нибудь из воспитанников или офицеров, здоровался, называл свою фамилию и приглашал в гардеробную снять пальто.

Другие девочки вбегали веделой и оживленной стайкой, отдавали билеты, с любопытством оглядывали все вокруг и спрашивали, показывая на якоря, мины и пушки:

— А это что? А это?

Сняв пальто, они поднимались по широкому трапу и останавливались перед ярко освещенным портретом. Тут они уже не спрашивали, кто это. Даже девочки знали, что это Нахимов.

Вошла Стэлла и протянула билет.

— Я опоздала? А где же Антонина и Хэльми? Не пришли еще?.. Не-ет, разве можно опаздывать?.. Фрол, какой ты важный в мундире. Не-ет, и белые перчатки!.. Музыка гремит! — воскликнула она весело. — Идемте танцевать! — И она быстро побежала вверх по парадному трапу.

— Вы можете идти, Рындин, — предложил Кудряшов. — Мы теперь сами справимся.

Тут в вестибюль вошла Антонина.

— Как дедушка? — сразу спросил я ее.

— О, он совсем веселый! Даже ходит со мной гулять на Куру. Он говорит, что теперь научился видеть ушами, и рассказывает, как плещется в реке рыба.

Мы прошли в зал.

Повсюду горели огни, и ослепительно сияли буквы «Н» на погонах мундиров и золотые погоны адмирала и офицеров, сидевших у стен в креслах. Все нахимовцы помнили уроки учителя танцев: приглашая на танец, они осторожно обнимали гостью за талию рукою в белой перчатке. Вальсируя, они старались не наступать девочке на ноги и не задевать соседей. Они все время были на чеку и покраснели от напряжения. Юра танцевал с Хэльми, а маленький Вова Бунчиков нашел худенькую и очень высокую девочку с тонкими, длинными, как у цапли, ногами и легко скользил с нею в вальсе.

В перерывах между танцами мы, хозяева, приглашали гостей осматривать военно-морской кабинет, и они с любопытством разглядывали старинные корветы, фрегаты и современные крейсера и подводные лодки. Иoliko сообщал гостям, что будет подводником, другой хотел быть катерником, третий — минером.

— А ты? — спросила Стэлла Фрола.

— Сначала буду командовать катером, потом — эсминцем и крейсером.

— Не-ет! — удивилась Стэлла.

— Я буду много учиться, пойду в кругосветное плавание и привезу тебе обезьяну.

— Не-ет! — Стэлла была в восторге. — Большую?

— Зачем большую? Маленькую, вроде собачки. Большие кусачие.

— А крейсер, которым ты будешь командовать, — он большой?

— Если поставить его на проспект Руставели, то он займет целый квартал. И мачты выше театра.

— Не-ет! Даже выше театра? А ты знаешь, Фрол, я буду учиться строить электровозы. А потом... потом я построю такой электровоз, который сможет тянуть по двести вагонов на самые высокие перевалы!

Они снова пошли танцевать. Юра пригласил Хэльми, Забегалов, Поприкашвили, Авдеенко — других девочек.

— Чего ты больше всего хочешь в Новом году? — спросил я Антонину.

— Победы. А ты?

— Победы! Знаешь, когда война кончится, наше училище переведут в Севастополь или в Одессу. Построят огромный дом на берегу моря...

— Да? Значит, ты из Тбилиси уедешь?

— Ну, ведь сначала надо построить дом.

— Теперь дома строят быстро! Я буду скучать.

— Но ты тоже уедешь?

— Еще не скоро. Сначала я кончу школу, четыре года в институте... А уж потом поеду выращивать цитрусы... Ты думал, мой папа никогда не вернется. Думал ведь, да? А я все же чувствовала, что вернется... Ты знаешь, я тебе скажу по секрету: у дедушки на мольберте стоит зашита в холст картина. Он велел Тамаре зашить ее и никому не показывать. Ты видел?

— Видел... В большой комнате, у стены.

— К деду приходили, просили, чтобы он показал ее на выставке. Но дед сказал: «Покажу, когда мы войдем в Берлин и война закончится нашей победой. Я жалею, — сказал он, — что не успел закончить ее». — «Но она совершенно закончена, — возразил приходивший к нему товарищ. — Это лучшее, что вы написали». — «Я тоже думаю, — отвечал дедушка, — что это было бы лучшим, что я написал в своей жизни. Товарищ из Союза художников сказал, что картину надо назвать «Он вернулся

с победой». А я писал ее, — сказал дед, — когда было еще так далеко до победы!» И я не выдержала...

Подошла Стэлла:

— Бал кончается, все уходят.

Я проводил гостей в вестибюль, так и не дослушав рассказа Антонины.

— Приходи, — звала Антонина, надевая пальто.

— И вы приходите, Олег и Юра, — просила Хэльми.

Стэлла болтала с Фролом, пока не захлопнулась за ней тяжелая дверь подъезда.

* * *

Как мы выросли все: и Фрол, и Олег, и Юра, и Забегалов, и Илико! Только Бунчиков так и остался маленьким. Он был этим очень огорчен, но Фрол успокаивал, что подводнику быть высоким совсем неудобно. Наоборот, он должен быть маленького роста: тогда ни обо что не стукнется головой в своей лодке и не наставит себе на лбу шишек.

— Вот такой, как наш Николай Николаевич, пожалуй и в люк не пролезет! Ему только кораблем командовать: встанет на мостик — отовсюду видно. А ты, погляди, Вова, на моего Виталия Дмитриевича: росточку малого, а поди ж ты — Герой Советского Союза!

Кудряшов каждый день зачитывал нам сводки. Глаза у него блестели, когда он читал, что наши войска занимают все новые города. Он попросил у адмирала разрешения нарушить на время установленный порядок и перенести обед на пятнадцать минут позже, потому что мы садились за стол в двенадцать, во время последних известий, и никто ничего не ел. Вечерами первый, кто услышит мелодичный звон в репродукторе — московские позывные, — немедленно бежал сообщить остальным: «Приказ, приказ!» Командиры рот разрешали нам не спать до вечерних последних известий.

Все это не мешало нам усиленно готовиться к испытаниям, так как на этот раз все хотели поехать на море; тем более, что мы больше не будем «пассажирами»: мы выйдем в море на своем корабле.

Я получил письмо от отца. Он едет держать испытания в Морскую академию, в Ленинград. Мама по дороге заедет в Тбилиси. Приезжал отец Юры, капитан

первого ранга Девяткин, и долго беседовал с сыном. Юрина мать возвращалась из Сибири.

В конце зимы мы совершили первый за весь год проступок. Вот как это произошло.

Наш адмирал получил новое назначение. Юра утешал нас: мы встретимся с ним в Ленинграде, когда перейдем в высшее морское училище.

— А он не забудет нас? — спросил я.

— Ну вот еще! — возмутился Фрол. Он никого никогда не забудет.

Мы принялись вспоминать, как адмирал внушал нам, что курить, пока ты не вырос, вредно, как водил на парад, хвалил нас на вечере, читал рукописный журнал, учил жить по-нахимовски.

За окнами темнело, в зале еще не были зажжены огни, когда адмирал вышел проститься.

— Дорогие мои нахимовцы! — сказал он перед строем. — Полтора года мы прожили с вами; иногда ссорились, иногда не понимали друг друга, но всегда договаривались в конце концов, потому что я хотел, чтобы вы стали отличными моряками, а вы, в свою очередь, старались стать ими. Я уверен, что вы все пройдете тот путь, который приведет вас к командным постам на море. Путь этот не легок и не устлан цветами. Но пусть он усеян шипами и пусть еще не раз вам придется столкнуться с трудностями. Почетно звание нахимовца, еще более почетно звание слушателя военно-морских училищ, в которые вы все, я уверен, придете, и звание офицера советского флота, Большого флота, который строится и будет построен. Вы будете хозяевами этого флота. Не недоучками должны вы быть, а образованнейшими людьми, которыми сможет гордиться Родина. Мне жаль расставаться с вами, но я надеюсь встретиться со многими из вас в Ленинграде. Я не говорю вам «прощайте». До свидания, дорогие мои нахимовцы! До свидания, дорогие мои моряки!

После команды «Разойдись!» мы обступили начальника и наперебой желали ему счастливого пути. Мы, конечно, готовы были упрашивать его остаться, но знали, что приказ подписан и адмирал обязан его выполнить.

Мы помогли отнести в машину его несложный багаж: два чемодана и рюкзак. Машина тронулась, и начальник уехал.

Тогда Фрол предложил:

— Будь что будет, а мы проводим его как следует. До отхода поезда осталось пятьдесят минут. Кто со мной?

— Но как же мы выйдем? Часовой...

— Всё беру на себя. Стройтесь!

Мы построились.

— Рота-а, шагом марш!—скомандовал Фрол и повел нас к воротам.

Часовой, увидев, что идет строй, пропустил нас. Через двадцать минут мы на вокзале без труда отыскали вагон, в котором уезжал адмирал.

Фрол подошел к проводнику и попросил вызвать начальника. Адмирал, увидев нас, удивился.

— Товарищ адмирал, — выступил вперед Фрол, — мы пришли, чтобы проводить вас. Мы не спрашивали позволения, — поспешил он добавить, — но, поверьте честному слову нахимовцев, это будет нашим последним проступком.

Адмирал нахмурился:

— Вы поступили нехорошо, хотя я и верю — от чистого сердца.

Офицеры, пришедшие проводить адмирала, в изумлении взглянули на нас, не понимая, в чем дело.

— Я убежден, — сказал адмирал, — что вы будете самыми образцовыми и дисциплинированными нахимовцами, и я буду рад получить известие, что в училище нет ни проступков, ни взысканий.

Хорошо, что на платформе тускло горели фонари! Иначе все бы заметили, что нахимовцы плачут, как самые обыкновенные мальчишки...

Ни новый начальник училища, ни командир роты, ни Кудряшов не наложили на нас никакого взыскания. Но на комсомольском собрании первым выступил Фрол и сам осудил свой проступок.

* * *

Снова пришла весна, с гор понеслись потоки, зашумела Кура, в желобках возле тротуаров забурлила вода, и звонко лопались на тополях в Муштаиде жирные почки. Теплый туман висел над фуникулером. Затемнения уже не было, и по вечерам веселые огоньки светились на горах над городом.

В широко раскрытые окна училища врывался веселый ветер и шелестел листками учебников и тетрадей.

В этом году наш класс направлялся на море в полном составе!

Кудряшов прочел нам приказ командования. Капитану третьего ранга Суркову присваивалось звание капитана второго ранга. Старший лейтенант Кудряшов стал капитан-лейтенантом. Протасов отныне был главстаршиной. Капитан второго ранга Сурков назначался командиром крейсера «Адмирал Нахимов».

— Он уходит от нас? — вскричали мы в один голос.

— Наоборот. Он остается с нами, — успокоил нас Кудряшов. — Командование флотом передает крейсер «Адмирал Нахимов» нашему училищу.

— Ура!..

Кудряшов продолжал:

— Теперь у нас есть свой корабль. Настоящий корабль, с боевой биографией. Экипаж «Адмирала Нахимова» покрыл флаг своего корабля боевой славой. Он вел огонь из орудий по скоплениям фашистских танков, пехоты, по составам со снарядами. Он не раз ходил в Севастополь во время осады и доставлял осажденному городу боевой запас. Он вывез из Севастополя тысячи раненых. «Адмирал Нахимов» выдержал небывалый бой с десятью торпедоносцами. Теперь этот корабль — наш. Вы становитесь преемниками и наследниками старшего поколения. Надеюсь и убежден, что вы станете отличными специалистами.

Мы не могли опомниться от радости.

— Я еще не все сообщил, — продолжал Кудряшов. — Партия и правительство высоко ценят труд на фронте и в тылу. Наш бывший начальник училища указом правительства награжден орденом Нахимова. Медалью Ушакова наградили главстаршину Протасова. Орденами Отечественной войны второй степени награждены капитаны второго ранга Сурков и Горич и ваш воспитатель класса.

Тут мы все стали поздравлять Кудряшова, а потом разыскали Суркова и, окружив Николая Николаевича, тоже поздравляли его от всей души.

Сурков сообщил, что мы в Севастополь поедем сразу по окончании учебного года, а после трех месяцев плаванья по Черному морю получим отпуск.

— Вот это здорово! — воскликнул Илик.—Я поеду с отцом в Зестафони.

— А я — в Новороссийск, — подхватил Юра.

— Я — в Ленинград.

— А вот мне ехать некуда, — с горечью протянул Вова Бунчиков. — У меня никого нет.

— А ваши старые друзья в Севастополе, в школе? — спросил Сурков улыбаясь.—Почему бы вам не поехать к ним в гости?

И тут мне вспомнились письма, которые получил Бунчиков. Я понял: это Сурков написал в Севастополь школьникам, что их бывший товарищ Бунчиков стал нахимовцем.

Глава девятая

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

— Победа!

— Победа, Кит!

— Великое слово — победа! Его можно повторять тысячи раз. Оно звучало повсюду: в эфире, на улицах сразу ставшего праздничным города; его повторяли старики, ребятишки, солдаты, матросы; его выводил белым дымом по синему небу летавший над городом самолет. Победа! Мы всегда знали, что произнесем это слово. В тот день, когда на нас напал Гитлер, Вячеслав Михайлович Молотов сказал: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». И никто не сомневался в победе. Солдаты, уходя на фронт, клялись: «Мы вернемся с победой». Моряки уходили в десанты, высаживались на занятый врагом берег, говоря: «Мы жизни не пожалеем, но победим». Весть о том, что наши—в Берлине и над рейхстагом развевается флаг победы, разнеслась быстрее ветра. Мы видели в широко раскрытые окна училища, как из всех домов люди выходят на улицу, целуются, обнимаются, поздравляют друг друга, качают солдат, офицеров.

— Протасова качают, глядите-ка!

Да, Протасов не избежал общей участи и то взлетал вверх, держа в руке бескозырку, то снова попадал в объятия сотен дружеских рук.

И на домах один за другим возникали трепещущие на ветерке флаги, с балконов свешивались мохнатые

красные ковры, и на горе над городом вдруг возник такой большой портрет Сталина, что его было отовсюду видно.

В этот день, солнечный, яркий и теплый, все горы вокруг были желтыми, розовыми, сиреневыми и красными от бесчисленного множества цветущих кустов и фруктовых деревьев. Хотелось петь, танцевать, веселиться и безустали повторять: «Победа, победа, победа!»

И мама, которая как раз в этот день проездом в Ленинград попала в Тбилиси, пришла в училище такая счастливая, вся сияющая! Она закружила меня по приемной:

— Победа, сынок, победа! Война кончена! Наши — в Берлине!.. Я ведь еду домой, в Ленинград! — продолжала она. — Теперь скоро все вернутся домой! Папа едет учиться. За парту вы сядете оба — и ты и отец. Я посмотрю, кто кого перегонит и кто будет лучше готовить уроки! А-ка-де-ми-я! — протянула она. — Вы оба станете такими учеными!

Когда я получил разрешение уволиться, она заторопила меня:

— Я жду не дождусь, когда увижу славного Мираба Евстафьевича и Стэллу. Потом зайдем к Шалве Христофоровичу. А вечером будем слушать салют. Подумать только: никакого затемнения больше! Везде огни, всюду свет!

— Я позову с собой Фрола и Юру.

— Отлично, мой маленький.

— Мама, не называй меня маленьким.

— Ах, да, я забыла! Ты взрослый... Никиток, да ты действительно стал совсем взрослым. — И она повернула меня лицом к зеркалу.

Передо мной стоял подтянутый, нарядный моряк в мундире, в белых перчатках, в сбитой на ухо бескозырке. Мне ведь пятнадцать лет, целых пятнадцать лет!

Мы вышли из училища. Что творилось на улицах в этот день! Мальчишки не продавали цветов — они их дарили солдатам бесплатно. Девушки были в праздничных платьях. Все окна были настежь раскрыты. По панели шел толстый грузин, прижимая к груди бурдюк с вином и держа в другой руке рог. Вот он остановился, что-то сказал офицеру, попавшемуся навстречу. Тот засмеялся и тоже остановился. Тогда толстяк наклонил бурдюк,

осторожно, стараясь не расплескать, налил густого красного вина в рог и протянул офицеру.

— За победу! — сказал он.

— За победу! — повторил офицер и выпил вино.

— Мой сын, Гоги, в Берлине, — сообщил толстяк.— Он говорил сегодня по радио, понимаешь? Тбилиси — где, Берлин — где, а Гоги дошел! И он сказал, что сфотографировался со своим другом Иваном Сивцовым у рейхстага. У самого рейхстага, понимаешь? — продолжал он, подходя к высокому матросу с гвардейской ленточкой. — Очень прошу вас, выпейте за победу, — сказал гвардейцу толстяк, и матрос тоже выпил вино из рога.

— Мама, да ведь это дядя Мираб!

Я ринулся через улицу, расталкивая густую толпу. В этот день ни один человек не обиделся, все уступали дороге, и я, запыхавшись, остановился перед Мирабом:

— А мы — к вам! Вы знаете, мама приехала!

— Где твоя мама?—спросил Мираб, отыскивая глазами маму.—Нина!—воскликнул он.

Он хотел обнять маму, но руки у него были заняты. Он, не растерявшись, сразу налил в рог вина:

— За победу, Нина! За твоего мужа-героя! За моего сына! Ты слышала, он сегодня по радио выступал из Берлина? Кто мог подумать! Ай-ай-ай, я сам не знал за ним такой прыти—до Берлина дошел! И сегодня весь Союз слушал, как простой грузин, Гоги Гурамишвили, говорил, что его минометная часть стоит у рейхстага. За победу!

— Ну, как же это? — на улице пить? — засмеялась мама.

— Пей, Нина, пей, сегодня все можно! Кто сегодня дома сидит? Сегодня все на улице. Все веселятся. Все поют. Все танцуют. Все пьют. Пей, Нина!.. Идемте ко мне, — скомандовал Мираб. — Забирай всех товарищей.

Мы отправились в переулок, всегда тихий, но сегодня тоже заполненный народом, и Мираб до тех пор угощал встречных солдат и офицеров вином, пока бурдюк не опустел и не съезжился, а потом целовался с знакомыми и все поздравлял его.

Тетя Маро принялась показывать новые фотографии Гоги, а Фрол, умудрившийся где-то по дороге достать

букет цветов, потихоньку сунул его Стэлле, что было сразу замечено дядей Мирабом.

— Ого, моей дочери моряки уже дарят цветы! — воскликнул сапожник, пока Стэлла, пунцовая от волнения, доставала с комода вазу.

— Нет! Что... это... у тебя? — вдруг уставился Фрол на Стэllu.

— Как «что»? Медаль «За оборону Кавказа». Ты же знаешь, что наша школа над морским госпиталем шефствует. И сам видел — мы в палатах дежури́м.

— По...поздравляю...

Фрол так и сел на тахту: у него подкосились ноги.

— Что, Фрол, не ожидал?—засмеялись мы.

Мираб заставил нас отведать бастурмы — жаркого из баранины и вареной рыбы—цоцхали, хвалил Стэllu, гордился ее медалью и уверял нас, что мы так выросли, что, честное слово, он нас на улице принял за лейтенантов. Мы знали, что он льстит, но льстит от доброго сердца, этот добродушный толстяк с пестрыми усами. Потом мы отправились к Антонине, и Мираб с сожалением проводил нас до порога.

Стэлла шла между нами, с букетом цветов в руке и с медалью на зеленой с розовыми полосками ленточке, приколотой к платью. Она вся сияла от счастья и болтала безумолку, и прохожие оборачивались, чтобы полюбоваться ее длинными черными косами.

Тамара, увидев нас, закричала:

— Антонина, беги погляди, кто пришел! Антонина!

— А я-то ждала тебя, Никита, ждала, каждый день ждала!—кричала Антонина, сбегая по лестнице.

Она расцеловала маму и Стэllu, схватила цветы и потащила нас наверх. Шалва Христофорович сидел у окна.

— Никита пришел? — спросил он. — Очень рад! Поздравляю с победой. Какое счастье, Никита! Дай я тебя расцелую. С тобой Стэлла и твои друзья. да?

— И мама!

Художник встал:

— Где же Нина? Что же вы молчите? Подойдите ко мне, дайте обнять вас и поздравить с победой. Какое счастье, какое счастье!—повторял он, целуя маме руку.— Наконец мы все можем вздохнуть свободно.. Как Георгий? Как мой Серго?

— Они в Севастополе, — сказала мама. — Сегодня они так же счастливы, как все в нашей стране... И, конечно, вспоминают нас с вами.

— Я слышу, бурлит весь Тбилиси, — сказал художник. — Можно подумать — дома все пусты.

— Да, — подхватила мама, — чудеснее дня я еще не видела в жизни!

Мы пошли в комнату Антонины и увидели Хэльми.

— С победой, мальчики! — вскричала она, бросаясь навстречу. — Я так счастлива! Мы уезжаем домой.

И она принялась рассказывать о Таллине, который, как видно, очень любила. Сколько там старинных башен и памятников! И одну башню зовут «Длинным Германом», а другую—«Толстою Маргаритой». И есть домик Петра в парке Кадриорг и памятник русскому броненосцу «Русалка». Теперь она все это снова увидит!

— А я еду на свой крейсер, — сообщил Фрол.

— Не-ет, тебе дали крейсер?—удивилась Стэлла.

— Мне? Ты не так поняла. Командовать крейсером я, разумеется, буду, но только лет через двадцать. А пока буду матросом.

— Матро-осом? — переспросила Стэлла.

— Какая ты непонятливая! Ты ведь пойдешь на практику на электровоз? А потом сама станешь строить электровозы. А я вначале стану на вахту в оружейную башню. Чтобы быть командиром, надо все знать: что делают механики, артиллеристы и штурманы. Чтобы я мог исправить любую ошибку.

— Ах, так? Ну, понятно. И когда вы вернетесь?

— Через три месяца.

— Так не скоро!.. — протянула Антонина.

— Зато мы вам столько расскажем!

Стэлла заспорила с Фролом, кем лучше быть—моряком или минометчиком, как ее брат Гоги, зная, что Фрол всегда сердится, когда хвалят какую-либо другую профессию, кроме профессии моряка.

— Не-ет,—дразнила Стэлла Фрола, — ну как бы ты очутился на крейсере в Берлине, если там моря нет? Другое дело, скажем, Японию брать—она ведь на островах, ее можно окружить флотом...

— Что ты понимаешь!—рассердился Фрол. — Под Берлином река, и по ней наши катера ходят!

— Ну, не сердись!—попросила Стэлла.—Разве мож-

но в такой день сердиться? Пойдемте-ка на фуникулер. Скоро салют.

На улице уже темнело.

— Мама, ты пойдешь с нами? — спросил я.

— Нет, я посижу с Шалвой Христофоровичем... Мы отсюда... («увидим», хотела она сказать, но запнулась) услышим салют.

Дневная жара спала, и с гор тянуло свежестью. В сгущавшихся сумерках выступали белые стены. Повсюду слышался смех. За стеной, в саду, мужские голоса пели веселую песню, в другом доме кто-то играл на рояле.

Нам долго пришлось стоять в очереди, прежде чем мы попали в вагончик: слишком много людей стремились в этот день наверх, в парк культуры! Дворец наверху весь сверкал. Гирлянды разноцветных огней свешивались между колоннами. С хохотом мы втиснулись, когда подошла наша очередь, в переполненный доотка-за вагончик. Фрол смешил нас, говоря, что Стэлла вылетит и покатится вниз по откосу, а ему придется ловить ее за косы.

Весь парк наверху был полон народу. Мы с трудом пробрались к ограде.

Кто-то сказал:

— Осталась одна минута.

Фрол вынул часы и подтвердив, что осталась одна минута, захлопнул крышку.

И сразу все стихло.

Антонина схватила меня за рукав:

— Гляди, Никита!

— Куда?

— Да вниз же! Как там широко, глубоко... совсем море...

Вдруг все осветилось, словно при вспышке молнии,— и дальние горы, и река, и башни замка над нею. Антонина вздрогнула. Я взял ее за руку.

— Что ты? Это же весело, а не страшно!

И верно! Залп был праздничный и веселый.

Разноцветные ракеты, одна ярче другой, зеленые, синие, красные кометы стали вспыхивать то тут, то там— и на горах, и в лощине, — световые контуры очертили все набережные, проспекты и вершины холмов, и над нашими головами, наверху, в парке, вспыхнули сотни ярких солнц.

· Опять темнота, и снова все осветилось и загремело, и понеслись по небу хвостатые звезды, описывая дугу и затухая в Куре.

В эти мгновения я думал: сейчас в Севастополе, на Приморском бульваре, стоят три друга — отец, Серго, Русьев—и тоже слушают залпы боевых кораблей. Ракеты вспыхивают ярко и весело, и лучи прожекторов бегают по небу, по бортам и мачтам. И папа думает о нас с мамой, дядя Серго—об Антонине, а Русьев—о своем Фроле.

И в моем Ленинграде тоже гремят орудия, и народ на Неве любит корабли, Петропавловской крепостью и иллюминированными мостами и радуется, что никогда больше не бывать Ленинграду в блокаде.

И на родине Хэльми, в Таллине, салютуют корабли, возвещая: «Мы победили! Победа!», и летают ракеты над городом, похожим на сказку, говоря ему: «Ты свободен!»

А в Москве салют громче, чем везде, и прожекторов сотни, и ракет тысячи, и они самые красивые и самые яркие, потому что это—Москва. И Сталин, наверное, вышел из Кремля и стоит, как изображено на картине, где он вместе с Ворошиловым, смотрит на Красную площадь, и тоже любит салютом. И счастливы видят его с Красной площади при ярком свете ракет и кричат: «Ура Сталину!» И это «ура» громче всех. Несколько миллионов людей вышли на улицу: нельзя в такой день сидеть дома!

Раздался последний залп — и угасли ракеты. Но лучи прожекторов принялись быстро бегать в темноте, словно играя в пятнашки.

А что творилось вокруг! Все кидали в воздух фуражки и шляпы, бросались на шею друг к другу и целовались. Некоторые вытирали слезы. И Стэлла вдруг принялась целовать всех подряд—Антонину и Хэльми, меня и Юру. А когда дошла очередь до Фрола, он чуть не опрокинулся за ограду. Но Стэлла все же расцеловала и его. Она готова была перецеловать всех, кто попадется ей на пути.

Заиграл оркестр, и все принялись танцевать.

Наконец мы выбрались из толпы.

«Да,—думал я,—нам еще долго придется учиться, чтобы Антонина могла выращивать цитрусы, какие захо-

чет, Стэлла — строить электровозы, которые поведут через горы поезда в двести вагонов, а мы с Фролом — командовать даже небольшими кораблями на флоте. Но «настоящий советский человек, если он чего-нибудь захочет, все сможет», говорит мой отец. И мы все добьемся, чего хотим — и Антонина, и Стэлла, и Юра, и я и Фрол,—потому что растем в Советской стране, где для нас все дороги открыты. Мы придем с Фролом к морю, и оно станет для нас родным домом!»

* * *

В воскресенье мы пошли в республиканскую галерею. На белом здании висел большой транспарант: «Выставка картин народного художника Ш. Гурамишвили». Было очень много народу. Светлые залы со стеклянными потолками были похожи на зимний сад: повсюду раскинули листья пальмы, цвели камеллии, олеандры. Сколько картин написал Шалва Христофорович! При виде суровых пейзажей Военно-Грузинской дороги вспоминался лермонтовский «Демон», а при виде горных дорог и сел, похожих на птичьи гнезда—«Путешествие в Арзрум» Пушкина. На одних полотнах мы увидели старый, с узкими улицами, Тбилиси, на других—Тбилиси, каким он стал перед самой войной: красивый, солнечный, с широкими набережными и белыми большими домами. На пейзажах Черноморского побережья с лазоревым морем, казалось, шевелились кружевные верхушки пальм и лакированные листья магнолий. Особенно хороши были зарисовки родины Сталина—Гори. Художник словно приглашал за собой и, показывая людей, города, горы, цветущие сады, море, говорил: «Смотри, как хороша твоя Родина, любуйся вместе со мной!»

Шалву Христофоровича мы нашли там, где было больше всего народу: он стоял, опираясь на плечо Антонины, весь в черном, красавец, с гривой седых волос и с пушистыми седыми усами, на голову возвышаясь над всеми.

Мы увидели тут же Стэлла, Мираба и Хэльми. Они увлеченно рассматривали большую, во всю стену, картину: матросы, высоко подняв автоматы, выходили из морской пены—они казались живыми; в море покачивались катера.

— Гляди, Кит, гляди!— схватил меня за руку Фрол.—

Совсем как на самом деле!.. Гляди, того, маленького, почти с головой накрыло; не помоги ему старшина, совсем захлестнуло бы! А мичмана ранило в руку, видишь, опустил автомат... Хорошо, что товарищ перехватил, поддержал... А всплески видишь за катерами? Это с берега по десанту бьют. Ну, ничего, их приглушат быстро... До чего все правильно схвачено!

Фрол с уважением посмотрел на Шалву Христофоровича.

— «Их не остановит ничто»,—повторил он название картины.—А ведь в самую точку названо. Морскую пехоту чорта с два остановишь! Поди, попробуй!

Вокруг все заплодировали.

— Это Фрол? — спросил Шалва Христофорович. — И Никита здесь? Ну как, понравилось?

— Нет, Шалва Христофорович! Не «понравилось», а зацепило за самое сердце!—воскликнул Фрол с чувством.

— Значит, работа моя хороша,—удовлетворенно сказал художник.—А «Возвращение с победой» вы видели?

Последнюю картину Шалвы Христофоровича так обступил народ, что к ней почти невозможно было пробраться.

— Как хорошо!

— Замечательно!

— Сколько радости!

— Сама жизнь!—раздавались голоса.

И самые хмурые, озабоченные лица озарялись улыбкой.

—А вы знаете,—шопотом сообщил человек, стоявший впереди нас, соседу,—что картина не вполне закончена?

— Не нахожу. По-моему, совершенно закончена.

— Художник ослеп, не завершив работы.

— И это лучшее, что он написал!

Наконец, нам удалось протиснуться поближе. Фрол воскликнул:

— Кит, гляди, капитан-лейтенант — как живой! Поймай, постой, да ведь он...—Фрол осекся.

«Художник был уже слеп, когда Серго вернулся с победой,—хотел сказать Фрол.—Когда же Шалва Христофорович написал картину?»

Я увидел: знакомая комната под горой Давида залита солнечным светом. За высоким окном все цветет,

и на ковер сыплются алые лепестки граната. Дверь широко распахнута. Серго Гурамишвили, раскрыв объятия, вбегает в комнату. Девочка со светлыми волосами, в светлозеленом платье (в ней нетрудно узнать Антонину) бежит навстречу. Радость светится на их лицах. И так и кажется, что Антонина кричит отцу, как тогда, когда мы пришли с Серго: «Ты вернулся, вернулся! Я знала, что ты вернешься!»

Все оборачивались на Антонину, сравнивая ее с девочкой на картине.

— Дед, ты устал? — спросила Антонина смущенно. — Пойдем сядем.

Они отошли в сторонку и сели на мягкий диванчик под пальмой. Их тотчас же окружили, люди жали Шалве Христовичу руку, благодарили его, восхищались.

А к картине подошла группа школьников. Молодая учительница сказала вполголоса:

— Когда мы говорим «мужество», мы говорим о мужестве, проявленном не только на фронте. Перед вами, — показала она на картину, — пример настоящего мужества. Запомните: художник творил, когда зрение ему отказывалось служить, когда его сын, которого вы видите на картине пропал без вести и враги находились у ворот Грузии. В эти дни над его родным городом кружились фашистские самолеты, но художник верил в победу и творил, прославляя ее...

Глава десятая

«АДМИРАЛ НАХИМОВ»

Баркас отвалил от пристани. Упершись коленом в банку, я стоял среди товарищей. Урчал веселый мотор. За кормой остались каменные белые львы, широкая лестница и колоннада под синим небом с куда-то спешащими облаками. Война была кончена, и город, который всего год назад я видел разрушенным, возрождался, со своими бульварами, лестницами и домами, построенными из инкерманского камня. По правому борту у пирсов, стояли эсминцы; по левому борту, посреди бухты, пришвартовавшись у бочек, вросли в светлую воду крейсера и линкор «Севастополь». Корабли поворачивались к нам: один — бортом, другой — кормой, третий — носом,

как бы говоря: «Любуйтесь нами. Вот мы какие красавцы!» Бесчисленные дымки вились в прозрачном воздухе над Северной стороной и над Корабельной, напоминая о том, что повсюду уже живут люди. Огромный теплоход разворачивался в глубине бухты, у угольной пристани. И повсюду сновали такие же баркасы, как наш, катера, ялики и морские трамваи.

У меня в груди поднималось какое-то совсем особое чувство.

Когда я приезжал на «Ладогу» в Кронштадт, я был «Рындин-младший», малыш, которого можно было потрепать по щеке и подшутить над его курносим носом. На катерах я был сиротой, и меня все жалели. Прошлым летом, в Севастополе, я опять был лишь гостем отца, хотя и носил уже флотскую форму. На «Каме» я был «пассажиром» (ведь «пассажиром» на военном корабле считается не только «вольный» но и матрос, и нахимовец, и даже капитан второго и первого ранга, если он не служит на этом корабле; и когда все на корабле заняты, «пассажиру» нечего делать). И только теперь впервые я поднимаюсь на палубу своего корабля и отдам честь флагу, который должен беречь и любить. И только теперь я могу сказать, что и линкор, и крейсера, и эсминцы, и катера, и подводные лодки, и тральщики—это мой флот, на котором я буду служить всю жизнь.

И мне подумалось, что то же самое сейчас чувствуют и Фрол, и Иван Забегалов, и Юра, и Вова Бунчиков, и все мои товарищи, которые стоят на баркасе как-то особенно подтянуто и торжественно.

Баркас огибал низкую корму линкора. Матросы на баке «Севастополь» пели. «Прощай, любимый город...»—выводили они чистыми и звонкими голосами. Раньше эта песня была для меня просто песней: не я ведь уходил в море, уходили другие. Здесь, на «Нахимове», я буду петь о себе и своих товарищах. Ведь это мы пойдем завтра в море на своем корабле!

Мы обогнули линкор, и наш крейсер неожиданно вырос перед носом баркаса.

«Адмирал Нахимов» ждал нас, со своими широкими палубами, орудийными башнями, в которые мы войдем как хозяева, чтобы стать опычнее, образованнее, чем мы были раньше, стать настоящими моряками.

Под защитой этих грозных орудий и голубой тяже-

лой брони шли на крейсере из Севастополя раненые матросы и женщины. Зенитки, всегда глядевшие в небо, били по фашистским торпедоносцам и сбивали их в море.

Вот этой широкой низкой кормой, на которой выведено золотой вязью «Адмирал Нахимов», мой корабль никогда не поворачивался к врагу.

Мотор на баркасе вдруг застучал особенно часто и весело. Он как будто приветствовал стоящего на мостике широкоплечего, огромного командира крейсера, нашего дорогого Николая Николаевича Суркова.

Трап повис над водой своей последней ступенькой. На палубе залились дудки, приветливо запел горн, выстроилась команда. Наши старшие боевые товарищи готовились принять нас в свою семью.

Баркас развернулся к трапу и подтянулся к нему вплотную.

Первым ступил на трап Фрол, за ним—я. Мы поднимались все выше и выше, медленно, боясь оступиться и показаться смешными. Вот Фрол ступил на верхнюю ступеньку, прикрытую веревочным матом, шагнул на палубу и, четко повернувшись к корме, отдал честь флагу своего корабля.

Я тоже замер в положении «смирно», повернув голову и приподняв подбородок, и приложил руку к ободку бескозырки.

Как раз в это время налетел ветерок, белый с широкой синей полосой флаг развернулся и открыл алую звезду и алые серп и молот. Под этим флагом я завтра пойду в море!

Фрол отнял руку от бескозырки и стал «смирно», глядя прямо перед собой.

К нам навстречу спешил вахтенный офицер «Адмирала Нахимова».

Черноморский флот—Балтика, 1944—1948.

Москва, 1950.



В МОРЯХ
ТВОИ ДОРОГИ

Часть первая

НОВИЧКИ

Глава первая

ПРОЩАЙ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

Стол накрыт во дворе, под каштаном. Вечер темный и теплый, и ветерок шевелит огоньки свечей, прикрытых стеклянными колпачками.

Почетный гость за столом — народный художник Шалва Христофорович Гурамишвили. Над высоким лбом его вьются серебристые пряди; пышные седые усы прикрывают резко очерченный рот. Черный шелковый галстук лежит на тугом крахмале сорочки.

Во время войны Шалва Христофорович получил известие, что его сын, капитан-лейтенант Серго — погиб... Старика пригнуло к земле, как пригибает ливень, подмыв корни, старое, но крепкое дерево. От потрясения он ослеп. Весть оказалась ложной: Серго вернулся. Старик снова выпрямился — так выпрямляется дуб, расправляя ветви. Однако зрение к художнику не вернулось...

Рядом со мной сидит дочь Серго — Антонина. Веселые зайчики бегают по ее оживленному личику. Русые волосы вьются, спускаясь на плечи. Один глаз у нее — голубой, а другой — зеленый, весь в карих крапинках, повод для шуток.

Антонина спрашивает меня:

— Вы с Фролом едете в Ленинград?

— Да.

— А когда?

— Послезавтра.

— Так скоро! — говорит она огорченно.

— Не-ет, уже послезавтра! — подхватывает через стол сероглазая... чуть не сказал по привычке—девочка; с точки зрения родителей, Стэлла — лучшая девушка в мире; соседи восхищаются ее длинными, до пояса, черными косами и называют красавицей.

Я с ними не согласен. Она совсем не красавица со своим задорным неправильным смуглым лицом!

Мой друг Фрол поясняет:

— Никита хочет мне показать Ленинград. А начнутся занятия — будет некогда.

Я в Ленинграде родился и вырос; Фрол никогда не бывал в моем родном городе.

Огненно-рыжие волосы друга подстрижены «нахимовским полубоксом», которым он очень гордится; нос усеян веснушками — его это не огорчает. Лицо обветрилось в плавании, выправка — флотская, руки — привычны к матросской работе: ловко вяжут койку, узлы, дряют медяшку, умело гребут, штурвал держат крепко. Тельняшка обтягивает широкою грудью, темносиний воротник белой форменки напоминает о море, три белые полоски на воротнике, по матросским преданиям—память о победах русского флота — Гангуте, Чесме и Синопе. Буква «Н» на погончиках, орден, медали, бляха — начищены до блеска. Я встретился с Фролом во время войны, когда приехал к отцу на флот. Тринадцатилетний матрос отнесся ко мне свысока и презрительно. Еще бы! Я никогда не брал в руки оружия, а у него под подушкой лежал автомат, и Фрол на катерах ходил в бой. Я и понятия не имел о курении, а он крутил толстые, с палец «цыгарки». Нас обоих послали учиться в Нахимовское. Вояка зарыдал от обиды, но подчинился приказу.

В Нахимовском ему пришлось туго. Но Фрол старался не отстать от других. И не только догнал, но и опередил многих и окончил училище с серебряной медалью...

Отец Стэллы, толстый, славный Мираб, сегодня си-

яет: дочка окончила школу, а Гоги, сын, привел Анико, невесту. У Гоги — грудь в орденах и медалях: сержант-минометчик дошел до рейхстага.

Маро, мать Гоги и Стэллы, накрыла праздничный стол: на раскаленной сковороде шипят «купаты» — свиные колбаски с зернышками и соком граната; редис выглядывает из-за зеленых усиков лука; на длинном блюде лежит толстомордый сом — «локо»; на другом — плавает в ореховом соусе курица; бутылки с вином расставлены, как зеленые кегли.

Друг Мираба Бату поднимает стакан. Сколько лет Бату — неизвестно: может сорок, а может — и все шестьдесят. У Мираба — пестрые от седины волосы и усы, а у Бату — нет ни единой сединки; морщин на лице совсем мало. Но, вспоминая юность, Бату забирается в те времена, о которых мы знаем только из книжек.

На этот раз он говорит о днях, не столь отдаленных.

— Позвольте вспомнить один зимний вечер. Война, затемнение, вокзальная площадь; вижу — мальчик чуть не попал под машину... Его мама совсем растерялась.

— Вы только с поезда? — спросил я.

— Да.

— Кто вам нужен?

— Гурамишвили.

— Вот совпадение! Он живет со мной рядом.

— Я привел их к тебе, Мираб, — говорит Бату другу. — На дворе была ночь, а в Тбилиси две тысячи Гурамишвили. Ты сказал: «Отдыхайте, будьте, как дома».

Так и было. Мы ехали с мамой к отцу на флот и в Тбилиси должны были повидаться с Гурамишвили-художником. В затемненном городе, ночью, мы попали к его однофамильцу — сапожнику. Узнав, что мы ленинградцы, Мираб принял нас, как родных, хотя видел в первый раз в жизни. Для ленинградцев были открыты все двери.

— С той поры мы все полюбили Никиту, — продолжает Бату. — Он приходил сюда каждое воскресенье. И четыре года прошло, очень коротких для нас — к закату жизни годы несутся непозволительно быстро; четыре долгих года для тебя, Никитó — годы медленно текут в юности, когда человек поднимается в гору. Ты

больше не мальчик; ты окончил училище с золотой медалью; ты покидаешь нас — нам очень грустно...

Мне тоже не хочется расставаться с друзьями. Когда то я их увижу?

— Но еще четыре года там, в Ленинграде, — продолжает Бату, — и ты станешь морским офицером. В этом тебе, — Бату протягивает руку вверх, разгоняя слетевшихся на огонь мошек, — ты будешь наперечет знать все звезды. Ты поведешь корабли по морям. Мы услышим: «Никита Рындин ходил вокруг света; он открыл неизвестные земли». И я скажу: «Друзья, да ведь это наш мальчик!...» Мы будем следить за твоими успехами, Никитó. Мы тебя любим всем сердцем!

Все пьют за мое здоровье. Впервые Мираб не разбавляет вино: мы — взрослые! Девочки морщатся: они любят сладкое, а вино — кахетинское, кислое.

— Что с тобой, Антонина?

— Мошка попала в глаз.

Нет, Антонина, никакой мошки нет! Плачешь?

Встает Гоги и обращается к Фролу, он называет его «товарищем по оружию». Фрол не штурмовал с минометчиками Берлина и не фотографировался с Гоги у рейхстага. Но Фрол недаром получил орден. Он спас в бою катер и командира.

Гоги, подняв стакан, продолжает: Фрол упорно шагает к цели, идет в высшее военно-морское училище, с аттестатом зрелости и с серебряной медалью!

— За тебя, дорогой, с большим чувством! Придет время, мы увидим тебя адмиралом!

Фрол благодарит. Да, он надеется дослужить и до адмирала.

— Чему ты улыбаешься, Стэлла? — спрашивает он сероглазую плутовку. — Адмиралом никто не родился. Головин в четырнадцать лет воевал со шведами и медаль заслужил. Нахимов был в пятнадцать лет мичманом. А многие моряки начинали с юнг, как наш советский адмирал Юмашев или отец Никиты, герой и гвардеец. Все они были такими, как я и Кит! Но учились, плавали, воевали и по-нахимовски любили морскую службу. Ну, а в нас, — Фрол ударяет себя в грудь, — «нахимовская жилка» крепка! Да, вы знаете? — вспоминает он. — Нахимов-то даже влюбиться позабыл и жениться!

— Нет-ет! — не выдерживает тут Стэлла. — Значит вы тоже оба никогда... :

Она поспешно зажимает ладонью рот. Все хохочут, так смешно у нее получилось. Один Фрол недоволен.

— Ну, я встречал среди моряков и женатых, — замечает Гоги. — И у них были отличные жены... Да вот, Никита рассказывал о жене Невельского. Замечательная жена!

— Да, рассказывал! — подтверждаю я. — Когда они ехали к Тихому океану, еще не было поездов; они увязали в болотах, взбирались по крутым тропкам на скалы, переправлялись через быстрые реки. Ее уговаривали вернуться, но она отвечала: «Я была бы самая низкая, если бы сидела спокойно в то время, как мой муж рискует жизнью за честь свою и за честь отечества». Их захватила буря по дороге к заливу Счастья; корабль стал тонуть; но жена Невельского успокаивала людей и отказалась сойти в шлюпку с женщинами: «Я жена командира и сойду с корабля вместе с мужем».

— Ну, на такой бы и Нахимов женился, — соглашается Фрол.

Опять все смеются.

— А вы знаете, было время, и я был таким же, как вы, — вспоминает Мираб. — Ох, и давно это было, прошу мне поверить!

Мы охотно верим Мирабу. Стоит взглянуть на его густую седину!

— И я видел то, чего вы не видели. Живых городовых, настоящего пристава и царских жандармов. Видел дикого князя Амилахвари... Бывало, мчится в своем фэ-тоне, на бешеных лошадях, с пьяным кучером. Людей давил, ему все сходило... он дружил с начальством. Мою Маро чуть не разорвали княжеские собаки...

Толстяк обнимает жену, полную, смуглую, с глазами серыми, как у дочки.

— Она, голубка, стала даже высокой травы бояться. Вот Стэлла — другое дело. Не только князь, сам чорт существуй на свете — она не испугается чорта! А в какое вы живете счастливое время, друзья! Мы не смели мечтать, а вам говорят: «мечтайте, самая смелая мечта выполняема!» Возьмите Стэллу: придет день, и она построит новый электровоз и назовет его «Синей птицей».

И «Синяя птица» одолеет любой перевал со скоростью в двести пятьдесят километров...

Мираб обращается к Антонине:

— А ты, крошка, перенесла много горя (ее мать, разведчицу, повесили гитлеровцы). И все же ты шла, высоко подняв маленькую головку; ты знала, что тебя в нашей стране одну не оставят; все были твоими друзьями! Ты идешь в институт; ты станешь ученым цитрусководом... Этот бокал я поднимаю за наших девочек, вступающих в жизнь!

Никто не забыт и, в первую очередь, Шалва Христович. Трудно добавить что-либо к его большой славе — его картины украшают республиканскую галерею. Но Гоги находит теплые, проникновенные слова.

Не забывают и тетю Маро, и Бату, и невесту Гоги, Анико, сидящую тихо, как мышка; Мираб вспоминает наших отцов:

— Они удостоены высшей награды и вполне ее заслужили. Таких храбрецов воспел бы сам Руставели. Шалва, дорогой, за героя, твоего сына! Никита, за твоего отца! Фрол, за твоего командира! А теперь, друзья, мы споем! — командует Мираб. — Гоги, пойдй, возьми свою скрипку!

Гоги выходит из-за стола, идет к дому, поднимается на темную стеклянную галерею.

Ветерок стих, и свечи горят ярко и ровно. На каштанах белеют пушистые стрелки.

Гоги приносит скрипку и играет грузинскую песню — «Цицинатэллу». Все подпевают, и лишь Анико, поставив локти на стол и опершись на руки подбородком, не поет и не сводит глаз с его смуглого лица, черных усиков и блестящих глаз.

— Давай выйдем, — предлагаю я Антонине.

— Куда?

— На Куру...

В темноте светятся ее волосы и белое платье.

Узкая улица упирается в реку. Белеют каменные ограды, над ними уходят ввысь черные тополя, и звезды сияют на их острых верхушках.

Кура бежит глубоко внизу. Дома вырастают из пены. Сколько раз мы сидели тут — я, Антонина, Фрол, Стелла и маленькая эстонка Хэльми, она уехала с отцом в Таллин...

За Курюю горят огни. Другие скользят по Верийскому спуску.

— Помнишь, ты подарил мне свою фотографию, ты был снят в парадном мундире? Ее утащили.

— Кто?

— Я думаю, Нина. Ты был влюблен в нее?

— Нет, Антонина. Я один раз потанцевал с ней во Дворце пионеров и пригласил к нам в училище. А она зачастила. Я не хотел больше с ней танцевать и старался, чтобы танцевали другие.

— Почему?

— Мне казалось, что так будет лучше.

— Может быть, ты и прав. Ты мне будешь писать?

— Разумеется...

— Пиши чаще, я берегу твои письма. Я не показываю их даже Стэлле. Удивляюсь подругам: все письма читают друг другу. Зачем?

— Когда ты уходил в плавание, — продолжает она, помолчав, — я доставала книги о Севастополе, о войне, о черноморцах. Ты забыл у нас как-то тетрадку, записки по военно-морской истории. Я выучила все наизусть. Мне хотелось полюбить все, что ты любишь! Зачем, зачем уезжаешь? — Она смотрит мне в глаза. — Когда все думали, что папа погиб, ты сказал: «Будь моей сестрой, Антонина...», и я хотела быть тебе хорошей сестрой!

* * *

Мы возвращаемся. Слышно, как Фрол поет «Вечер на рейде», нашу любимую песню. Огни в доме погашены. На столе догорают последние свечи. Пора уходить...

— Мы все придем вас провожать на вокзал, — обещает Стэлла.

— Да, придем на вокзал, — повторяет Мираб. — И я, и Стэлла, и Гоги...

Мы выходим на улицу, пересекаем пустынный проспект, сворачиваем в улицу Камо. Вот и наше училище.

— А хорошо, если бы институт Стэллы был не в Тбилиси, а в Ленинграде! Нам было бы веселее, Кит, правда?

— Конечно, Фролушка! Но тогда и Антонинин институт надо перетащить в Ленинград!

— Безусловно, Китище!
Эта мечта, к сожалению, неосуществима...

* * *

Я просыпаюсь раньше других. Сегодня подъема нет, выпускники спят.

— Фрол, вставай!

Мы бежим умываться.

В коридорах светло, солнечно, во всех классах раскрыты окна, и ветерок сметает с досок следы экзаменационных задач. Вода в умывальнике бежит napopистой, веселой струей.

Я высовываюсь в окно и вижу каштаны, светлую листву тополей, сотни крыш за рекой и далекую гору Давида с белой церковью и с черными кипарисами. Под горой живет старый художник со своей внучкой.

— Здравствуй! — кричу я. — Доброе утро!

— Что с тобой, Кит? — удивляется Фрол. — Кому ты «доброе утро»?

Я и сам не знаю. Может быть — городу, который лежит передо мной, весь освещенный солнцем, может быть — Антонине, а может быть — радостному и светлому дню!

Через полчаса мы в последний раз завтракаем в училище.

Товарищи разъезжаются в отпуск.

Старшина наш, Протасов, надел сегодня все ордена и медали, что случается только по выдающимся дням. Всегда спокойный и выдержанный, Протасов повсюду был с нами — на уроках и в кубрике, в театрах и на прогулке. Даже женившись, он редко уходил в город. И жена, говорят, его очень к нам ревновала.

Придут новички. Протасов научит их любить флотскую службу.

Завтрак закончен. Протасов командует: «Встать!»

В столовую входит высокий и широкий в плечах капитан второго ранга с большими прокуренными усами. Это наш бывший командир роты, Сурков, командир учебного крейсера «Адмирал Нахимов».

— Поздравляю с окончанием Нахимовского училища, — басит Николай Николаевич, как всегда сильно нажимая на «о»; мы обступаем любимого командира.—

Не мог удержаться, чтобы не повидать вас. Махнул из Батуми в Тбилиси. Разлетаетесь вы, дорогие...

— Товарищ гвардии капитан второго ранга, разрешите писать вам? — спрашивает Фрол.

— Не только разрешаю — прошу и настаиваю. Вы думаете, мне до вас дела нет? Ошибаетесь! Хочу знать о ваших успехах в учении, в плаваниях, о ваших первых шагах в офицерском звании.

...Вот погляжу я на вас, — продолжает он, — молодцы, первый выпуск нахимовцев! А придете в высшие училища — снова станете младшими. Возможно, что-либо и не по вкусу придется. Но обиды советую спрятать в карман. Еще не раз вам придется стоять на низшей ступеньке, даже когда, надев офицерский китель и кортик, придете на флот; офицеры на корабле будут старше вас — и по званию и по опыту.

...Но все можно и должно пережить, — успокаивает Сулков, — если твердо знаешь, что флотская служба — дело всей твоей жизни. Пример советую брать с Нахимова: служил в сутки двадцать четыре часа, на службу в мирное время смотрел, как на подготовку к бою, когда человек должен полностью проявить свои моральные силы. И, заметьте, он был всех скромнее. Скромность — великая вещь.

...Но скромность — не потеря собственного достоинства, — продолжает Николай Николаевич. — Вы не должны забывать, что вы — «старослужащие», и если это не дает права задирать нос, то налагает обязанность — ни единым проступком не запятнать чести нахимовцев. Нахимовец — звание почетное, оно останется за вами, когда вы станете курсантами высших училищ, но лишь в том случае, если на вас будут смотреть с уважением. Если же нет — лучше вам навсегда забыть, что вы были нахимовцами...

Он достает из кармана платок и обтирает усы.

— Офицер советского флота, флота самой передовой страны мира, должен быть разносторонне образованным человеком. Адмирал Нахимов обладал обширными знаниями. Адмирал Макаров был изобретателем и учёным, и лучшим другом его был Верещагин. Художник не стал бы дружить с человеком, не понимавшим и не умевшим ценить искусства. Среди советских адмиралов вы встретите немало ученых с мировым именем, людей, всесторонне образованных и начитанных.

...Запомните: офицер, в каюте которого вы не найдете сочинений Ленина, Сталина, Пушкина, Гоголя, Чехова, Горького, не может считать себя полноценным моряком. Мы, моряки, должны быть так же близко знакомы с сокровищами своего народа—литературой, театром, архитектурой, картинными галереями, — как знакомы мы, скажем, с торпедным аппаратом, секстаном и машинным телеграфом.

...Вы вступаете в жизнь. Сумейте глубоко постичь мудрость ленинско-сталинского учения. Будьте всегда готовы вступить в разговор на любую тему — скажем, о Бахе и Мусоргском, Леонардо-да-Винчи и Брюллове, Казакове и Растрелли. Большим стыдом будет, если вас сочтут узко ограниченными людьми или верхоглядами. Верхогляд всегда сядет в лужу, хотя и может на первый взгляд показаться образованным человеком...

И накрепко запомните то, что я вам не раз говорил. Слова эти не мои — их сказал советский наш полководец Михаил Васильевич Фрунзе. «Служба во флоте является самой сложной и технически самой трудной из всех специальных служб. Современный боевой корабль представляет сочетание элементов целого ряда областей промышленной техники. Это организм, составленный из самых сложных и тончайших механизмов, требующих особого искусства, умения и сноровки управления ими...

Настоящим красным командиром, в полном смысле этого слова, можно стать лишь в результате длительной работы, на опыте. И эта работа будет тем успешней и тем полезней для дела, чем ревностнее и упорнее каждый молодой командир будет работать над своим дальнейшим воспитанием».

Прощаясь, Николай Николаевич говорит:

— Попадете на практику на Черное море — не забывайте «Адмирала Нахимова»...

Мы обещаем не забывать ни Николая Николаевича, ни нашего любимого крейсера.

Когда Николай Николаевич уходит, заглядываем в последний раз в класс и в военно-морской кабинет. Мы сами привезли с Черноморского флота торпеды, якоря, мины и якорь-цепи; своими руками строили модели катеров, шхун, фрегатов, корветов; сами построили шлюпку для упражнения в гребле; сами писали картины на морские сюжеты...

В читальне мы оставляем наш рукописный журнал «Уходим завтра в море», где описывали все, что довелось повидать и услышать, все, что нас волновало и чем мы жили в те годы, когда гремела война и радио передавало приказы Главнокомандующего и информационные сводки...

Теперь все достанется младшим товарищам.

* * *

— Ты знаешь, мне жаль покидать Тбилиси. Конечно, не мешает поглядеть свет, — рассуждал Фрол, — и особенно Ленинград, я его никогда не видел, но и тут нам жилось неплохо. Как ты думаешь, Кит?

Да, Тбилиси стал моим вторым родным городом. Он приветливо встретил нас с мамой. Учась в Нахимовском, по воскресеньям я приходил к Мирабу и Стэлле, как в родной дом. Нас, нахимовцев, везде принимали радушно — и в школах, и во Дворце пионеров... Теперь приходится сказать «прощай» городу, который я успел полюбить...

Тбилиси хорош и зимой; снег выпадает на два, на три дня и ему радуются даже взрослые. И юноши, у которых уже пробиваются усики, достают из чуланов санки и вместе с малышами катаются с первой попавшейся горки. А весной даже дома, омытые теплым дождем, улыбаются; старики молодеют, а девушки цветут, как персиковые деревья в садах.

Мы перешли мост, висевший над Курой, пересекли проспект Руставели и поднялись по улице, упиравшейся в гору Давида.

Белый дом в глубине двора словно поджидал нас и спрашивал: «Что же вы задержались?»

Тамара, родственница художника, увидела нас в окно и позвала густым, почти мужским голосом:

— Заходите скорее!

На стеклянной галерейке в кадках цвели олеандры. Я постучался:

— Можно?

— Разумеется, Никита, входи!

Шалва Христофорович сидел в глубоком кресле, у раскрытого настежь окна. На подоконнике лежала толстая тетрадь в сафьяновом переплете. В огромной комнате все было знакомо: и бархатная куртка хозяина, и

рога, и оружие на стенах, и тахта, на которой могло улечься пять человек, и медведь на полу, и узкогорлые кувшины на столиках.

— Мы занимались все утро, — поспешил сообщить художник. — Я не умею сидеть без дела. Антонина — мой секретарь, мои глаза, мои руки. Диктую воспоминания, поверь, мне есть, о чем рассказать. Я учился в Горийском духовном и прошел курс наук в семинарии. Картины прошлого так и стоят перед глазами... Садитесь, друзья. Тамара, Тамара! Принеси кофе...

В этом доме отказываться от угощения бесполезно!

— Значит, едете в Ленинград, — продолжал Шалва Христофорович. — Увидите сфинксов на набережной и Медного всадника. Будь я здоров, я поехал бы с вами! На берегах Невы я провел лучшие годы, юность...

Ему семьдесят три года; но как любит он жизнь, как интересуется всем, что происходит на свете, радуется успехам своих учеников и знакомых!

— Невский... — произносит он мечтательно, — шпиль Адмиралтейства и на Аничковом мосту кони Клодта; а Публичная библиотека, Гостиный двор, Казанский собор... А окрестности... Подобных нет ни у одного города в мире! Я сегодня получил письмо от Серго: «Фонтаны уже восстановлены, часть дворцов — тоже. Для нашей Родины не существует непоправимых потерь. Мы сильны и богаты и можем не только залечить раны, но и возродить все, что было построено непревзойденными мастерами».

Старик запомнил все наизусть!

— Они снова учатся, твой отец и мой сын, в Академии, и в этом тоже, друзья, наша сила, — продолжал художник. — Не останавливаться на месте, совершенствоваться, идти вперед и вперед, даже если ты достиг почета и славы... А где же Антонина? Антонина! — позвал он.

— Я здесь.

Она поздоровалась и села на низкую скамеечку у ног деда.

— Ты не говорил, что придешь, Никита. Я думала, мы встретимся на вокзале.

— Мы решили пройтись и очутились возле вашего дома. «Зайдем?» — спросил Фрол. Вот и зашли.

Антонина обиделась:

— Ах, вот как? Ну, раз надумали зайти, хорошо сделали.

Я вскочил и хотел сказать, что нам пора уходить, но тут вбежала разгоряченная Стэлла.

— Не-ет, я так и знала! Вы уже здесь! Антонина говорила, что Никита придет спозаранку! До чего же замечательно, мальчишки! Проведем весь день вместе. Пойдем на фуникулер. А вечером в театр, как вы думаете? Не-ет, отчего ты такая скучная? — затормошила она Антонину.—Не выпалась? Ну, конечно, не выпалась! Ничего, много спать вредно. А какой я сон сегодня видела! Угадайте! Клянусь здоровьем папы, я видела, Фрол, тебя адмиралом! Идешь ты по улице, в золотых погонах, и я тебя окликаю: «Товарищ адмирал! Вы меня разве не помните?» А ты так важно протягиваешь мне два пальца в перчатке и цедишь сквозь зубы: «Кажется, я вас знаю. Только никак не могу припомнить, где мы с вами встречались». Нет, вы подумайте! Я так разозлилась, что тут же проснулась и побежала пить воду. «Что с тобой, Стэлла?» — спросила мама. А я зубами стучала от злости.

— Глупый сон, — буркнул Фрол.

— Почему же? Все в жизни бывает. С папкой сидел на одной парте сосед, теперь он — железнодорожный директор. Так он едва кланяется.

— Зазнался директор!

— А ты не будешь таким?

— Глупый вопрос! Ты всегда, Стэлла, задаешь такие вопросы?

— Ты хочешь сказать, я — глупая?

— Ну полно вам, полно! — прервал спор Шалва Христофорович. — Разве можно ссориться в такой день? — Он показал на раскрытое настежь окно. — Пойдите-ка, молодежь, погуляйте.

Фрол со Стэлкой тотчас же позабыли о разгоревшейся было ссоре — их сердца отходили быстро. Мы вышли на улицу. Антонина рассказывала о книге, которую пишет дед. Он диктовал ей нынче все утро.

Мы прошли через сквер к вокзалу фуникулера, я опередил всех, взял билеты, мы вскочили в уже отправляющийся сверху синий вагончик канатной дороги — и не прошло и пяти минут, как мы поднялись выше могилы Грибоедова и церкви Давида и очутились на горе в парке.

Сколько раз мы стояли тут, у каменной низкой ограды и смотрели на город! Он лежал перед нами, весь в цветущих садах; далеко, над Курой навис древний Метехский замок. За рекой спешили к морю, на юг, поезда.

Скоро ли я тут опять побываю?

Как всегда, выпили в парке воды с зеленым сиропом «фейхоа», пахнущим клубникой и ананасом; сидели в беседке.

— Не-ет! — говорила Стэлла, — ты, Фрол, смеялся, когда я мечтала об электровозах. Это было давно, ты помнишь, еще на пионерской железной дороге...

— Ты была начальником станции.

— Да, а потом — машинистом. А теперь ты что скажешь? Я иду в институт. Через шесть-восемь лет мы за полчаса поднимемся на «Синей птице» высоко в горы, в Бакуриани. Сейчас поезд туда ползет три часа. И в Боржоми мы будем изнемогать от жары, а в Бакуриани — кататься на лыжах. Ты попросишь для такого случая отпуск?

— Обязательно, — обещал Фрол с усмешкой, — специально приеду, чтобы прокатиться на «Синей птице».

— Не-ет, когда ты станешь со мной говорить серьезно? — обиделась Стэлла. — Ну, что ж, ты не хочешь, найдутся другие, — пригрозила она ядовито.

— Пусть попробуют! — возмутился Фрол. — Пусть только попробуют!

— А если это будут дядя Бату и папка? Они никогда, понимаешь ты, никогда не слушают меня с усмешечкой. А если ты сомневаешься, что девушка может стать инженером, ты — недалекий человек!

— Кто — недалекий человек?

— Ты!

— Ну, знаешь... А ты... ты зазнавшаяся девчонка и воображала, вот ты кто!

Фрол чуть не задохнулся, так разозлился, и нам не сразу удалось помирить его со Стэллой. Наконец враждебные действия кончились, наступил мир. Противники ели мороженое в вафлях, один — фруктовое, другой — сливочное, давая откусывать от своей порции друг другу. И в восемнадцать лет любишь сладкое!

— Ты уедешь на каникулы из Тбилиси? — спросил я Антонину.

— Да, я поеду в Сухуми, к дяде Борису. Он научный работник. У них в институте удивительный сад, сад чудес, прямо сказка. Ты знаешь, как я сказки любила; сама придумывала, когда мне нехватало их в книжках. Помнишь?

Еще бы! Давно она сочинила, что приручила солнечного зайчика, и я чуть было не попался на удочку, поверив ей. В двенадцать лет это с каждым может случиться.

— Я хотела бы, чтобы ты увидел этот сад, Никита! Дядя скрещивает различные сорта цитрусов и получаются то мандарины со сладкой кожицей, то апельсин, который может вызреть и на Украине. У них в институте есть карта,— продолжала она,— большая карта и на ней шнурком отмечена граница, выше которой к северу не поднимаются цитрусы. А я хочу... да, я хочу,— повторила она упрямо,— поднять шнурок выше, добиться, чтобы мандарины созревали в Москве, в Ленинграде. Ты слышал, в Москве высаживают на улицах сорокалетние липы? Раньше тоже сказали бы: «сказка». Так почему бы в Москве не расти лимонам и апельсинам? Когда они будут цвести, вся Москва станет розовой. И я добьюсь своего. Ты что-то сказал?

— Нет, запершило в горле.

Считая Антонину девчонкой, я никогда не говорил с нею серьезно, всегда ее невнимательно слушал, а больше прислушивался к собственным словам. И когда я говорил, «я», «я», «я» мелькало через каждое слово. Словно на мне весь свет клином сошелся. У меня еще все — только в будущем, а я сую себя на первое место!

— Ты почему замолчал?

— Ничего, так...

Мы спустились в вагончике в город и договорились встретиться вечером возле театра. Когда мы расстались с подругами, я спросил Фрола:

— Ты убежден, что Стэлла не будет никогда инженером?

— Почему? Обязательно будет.

— Так в чем же дело?

— Чудак человек! Я не хочу, чтобы она задавалась.

Ох, Фрол! И в восемнадцать лет ты остаешься задирой!

В училище все собирали вещи. Илюша Поприкашвили, напевая, засовывал в чемодан фотографии. Он снимался у училищного фотографа по два раза в месяц — в мундире, фланелевке, в шинели, в тельняшке. Теперь фотографий накопилась целая пачка, и со всех улыбался черноглазый, с густыми бровями нахимовец.

Забегалов, широколицый курносый здоровяк с непокорным русым хохолком над широким лбом, аккуратно складывал в сундучок белье. Олег Авдеенко протирал свою любимую скрипку. Юра Девяткин утюжил брюки. Маленький Вова Бунчиков чистил бляху.

Тут же стоял и Протасов, глядя на сборы. Каждый оставлял старшине на память свою фотокарточку.

Зашел в кубрик капитан первого ранга Горич, седой, с пустым рукавом, засунутым в карман кителя. Сколько вечеров мы провели с ним в морском кабинете! Как мы любили его рассказы!

— Сжился я с вами, — сказал он огорченно.

Зашел и капитан-лейтенант Кудряшов, воспитатель класса, всегда оживленный, веселый, а нынче—озабоченный, хмурый. Он тоже, как видно, с сожалением расставался с нами. Четыре года мы прожили вместе!

...Мы пришли в училище в дождливый декабрьский день, когда мохнатая туча висела над городом. Мы были первыми—училище было только что создано. Среди нас были флотские, они пришли в полной форме; были ребята, потерявшие матерей и отцов.

Начальник училища нам сказал тогда:

— Вы хотите стать моряками, а моряк не должен бояться трудностей. Вам придется самим устраивать свою жизнь.

Через год было радостно сознавать, что мы сами расставили парты, оборудовали аудитории, кабинеты и сдали экзамены на отлично. Учиться плохо было бы стыдно. В эти дни моряки не жалели для Родины жизни...

Нахимовское многому научило. Я не только стал образованнее, умнее: дома я был белоручкой, а теперь могу вымыть полы и посуду, постирать белье, пришить пуговицу, протереть окна, приготовить обед; я стал человеком, который не растеряется в жизни.

До обеда уехали Юра и Бунчиков, после обеда — Авдеенко, Забегалов, Илюша.

С Илюшей и с Юрой мы увидимся после отпуска в Ленинграде. А с остальными — неизвестно когда. Они поступают в другие училища...

Сиротливо стояли в кубрике опустевшие койки...

Я положил на дно чемодана гвардейскую ленточку с надписью: «Торпедные катера ЧФ». Эту ленточку подарил мне на память командир соединения. Я приехал на Черное море и отца не застал. Тогда я не знал, что гитлеровцы потопили его катер и отец, выплыв с Серго — отцом Антонины — на занятый врагом берег, ушел в крымские леса, к партизанам. Все думали, что они погибли; начальник отца отправил меня вместе с Фролом в Нахимовское.

— Смотри-ка, Кит, нам с тобой телеграмма! — вошел в кубрик Фрол. — «Весь личный состав, — прочел он, — горячо поздравляет вас, дорогие нахимовцы, успешным переходом новую ступень военно-морской службы. Окончанием медалью нахимовского вы доказали, что вы настоящие гвардейцы. Мы вами гордимся, уверены, что не посрамите морскую гвардию высшем морском училище, пойдете по стопам старшего поколения славных гвардейцев, героев Советского Союза капитана второго ранга Рындина, капитана третьего ранга Гурамишвили, капитан-лейтенанта Русьева. Выходите отличными, опытными командирами на широкие морские просторы». А что, Кит, напишем ответ?

Мы сходили на телеграф и отправили телеграмму гвардейцам. Потом зашли в театр, достали хорошие места на балконе.

Стемнело. Среди черных пихт зажглись белые огни. В густой толпе на проспекте было трудно отыскать Антонину и Стэлла. Фрол начал нервничать и поглядывать на часы. Оставалось всего пять минут до начала.

— Ух, мы боялись, что опоздаем! — воскликнула, запыхавшись, Стэлла. — Бежим скорее!

Уже звенел третий звонок.

В антракте все обращали внимание на ее длинные, до пояса, косы и темнокрасное платье.

— Не-ет! — рассуждала Стэлла. — Смотрю «Горе от ума» в третий раз и всегда возмущаюсь. Ну, как она могла предпочесть Чацкому это ничтожество? Впрочем,

она сама была не человек, избалованная московская барышня!

— А я бы сказал, что не только московские барышни предпочитают людям ничтожества, — язвительно заметил Фрол.

— Что-о?

— Ничего.

— Нет, повтори, что ты сказал, Фрол?

Нам едва удалось угомонить Стэллу.

* * *

На другое утро Фрол разбудил меня чуть свет.

— Вставай скорее, Кит, опоздаем!

— Куда?

— На поезд.

— На какой поезд? Наш идет поздно вечером.

— Ты забыл, что мы собирались в Гори?

Во время войны мы были в Гори всем классом. Тогда там формировались полки. Возле домика Сталина солдаты-гвардейцы, уходившие в бой, клялись у полкового знамени, что будут драться отважно, умело и вернуться с победой.

Я не забыл этой клятвы. Когда мне, бывало, казалось, что я не одолею задания, и я готов был сказать «не могу», я вспоминал, что солдаты никогда бы не сказали: «не могу дойти до Берлина». Они поклялись: «Дойдем и вернемся с победой». И я добивался успеха.

Мы с Фролом решили, окончив Нахимовское, обязательно съездить в Гори. И Фрол теперь торопил:

— Одевайся же, опоздаем!

— А деньги?

— Вот они. Я отложил.

Получив увольнительные, мы пошли на вокзал.

«Закавказская стрела» — короткий электропоезд, ходивший вдвое быстрее других поездов, понесся среди садов и полей.

В наш последний приезд в Гори повсюду обучались солдаты. В небе висели аэростаты воздушного заграждения. Грузовики везли снаряжение и боевые припасы.

Теперь мы шли по тихой, обсаженной тополями и чинарами улице. Среди нее весело чирикали воробьи, собиравшие на дороге крошки. Усатый гориец погонял

ослика, навьюченного мешками, мальчишки горячо об-суждали что-то возле белых ворот.

И вот мы снова у домика, который, увидев раз, за-помнишь на всю жизнь. Кирпичный, со скошенной кры-шей, прикрытый от ветров и дождей мраморным фут-ляром, он стоит среди старых домов.

Хранитель домика отпирал калитку.

— Вы первые посетители, — сказал он, улыбнув-шись. — Пройдите, прошу вас. Позвать экскурсовода?

— Нет, благодарим вас, не надо, — ответил Фрол. — Мы у вас не впервые. Но мы уезжаем и зашли еще раз перед отъездом.

— Так многие поступают. Вчера приходили сту-денты, уезжавшие на Камчатку. На Камчатку, — повто-рил старик, — путь не близкий. Пройдите, прошу вас.

Мы вошли в светлую комнату с деревянной тахой, с начищенной медной лампой на комод и сундуком под домотканым покрывалом. Рядом с портретом чер-новолосого, черноглазого мальчика мы увидели аттестат в рамке. «Хотел бы я иметь такие отметки», — позави-довал Фрол в наш первый приезд. Ученикам духовного училища выдавали стипендию — три рубля в месяц. Но для получения стипендии нужно было иметь сплошные пятерки, а учителя старались «срезать» уче-нников.

Для мальчика, чей портрет был перед нами, никогда не существовало слов «не могу»: и когда он учился здесь, в Гори; и после, когда он, Сталин, создавал большевистскую организацию в Закавказье; и тогда, когда он бежал из ссылки и жандармы преследовали его по пятам; и потом, когда гитлеровцы были под са-мой Москвой и он все же привел нас к победе.

Мы молчали: не знаю, о чем думал Фрол, но я дал себе слово, что и в высшем училище, как бы трудно мне ни пришлось, я никогда не скажу: «Этого я одо-леть не могу».

Мы вышли на улицу; я стал зарисовывать домик. Нас обступили мальчишки; они защелкали языками и нашли, что все очень похоже.

Подошел уличный фотограф и предложил сняться. Через пять минут мы получили две мокрые карточки, на которых не понять было, где Живцов и где Рыдин.

— Сходим в крепость, — предложил я.

В узкой улочке домики с двускатными крышами стояли один над другим, ступенями. Прямо с улицы в верхний этаж вели деревянные лестницы. По вершине утеса тянулась разрушенная стена с круглыми башнями.

Это была Горис-Цихе, горийская крепость.

Камни сыпались из-под ног и скакали вниз, по откосу. В пролом в стене мы увидели поля и сады Карталинии. Коричневая Кура сливалась с серебристой Лиакхой, и вода была полосатой. Вдали белел Кавказский хребет.

В училище есть картина — черноволосый мальчик бежит, окруженный товарищами, с книжкой за поясом.

Он любил эту старую крепость.

Вокруг крепости еще много старых домов, но на главной улице белеют новые школы, театр, большие, с широкими витринами, магазины. Стоят красивые фонари. Нас обгоняли скользившие по асфальту машины.

— А ведь когда мы приедем сюда еще раз, перед тем, как поедем на флот, — сказал Фрол, — пожалуй, мы совсем не узнаем Гори...

— Ничего в этом нет удивительного, — согласился я с другом.

Через час мы сидели в вагоне, возвращаясь в Тбилиси.

* * *

Вечером наши друзья поджидали нас возле синего поезда. Мы отнесли в вагон вещи и вышли.

Гоги взял под руку Фрола и повел его по перрону. Мираб был искренне огорчен, что мы уезжаем.

В такие минуты, когда расстаешься, всегда хочется сказать очень много, но все вылетает из головы и говоришь о таких пустяках, что потом самому вспомнить стыдно. Так случилось и в этот вечер. Мы перебрасывались короткими фразами, вроде того, что нам будет ехать удобно, и до отхода поезда остается десять минут, и мама обрадуется, когда я приеду.

Но вот радио объявило, что «курьерский Тбилиси —

Москва отправляется через пять минут». Гоги и Фрол поспешили вернуться.

— Ну, давайте прощаться,— сказал Мираб.— Повторять вам не надо, что мой дом — ваш дом?

— Передай папе, — протянула конверт Антонина.

— Чуть не позабыл! — спохватился Гоги.— Вот вам на дорогу.

Он, как фокусник Кио, вдруг выловил из темноты большущий пакет и протянул Фролу.

— Зачем?

— Как зачем? Проголодаетесь, будете кушать. В вагоне-ресторане все-таки дорого.

— Отъезжающие, занимайте места,— предупредил проводник. Я расцеловался с Гоги и с дядей Мирабом. Антонина крепко сжала мне руку: «Прощай, Никита. Или нет, до свидания!»

— А ты что же, Стэлла? — спросил дочку сапожник. — Поцелуй мальчиков.

— Я уже больше не маленькая.

Стэлла чинно протянула руку мне, потом Фролу.

— Приезжайте, мы будем вас ждать.

Электровоз загудел баритоном. И тут Стэлла не выдержала: стремительно кинулась к нам, расцеловала меня и Фрола.

Фрол так оторопел, что чуть не отстал от поезда: я втащил его на подножку.

— Горячая девочка,— сказал проводник.— Сестра или невеста?

Поезд нырнул в темноту...

Глава вторая

ДОМА

Койку покачивало, казалось, что «Адмирал Нахимов» в походе и за иллюминатором плещет волна. Не хотелось подыматься, и я радовался, что еще нет подъема и не торопит вставать беспокойный горн. Перевернувшись на другой бок, я услышал разговор в коридоре:

— Мой говорит: «Не отпустишь, батя, в училище, сам сбегу», — рассказывал наш сосед по купе — пожилой, с усами, «папаша». — Побывал в Николаеве у дядьки-моряка, тот сбил его с толку.

— А почему же сбил с толку?— возмущенно возражал Фрол.— Я не говорю, что другие профессии плохи, все профессии хороши, но я лично флотскую службу на другую не променяю. Вы подумайте только! Еще в училище пойдем в плаванья, а выйдем на флот — повидаем столько, сколько другой за всю жизнь не увидит. Может, новые земли откроем...

— Ну, земли-то, поди, все открыты...

— Бывали в истории всякие случаи, — значительно сказал Фрол. — Вот в старину утверждали, что по Амуру плавать нельзя и Сахалин — полуостров; а молодой русский офицер Невельской, может, слышали, отправился в плавание и доказал, что Сахалин — остров и что Амур — судоходен. Теперь по Амуру ходит Краснознаменная флотилия... А мало новых земель открыли русские моряки?

Фрол с увлечением перечислил острова в Тихом океане: адмирала Чичагова, Крузенштерна, Барклая-де-Толли, Ермолова, Кутузова, Раевского, Грейга, Лазарева...

— А шестую часть света кто открыл, Антарктиду? Тоже наши, Лазарев с Беллинсгаузенем. Иностранцы думали, что там плавать нельзя, а мы, русские, плавали и открыли...

— Кит, вставай, море проспишь! — позвал он.

Я открыл глаза.

Фрол стоял у окна в коридоре, в новой форменке. Складка на брюках была отглажена, недаром он всю ночь их держал под матрацем. За окном искрилось безбрежное, покрытое золотой чешуей море. На него было глазам больно смотреть.

Когда я вернулся из умывальной, на столике стояли стаканы с чаем в мельхиоровых подстаканниках. Фрол повествовал нашему спутнику об адмирале Спиридове, победителе в Чесменской битве. Уничтожив флот турок, в шесть раз превосходивший нашу эскадру, адмирал донес: «неприятельский флот атаквали, разбили, разгромили, сожгли, на небо пустили, в пепел обратили».

— Коротко и ясно, не правда ли, чисто по-флотски? — спрашивал собеседника Фрол.

Чай остыл, потому что о морских боях Фрол мог рассказывать целые сутки. «Папаша», оказавшийся на-

чальником крупного строительства, внимательно слушал. Наконец мы позавтракали, уничтожив сыр, курицу и плоские лепешки, которыми нас снабдил Гоги.

Поезд земедлил ход и остановился, ожидая встречного на разъезде; мы вышли из вагона. Море сливалось на горизонте с небом; медленно плыли легкие облачка. Неподалеку от берега шли строем кильватера эскадренные миноносцы.

— Я ведь тут воевал, — вспомнил Фрол. — Идешь на катере — нос в небеса, корма в воде, в ушах шумит, волной заливаает. На траверзе вон того мыса мой катер раз попал в «вилку»... (мне он рассказывал, что попал в «вилку» под Ялтой).

— А что это за «вилка»? — заинтересовался «папаша».

— Пренеприятная штука. Снаряды падают со всех сторон. Вот и выкручивайся.

— Понятно. А сколько вам было лет?

— Тринадцать, четырнадцатый.

— Ого! Значит вы, можно сказать, моряк обстрелянный и бывалый!

— Шесть лет ношу флотскую форму, — сообщил с гордостью Фрол.

— Отец — тоже моряк?

— Моряк... — Фрол вздохнул. — Он погиб на тральщике.

«Папаша» сочувственно покачал головой. Фрол набрал горсть камешков и принялся их кидать по одному в море.

Через некоторое время сосед спросил: — Экзамены сдавать едете?

— Никак нет. Окончившие Нахимовское училище принимаются без экзаменов.

— Значит, получите кортики?

— Ну, нет, — чуть-чуть улыбнулся Фрол морской необразованности «папаши». — Право ношения кортика присвоено лишь офицерам; в училище выдают палаши.

— А что, палаш — тоже великолепная вещь! — в свою очередь улыбнулся «папаша» с явным превосходством своих сорока пяти или пятидесяти лет над нашими восемнадцатью.

— Дело не в палаше, — сказал Фрол, хотя я великолепно знал, как он мечтает получить долгожданный палаш. — Пройдут четыре, пять лет, и я попаду вон туда, на мостик, — он показал на эсминцы.

Паровоз коротким гудком позвал нас в вагон.

На другой день наш спутник заявил, что, приехав домой, он даст сыну согласие на поступление в училище.

— А экзамены трудные? — спросил он озабоченно.

— Говорят, что нелегкие.

— Ну, мой выдержит! Митяй у меня подкован.

Начальник строительства сошел в Курске.

* * *

Я люблю Ленинград; закрыв глаза, могу описать каждый дом на Кировском и на Невском. Приехав, я сразу заметил, что дом с балконами, стоявший перед нашими окнами, исчез; мне показалось, я потерял друга. Я здоровался с ним, уходя в школу, а по вечерам видел его приветливые огни. Теперь на месте дома был сквер.

Во время блокады мою школу разрушило бомбами; ее снова отстроили. На стенах исчезли невеселые надписи: «бомбоубежище» или «эта сторона улицы во время артобстрела наиболее опасна».

Дома мало что изменилось: кукушка попрежнему кукует, высываясь из черного домика-часов; знакомые фотографии катеров над пианино в столовой; модель фрегата, как и раньше, стоит над диваном. Лишь мебель новая, — старую мы сожгли во время блокады.

Здесь я родился, отсюда я ходил в школу; сюда отец приезжал то летом, в белом кителе, загорелый, пахнущий морем, то зимой, с заиндевевшими ресницами и бровями, в промерзшей шинели и в запорошенной снегом ушанке. Он появлялся неожиданно, в ночные часы, и вытаскивал меня из постели. На вопросы товарищей: «Где отец?» я привык отвечать:

— «Он в море».

После финской кампании мы отпраздновали его возвращение и я решил: буду, как он, моряком! И он «приучал» меня к морю: часто брал с собою в Кронштадт, на торпедные катера, в гости.

Но началась война. В глухую блокадную ночь отец

пришел попроситься с нами: он уезжал на Черное море. Через несколько месяцев эвакуировались через Ладогу и мы с мамой.

Теперь кажется, что все это — такие далекие времена!

Фрол поселился у нас; его бывший командир и приемный отец, капитан-лейтенант Русьев живет в общежитии Морской академии. По утрам, выпив чай, Фрол тащит меня на улицу. Ноги к вечеру начинают гудеть; мы бываем и у Медного Всадника, и в Петропавловской крепости, и в Военно-морском музее, и под аркой Главного штаба.

В музее Обороны моего города мы целый день бродили по бесчисленным залам. В зале героев, погибших за Ленинград, я показал Фролу портрет Анны, матери Антонины. Фашисты повесили ее в Петродворце.

Фрол, глядя на трамвайный вагон, разбитый снарядом, на весы, к медной чашке которых прилип «блокадный паек» — ломтик клейкого суррогата, на дневник одной девочки, записывавшей каракульками: «сегодня папа умер», «сегодня сестренка умерла», «сегодня умерла мама», — мрачнел все больше и больше. Он оживился только тогда, когда увидел в зале под стеклянным куполом настоящий торпедный катер.

Это был зал с экспонатами Краснознаменной Балтики, и мы там надолго застряли, пока звонок не напомнил нам, что музей закрывается.

На Кировский возвращались пешком. За Невой сидели у памятника «Стережущему»; бронзовые матросы открывали кингстоны; безудержно вливалась вода. Моряки потопили корабль, но врагу не отдали.

— Вот сижу я и думаю, — размышлял Фрол, — хватило бы нас на такое?

«Тебя бы хватило, — подумал я. — Когда всех на катере перебило и ранило командира, ты привел катер в базу...»

* * *

— Нагулялись? — спрашивает нас мама; неугомонная, быстрая, легкая, с синими живыми глазами и пышными золотистыми волосами, она кажется совсем юной. Никто не верит, что ей 37 лет и нахимовец, шагающий с нею рядом по улице, — ее сын.

Отец сидит за столом под большою настольной лампой, сосредоточенный, сдвинув брови. После войны он опять располнел. Седина, посеребрившая густые черные волосы, нисколько его не старит: лицо — без единой морщинки.

Мама поглядывает на отца с ласковою усмешкою: воевал, воевал, командовал и снова превратился в ученика, который побаивается требовательного профессора, боится неудачно ответить и получить низкую оценку.

Приходят Виталий Дмитриевич Русьев и Серго, отец Антонины; друзья склоняются над учебной картой. Потом спорят о профессорах, кораблевождении и предстоящих зачетах.

— Ну, академики, кончайте работать, — говорит мама.

Фрол помогает ей постлатать скатерть. Все, что он делает, он делает не торопясь, обстоятельно. Русьев одобрительно смотрит на приемного сына, подкручивая светлые усики. Он относится к Фролу не как отец к сыну, а как старший товарищ к младшему.

Русьев спрашивает:

— Ну, где вы, орлы, побывали?

Мы рассказываем.

На столе появляются чайник, сухарница, масленка. Чай мы все пьем «флотский» — черный и сладкий. Сначала мама ахала, говоря, что крепкий чай портит сердце, а после — привыкла.

— Давайте составим план действий на воскресенье, — предлагает отец.

— Я завтра, к сожалению, занят, — сообщает Серго.

— Очень жаль. Ты, Виталий?

— Свободен.

— А вы, молодежь? Надеюсь, тоже свободны? Что предлагаете?

— «Пиковую даму», — вносит предложение Фрол.

— Отлично, — одобряет отец. — Не возражаешь, Виталий? Так и запишем. Никита?

— Эрмитаж. Фрол никогда не бывал в Эрмитаже.

— Успеем и в Эрмитаж, — соглашается отец, отхлебывая чай из стакана. — Нет возражений?

Мама выходит в переднюю на звонок и возвращается очень смущенная.

— Это Мальвина Петровна; она не хочет войти, как я ее ни упрощаю. Никита, тебе надо выйти и извиниться.

— Ни за что!

— Никита! — укоризненно говорит мама, плотно запирая дверь в переднюю.

— Я нахожу, что Кит прав, — вступает за меня отец, — и ему не в чем извиняться перед Мальвиной Петровной.

Мальвина Петровна — сослуживица мамы и часто заходит к нам. Однажды она хвалила музыку Шостаковича. Я сказал, что Шостакович мне непонятен. «Ах, как можно не понимать Шостаковича?» — вскинулась Мальвина Петровна. — «Я во время блокады ползком добиралась до филармонии послушать его седьмую симфонию». Через несколько дней Мальвина Петровна узнала, что Шостакович крепко раскритикован, и заявила: «Вы знаете, я терпеть его не могу и всегда удивлялась, как находятся люди, которые такую тарбарщину слушают». Я не выдержал: «А как же вы говорили, что в блокаду ползком добирались до филармонии?»

Она сказала «Невежа!», а я ей: «Я вас не уважаю».

Мальвина Петровна ушла, мама расстроилась, а отец сказал: «Терпеть ее не могу».

Мама не унималась:

— Надо себя, Никиток, сдерживать.

— Почему? — спросил я. — Разве правду говорить в глаза плохо? Нас ловчить в Нахимовском не учили.

Отец повторяет:

— Кит ни в чем не виновен. Ее, эту Мальвину Петровну, высечь надо.

— Юрий! — возмущается мама.

— Ты забываешь, что Кит не ребенок, а взрослый, — возражает отец. — Я учу его презирать людей, сменяющих свои убеждения, словно в бане белье.

Мама, смущенная, выходит в переднюю и, когда возвращается, отец предлагает:

— Давайте-ка, почитаем.

Мама называет это «субботними литературными чтениями».

— Читай, Кит, как можно больше! — советует мне отец. — Знаешь, кто научил меня любить беллетристику?

Сергей Миронович Киров. Он пришел к нам в училище, беседовал по душам. Поинтересовался, что мы читаем. Один из курсантов сказал: «мы так много занимаемся, что нам едва хватает времени пробежать газеты». Сергей Миронович стал горячо доказывать, что кто бы ты ни был — моряк, инженер или партийный работник, без художественной литературы твой внутренний мир ограничен и узок. С той поры я стал много читать, и у меня появились любимые и нелюбимые книги. Нелюбимые — это те, которые прочтешь и забудешь (я знаю, они стоят у отца во втором ряду). А любимые — это книги-друзья, которые знаешь почти наизусть и все же хочется их перечитывать (они стоят на почетном месте). Война разлучила меня с друзьями, читать приходилось немного, и книги доставать было трудно. Но теперь я наверстываю. Давайте-ка почитаем, как экзаменовали в военных учебных заведениях в старое время...

Я достаю «50 лет в строю» генерала Игнатьева и читаю вслух:

«Экзамен начался... Каждый вызванный, подойдя к учительскому столу, долго рылся в билетах, прежде чем назвать вытянутый номер. Весь класс настороженно следил за его руками, так как быстрым движением пальцев он указывал номер того билета, который он успевал подсмотреть и отложить в условленное место, среди других билетов. После этого в классе начиналась невидимая для постороннего глаза работа. Экзаменуемый время от времени оборачивался к нам, и в проходе между партами для него выставлялись последовательно, одна за другой, грифельные доски с частью решения его теоремы или задачи. Если это казалось недостаточным, то по полу катилась к доске записка-шпаргалка, которую вызванный, уронив невзначай мел, подбирал и развертывал с необычайной ловкостью и быстротой».

— У нас такого безобразия не было, — возмущается Фрол. — Мы экзамены честно сдавали. Правда, вначале и мы чуть-чуть жулили, — признается он, — но после отвыкли.

«Для меня, новичка, — продолжаю я читать, — вся эта налаженная годами система подсказывания представлялась опасной игрой, но я быстро усвоил, что это

входило в обязанность хорошего товарища, и меньше чем через год я уже видел спортивный интерес в том, чтобы на письменных работах, на глазах сновавшего между партами Ивана Ивановича, решать не только свою задачу, но и две-три чужих...»

Фрол опять не выдерживает:

— Неправильное понятие о товариществе. Ты помоги по-комсомольски...

«Помогать по-комсомольски» — это значит до экзамена разъяснить товарищу, в чем он ошибается, и помочь подготовиться.

Нам быт старого военного корпуса кажется нелепым и диким.

— Да,— говорит отец, когда я заканчиваю главу,— если бы мы так учились, мы бы проиграли войну. Я учился старательно, и то мне все время казалось: чего-то мне не хватает. Походил на катерах в финскую кампанию — стал умнее, учение. На Черном море повоевал — прошел целый университет. Каждая операция открывала новые горизонты. До чего своим умом не доходил, советовался с товарищами. «Один ум — хорошо, а два — лучше», — говорит наш народ. И вот в Академии меня обучают седые, прославленные в боях адмиралы, учусь я, словно мне не сорок, а всего восемнадцать, и все же чувствую, что еще мало знаю. Жизнь шагает вперед; чтобы она тебя не опередила и не оставила далеко в хвосте,— учись, старайся взять все от науки. Боевой славой не проживешь, будь ты трижды Герой Советского Союза. Ты помнишь, Никита, что сказал адмирал в Севастополе, поздравляя нас с высокой наградой?

— Помню: «бесстрашие, мужество, дерзость, плюс мастерство и трезвый смелый расчет — в этом залог победы».

— Да, бесстрашным, мужественным и дерзким может быть и необразованный человек, но сочетать эти качества с мастерством, трезвым и смелым расчетом может только тот, кто долго и упорно учился. Вы, ребята, будете плавать на новых кораблях. Чтобы управлять ими, нужны разносторонние знания, и не только военные. Перед вами — большие плавания, открытия и изобретения, свидетелями, а может быть, и участниками которых вы будете. Вот, — ударяет отец ладонью по

толстой тетради в зеленом коленкоровом переплете, — мои записи. Тут все: и сомнения, и мечты, и тот путь, который прошел я наряду с сотнями таких же, как я, моряков. Эти записи недавно читал... да ведь вы его знаете! Ваш бывший начальник Нахимовского.

— Наш адмирал?

— Он вышел в отставку, пишет научные труды. Недавно был у нас в Академии.

— Что, если мы его навестим?

— Превосходно задумано.

— А он помнит нас?

— Помнит, — убежденно говорит Фрол. — Не такой человек, чтоб забыть. Юрий Никитич, дайте нам его адрес.

Отец достает записную книжку.

Мы вспоминаем, как адмирал воспитывал нас, как он о нас заботился. Мы доложим ему, что окончили Нахимовское с медалью.

* * *

Во время блокады театр был разрушен. Теперь трудно поверить, что он стоял с выбитыми окнами и с провалившейся крышей. Он такой же, как прежде, голубой с золотом, праздничный.

И зрители, которые пришли на дневной спектакль, веселые, нарядные.

Фрол все надеется, что Герман вытащит не даму, а туза. Недаром он утверждал, что видел еще до войны в одном из кино «Чапаева», где Петька погиб, а Чапаев — выплыл. Но Герман, услышав, что его дама бита, сходит с ума — так всегда кончается «Пиковая». Мы идем в Эрмитаж. В залах Рубенса и Ван-Дейка отец и Русьев оживленно беседуют, переходя от одного полотна к другому. Мы узнаем, что Рубенс был не только художником; он с увлечением занимался филологией и археологией, изучал античную литературу, вел ученую переписку, был дипломатом.

— А ведь прав Николай Николаевич насчет расширения горизонта, — тихонько говорит Фрол.

— Не горизонта, а кругозора.

— Ну, это все одно. Ты раньше знал, в каком веке жил Рубенс?

От «Охоты на львов», «Пира у Симона фарисея»,

«Сусанны и старцев» переходим в зал Рембрандта, где глаза стариков и старух смотрят с темных портретов на нас, как живые. Отец говорит: «Великий художник умер в нищете; таков волчий закон капиталистического общества».

— Сюда придешь двадцать раз, и то всего не осмотришь, — решает Фрол.

— Вы знаете, — говорит отец, когда мы спускаемся по широкой, величественной лестнице к выходу, — сюда попадали снаряды, но все сокровища были вовремя вывезены.

— А черноморцы, — вспоминает Фрол, — под бомбежкой погрузили на корабли знаменитую панораму. Забыл, кто ее писал...

— Рубó, — говорит отец.

— Вот, вот, Рубó! И ее увезли на Кавказ. Теперь, говорят, ее восстанавливают.

* * *

На другой день возле решетки Летнего сада неожиданно встречаю давнишнего знакомого. Ну разумеется, этот круглолицый, сероглазый нахимовец с темным пушком над губой и есть тот самый Бобка Алехин, с которым мы сидели на одной парте в школе!

— Никита! Тоже нахимовец? — спрашивает Борис, кинув взгляд на мою ленточку и погончики.

— Да, я окончил Тбилисское.

— А я — Ленинградское. Видишь голубое здание с башнями? А рядом — «Аврора». Идем ко мне. Я — один, батя — в Лиенае. Ты в какое училище поступаешь?

Я называю.

— Поздравляю, опять будем вместе!

Квартира у Бориса — просторная, в окна виден шпиль крепости. Борис достает из буфета холодную рыбу, мясо, картофель, початую бутылку вина.

— Садись, Кит.

— Я завтракал.

— Садись, говорю.

Он пододвигает хлеб, наливает вина.

— С «гражданскими» смешиваться не будем.

Я удивленно смотрю на Бориса. Но он не замечает моего недоумения.

— Помни, Кит, вместе держаться! Я слышал, для нахимовцев создадут условия. Да оно и следует, — утверждает он убежденно. — Окончить Нахимовское — это что-нибудь да значит! С медалью окончил?

— С медалью.

— А я — нет, — вздыхает Борис. — Пороху нехватило. Я ведь, ты знаешь, неусидчивый. С налету беру, а зубрить не умею.

В соседней комнате над диваном веером развешаны портреты киноартисток. Борис достает из ящика стола пачку фотографий.

— Держи, любуйся.

Это все — девушки.

— Читай, я не возражаю, — разрешает Борис.

«Дорогому Бобу от Клавы». «Не вспоминай, как взглянешь, а взгляни, когда вспомнишь». «Борис, не забывай свою Свету».

— Звонят, — говорит, прислушиваясь, Борис. — Сиди, сиди. Я сейчас.

Широко шагая, он уходит в переднюю и возвращается в сопровождении худошавого, стройного, с энергичным лицом, нахимовца; глаза у него умные и внимательные, нос с горбинкой. Нахимовец, сняв бескозырку, здоровается.

— Познакомься, Кит. Мой однокашник. Человек сильной воли. — Вот он — с медалью окончил. Да еще с какой — с золотой!

— Игнат Булатов, — раздельно и отчетливо представляется нахимовец.

Он энергично пожимает мне руку.

— Из Тбилисского?

— Да.

— В какое училище поступаешь?

— В наше, — предупреждает Борис мой ответ.

— Кит — от Никиты?

— Совершенно верно.

— А ты все еще не выбросил эту труху в мусорный ящик? — обращается Булатов к Борису, широким жестом показывая на веер киноактрис. — Уже успел показать коллекцию? Ты знаешь, Никита? Едва успеет познакомиться с девицей, выклянчивает у нее фотокарточку, да еще с надписью. И потом хвастается своими победами.

— А ты не поинтересовался спросить, почему Игнат — человек сильной воли? — спрашивает Борис, которому такой разговор неприятен. — Игнат заикался, не мог толком выговорить ни слова; когда он решил поступить в Нахимовское, врачи согласились лечить его только в том случае, если он сам сильно захочет вылечиться. И в Нахимовском никто не заметил, что он был раньше заикой. А когда начальник узнал, то сказал: «Для моряка великолепное качество — быть человеком сильной воли». Так мы и зовем его с той поры: «человек сильной воли».

— Чего нельзя сказать о тебе, — невозмутимо отвечает Булатов, достав из кармана трубку и набивая ее табаком.

— Легкомыслен и болтлив — два качества, неприемлемых для моряка. Встретит девушку, в первый же вечер превозносит ее до небес. Она и красивее всех, и умнее всех, и душевнее. А он — потомок чуть ли не всех русских флотоводцев.

— Ну, вот и неправда, — смущается Борис.

— Сам слышал, дорогой мой, сам слышал, — разжигая в трубке табак, утверждает Игнат. — Ты, повидимому, твердо вбил себе в голову, что с девушками можно говорить лишь о пустяках, можно врать им с три короба, и они созданы только для того, чтобы развлекать таких вот, как ты, красавцев. Глубоко ошибаешься, — продолжает Булатов, выпуская к потолку колечко синего дыма, — есть много девушек в твоём возрасте, которые куда умнее тебя, и еще много таких, которым ты со своей пустой болтовней покажешься недалеким и скучным.

— Ну, вот, опять зафилософствовал, — бурчит Борис, наливая в стакан остатки вина. — Выпей-ка лучше.

— Не хочу, — отодвигает стакан Булатов. — Очень легко показаться умным, — он берет фотографии, — перед такую вот глупенькой Клавой, а ты бы попробовал рассыпать свой бисер перед Лизой Малининой, мигом сел бы в калошу. Библиотека какая у отца, — показывает он на книжные полки, — а прочел ли ты хоть сотую долю этих книг?

Борис бормочет что-то совсем нечленораздельное.

— Ну, мне пора, — взглянув на часы, говорит Булатов.

Он берет бескозырку и надевает ее, слегка сдвинув на ухо.

— Ты куда?

— В Публичную библиотеку, а после в Военно-морской музей, заниматься. До свидания, Никита; надеюсь, будем друзьями.

Спрятав трубку в карман, он пожимает мне руку.

— Я тоже пойду, — говорю я.

— Вот, что выдумали, — бурчит недовольно Борис. — Лучше в кино пойдем.

Когда мы выходим на набережную, Игнат спрашивает:

— Ты давно с Борисом знаком?

— На одной парте в школе сидели.

— Хороший парень, только ветер в голове дует. У меня еще есть товарищ, Крамской — тот не такой. Он сейчас у своего отца, в порту, на Балтике. Ты знаешь, каков этот парень? Шел на «Риге» к отцу, начался пожар. Ростислав спасал женщин и ребятешек и сошел с теплохода чуть не последним. Я уверен, ты с ним подружишься.

— Игнат говорит четко, не запинаясь, и я начинаю подозревать, что Борис надо мной подшутил.

— Скажи, Игнат, Борис правду говорил насчет того, что ты здорово заикался?

— Да, заикался я сильно.

— И ты потому и вылечился, что сам этого добивался?

— А что в этом удивительного? — в свою очередь спрашивает Игнат. — Николай Островский слепой, еле владея рукой, писал книги; Маресьев научился танцевать на протезах и водил самолет; актер Остужев ничего не слышит, а играет Отелло. Певцов заикался больше меня, а стал народным артистом. Захочешь сильно — всего добьешься...

— А у тебя это от рождения было?

— Нет. Отец приехал в блокаду с кронштадтских фортов, привез хлеба; начался обстрел. И на моих глазах их убило: отца и маму.

Булатов молча шагает дальше, через Марсово поле, мимо гранитных розовых стен, под которыми похоронены бойцы Революции.

Мы с Фролом идем к адмиралу. Как он нас встретит? Узнает ли?

Между Средним и Малым проспектами находим старинный дом и поднимаемся по широкой лестнице.

К высокой дубовой двери прибита медная дощечка со знакомой фамилией. Мы не сразу решаемся нажать кнопку звонка. Вот так же, бывало, я не решался постучать в дверь кабинета, когда меня вызывали к адмиралу в Нахимовском.

— Ну, что же ты, Фрол? Звони.

Фрол звонит.

Девушка с русой косой, обвитой вокруг головы, оглядывает нас веселыми голубыми глазами и приветливо спрашивает:

— Вы к отцу?

— Мы хотели бы видеть товарища адмирала. Можно?

— Отчего же нельзя? Он дома. Входите, пожалуйста.

В передней висят шинели и плащи с адмиральскими погонами, пересеченными золотым галуном — знаком отставки.

— Да вы не из Тбилиси ли? — догадывается девушка.

— Да, из Тбилиси.

— Я тоже жила там во время войны. Чудеснейший город. Вы ведь не ленинградцы?

— Ленинградец, — отвечаю я гордо.

— Папа! — кричит она в раскрытую дверь. — К тебе нахимовцы из Тбилиси.

Мы слышим знакомый голос:

— Зови, зови сюда, Люда.

— Люда откидывает портьеру, мы входим в кабинет и застываем в положении «смирно».

Адмирал — худощавый, с седыми, тщательно расчесанными на пробор волосами — идет к нам навстречу.

— Здравствуйте! Очень рад вас видеть. Рындин, если не ошибаюсь?

Узнал!

— Ну, а вы — Живцов, разумеется! — узнает он Фрола. — Какими стали взрослыми моряками! С дочкой

познакомились? Она у меня актриса. Ну, садитесь, садитесь.

Адмирал усаживает нас на диван, садится между нами.

— Как окончили?

Мы отвечаем.

— Молодцы, — хвалит он нас. — Я всегда в вас обоих верил. А вы не забыли, Живцов, вашу первую диктовку? Ошибок вы тогда сделали больше, чем написали правильно слов. Вы объявили преподавательнице, что вы упрямый, а она ответила, что упрямство — чепуха, а вот настойчивость — великолепная вещь. Значит, настойчивость победила, не так ли?

Адмирал помнит все до сих пор!

— А как Девяткин, Забегалов, Поприкашвили, Авдеенко?

Мы стараемся рассказать о товарищах как можно подробнее. Он с довольным видом покачивает головой; о каждом у него составлено мнение, и он рад, что не ошибался.

— А помните наш концерт? Ты знаешь, Люда, — обращается адмирал к дочери, — Рындин написал декорации, а Живцов руководил хором.

Он вспоминает наш рукописный журнал, спрашивает о плаваниях на «Нахимове». Мы, осмелев, наперебой рассказываем, где побывали, что видели.

— Вы ведь катерники, — вспоминает вдруг адмирал, — а я пишу историю торпедных катеров.

Обняв нас за плечи, он подводит к столу и показывает крохотный паровой катер с шестом, к которому привязана примитивная мина.

— Изобретение Степана Осиповича Макарова...

Адмирал легонько поворачивает нас, и мы видим на противоположной стене большой портрет, во весь рост, вице-адмирала, с седой раздвоенной бородой.

— Смелый, дерзкий, неугомонный, но расчетливый человек. Если бы он не погиб в расцвете сил на «Петропавловске», кто знает, какими новыми изобретениями обогатилась бы наша Родина, какие бы новые открытия нас ожидали... Его последователи, — продолжает адмирал, — такие же смелые, дерзкие, расчетливые и неугомонные — это, Рындин, ваш отец, Гурамишвили, Русьев

и многие другие. Подобно Макарову, они пытливо, шаг за шагом идут вперед.

В училище адмирал был строгим начальником, хотя и заботился о нас, как отец. Теперь он — радушный хозяин и, видимо, искренне рад, что мы его не забыли.

Он вышел в отставку, но не потерял связи с флотом: пишет книгу обо всем, что видел, а видел и пережил он немало — ходил вокруг света, был в Арктике, участвовал в нескольких войнах.

В его библиотеке — тысячи книг в больших шкафах.

— У меня можно найти почти все, что написано в мире о мореплавании, — с гордостью говорит наш хозяин.

Но мы видим и множество других книг: сочинения Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина; произведения Шекспира, Станюковича, Вольтера, Толстого, Островского; новинки советской литературы. Книги на разных языках стоят вперемежку — как видно, адмирал с одинаковой легкостью владеет многими языками.

Завидовать нехорошо, но я завидую, да, я завидую его учености, хотя и понимаю отлично, что у меня впереди достаточно лет, чтобы стать таким же ученым, как он; мне всего восемнадцать, а адмиралу — шестьдесят девять!

И адмирал, словно угадав мои мысли, улыбается:

— Никогда не надо терять попусту времени, Рындин, и откладывать на завтра или на послезавтра то, что можно сделать сегодня. Часто мне приходило в вашем возрасте в голову: э, не беда, начну-ка я изучать язык не сегодня, а через недельку; много времени впереди! Но я тут же обвинял себя в разгильдяйстве, несобранности и усаживался за учебник. И теперь я собою доволен; да, я не потерял ни одного дня. Лишь сейчас я понимаю, как дорог каждый день, когда их немного остается на твою долю...

Он говорит это с веселым лицом, удовлетворенный тем, что жизнь прожил недаром.

Еще бы! Стоит взглянуть на стены его большого, спокойного кабинета, чем-то напоминающего каюту на корабле. Под картиной, где изображен корвет «Аскольд» в море — фотографии героев и прославленных адмиралов с надписями: «Дорогому учителю», «Руководителю», «Воспитавшему меня адмиралу»...

В шестьдесят девять лет он так же молод и бодр, как мы — в свои восемнадцать!

Мы просим адмирала прочесть нам что-либо из его будущей книги.

Адмирал не читает — рассказывает о шторме в Бискайском заливе, о Суэцком канале, портах, обо всем, что он видел своими глазами.

— Вы, внуки наши, увидите куда больше нас, — говорит в заключение он. — Жизнь так шагает вперед!

На прощанье много хочется сказать; сказать, что благодаря ему мы полюбили море и флотскую службу... а язык, как назло, бормочет несвязные слова...

Где-то бьют часы: семь. Мы отняли у адмирала четыре драгоценных часа!

* * *

Дома — полно гостей: Виталий Дмитриевич Русьев, Серго, еще два офицера, слушатели Морской академии, блондинка в черном шелковом платье — врач Клавдия Дмитриевна; она рассказывает что-то смешное, и все смеются; говорят другие, смеется она. Мне кажется, что она смеется, даже когда ей не очень смешно, лишь для того, чтобы все видели, какие у нее белые, блестящие, ровные зубы. Отец оживлен, он любит гостей.

— Ну, как встретил вас адмирал?

Все начинают вспоминать: одному адмирал помог перед экзаменом, другого выручил, когда его хотели исключить из училища. Клавдия Дмитриевна улыбается, хотя ничего смешного никто не рассказывает. Русьев косится на нее, топорща светлые усики, а Серго сегодня в ударе и вспоминает о боях, что с ним случается редко. Мама старается не проронить ни слова: от отца не добьешься рассказов, он не охотник вспоминать пережитое. Серго же рассказывает, как они с отцом партизанили в крымских лесах, когда все на флоте их считали погибшими.

Недослушав, выхожу в свою комнату. Антонина, у тебя будет мачеха! Хорошо, что ты выросла... У этой Клавдии Дмитриевны улыбка фальшивая, глаза тоже фальшивые, и кажется, что они мигом могут сощуриться и стать злыми, а улыбка превратиться в гримасу.

Входит Серго.

— Никита, у тебя где-то альбом с нашими фото-снимками.

Он поднимает глаза на портрет Антонины.

— До чего же она похожа на мать! Ты знаешь, у нее даже интонации стали Аннушкины..

Серго задумывается, пощипывая густые черные усики, забыв, что пришел за альбомом.

— Как бы она отнеслась, — спрашивает он, — к новой матери?

— Она никогда не забудет мать.

— Я тоже так думаю. И я ни за что не пошел бы на это, если бы ей было лет двенадцать, тринадцать. Но ей — восемнадцать, у нее уже сформировался характер, она взрослая, я могу устраивать свою жизнь. Не могу больше жить в одиночестве; представь, до чего это тяжело, Никита...

Он словно оправдывается. А что я могу сказать? Чтобы он не женился? Да какое имею я право вмешиваться в его жизнь? Ему сорок лет...

— Серго, что же вы?

Он вздрагивает, берет альбом и уходит, слегка подергивая плечом.

Конечно, трудно жить одному. Но Анна погибла, как Зоя Космодемьянская, и забыть этого нельзя.

* * *

Провожаем гостей. Как хорош Ленинград в белые ночи! Трудно описать это. Будь я настоящим художником, а не мазилкою, который не идет дальше корабликов и покрытого барашками моря, я бы писал горбатые мосты над каналами, в зеркальную гладь которых смотрятся старинные цветные дома; шпиль крепости, освещенной невидимым источником света; пустынный Невский в прозрачном розовом воздухе; застывшие на Неве корабли...

Здесь «заря с зарей сходится», ночи нет, так светло и тихо...

А в севастопольских бухтах сейчас сверкает множество разноцветных огней. В Тбилиси горы усеяны светлячками и над Курой висит черное, в звездах, небо.

На мосту останавливаемся. Неслышно течет Нева: она белая, словно полита молоком. Буксир тянет тяжелые, похожие на понтоны, баржи. Дым застывает в про-

зрачном воздухе черной полосой. Ростральные колонны и колоннада Военно-морского музея вдали — словно нарисованы акварелью.

— Пора домой, — говорит отец, — завтра рано вставать До свиданья, друзья...

— До свиданья...

* * *

На другое утро получаю письмо Антонины: «Мы со Стэллой вас вспоминаем...

...Стэлла просит передать Фролу: если ему лень писать, пусть черкнет хоть несколько слов на открытке. Гоги женился. Они с Анико очень счастливы. Спроси папу, скучает ли он без меня.

Целые дни я провожу с дядей в садах. Читаю труд, за который он удостоен Сталинской премии. Там описано, как богачи привозили в Крым субтропические растения. Земля в Крыму была плохая и каменистая. Камень взрывали, землю удобряли, сажали пальмы... Мы в миллион раз богаче всех богачей, и наши люди работают в миллион раз лучше, чем те, которые за гроши, чтобы не умереть с голоду, рыли богачам землю. Значит у нас есть все возможности превратить степи и горы в сады, выращивать чай и мандарины на севере. Дядя едет в командировку — в Крым, на Кубань и на Украину, — он везет с собой саженцы наших цитрусов. «Какая радость, — говорит он, — через несколько лет увидеть бесконечные рощи там, где лежит голая, пустынная степь». Придет время, и я, как и дядя, поеду в командировку, но, конечно, я не буду так спокойна, как он. Как будет у меня биться сердце! Но до этого еще очень далеко...»

Молодец Антонина! Она станет самостоятельным человеком, и не беда, если Серго женится.

* * *

Приехали Илюша и Юра. Илико привез целый чедодан вяленой хурмы, чернослива, инжира, чурчхел, и мы, вывалив все это богатство на стол, устроили пиршество. Мама, глядя, как мы уничтожаем сладкие черные плоды и аппетитные колбаски из орехов и крутого теста, посоветовала сбегать в аптеку и запастись лекарством.

Но Илико принялся уверять, что от зестафонской снеди мы станем лишь здоровее, и уговорил маму отвезти всего понемножку. Весь вид его, пышущего здоровьем, подтверждал, что действительно зестафонские сласти, кроме пользы, ничего не приносят.

Он рассказал, как принимали в Зестафони его отца, подводника: во дворе постелили ковры, собралось все население городка и весь дом был украшен цветами. А вечером жгли фейерверк, пили вино, и друзья детства отца пели старинные грузинские песни.

Юра отпуск провел в Севастополе.

— Вы знаете, братцы, в городе столько строителей! Повсюду камень дробят, убирают развалины, закладывают фундаменты. Товарищ Сталин сказал, что Севастополь нужно отстроить как можно скорее и как можно красивее. И на Приморском бульваре уже все цветет и по вечерам гуляет много народа...

Я во время войны приезжал к отцу; все было сожжено: и кусты и деревья!

— Где же бульвар? — спросил я отца, увидев над морем пустырь и воронку, в которой цвел яркожелтый цветок.

— Бульвара нет; но он снова будет.

И вот на знаменитом Приморском бульваре снова гуляет народ и цветут акации, розы.

К тому времени, когда мы окончим училище, в городе не останется и следа от печальных развалин. На их месте встанут сверкающие на солнце дома.

— А панорама?

— Уже восстанавливают. А вы знаете? — говорит Юра, — там, где бился с фашистами мой батальон, матросам поставили памятник...

Юра, как и Фрол, был боевым моряком. Он ходил в разведку, был ранен, принес важные сведения; его наградили орденом. Его батальон выдержал страшный удар врага. Моряки почти все полегли, но гитлеровцев не пропустили...

— И все мне вспомнилось, словно это было вчера, — задумчиво говорит наш товарищ.

— Вот и мне часто вспоминается, будто это было вчера, — подтверждает Фрол, — как я на катере в бой ходил.

— Да, ребята, вам привет с катеров! — сообщает Юра. — А о тебе, Фрол, даже пишут в газете!

— Правду говоришь? Обо мне?

— Честное нахимовское! В «Катернике».

— Постой, там ругают меня или хвалят?

— Молодые матросы обещают брать пример с гвардии капитана второго ранга Рындина, с гвардии капитана третьего ранга Гурамишвили, с гвардии капитан-лейтенанта Русева, а также с воспитанника Фрола Живцова.

— Да ну тебя!

У Фрола не уместается в голове, что кто-нибудь может с него брать пример.

— Братцы! А у Илюши-то — невеста завелась! — сообщает еще одну новость Юра.

— Какая?

— Самая настоящая! Илюша, неправда?

Но Илико набил рот хурмою и молча жует.

— Его старухи хотели сосватать. Ей восемнадцать лет, у нее — виноградник, овцы, куры, сундук с платьями, косы до пят, глаза, словно плоски, красавица, славится на весь Зестафони! А Илюшка, братцы, с перепугу залез в подвал и просидел в темноте целый день. Отец едва уговорил свах, что Илико рано думать о женьтибе.

— Ну, и правильно сделал, — выпаливает, наконец, Илико. — Окончу училище, на флоте поплаваю, тогда и подумаю. Пойдемте-ка, дорогие, смотреть Ленинград. Отец список составил, что смотреть в первую очередь.

Он достает из кармана полоску бумаги длиною в метр. Мы умираем со смеху.

— Ничего нет смешного, — обижается Илюша. — Отец только самое необходимое записал, продолжение в другой раз придет.

Перед тем, как выйти на улицу, приводим себя в порядок. Брюки наши — без единого пятнышка, выутюжены, ботинки — начищены. Такова «нахимовская традиция».

За один день, конечно, не увидишь всего Ленинграда и не зачеркнешь в памятном («что надо посмотреть») списке даже одной десятой всего перечисленного. Как говорится, нельзя объять необъятного, но Илико к этому стремится. И вопросы сыплются из него, как из автомата:

— А высоко поднималась вода во время наводнения? Отметка есть? Ну-ка, покажи.

— Это здесь, в этом замке душили Павла?

— Герман в Летнем саду встретился с Лизой и со старой графиней?

— Где царь расстреливал народ 9 января?

— С этого балкона выступал Ленин? А были установлены микрофоны?

— «Аврора» стреляла по дворцу холостыми? Ну, разумеется, иначе она разнесла б его вдребезги!

— Где жил Чайковский и где он писал оперу «Евгений Онегин»?

— Правда, что Балтийскому флоту столько лет, сколько Ленинграду? Когда Петр строил на острове Котлин первые форты?

— А где Петр стоял «на берегу пустынных волн»? Здесь, у Адмиралтейства?

И Илико спускается по гранитной лестнице поглядеть на медленно катящиеся серые волны.

Наконец добираемся до Русского музея и вызываем маму. Она, как опытный штурман, не дает нам разбрасываться и держит курс на самое главное: на картины наших русских художников, показывавших родную природу и светлые и темные стороны русской жизни. И я думаю: до чего же велик мой народ! Он дал миру отличных художников, архитекторов (где построен город прекраснее Ленинграда?). Он дал мореплавателей, исследователей, изобретателей. И подводная лодка, и самолет, и радио, и многое, многое другое изобретено нами, русскими, изобретено здесь, в мосм родном городе!

Илюша то и дело записывает. Он расспрашивает, в каком году написана та или другая картина, где учился художник, когда он родился и умер.

Юра в восторге от Шишкина, Илюша — от кавказских пейзажей, напоминающих ему знакомые с детства места, а Фролу нравятся жанровые сюжеты.

Мама провожает нас, просит не опаздывать к обеду.

Жара. Горячий асфальт жжет подошвы. Идем на Неву, но и у воды душно. Хорошо бы сейчас выйти в море на яхте!

Я спрашиваю, понравился ли друзьям Ленинград.

— Очень, — отвечает Юра, — мне кажется, никогда в жизни ничего подобного я не видел!

— Смотри, пожалуйста! — ударяет Илико каблуком

по гранитной плите, — тут было болото? А на скольких островах стоит Ленинград?

Он записывает ответ.

— Хороший город! Можно сказать, отличный! Но и Зестафони неплохой городок! — добавляет Илико гордо.

Он очень любит свой Зестафони и целый день повторяет:

— Зестафони — тоже неплохой городок.

И когда Ленинград перевешивает уж чересчур явно, Илико ищет повода, чем бы умалить достоинства этого великолепного города, далеко оставившего позади Зестафони. И, наконец, находит:

— Персиков нету! — сообщает он радостно, когда мы подходим к дому. — Смотри, пожалуйста, садов, много, а персиков нету! И хурмы тоже нету, и слив я не вижу. Может, они и будут, а пока — нет!

Вполне удовлетворенный, он поднимается на четвертый этаж.

Г л а в а т р е т ь я

МОЕ УЧИЛИЩЕ

В окна весело светит солнце, и нельзя грустить в такой день. Только мама совсем невеселая: два месяца я жил дома, а теперь буду приходить лишь по воскресеньям.

— Ну, ни пуха, вам, ни пера! — напутствует нас отец.

Тщательно осмотрев друг друга и убедившись, что к нам не придерется самый строгий и требовательный начальник, мы уходим в училище.

Настроение у меня радостное. Мне кажется, все догадываются, что сегодня мы начинаем новую жизнь, узнают в нас курсантов высшего военно-морского училища и поглядывают на нас с уважением. Само собой разумеется, прохожие спешат по своим делам, и им до нас нет никакого дела. Чем ближе мы подходим к училищу, тем чаще встречаем морских офицеров, курсантов.

— Будем проситься в одну роту и в один класс, — предупреждает Фрол. — Чего бы ни стоило, сядем за одну парту.

— За стол, не за парту...

— Какая разница? Ну, за стол.

Отец предупредил: в училище парт не будет; уроков — тоже. — «Смотрите, не зевайте на лекциях, записывайте сразу все, что услышите, упустите — трудно наверстывать». — «На собственном опыте убедились, — подтвердил Русьев, многозначительно улыбаясь. — Не посрами, Фрол, гвардейцев».

«Уж постараюсь не осрамиться».

— Стоп, братцы! Умерьте свой самый полный! — со-скакивает с трамвая Борис Алехин. С ним. — Игнат и незнакомый рослый красавец-нахимовец.

— Знакомьтесь — Борис представляет приятелей: «Игнат Булатов, Ростислав Крамской». Алехин так горячо и крепко пожимает руку Фролу, будто они года три не видались. На самом деле Борис видит Фрола в первый раз.

Крамской мне нравится. Его карие глаза смотрят на меня дружелюбно, и мне кажется — мы подружимся.

— Смотрите, братцы, держаться вместе! — предупреждает Борис, когда мы сворачиваем с проспекта.

Навстречу бредет растерянная фигура с заплаканным лицом и задевает нас фанерным чемоданчиком.

— Видели? Провалившийся, — подмигивает Борис. — Списали начисто к папе и маме. Товарищи! Вадим Платоныч с Платошей!

Он лихо козыряет появившемуся из-за угла отставному капитану первого ранга, опирающемуся на палку, и жмет руку верзиле в нахимовской форме.

— Платон Лузгин, однокашник, — знакомит Борис.

Улыбающийся верзила, как видно, очень доволен встречей. Капитан первого ранга отвечает на наше приветствие. Лицо у него смуглое, загорелое, в шрамах, виски — совершенно седые.

— Он был ранен? — тихо спрашивает Фрол у Бориса, когда мы, замедлив шаги, идем вслед за Лузгинными.

— Ранен?! Из спины у него вынули целую сотню осколков!

Игнат прикладывает палец к губам: старик может услышать.

— Он, не раздумывая, бросился на помощь к товарищам, когда фашисты потопили их катер, — продол-

жает Борис шопотом.— Его сбросило с мостика в воду, по нему стреляли, всего изрешетили беднягу. Матросы спасли его...

— За своего командира они бы жизни не пожалели, — подхватывает Борис.

— Теперь, — продолжает Игнат, — Вадим Платоныч не может больше служить: что-то произошло с рукой, с ногою и с сердцем.

— Зато посмотрели бы вы, какие чудесные штуки он выпиливает из дерева для музеев! — громким шопотом перебивает Борис. — Фрегаты, корветы, катера, подводные лодки! Вот увидишь, когда мы пойдем к Лузгиным. Они живут тут, поблизости.

— А Платон? — спрашиваю я.

— Был человек человеком, а в последний год вдруг свихнулся, — отвечает Крамской. — Его чуть не выставили из Нахимовского.

— Но мы его вытянули за уши на экзаменах, — поясняет Борис. — Платоша, — окликает он, — не страшно тебе?

— А чего страшного? Училище, как училище, — обернувшись, пожимает плечами Платон.

— Нет, Платон Вадимыч, не «училище, как училище», — возражает капитан первого ранга, — а училище, быть курсантом которого — великая честь. Советую полюбопытствовать, сколько его питомцев стали героями — загляните в историю. Я бы на твоём месте вошел в подъезд с трепетом, да-с, Платон Вадимыч, с трепетом, и не стыдился бы, что трепещу..

Платон ухмыляется. Вот дубина-то! — думаю я о нём.

— И воспитание ваше доверено достойнейшим людям, — продолжает Вадим Платонович, обращаясь не только к сыну, — ко всем. — Начальник вашего курса, Михаил Андреевич Вершинин, — отважный, смелый, не раз глядевший смерти в глаза офицер. Он первый ходил подо льдом на подводной лодке, и однажды его лодку немцы забросали глубинными бомбами. Вода хлынула в отсек, дышать было нечем. Но видя, что командир совершенно спокоен, матросы в ледяной воде заделывали робину..

— Благодаря своей выдержке и своему хладнокровию, — продолжает Вадим Платонович, — он спас и людей и лодку... А заместитель начальника курса по политической части Степан Андреевич Глухов воспитал целую плеяду

героев. Он расчищал от мин бухты, высаживал десанты. Отличный человек! Отличный человек и настоящий коммунист, за которым шли и в огонь и в воду... Помните это, друзья, и постарайтесь не огорчать ваших воспитателей необдуманными поступками... Пожелаю всего хорошего... До воскресенья, Платон. Я надеюсь, ты запомнил вчерашний наш разговор?

Вадим Платонович сворачивает за угол. А мы входим в старинное здание, растянувшееся на целый квартал, и сразу же встречаем Илюшу и Юру. Они сообщают, что видели списки: мы попали в одну роту и в один класс.

— «Пойдемте-ка на курс!»—зовут нас товарищи и ведут в большой, ослепительной чистоты, светлый кубрик. В окна виден двор, заросший начавшими желтеть кленами. Койки застелены новыми одеялами, на подушках—хрустящие наволочки. Среди новичков, на которых форма еще не обмялась и сидит мешком, мы сразу находим «флотских». Это матросы с кораблей: Зубов, голубоглазый, с очень светлыми волосами минер, служивший на тральщиках, и широколицый, скуластый Григорий Пылаев, котельный машинист с «Ловкого». Их предупредили, что им будет трудно учиться.

— Поможем,—убедительно обещает Фрол,—мне в Нахимовском тоже пришлось нелегко, я воевал, пока другие учились; помогли товарищи, выкрутился. Держись крепче, балтиец, бодрись—говорит он Пылаеву.

— А я и не собираюсь дрейфить,—улыбается матрос, показывая белые крупные зубы.

— Правильно. Мы ведь не гражданские,—подхватывает Борис.

— Какие «гражданские»?

— Ну, новички из десятилеток. Ты погляди, как нахохлились,—кивает Борис в ту сторону, где собрались новички.

— А ведь и мы не родились моряками,—смеется Пылаев.—Ты знаешь, кем я был до флота?

— Кем?

— Пекарем; выпекал калачи и сайки. А Зубов—в трампарке слесарем. Пойдем-ка лучше, подбодрим товарищей.

— По-нахимовски! — добавляет Фрол.—А то они действительно приуныли.

Он идет к новичкам.

— Ну, давайте знакомиться. Я—Фрол Живцов... А это—Пылаев с «Ловкого», Зубов с тральщиков... Сколько ты мин, Зубов, подорвал?

— Тридцать шесть.

— Чувствуете, тридцать шесть раз человек глядел в глаза смерти! Класс у нас подбирается неплохой. Девяткин,—показывает Фрол на Юру,—служил в морской пехоте под Севастополем, ходил на танки с гранатой, награжден орденом за храбрость, за то, что однажды, встретившись с тремя фашистскими танками, он не растерялся и..

— Фрол!—одергивает его Юра.

— Что? Покажи орден, чудак!—не смущается Фрол.—А Илюшин отец, знаменитый подводник Поприказвили, может, портреты в газетах видели, такой бородатый, утопил пятьдесят...

— Фрол!—укоризненно окликает его Илико.

— А?—оглядывается Фрол на Илюшу.—Я и говорю—пятнадцать кораблей, что и вписано в звезду на рубке его «щуки». Знаете, что такое «щука»?

— Подводная лодка?—неуверенно вставляет кто-то из новичков.

— Совершенно верно, подводный корабль. И мы на нем выходили на позицию, потопили транспорт, и нас забросали глубинными бомбами, и мы лежали на грунте...

— Три дня и три ночи,—говорю я насмешливо. Мне не нравится хвастовство, именуемое на флоте «травлей». Фрол оборачивается:

— А, Никита! Вы не знаете Рындина? Храбрый парень. Однажды спас трех девочек, упавших с парома...

— Одну.

— Одну, но плыл за ней два километра и подхватил над самым как есть водопадом!

— А за что ты сам получил орден, Живцов?—спрашивает румяный, плотный, с густой шапкой русых волос, новичок.

Ответ был дан тотчас же, но действительность была столь приукрашена, что позвольте на время опустить занавес. От Фрола в восторге все—и матросы и новичок, оказавшийся харьковским радиотехником, побывавшим в Одессе и там полюбившим море (зовут его Аркадием Бубенцовым), и больше всех—Борис, довольный, что Фрол,

имевший благие намерения подбодрить новичков «по-нахимовски», вдруг увлекся и нагнал на них страху рассказами о штормах и магнитных минах. И только Серегин, маленький чернявый курсант с острыми глазками, выслушав рассказни Фрола и, мне кажется, мало им поверив, говорит ему:

— Ну, что ж? Я надеюсь, что ты, бывалый моряк, просветишь меня, и я быстро освоюсь. Дело в том, что я решил не бояться ни качки, ни шторма, ни мин. Ведь нет таких крепостей...

— Которых нельзя взять? Правду говоришь!

— Вот я и одолею их, по-комсомольски и с твоей помощью.

— С моею помощью?—удивляется Фрол.

— Я вижу, мне у Живцова есть чему поучиться. По рукам?

И Фролу приходится пожать Серегину руку.

— Я еще в прошлом году,— продолжает Серегин,— хотел ехать держать экзамены, да отец заупрямился. «Непустишь,—говорю,—все равно убегу».—«Я тебе убегу!»—пригрозил батя. А недавно приезжает из командировки и совсем по-иному со мной: «Не отказался от своего намерения? Ну, что же, Митяй, поезжай». С чего он вдруг передумал?

— А кто твой отец?

— Начальник строительства в Курске.

Я поясняю:

— Благодарю Фрола, Серегин, это он твоего отца сагитировал...

И я рассказываю про встречу в вагоне с «папашей». Едва успеваю закончить рассказ, приходит пожилой рябой мичман с золотыми шеvronами (знак долголетней службы) и предлагает нам осмотреть училище.

Бесконечные коридоры похожи на корабельные переходы. За стеклянными дверями—аудитории, кабинеты, классы. Читаем таблички: «политотдел», «редакция «Ворошиловца», «читальный зал», «библиотека», «концертный зал», «клуб». В высокие окна видны дубы и липы тенистого сада, река и корабельные мачты. Во дворе стоит памятник Федору Федоровичу Ушакову. Гулко звучат шаги в «зале героев», где под знаменами стоят бронзовые статуи флотоводцев. С портретов смотрят пытливые глаза прославленных адмиралов.

— Ты погляди-ка, Кит,—делится своими мыслями Фрол,—а они ведь прикидывают: «Посмотрим, что из вас получится, новички!» Эх, чорт возьми, а ведь мы снова новички с тобой, Кит. Прав был Николай Николаевич! Гляди, гляди!

— Что?

— Твой батя!—показывает он на фотографию под стеклом.

Да, мой отец—среди Героев Советского Союза—питомцев флотских училищ.

«Вот будет хорошо, — думаю, — если когда-нибудь про меня скажут: «В отца пошел сын».

Мичман отпирает стеклянные двери и показывает один за другим кабинеты. После скромного военно-морского кабинета в Нахимовском, который мы создавали своими руками, перед нами открывается новый мир. Чего-чего только тут нет! Модели галер, шлюпов, бригов, корветов, фрегатов, на которых ходили по всем морям наши прадеды; морские орудия, которым тесно в четырех стенах, маяки, каждый со своими, отличными от других проблесками (мичман включает маяки, и они подмигивают), торпеды, похожие на металлические сигары, глубинные бомбы, похожие на большие консервные банки, мины, модели современных боевых кораблей всех классов, надводных, подводных... глаза разбегаются от всего этого, собираемого десятилетиями богатства...

— У нас жизнь не прерывалась даже во время блокады,—говорит мичман.

Среди обмерзших стен, выбитых бомбежкой и забитых фанерою окон курсанты, одетые в полушубки, слушали лекции, занимались во всех этих кабинетах и отсюда уходили на практику, которую проходили в бою. И мичман называет фамилии моряков-героев, известные всей стране.

Мы попадаем в библиотеку. Старинные лоции в кожаных переплетах, атласы и уставы петровских времен, путешествия мореплавателей, биографии флотоводцев, истории всех флотов, экспедиций к Северному и Южному полюсам, книги о морских боях Великой Отечественной войны...

— Да, брат,—говорит Фрол,—если каждый день по целой книге читать и то... Сколько тут томов?—спрашивает он мичмана.

— Семьдесят тысяч.

— Ого! 365 в год, 3650 в 10 лет... жизни нехватит!

Повсюду развешаны большие картины в тяжелых золотых рамах. На одной, потемневшей от времени, бриг «Меркурий» отбивается от турецких фрегатов, на другой—яркое пламя освещает корабли в Синопском бою, на остальных—вражеские корабли взлетают в воздух, взрываются, горят, тонут в Афонском сражении, под Гангутом и в Чесменской бухте.

Мичман—живая энциклопедия, он помнит все: всех преподавателей, воспитателей, адмирала, насаждавшего «морской дух», всех курсантов, занесенных на мемориальные доски и отличившихся в дни последней войны. Помнит все примечательные в жизни училища дни, училищные анекдоты, стихи училищных поэтов, написанные давно и давно позабытые.

Наконец, мы возвращаемся на свой курс, где нас ждут два капитана второго ранга: Вершинин, начальник курса, и Глухов, его заместитель по политической части.

Продолговатое лицо Вершинина покрыто ровным загаром, на котором резко выделяются светлые усы и очень белые ровные зубы. Из-под густых, тоже белых, выгоревших бровей смотрят синие спокойные глаза. На кителе—два ряда орденских ленточек.

Глухов, невысокий, с коротко подстриженными черными, с проседью волосами, с густыми бровями, плотную сходящимися к крупному носу, мало похож на свои портреты, появлявшиеся в газетах. Но у отца, у Русьева, у Серго тоже на лице не написано: «Я—герой». На вид—они самые обыкновенные люди, и без золотых звездочек их не сразу заметишь среди других моряков.

— Я убежден,—говорит Вершинин,—что, обладая хорошей морской подготовкой, вы, нахимовцы, поможете своим неопытным в морском деле товарищам.

— Обязательно,—обещает Фрол.

Негромко, словно беседа с каждым наедине, Глухов говорит, что в училище пришли разные люди. Одни из них «старослужащие», нахимовцы, обладающие и теоретической и практической подготовкой. Другие—матросы с кораблей, прошедшие большую суровую школу войны, теперь они должны получить теоретические знания, чтобы стать опытными и умелыми офицерами. Третьи—из десятилеток и техникумов; Глухов надеется, что их при-

вела сюда горячая любовь к флоту, и эта любовь не остынет; они не отстанут от своих товарищей, более опытных в морском деле. «Товарищ Живцов сказал: «мы им поможем»,—говорит в заключение Глухов.—Я убежден, что свое обещание нахимовцы выполняют».

— Завтра мы едем в лагерь,—сообщает Вершинин.— Там пройдем строевую подготовку. Потом пойдем в плавание.

— До занятий?

— Да, до занятий.

Это нам нравится.

* * *

Выдают папиросы и спички. Фрол смотрит на меня с комическим видом. В Нахимовском старшина отбирал папиросы, а адмирал «пушил» нас, говоря, что из нас вырастут болезненные люди. «Вырастете—курите вдосталь»,—сказал адмирал. Теперь курение узаконено.

В умывальной Фрол щелчком по коробке выталкивает папиросу и с наслаждением затягивается.

— Кури, Кит, нынче можно!

— Ты знаешь, я не умею.

— Учись!

Неопытные курильщики кашляют, плюются и давятся. Подходит Юра:

— Не хочешь, Кит, курить,—не учись; отдай папиросы курящим.

И отдает свой «Беломор» Фролу. Вбегает Алехин:

— Братцы! Денежное довольствие получать! Живо!

В канцелярии казначей в роговых очках вручает каждому новенькие хрустящие кредитки — «содержание» за два месяца.

Фрол восхищенно рассматривает деньги, словно они свалились с неба.

Алехин появляется с кульками конфет и печенья. Ну и нюх у Бориса! В бесконечных запутанных коридорах он сумел отыскать продуктовый ларек! У ларька устанавливается веселая очередь.

Это не все. День чудес продолжается. Нам выдают палаши—прямые сабли в кожаных ножнах. Фрол примеряет долгожданный палаш, не скрывая своего удовольствия, и мечтает о том, как пойдет в увольнение.

Нам выдают и новые ленточки с золотой надписью «Высшее военно-морское училище», но требуют сдать взамен старые.

— Нахимовские ленточки? Сдать? — возмущается Фрол.

— Ну, да! Это предмет вещевого довольствия! — поясняет ему интендант.

— Ну, нет, наши ленточки — не предмет вещевого довольствия! Они нам дороги, они — наша святыня и гордость, и сдавать их мы не согласны!

Вопрос разрешается к общему удовольствию.

Вершинин, выслушав нас, говорит:

— Ленточки можете оставить себе.

В кубрик мы летим, как на крыльях.

Глава четвертая

ЛАГЕРЬ

Холодным пасмурным утром мы ехали в лагерь. Из лохматых туч накрапывал дождик. Мокрый асфальт убегал под колеса машины. Среди вымокших сосен виднелось море, покрытое серою рябью. Море! Лагерь Нахимовского училища был недалеко от Тбилиси, в горах, и воду можно было найти только в рукомойнике. Гребле учились в шлюпке, ерзавшей по песку. Здесь же лагерь в лесу, возле старого, забытого форта. Занесенный песком, форт глядит пустыми глазницами казематов на море: романтично и даже таинственно!

— А что, Кит, тут, пожалуй, есть и подземные ходы? — заинтересовался Фрол. — Давай-ка, пойдём, поглядим...

Но мичман запретил отлучаться. Мы смотрели на серую маслянистую гладь залива; в мокром песке видны были два надолба и ком колючей заржавленной проволоки. Здесь проходила линия Маннергейма, построенная на деньги американских и других империалистов. Она считалась неприступной. Но наша армия прорвала ее...

Ростислав воскликнул:

— Смотрите-ка: могила бойца...

На холмике, занесенном песком, лежала помятая каска и заботливой рукой была выложена звезда из стреляных гильз.

Мы сняли свои бескозырки.

— Пойдемте, друзья, мичман кличет,— прервал молчание Игнат.

Мы пошли разгружать машины. Потом резали в лесу дерн, таскали его на носилках, вбивали колья, натягивали брезент. К вечеру вырос лагерь.

В палатке было так холодно, что Фрол перебрался ко мне на койку. Было тесно, и, отлежав один бок, он командовал:

— Поворот через фордевинд!

Не предупреди он—я очутился бы на земляном полу!

Согревшись, мы крепко заснули. Во сне мой катер напоролся на что-то; я отчаянно старался выплыть; тянуло вниз, все глубже, в ужасный холод... И вдруг я проснулся голый, замерзший—Фрол натянул на себя оба одеяла! Горн возвещал подъем.

— А ну, вставай, умываться!

Фрол вскочил и в одних трусах побежал к речке.

После зарядки позавтракали, и начался урок тактики. Веселого мало—бегать по мокрому полю, плюхаться по команде «ложись» в сырую траву, пахнущую болотом, перебегать, снова падать сразмаху в канавы, наполненные грязной водой... Но всему бывает конец, пришел конец и дождю и уроку.

К обеду из-за облаков выглянуло солнце, и жизнь стала радостной; мичман решил пройти с нами на шлюпке.

Под мерные взмахи весел наша шестерка вышла в залив. Мичман Боткин сидел на руле и оглядывал нас с недоверием. Мы натерли на ладонях мозоли, но зато показали ему, на что способны нахимовцы.

— Ну, не мне вас гребле учить, сами любого научите,—повеселел мичман.—Поставим-ка лучше паруса.

Под белым трепещущим треугольником мы лавировали вдоль берега; каждый мог сидеть за рулем, сделать поворот оверштаг.

Когда возвращались на ужин, на руле сидел я. Сердце вдруг ушло в пятки—мы прошли в ужасающей близости от прибрежных камней! Фрол взволновался так, что весь задергался. Но мичман, уверовавший в «нахимовскую жилку», даже оплошность мою принял за особую лихость.

Едва убрали паруса и рангоут, Фрол не выдержал:

— Ну, Кит, хороши бы мы были!

— С чего ты взял?

— Ну, ну, со мной не хитри! Чуть не посадил нас на камни. А еще нахимовец! Скажи лучше, струсил?

— Струсил.

— И я за тебя перетрусил. Хотел было руль отобрать, да позорить тебя не хотелось!

На другое утро лил дождь. Вместе с мичманом пришел капитан-лейтенант с круглым улыбающимся лицом. Это был Костромской, командир нашей роты. Его китель и новая фуражка были мокры от дождя.

— Займемся «наступлением»,—сказал он так весело, будто над нами сияло солнце.

— Наступать будем,—продолжал он,—на суше, но мы—моряки и не должны забывать морских правил. «Уведомляю,—сказал Нахимов перед Синопом,—что в случае встречи с неприятелем, превосходящим нас в силах, я атакую его, будучи совершенно уверен, что каждый из нас сделает свое дело». А Макаров учил: «Если встретите слабейшее судно,—нападайте, равное себе,—нападайте и сильнее себя,—нападайте». Еще в гражданскую войну наши советские моряки не раз вступали в неравный бой,—это отмечал и товарищ Сталин. «Наиболее типичным для характеристики возрождения нашего флота,—говорил Сталин,—является разыгравшийся в июне месяце неравный бой двух наших миноносцев с четырьмя миноносцами и тремя подводными лодками противника, из которого наши миноносцы, благодаря самоотверженности матросов и умелому руководству начальника действующего отряда, вышли победителями, потопив неприятельскую подводную лодку». Вы знаете также десятки примеров из последней войны. Напоминаю еще одно жизненное правило: любое дело выполняй горячо, даже если оно тебе кажется знакомым и приевшимся.

И командир роты, взглянув на Фрола, приказал ему отобрать людей и занять оборону. Пока «противник» под предводительством Фрола добирался до леса, дождь прекратился, и солнце зазолотило верхушки сосен.

— Бесподобно,—одобрил командир роты перемену погоды.

И вот—началось! По траве стлался густой дым завесы; в небо со свистом уходили ракеты. Трещали вы-

стрелы. Перебежками мы добрались до рубежа атаки и, забыв, что происходит не бой, а игра, с криком «ура» устремились на засевшего в обороне «врага». Костромской подоспел как раз вовремя, чтобы остановить рукопашную. Мы могли покалечить друг друга!

— В боевой обстановке «враг» бы не уцелел, — сказал он. — Пылу-жару в вас много, это — неплохо!

Он ушел, не забыв выправить вымокшую фуражку и оправить китель. Походка у командира роты была четкая и веселая, на него было приятно смотреть.

Фрол признался: «Мои-то, Кит, чуть не побежали. Нагнали вы на нас страху!!» Я не удержался, чтобы не сказать другу: «То-то, Фролушка. А ты всегда говоришь, что я пороха не нюхал». — «От меня нахватался», — тотчас нашелся Фрол.

Перед обедом из города приехал парикмахер. Распожившись на песке среди сосен, он поставил на столик зеркало, перед столиком — табурет, защелкал машинкой и, будто у себя на Невском в парикмахерской, провозгласил: «Оч-чередь!»

— Па-прошу ваш пробор, — комическим жестом пригласил Фрол Бубенцова.

— А ты? — спросил Бубенцов.

— Ну, нахимовцев стричь не станут, — уверенно заявил Фрол.

— Безусловно, — поддержал Борис Фрола. — Мы — старослужащие.

Но раньше, чем Бубенцов был острижен, подошел мичман, предложил Фролу снять бескозырку и, критически оглядев его «нахимовский полубокс», приказал остричься.

— Наголо, и никаких исключений! — безапелляционно заявил мичман.

Стоило поглядеть на Бориса и Фрола! Борис сразу увял, а остриженный Бубенцов шутливо пригласил Фрола:

— Па-прошу ваш нахимовский полубокс!

Апеллировать было не к кому. Командир роты был в городе. Фрол возмущенно заерзал на табурете, и его спас лишь сигнал на обед.

Настроение сразу испортилось. Фрол, истреблявший по две порции супа, на этот раз отставил тарелку.

— Ты что, Фрол?

— Appetita лишился. Вы знаете, что? — предложил он. — Махнем-ка все в лес; придет командир роты—во всем разберется. Не могу поверить, чтобы нахимовцев обкорнали.

Борис нашел, что это — отличная мысль. Почему-то и мне показалось, что Костромской спасет мой прибор. Ростиславу тоже было жаль расставаться со своей густой шевелюрой. И, когда Фрол скомандовал: «А ну, все за мной!», мы, сшибая с ног разносивших обед, ринулись через камбуз на волю и скатились кубарем с косогора. Мы бежали, словно за нами гналась стая волков. В этот миг мы снова стали мальчишками десятилетнего возраста. Но в лесу, едва успели мы отдышаться, нас разыскал мичман; его средство передвижения было более совершенно, чем наше: он был владельцем велосипеда.

— Вы что, в младенчество впали? — укоризненно спросил Боткин. — Вот уж не ожидал! Такие гребцы лихие, под парусом здорово ходите, и нате вам, отличились! Нечего сказать, хороший пример показываете! А еще нахимовцы, флотские... Старослужащие, — подчеркнул он, взглянув на Бориса. — Возвращайтесь-ка поскорее.

Он уехал. Ничего другого не оставалось, как возвращаться. Но Фрол не унялся. Сняв бескозырку, он трагически провозгласил:—«Прощай, мои рыжие кудри»— и запел на мотив похоронного марша. Дурной пример заразителен! Степенно, держа бескозырки в руках, мы пошли в лагерь, отпевая свои прически...

Парикмахер давился от смеха, хотя делал вид, что занят правкой бритвы на ремне, в душе он, наверное, думал: «Вот великовозрастные младенцы!»

Не успел мичман прочесть нам нотацию и упомянуть о прокуратуре и трибунале, как появился Вершинин.

— Ну, держись!—вздыхнул Фрол. Мы сразу притихли. Дело оказалось не на шутку серьезным. Мы ожидали «фитиля», «разноса», гауптвахты, может быть, и следствия.

— Нехорошо получилось, курсанты, — сказал Вершинин, ничем не высказывая своего раздражения. — Очевидно, я не сумел разъяснить вам разницу между Нахимовским и Высшим военно-морским училищем и

разницу в званиях «воспитанник» и «курсант». То, что в Нахимовском могло быть сочтено шалостью, у нас именуется серьезным проступком. Я обязан считать вас взрослыми и буду требовать с вас, как с курсантов. Пусть сегодняшней случай вам послужит уроком на будущее. Приказываю остричься всем... Исполняйте.

Мы старались не глядеть друг на друга. Фрол безропотно дал остричь себя наголо, сосредоточенно глядя в пространство. Ростислав, отводя глаза от начальника курса, даже не вздохнул о своей шевелюре. А я, подставив под машинку свой обреченный чуб, ругал себя в душе на чем свет стоит: вот осел, чуть было не совершил тяжелого проступка из-за дурацкого пробора!

* * *

Чередовались дни. Мы занимались строевой подготовкой и инженерной, копали окопы для себя, пулеметчика, наблюдателя; потом уходили на стрельбище. Всегда выставляли дозорных: Платон Лузгин чуть не подставил раз голову вместо мишени. Хорошо, Фрол заметил во-время — и Платон отделался только испугом.

На одной из вечерних проверок командир роты назначил Фрола старшиной роты.

— На время лагерного сбора, — пояснил он, — в училище старшиной роты по положению будет курсант старшего курса, а вы, Живцов, останетесь старшиной класса.

— Разрешите обратиться, — сказал Фрол, смущенно выслушав Костромского.

— Я слушаю вас, Живцов.

— Вы, очевидно, не в курсе дела, товарищ капитан-лейтенант, — продолжал Фрол, заметно волнуясь. — Ведь это я был инициатором отказа от стрижки.

— Знаю, — спокойно сказал Костромской. — И тем не менее я убежден, что вы будете хорошим старшиной.

Фрол решил оправдать доверие. Он нас «гонял» по утрам до седьмого пота, подтягивал роту, не давал спуску ни нахимовцам, ни «гражданским», не разрешая засиживаться, когда пора было спать, и следя за тем, чтобы все всегда были на месте. И все же произошел неприятный случай: три новичка — Бубенцов, Кузин и

Волков — удрали по ягоды в лес и пропадали до самого ужина. Они даже не понимали, что совершили.

На них наложили взыскание. Фролу этого показалось мало. На комсомольском собрании провинившиеся позеленели от страха, когда он потребовал:

— Исключить!

Кое-кто с Фролом был и согласен. Но Серегин вступился за новичков. Он напомнил, что недавно Фрол сам бегал в лес от стрижки.

— Почему же Живцова не исключили? — горячо говорил Митя. — Товарищи пришли из десятилетки, из техникума, они еще плохо знают устав. Они, разумеется, обязаны изучить его в лагере. Но что думала комсомольская организация роты? Кто, как не комсомол, должен воспитывать новичков, поскорее приблизить к флоту тех комсомольцев, которые от всей души хотят стать моряками?

— Товарищи совершили тяжелый проступок, — продолжал он, — но, я думаю, было время, когда и Живцов не знал флотских порядков. Его обучали старшие моряки, партийцы и комсомольцы. Так почему же и ты не поможешь, Живцов, своим новым товарищам?

— Серегин правильно говорит, — слышались голоса.

Фрол надулся: никто его не поддержал. Я — и то выступил против друга:

— Совсем недавно мы совершили почти такой же проступок, и уж никто из нас, нахимовцев, не может отговориться, что не знает устава. Начальник курса мог поставить вопрос о списании нас из училища. Нам по восемнадцати лет, но мы иногда бываем такими неразумными, какими непростительно быть и в пятнадцать. Да, я поступил глупо, когда, спасаясь от стрижки, убежал в лес.

Больше я таким глупым не буду. Начальник курса нас не отправил в прокуратуру. Предлагаю товарищам поставить на вид, тем более, что они уже получили взыскание. И постараемся, чтобы они с нашей помощью стали как можно скорее настоящими моряками!

Меня поддержали. Выступили Юра, Игнат и Крамской, за ними — командир роты. Костромской сказал, что считает дисциплинарное взыскание для первого раза вполне достаточным. Глухов, присутствовавший на

собрании, согласился с Костромским и добавил с улыбкой:

— Молодость бывает иногда опрометчиво беспощадной.

Самоотлучникам объявили на первый раз выговор. Они облегченно вздохнули.

— Ты что же? — спросил меня после собрания Фрол, — против товарища пошел?

— Ты был нынче неправ, Фрол.

— Неправ, неправ! Тоже мне борец за правду нашлся!

— А ты слышал, что сказал Глухов?

Фрол дулся. Я огорчился не очень. Я был уверен в своей правоте. Через несколько дней Фрол нарушил обет молчания:

— Кит, ты забыл, что завтра в Нахимовском большой сбор?

— Нет, не забыл. Завтра парад. Начальник поздравит с началом учебного года...

— Нашу телеграмму прочтет.

— Какую?

— Молнию. От «первых нахимовцев».

Мы позвали Илюшу и Юру.

— Казенных слов не пиши, — взволнованно говорил Илюша. — Пиши от самого сердца...

Не раз бросали клочок бумаги в корзинку. Каждый подсказывал то, что хотел передать нашим бывшим воспитателям и товарищам. Наконец телеграмму признали достойной к отправке.

Фрол выпросил велосипед, торжественно обещал мичману, что постарается не разбить машину, и уехал на почту.

«Интересно знать, — думал я, — кто завтра сядет за нашу парту?.. Кто спит на наших койках, сидит на наших местах за столом?.. И вспоминают ли еще нас в Нахимовском?»

* * *

Из-за настольной лампы с зеленым абажуром на меня смотрели два серых глаза, доброжелательно, потечески меня оглядывавших.

— Я убежден, что вы справитесь, — сказал Глухов.

Меня избрали секретарем комсомольской организа-

ции класса. Нелегко взять на себя такую обязанность: а вдруг я не справлюсь? — Справишься! — убеждали товарищи, в первую очередь Фрол. И вот теперь то же самое сказал Глухов.

— За то, что раздумывали, хвалю, — продолжал он. — Знал я таких, что тотчас же соглашались, почитали себя чем-то вроде начальства и начинали командовать, хотя вряд ли имели на это моральное право. Ну, что ж, молодости свойственно ошибаться, на то и мы, старшие, существуем, чтобы выправлять ваши ошибки.

Он раскурил трубку.

— Старшина — ваш друг?

— Еще с Черноморского флота.

— Отлично, это облегчает задачу. Комсомольская организация должна работать в полном контакте со старшиной, помогать ему бороться за дисциплину, за успеваемость, за сохранение боевых традиций училища.

— Живцов самолюбив, горд и вспыльчив, — напомнил я.

— Ваша обязанность — со всем тактом, на какой вы способны, поддерживать авторитет старшины и в то же время предостерегать его от необдуманных поступков. Знаю, знаю, вам будет нелегко при живцовском характере, но Живцов пользуется авторитетом.

— Да, класс знает о его военных заслугах, — подтвердил я.

— Присматривайтесь получше к тем, кто видит впереди не только внешний блеск и не только красивую форму. Служба флотская тяжела, но приносит огромное удовлетворение. По себе знаю...

Он улыбнулся такой хорошей улыбкой, что мне стало ясно: передо мной — человек, который будет моим руководителем и старшим другом.

— Мне думается, что Булатов, Крамской, Попри-кашвили всегда вас поддержат и помогут справиться с разболтанными людьми, вроде Лузгина. Что же касается «нефлотских» людей, то среди них есть такие, как, скажем, Серегин или Бубенцов; они могли пойти в электротехнический, политехнический, экономический институты. А вот пошли к нам, где труднее, — пошли потому, что любят свой флот. Похвально это? Да. Мы должны им помочь поскорее освоиться с флотским по-

рядком, стараться, чтобы они почувствовали себя на одной ноге с флотскими людьми.

— Живцов говорит, им нехватает флотского воспитания.

— А что такое, по вашему — флотское воспитание, Рындин? Флотское воспитание — это прежде всего большевистское воспитание. Любить свою Родину так, чтобы с радостью отдать за нее жизнь, — учит нас партия. Партия воспитала комсомольцев Краснодона, героев солдат и офицеров; она воспитала матросов, которым поставлен под Севастополем памятник с матросской же эпитафией:

«Бессмертны войны, погибшие в сраженьях

Вот здесь, у севастопольских высот.

Их имена отчизна вознесет,

Их подвиги запомнят поколения...»

Матросов с эсминца «Ловкий», которым командовал наш командир роты, капитан-лейтенант Костромской, тоже партия воспитала. Они, не щадя своей жизни, боролись за спасение погибавшего корабля. Котельному машинисту Пылаеву, раненному в руку и в голову, предложили покинуть тонущий эсминец. Он ответил: «Я строил этот корабль и не сойду с него. Добуксируют — будем жить, а нет — погибну с кораблем вместе». И ушел в котельное отделение к помпе откачивать воду.

— Наш Пылаев?

Глухов разжег потухшую трубку.

— Да, наш. Вот это и есть «флотское воспитание».

— Я не обещаю, что вам будет легко, Рындин. Только недалекий человек может вообразить, видя перед собой в строю или в классе три десятка людей, одетых в одинаковые фланелевки, что и мыслят они одинаково и стричь можно их под одну гребенку. Лишь бездарный руководитель мыслит о людях в процентах: столько-то передо мной комсомольцев, столько-то беспартийных, такой-то процент укачал в плавании и такой-то процент любит хоровое пение. У каждого есть семья, свои интересы за стенами училища, горести и заботы, которые могут влиять на дисциплинированность и успеваемость. Только толстокожий руководитель не загля-

нет в душу и в сердце к каждому из своих подчиненных и не узнает, что творится в его душе и почему неровно колотится его сердце. И не административное воздействие помогает воспитателю, а, чаще всего, собственный такт и чуткость...

— Вам, будущему офицеру флота,— продолжал Глухов,— всю жизнь придется быть ответственным за доверенных вам людей. Поэтому твердо запомните: воспитывая других, вы должны быть для них примером. Малейшая оплошность с вашей стороны может подорвать к вам доверие. Вы не забыли историю со стрижкой?

Нет, я не забыл этой глупой истории. У меня загорелись уши.

— Если вам будет непонятно что-либо, трудно, появятся сомнения, недоумения,— закончил беседу Глухов,— идите прямо ко мне.

Мне не хотелось уходить от этого человека, который так по-отечески обещал мне помощь. Но ведь я у него не один: целый курс, сотни людей.

— Разрешите быть свободным?

Глухов поднялся из-за стола и протянул мне руку.

* * *

Врачи, приехавшие в лагерь для медицинского осмотра, категорически заявили, что Юра не годен к строевой службе. Это было для Юры страшным ударом. Он хотел дышать и жить морем. Его заветной мечтой было стать минером, затем командиром тральщика.

«Это началось давно,— сказали врачи,— очевидно, еще в Севастополе, когда он ходил в ночные разведки; воздушной волной его сбilo с ног, бросило на острые камни. С болезнью сердца, бывает, и долго живут, но на корабле служить невозможно. Девяткину рано или поздно придется уйти с флота».

Я смотрю в огорченное лицо друга и думаю: жизнь не так проста и легка, как это кажется в восемнадцать лет! Почему врачи, осмотрев Юру, не сказали:

«Вы хотите стать моряком? Что ж, отлично. У вас непростительно шалит сердце? В восемнадцать лет это совершенно недопустимо. А вот мы сейчас вами, юный моряк, займемся,отремонтируем вас на совесть — и гуляйте себе по морям!»

Не могли сказать. Но когда-нибудь, безусловно, смогут.

Юра был прямо в отчаянии. Чем я ему мог помочь? Словами утешения? Чепуха! Ему не слова нужны. Я пошел к Глухову.

— Я понимаю вас, Рындин, — выслушав меня, сказал Глухов. — Девяткин имеет призвание к флотской службе, давно хочет быть моряком, и ему тяжело расставаться с флотом. Он блестяще окончил Нахимовское. Вы знаете? Я кое-что придумал. Попросите Девяткина зайти ко мне завтра.

— Значит есть выход, товарищ капитан второго ранга? — радостно спросил я.

— Да, по-моему, выход есть. Мой совет ему — поступить на кораблестроительный факультет.

— А примут?!

— А уж об этом мы позаботимся, — тепло улыбнулся Глухов. — А вы в свою очередь постарайтесь убедить друга, что, строя корабли, он всю жизнь будет близок к флоту. Вы читали воспоминания академика Крылова?

— Еще бы!

Кто из нас не прочел с увлечением книгу старейшего русского кораблестроителя? Он был настоящим моряком, но на берегу провел большую часть своей долголетней жизни!

На другой день мы, сидя под стеной старого форта и глядя на мелкое, все в черных валунах море, расписывали Юре его будущую судьбу.

— Ты подумай, — убеждал Фрол, — настроишь ты кораблей-красавцев, любо-дорого смотреть! И мы будем плавать на твоих кораблях. У тебя светлая голова, башковитый ты парень, ты их построишь немало!

— Ты знаешь, — поддерживал Ростислав Фрола, — отец мой всю жизнь плывал. Но когда война кончилась, ему приказали командовать портом. Отцу это было совсем не по сердцу. Он никогда бы не променял каюту на корабле на береговой кабинет. Порт лежал весь в развалинах, все сожгли и взорвали гитлеровцы. Я приезжал к отцу, видел своими глазами. А приехал на другой год — уже понаехало много людей, они строили город. А в этом году я был — в городе уже есть театр и заводы, в порту стоят корабли, и новых домов настроят целые улицы. И отец теперь мог бы уйти из порта

и командовать соединением катеров или крейсером, а не хочет. Ты знаешь, Юра? Служить флоту можно и на фортах, и на береговых батареях, и на заводе, строя новые корабли...

Мы помолчали, глядя на темневшие вдалеке кронштадтские форты.

— Ростислав, а как ты в пожар на «Риге» попал?— спросил Фрол.

— Да тут немного рассказывать. Шли мы из Ленинграда и на траверзе Волчьего мыса вдруг загорелись...

— Отчего?

— Неизвестно. Управление отказало, и теплоход очутился на минном поле. Он мог в любую минуту взорваться. А на «Риге» были женщины, ребятишки! По радио нам передали приказ — не бросать якорей и не трогаться с места. Из порта к нам на помощь вышли торпедные катера и тральщики. От матросов не скрыли, что они идут на минное поле. И знаешь, один матрос что ответил? «Мины, мины!.. Что мины, когда в беде наши близкие?»

— Ну, так бы каждый флотский ответил, — сказал Фрол. — Тебя, говорят, обожгло?

— Порядком. Пришлось осматривать трюмы, каюты. Женщин силой приходилось вытаскивать. Плачут, мечутся... Едва успели всех снять...

Фрол с уважением посмотрел на Крамского.

— Да, подвиг можно совершить и не на войне, — сказал, немного погодя, Игнат. — Среди этих фортов, — показал он на море, — есть один очень старый форт «Павел». Он был превращен когда-то в склад мин. В 1923 году как-то ночью сигнальщик «Авроры» доложил, что на форту горит мина. Командир сразу понял, чем это грозит кораблям. Несколько курсантов тотчас же вызвались итти на «Павел». Командир с тревогой наблюдал за удалявшейся шлюпкой. Высадившись, курсанты стали засыпать мину песком. Она все горела. Тогда курсанты попытались скатить мину в воду. Она катилась медленно, очень медленно. Вот они докатили ее до воды. Один толчок — и... Но тут произошел взрыв... Когда новая шлюпка добралась до «Павла», живыми нашли всего четверых. Остальные — погибли. Они спасли корабли... А теперь, — закончил Игнат свой рассказ, — двое из уцелевших героев — уже адмиралы...

Совсем стемнело, и в темноте глухо плескалось море.

— А белофинны отсюда обстреливали Ленинград?— спросил Фрол не сразу.

— Да, мы находимся как раз за старой границей.

Фрол не выдержал:

— Гады какие! Это они, может, и трамвай тот разгрохали! (Он не мог забыть разбитый трамвай в музее; в этом трамвае погибли все пассажиры.) А как ты думаешь, Кит, когда судили военных преступников, принесли в зал суда дневник той девочки, у которой вся семья от голода умерла? Ведь вот что я думаю... Не будь этих извергов, сейчас эта девочка училась бы в институте, как Стэлла, и стала бы инженером, врачом или агрономом. Нет, я бы им не простил!.. Ни им, ни их американским покровителям. Мне думается, — продолжал он, — надо написать книгу, в которой все описать: и про трамвай, и про девочку, и про голод, и про все остальное. Перевести эту книгу на все языки и разослать во все страны. А в конце книги поместить фотографии военных преступников, висящих на виселицах, и чтоб надпись была: «Так случится со всеми, кто осмелится снова стрелять по нашим городам или морить наших людей голодом».

В темноте запахло водорослями и мокрым песком. Далеко за мысом небо вдруг осветилось.

— Пожар? — спросил Фрол.

— Нет, огни Ленинграда, — ответил Крамской.

Горн в потемневшем лесу звал нас на поверку в лагерь.

Глава пятая

ПЕРВОЕ ПЛАВАНИЕ

Мы идем в плавание! — объявляю отцу, едва успев поздороваться.

— До начала занятий? Тебе повезло. И далеко идете?

— В Таллин, в Лиенаю. Увидим всю Балтику.

— Ну, положим, не всю. На чем пойдешь?

— На канлодке.

— Покачает!

— На крейсере я не укачивался.

— На канонерской лодке в шторм сильно потряхивает. Что ж? Привыкай, моряк, привыкай,— хлопает он меня по плечу.— Смотри, приглядывайся получше. Тебе по этому пути придется водить корабли... Ну, а меня тоже можешь поздравить. Завтра еду на Черное море.

— На катера?

— Угадал.

— Командиром соединения?

— Не окончил Академии, ни за что бы соединения не получил. Время шагает вперед и опережает нас, грешных. Техника — новая, вооружение — новое, тактика — новая... Ну, что же, Кит? Будем собирать чемоданы.

— Вот вы и оба уходите в море, — с грустью говорит мама.

— Зато будешь получать письма и с Черного моря и с Балтики.

— Письма... — повторяет за отцом мама. — Ой, чуть было не забыла!

Она спешит в соседнюю комнату и приносит пачку конвертов.

— У тебя огромная корреспонденция, Кит! — смеется отец.

Забегалов пишет из своего училища:

«Я получил первое содержание. Ты представляешь, как приятно купить матери на свои деньги теплый пуховый платок, а братишкам — по паре ботинок! У нас в Решме зимы холодные, осенью — слякоть. И я смогу теперь иногда посылать домой подарки! Мы с Бунчиковым часто вас вспоминаем. Привет Фролу, Юре, Илюше...»

А вот и от Антонины:

«Скоро начнутся занятия. Получила открытку от Хэльми. Если будешь в Таллине, зайди, она будет рада. Вот ее адрес... Скажи, мы со Стэллой ее вспоминаем. Дед здоров. Книга получается замечательной. Отец едет на Черное море и сообщает, что у него в личной жизни какие-то перемены. Я немного догадываюсь, но не хочется верить. Тяжело сознавать, что мамино место займет другая. А, может быть, я ошибаюсь...»

Я спрашиваю отца:

— Как ты думаешь, Серго женится на Клавдии Дмитриевне?

— А тебе, собственно говоря, какое до этого дело?

Я показываю письмо.

— Для ребенка, конечно, это трагедия, — говорит мама.

— Ну, она не ребенок.

— Все равно, мне думается, Серго не найдет с этой женщиной счастья.

— Ему виднее.

Приходит Серго, и я прячу письмо.

Он получил назначение — командиром соединения на Черное море. Русьев едет к отцу командиром подразделения.

* * *

Что может быть для моряка лучше плавания?

Я готов не влюбиться того, кто с равнодушной физиономией поднимается на борт корабля, на котором он пойдет в море. У меня всякий раз, когда я с Графской пристани видел ожидавший нас крейсер, сердце радовалось. «Адмирал Нахимов» стоял перед нами в бухте, голубой, вросший в голубую прозрачную воду, со своими широкими палубами и грозными орудийными башнями. Мы любили «Нахимова» всей душой, и каждая встреча с ним была радостной.

А что может быть лучше раннего утра в бухте, когда солнца не видно, но за горами уже розовеет, предвещая ясный, солнечный день? Что может быть приятнее грохота якорной цепи, возвещающего о предстоящем походе? Палуба чуть дрожит, с мостика слышатся звонки машинного телеграфа; крейсер острым носом медленно раздвигает воду, малым ходом выходя в море.

И матросская работа в походе — она была тоже не в тягость. Я люблю утреннюю приборку, когда корабль, и так блистающий чистотой, весь омывается водой, потоками бегущей из шлангов. Вода забирается во все закоулки. Палуба становится ослепительно чистой; боцман всегда проводил платком по палубе и по поручням трапов.

Но вот наступает торжественная минута. По команде все оставляют работу и становятся спиной к борту. Особенно хорош подъем флага в море. Все стихает, и слышно, как плещется за бортом волна. И сколько бы

ни стояло людей, все думают об одном: о том, что над кораблем поднимается флаг, под которым умирали, но не сдавались в дни Великой Отечественной войны, когда крейсер «Киров» отбивался от налетавших на него самолетов, а катера, прорываясь сквозь завесу огня, высаживали десанты или дрались один — с десятью катерами врага.

И когда в мирное ясное утро торжественно возвещает горн подъем флага, я вспоминаю, как отец и его товарищи и тысячи других моряков поднимали флаг перед боем и никогда не опускали в бою.

Этот флаг ненавистен колонизаторам и зачинщикам войн; он говорит о мире; но если на нас нападут, — мы пойдем под ним вместе с бывалыми офицерами в бой...

Заливаются дудки; алые звезды, серп и молот горят на белом, с синей полосой полотнище. Продолжается корабельная жизнь. Одни из нас идут в оружейные башни, другие — в машины, третьи — на занятия в кубрик... Повсюду пахнет свежей краской, смолой и еще чем-то неуловимым, знакомым.

И когда хорошо поработаешь, жирный борщ кажется особенно вкусным, а каша с мясом — лучшим блюдом на свете. Послеобеденный сон сладок, и удивительные снятся сны: то открываешь новую землю, то потопленный тобой корабль врага, задрав корму, идет ко дну.

Я люблю звон корабельных склянок, корабельные переходы, теплые кубрики и каюты, где гудят вентиляторы; трапы, по которым спускаешься все ниже и ниже, туда, где глухо дышат турбины; я привык к командам, подаваемым с мостика, дружил с матросами, которые терпеливо нас обучали.

...И вот, ранним утром, когда Нева вся искрится, дома словно светятся и в воздухе скользят паутинки, я поднимаюсь на борт канонерской лодки «Десна».

Для тех, кто на корабль попал в первый раз, даже едва заметное колебание палубы кажется качкой. Немногие стоят бодро, остальные напуганы и бледны. Форму они надели морскую, а их все еще тянет на берег, где ничто не качается и чувствуешь под ногами гранит, который никуда не провалится.

— Бодритесь, бодритесь, — говорит Фрол. — Не то еще будет!

«А что еще будет?» — в ужасе думают новички.

— Не кажется ли вам, Рындин, что надо отвлечь их от мыслей о качке? — спрашивает меня подошедший Глухов. — Показать им корабль, рассказать о Кронштадте, фортах, об истории Балтики? Так мы их постепенно и к морю приучим и к корабельным порядкам. Никто ведь на корабле не родился. Я сам, например, до флота в Вятке на маслобойке работал. Увидел море, когда призвали во флот, в Севастополе. Влюбился...

И в лагере, и сейчас, на борту «Десны» Глухов к каждому пытливо приглядывается. Отец говорил, что Глухов обладает даром удивительно быстро распознавать мысли и настроения подчиненных, умеет заглянуть каждому в душу и в сердце...

— Приглядывайся к нему и бери с Глухова пример, — советовал мне отец.

— Обживутся, — кивает Глухов на новичков. — Побойтесь, чтобы все жили дружно. Ссора на корабле — явление абсолютно недопустимое.

— Ссор не будет, — обещаю я твердо.

— В первом плавании, — продолжает он, — мы увидим, кто искренне идет к флоту, а кто пошел в училище лишь потому, что не устроился в другой вуз — окажутся и такие. Но и среди них мы найдем будущих моряков. Мы должны стремиться, чтобы первое плавание расширило кругозор новичков. Не справитесь сами — я помогу вам, актив поможет. Я думаю, вместе-то справимся?

Отрывисто звонит машинный телеграф; под ногами тихо стучит машина и палуба вибрирует мелкой дрожью.

«Десна», набирая ход, выходит на середину реки. С набережной машут платками; девушки, знакомые наших курсантов, кричат:

— Поскорее возвращайтесь!

Когда в стороне остается торговый порт, Глухов приглашает перейти на другой борт. Отсюда лучше видна «Красная Горка». Когда в 1919 году «Красная Горка» была захвачена белогвардейцами, ее по инициативе товарища Сталина, атаковали одновременно с суши и с моря.

— Советую ознакомиться с этой замечательной операцией, — говорит Глухов. — В корабельной библиотеке

вы найдете рассказ о ней, так же, как и историю Кронштадта и Балтийского флота. Думаю, вас заинтересует и Ледовый поход, когда сотни кораблей пробились из Гельсингфорса в Кронштадт, чтобы не попасть врагу в руки... Любопытствуйте, читайте как можно больше, и плавание станет осмысленным и полезным...

На палубе появляется начальник курса. Я вспоминаю рассказ Вадима Платоновича о Вершинине и, попросив разрешения, задаю ему вопрос: как он ходил подо льдом.

— Это было еще во время финской кампании, — охотно рассказывает Вершинин, — мы пошли к берегам врага. Лодка шла ощупью, ползла на стальном брюхе по грунту. Нам преградили путь сети. Нашупав проход, лодка очутилась за сетью.

Всплыв во вражеской гавани, потопили транспорт. Сторожевые корабли нас забросали глубинными бомбами. Одна разорвалась так близко, что люди почти оглохли. Нас выслушивали гидрофонами. Мы лежали на грунте.

Всплыли мы через сутки. Вражеских сторожевиков не было, но путь нам преграждал лед.

Что оставалось делать? Нырнуть. Прошли несколько часов подо льдом. Шли медленно, ощупью, миновали минное поле. Попытались всплыть. Напрасно: над нами был лед! Лодка вновь погрузилась, долго шла под водой, поднялась и опять ткнулась рубкою в ледяную крышу...

Я повел лодку обратно. Люди начали задыхаться. Наконец дал команду всплывать. Лодка поднималась все выше. Мы ждали удара, удара не было! Я выдвинул перископ. Вот, счастье-то! Мы угодили в полынью! Мигом отдраили люк. Дышать стало легче. Я поднялся на мостик. Лодка стояла среди небольшой полыньи, в которой бурлила вода, но вокруг на много миль простирался лед.

Тогда лодка стала медленно пробивать лед. Осколки льда скрежетали о стальную обшивку. Лишь спустя сутки мы вышли на чистую воду.

Впоследствии я встречался со льдами на Севере; но подо льдом мне ходить уже не пришлось...

Фрол смотрел на Вершинина заблестевшими, восторженными глазами.

Когда мы вечером улеглись, Фрол спросил:

— Не спишь, Кит?

— Нет, не сплю.

— Это правда, что твой отец ходил во льдах на катере?

— Правда. Они прикрывали зимой эвакуацию Ханко.

— Ну, и как же они пробились?

— Катера обросли ледяной корой и с оборванными антеннами, сломанными мачтами пришли в Кронштадт! Ты знаешь, Фрол, с нашими моряками, смелыми и решительными, обладающими железными нервами, — для торпедных катеров в будущем не будет ничего невозможного! Так отец говорит.

— Правильно говорит твой отец. Я тоже так думаю. Эх, Кит, до чего же хочется поскорее стать самостоятельным человеком!

Я лежал на покачивавшейся койке, глядел на лампочку в сетке и мечтал, что пойду и я когда-нибудь в северные моря открывать пути среди льдов..

* * *

На другой день барометр упал, задул ветер, заморосил дождь, небо покрылось рваными тучами, и залив сразу стал неприветливым и похожим на серое одеяло.

Было холодно. Очень немногие оставались на палубе, остальные забрались в теплый кубрик. Впереди показался высокий горбатый остров, похожий на зверя, выставившего из воды спину.

— Гогланд, — сказал Вершинин. — В ясную погоду его видно на расстоянии тридцати пяти миль. Здесь много подводных рифов и валунов и плавание опасно. Но именно здесь всегда проходил путь на запад, мимо Гогланда проходили все русские мореплаватели.

Меня позвал Фрол:

— Кит, иди скорей, помогай, в кубрике укачались!

Мы спустились в кубрик.

Там Глухов ободрял не привыкших к качке новичков:

— Во время войны не в такую качку ходили. Ветряга почище был, когда мы высаживались в Цемесской бухте.

— Это в Новороссийск?

— Да. А в Крым высаживались зимой; и матросы

прыгали в воду и несли трапы. Фашисты опутали колючей проволокой берег. И мы кидали на проволоку бушлаты, шинели, крича: «Шагай в Крым!» А на крымском берегу, уничтожив врага, песни пели. Ведь, говорят, песня жить помогает, не так ли? Вымокли, укачало, а пели... Вот и мы споем, а?

Убедившись, что все глаза устремлены на него, Глухов снял фуражку, как-то весь приосанился и запел негромким приятным голосом:

«По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед...»

Он взмахнул рукой, и несколько голосов подхватило:

«Чтобы с боя взять Приморье,
Белой армии оплот...»

Это была всем знакомая песня, и все новые и новые голоса вступали в хор; новички песней пытались побороть свою слабость.

— Ох! — все же тяжело вздохнул кто-то.

— Да, покачивает; неприятная штука. Вот, если кто желает, — Глухов принялся раздавать таблетки, — но от них пользы мало. Главное — приучить организм сопротивляться, бодриться. «Нелюдимо наше море» кто знает?

— Я.

— Вот и отлично, Крамской. Споем?

И хотя они раньше не репетировали, дуэт получился довольно стройный.

Лицо Глухова, не очень-то красивое, с угловатыми бровями, вдруг стало удивительно привлекательным. Он весь отдавался песне, и я представлял себе, как он пел там, среди матросов, на крымской земле.

«Облака бегут над морем,
Крепнет ветер, зыбь черней...»

Ростислав выводил звучным голосом:

«Будет буря, мы поспорим
И поборемся мы с ней».

Спорили с качкой пока немногие. Пел Игнат, пел Пылаев, пел Зубов, пел и я, хотя меня порядком ука-

чивало. Фрол втащил совсем помертвевшего Кузина, свалил его на койку и, с уважением взглянув на Глухова, включился в хор:

«Там, за далью непогоды
Есть блаженная страна:
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина».

Одна за другой с коек поднимались помятые фигуры.

«Но туда выносят волны
Только сильного душой!
Смело, братья! Бурей полный
Прям и крепок парус мой!»

— А ну-ка, сильные душой, прибрать в кубрике! — скомандовал Фрол так бодро и весело, что многие слезли с коек и взялись за дело.

* * *

К вечеру в кубрик заходит Вершинин. Корабль перестало раскачивать, но кое-кому еще не по себе. Кузин хнычет, Кукушкин спрашивает, нельзя ли выбрать такую специальность, чтобы плавать поменьше. Его поднимают на смех, но Вершинин разъясняет, что можно пойти на кораблестроительный факультет.

— Я пойду! — откликается тотчас же из дальнего угла Волков.

— Но это не выход из положения. Многие моряки укачиваются, но умеют не распускаться и всю жизнь служат на флоте. Я укачивался, а теперь не обращаю на качку внимания. Моряк должен стремиться стать человеком сильной воли.

— Товарищ капитан второго ранга! — говорит Митя. — Я никуда не пойду из училища.

— Молодец! — одобряет Игнат.

— Вот это по-флотски, — восхищается Фрол. — А то — «мамочка, не могу» или «как бы форму надеть, да поменьше плавать!» Слушать тошно!

— Вы знаете, Рындин, — говорит мне вечером на палубе Глухов, — начальник, который думает, что, повышая голос, крича, руководит, — глубоко ошибается.

Он этим доказывает, что не уверен в себе, в своих силах...

Я понимаю, в чей огород брошен камешек.

— Да, и вот что еще. Я слышал, как старшина утешал укачавшихся: «похороним, говорит, в море». Не сказал бы я, что подобное утешение может повысить политико-моральное состояние курсантов. Разъясните это Живцову, он ведь, кажется, прислушивается к вашим словам?

Глухов уходит по ярко освещенному переходу в кают-компанию, откуда слышится музыка. Играет Вершинин.

* * *

На другое утро — непогоды как не бывало..

Канлодка режет синюю, спокойную, словно в пруду, воду. Курсанты, высыпав на бак, греются на солнце. Лишь трое-четверо все еще с опаской поглядывают за борт. Остальные повеселели, забыли вчерашние мучения и страхи и даже подшучивают друг над другом.

На баке слушают Зубова. Зубов не выдумывает, как Фрол, не приукрашивает действительность.

— Мой дружок и земляк, Вася Кузнецов, на лидере был командиром орудия. В бою его ранило. Загорелись боевые заряды. Превозмогая боль, Вася принялся тушить пожар. Он схватил голыми руками горящий заряд и хотел выбросить его за борт. Но не удержал, упал, загорелся сам. Весь в огне, Вася пополз к борту, толкая перед собой пылавший заряд, и сбросил, наконец, его в море. Товарищи кинулись к Васе, но он крикнул:

— Оставьте меня, спасайте корабль!

Корабль спасли. Вася погиб. Теперь на щите его орудия описано все, что я вам рассказал. А имя Василия Кузнецова навечно внесено в списки экипажа.

— И его, значит, вызывают на каждой поверке? — спрашивает Илюша.

— Да, на каждой поверке.

— А за что ты, Зубов, награжден орденом?

— «За выполнение заданий командования». С начала войны тралить начали.

— И на Ханко ходил?

— Не раз. Вот и память о Ханко осталась.

Он достал из бумажника пожелтевшую, вчетверо сложенную листовку.

— Послушайте, что москвичи писали защитникам Ханко: «Пройдут десятилетия, века пройдут,— прочел он, — а человечество не забудет, как горстка храбрецов, патриотов земли советской, ни на шаг не отступая перед многочисленным и вооруженным до зубов врагом, под непрерывным шквалом артиллерийского и минометного огня, презирая смерть, во имя победы являла пример невиданного героизма и отваги»... Сто шестьдесят пять дней держались! В дыму и в огне...

— Ну, а когда мы перешли в наступление, — продолжает Зубов, — для каждого десанта приходилось фарватер протраливать. Вот мы и тралили, туда-сюда, взад-вперед море утюжили, сначала под Выборгом, после — под Таллином, под Лиенапай, под Клайпедой, под Пиллау...

— Когда окончишь училище, ты вернешься на тральщики? — спрашивает Платон.

— Разумеется.

— Но ведь на тральщиках и без войны подрываются!

— Бывает, но редко. Я, как видишь, шесть лет по минным полям ходил, а живой...

— И не было страшно? — интересуется Бубенцов.

— Первый год — страшно, а после — привык. Глядите-ка, товарищи, Таллин!

— Где?

— Прямо по курсу. Видите шпиль?

Да, высоко на горе виден остроконечный шпиль, а под ним — дымящие трубы, башни, дома.

— Враг намеревался захватить древний город коротким штурмом, — информирует Зубов. — Наша армия и флот упорно обороняли столицу Советской Эстонии и задержали гитлеровские войска, предназначавшиеся для «молниеносного» удара на Ленинград. Ты был на «Ловком», Гриша?

— На «Ловком», — отвечает Пылаев. — Корабли здорово помогали защитникам города; многие моряки сражались на берегу.

— Ты тоже?

— И я сошел на берег. Держались мы до последнего. Вы слышали, как погиб матрос Никонов?

— Нет.

— Дружок он мой был. Все мечтал после победы пойти в училище, учиться на офицера. Мы поэтому с ним и сдружились крепко. Ушел он однажды в разведку, пропал. Ночью вышибли врага из деревни и нашли Женю. Эти звери его к столбу привязали. А под столбом догорал костер — жгли его. Понимаете? Фашисты ему глаза выкололи, тело искололи ножами. Потом нам эстонцы-крестьяне рассказывали: гитлеровцы пытали Женю, но ничего от него не добились.

Пылаев отворачивается, чтобы мы не видели его слез.

* * *

По вершине холма тянулась серая каменная стена; алый флаг колыбался на башне, которую эстонцы зовут «Длинным Германом».

Пройдя широкой аллеей и свернув за угол, мы с Фролом попали на площадь. Разноцветные дома, крыши, крытые черепицей, башня на средневековой ратуше — все это было похоже на декорацию. Казалось, вот-вот заиграет оркестр и закружатся пары в вальсе из «Фауста».

— Давай-ка, Кит, рызыщем ту маленькую, рыженькую, — предложил Фрол. — Помнишь, эта болтушка прожужжала нам про свой Таллин все уши? Уж она-то, поди, на «ты» с каждой башней.

Он вспомнил Хэльми, подругу Антонины и Стэллы. Хэльми жила всю войну в Тбилиси. Война кончилась, и отец-машинист увез ее домой, в Таллин.

— Антонина прислала тебе ее адрес?

— Прислала.

Проплутав с полчаса, мы, наконец, нашли серый дом с широкими окнами. Возле кнопки звонка я увидел фамилию: «Рауд». Я позвонил, по лестнице кто-то сбежал, замок шелкнул, дверь отворилась. Круглолицая и розовощекая девушка с пышными волосами цвета червонного золота спросила:

— Вам кого нужно?

— Маленькую Хэльми Рауд.

— Маленькую Хэльми Рауд? — переспросила девушка. — Позвольте, позвольте... — Она вдруг принялась хохотать.

— Ну, говорите скорее, какую вам Хэльми? Та-

кую? — она показала на метр от пола.— Или такую?— подняла повыше ладонь.— Или, может быть, такую, как я? Здравствуй, Фрол! Здравствуй, Никита! Идемте, идемте, отец как раз дома.

Поднимаясь по лестнице, она оборачивалась и все время болтала: — Ты помнишь, Фрол, я рассказывала, что наш дом разбомбило, а ты говорил: «построят новый, еще лучше старого»? Так и вышло: наш дом построили после войны, и у нас теперь — новая квартира! Ну, входите, входите!

Хэльми растормошила отца, читавшего в столовой газету. Август принялся нас расспрашивать о Мирабе, Стэлле и Антонине.

— Выросла? — спросил он, притянув к себе дочку.— О, вы с ней не шутите, будущий врач. Поступила в Тартуский университет. И ездила в Москву на физкультурный парад. Выступала на стадионе «Динамо». И не увидела бы она ни Москвы, ни университета, если бы ты, Никита, не вытащил ее из Куры...

— Ну, что вы! Не вытащили бы мы с Олегом, вытащили бы другие.

— Теперь тащить ее было бы нелегко, не правда ли? — засмеялся Август.— А где Олег?

— Он в инженерном училище.

— О, инженер! А на скрипке играет?

— О, да! Он в консерватории учится.

— Я позову Веру, — высвободилась Хэльми из отцовских объятий.

Хэльми исчезла за дверью.

— Вера — ее подруга, они вместе едут в Тарту, — пояснил Август.

— А вы помните, — спросил я, — как в Тбилиси, проезжая мимо вашего дома, вы давали гудок — это значило: «Хэльми, спокойной ночи»?

— О-о, я больше не даю гудков! Я теперь большая персона, — сообщил Август с нарочито важным видом.— Нечто вроде полковника, заместитель начальника службы...

Мы тотчас вытянулись перед железнодорожным полковником в положение «смирно», и все трое захохотали. И Хэльми, появившись в дверях со своею подругой, никак не могла понять, почему мы смеемся.

Хэльми познакомила нас с Верой. У нее были свет-

лые, как ковыль, волосы и большие, серые, в пушистых ресницах глаза.

Вдруг я увидел на стене свою фотографию.

— Хэльми! Я тебе не дарил фотографий.

— А я утащила у Антонины, — призналась Хэльми, ничуть не смутившись. — Я хотела, чтобы ты всегда был со мной, ведь ты — мой «спаситель».

В ее синих глазах так и бегали чертенята.

— Ну, что вам показать в первую очередь?

— Конечно, «Русалку»!

— Хорошо, поедем к «Русалке»!

В открытом трамвайчике мы добрались до парка, в котором шумели вековые дубы; в пруду медленно и важно плавали два белых лебедя.

— Кадриорг, — назвала парк Хэльми.

В конце широкой аллеи среди дубов, кленов и зеленых лужаек синело море.

На берегу вросла в песок розовая скала. Черный бронзовый ангел, подняв крест, указывал в море. На бронзовом барельефе был изображен броненосец «Русалка», борющийся со штормом. Памятник окружали невысокие столбики, соединенные якорными цепями.

Белый, как лунь, старик в потертом флотском бушлате поднялся со скамьи и подошел к нам, постукивая палкой о камни:

— Вы в первый раз тут?

— Да, в первый.

— Памятник народ на кровные денежки ставил. По всей Руси собирали. Матросы отдавали последние гроши... «Русалка» шла в Гельсингфорс, ее захватил в море шторм, и она пропала со всем экипажем. Долгое время ходили легенды: говорили, что сам чорт утащил корабль в преисподнюю; через много лет броненосец нашли на дне моря. Читали, что тут написано? — показал старый матрос: — «Россияне не забывают своих мучеников-героев». И, как видите, вся команда поименована, до последнего матроса...

...А в сорок первом году, — продолжал старый матрос, — вот тут, возле самого памятника ленинградцы-курсанты оборону держали. Много их полегло, моряков, царство им небесное... Храбрые были ребята... Вот здесь повсюду кровь была на камнях...

И старик снял изношенную морскую фуражку...

— Хотите, мы вас покатаем на яхте? — предложила Хэльми, когда мы дошли до яхтклуба в устье небольшой речки.

Мы переглянулись. Вот это здорово! Нас, моряков, девчонки покатают на яхте!

— Ну что ж, покатайте, — согласился Фрол, с презрением взглянув на лакированное суденышко. Хэльми и Вера ловко и уверенно подняли паруса. Фрол собирался вдоволь посмеяться; но, к его удивлению, девушки отлично ходили под парусами по ветру и против ветра и делали повороты. Яхта скользила по сверкающей глади моря, волосы девушек и наши ленточки резвевались. Мы ушли довольно далеко. Наконец Хэльми попросила нас доставить их к берегу.

Фрол только этого и ждал. Он решил показать девушкам наше уменье.

— Кит, — подмигнул он мне. — Прокатим-ка их с ветром!

Мы показали такой класс хождения под парусами, что начало гудеть в голове. Другие девушки умоляли бы высадить их поскорее на сушу, а эти, вцепившись в борт, были в полном восторге. Фрол опытной рукой направил острый нос «Линды» в узкое русло речки, развернулся, спустил парус, и мы пришвартовались к причалу.

— Здорово! — воскликнула Хэльми. — Вот что значит под парусами ходить с моряками!

Автобус привез нас в город; мы поднялись к Вышгороду, зашли посмотреть на гробницы адмиралов — Грейга, бывшего шведов, и Крузенштерна, ходившего вокруг света; над мраморными гробницами склонялись знамена; потом мы подошли к высокой и толстой башне; видны были застрявшие в камнях стены ядра.

— Ну и война была! — усмехнулся Фрол, — теперь снаряды посильнее.

— Мы очень любим нашу старую башню, — сказала Хэльми. — Ты знаешь, сколько ей лет?

Девушки любили свой город и очень гордились им.

По лестнице со стертymi каменными ступенями мы спустились в центр Таллина. На лужайке, возле каменной стены, совсем как живая, стояла бронзовая лань...

Хэльми показала в стене старой ратуши железный

ошейник и цепи, которыми когда-то приковывали преступников; провела к старинному дому на Рыцарской улице и к дому, где бывал Петр, у Морских ворот мы полюбовались башней «Толстая Маргарита».

Мы долго бродили по чудесному городу. На широкой площади ребяташки кормили голубей хлебом. Голуби клевали из рук, садились на плечи. Они были ручными.

В сквере было много цветов, и вода из пасти морского чудовища бежала в каменную чашу.

— А вы знаете, сквер разбит на развалинах,— сообщила нам Хэльми.— Мы все, таллинцы, разбирали камни и привозили землю. Мы хотим, чтобы у нас не осталось следов войны. Ты знаешь, Никита, мы сидим на том месте, где до войны был наш дом...

Да, здесь жило много людей, бомбы разрушили все. Но то, что строилось бы в другой стране двадцать лет, мы строим в три года...

Начинало темнеть. Мы возвращались по кривой узкой улице; дома словно держали на вытянутой руке старинные керосино-калильные фонари. Эти фонари сохраняются, хотя город давно залит электрическим светом.

Хэльми отперла парадную дверь; темная лестница осветилась.

— Ты, Фрол, проводи Веру и подожди Никиту внизу. Мы поднялись на третий этаж.

— Завтра зайдешь?

— Нет, мы уходим в море.

— Когда же я тебя увижу?

— Не знаю.

— Ну, я зимой побываю у вас в Ленинграде. Ты передай Олегу привет, обязательно, слышишь?

Свет погас.

— По расчету счетчика я должна бы быть дома,— засмеялась Хэльми.— Ну, до свидания, Никита!

Она отыскала мою руку.

— Прощай, мой спаситель!

Вдруг она притянула меня и поцеловала. Дверь захлопнулась, и я остался один, в темноте.

— До утра я тебя должен ждать? — сердито пробурчал Фрол, когда я выбрался, наконец, на улицу.— Опоздаем. Ты что такой взъерошенный?—спросил он под первым фонарем.

— Ничего... так.

Мы успели на последний трамвай и попали в порт во-время. На рассвете «Десна» вышла в море. Долго виден был «Длинный Герман» с красным флагом, развевавшимся на флагштоке.

* * *

— Терпеть не могу быть «пассажиром», — бурчал Фрол, глядя, как матросы «Десны» прибирают палубу, а сигнальщик на мостике всматривается в туманную даль. (На военном корабле «пассажиром» называется и моряк, если он не принадлежит к экипажу.) — Болтаешься без дела, не знаешь, куда приткнуться.

У Фрола руки чесались при каждом аврале, и он срывался с места при свисте боцманской дудки, но тут же, вспомнив, что он «пассажир», сконфуженно возвращался в кубрик. Он оживлялся только тогда, когда показывал корабль новичкам. Тут уж он удивлял даже выдавших виды матросов. Их канонерская лодка превращалась в грозный корабль, так расписывал Фрол ее вооружение и ее боевые подвиги. Экскурсии имели успех, потому что Фрол с увлечением рассказывал о боях в Ирбенском проливе, под Таллином, на Ханко, в Лиенае и тут же призывал в свидетели участников и очевидцев — Зубова и Пылаева.

Новички слушали Фрола охотно; они начали привыкать к «флотскому языку» и разбираться, что кухня на корабле именуется «камбузом», повар — «коком», матросское общежитие — «кубриком», порог — «комингсом», а пол — «палубой».

Конечно, трудно сразу освоиться с кораблем, и новички на «Десне» терялись.

— Никак не ориентируюсь, — огорчался Серегин, — идешь, какие-то кругом трубы, все гудит, а прямо перед тобою — дыра...

— Не дыра, а люк...

— Ну, люк и в нем — лестница...

— Трап.

— ...И неизвестно, куда попадешь...

— Ничего, во всем разбираться будешь.

— А звонки! Не пойму, что к чему. Почему звонят, куда бежать надо...

— Поживешь на корабле с месяц — поймешь, — уте-

шал Митю Фрол. — Давайте-ка, поиграем в «морской словарь».

Новички с увлечением играли в игру, изобретенную Фролом еще в Нахимовском. Надо было на вопрос «Дома у тебя — комната, а на корабле?» — отвечать правильно: «кубрик». За правильный ответ Фрол зачитывал очко.

Заходили к нам Вершинин и Глухов, и тотчас завязывались беседы.

Обнаружились те, которые, по словам Глухова, стремились стать офицерами флота, прельстившись лишь кортиком, золотыми погонами и красивой формой. Михаил Иванович Калинин говорил, что он мечтал в юности стать моряком и, подготавливаясь к суровой матросской жизни. А эти, еще не понюхав ни настоящего шторма, ни матросской работы, уже спасовали. Им флотская служба представлялась в виде этакой безмятежной идиллии: стоишь на мостике в белом кителе, кругом — тишь, благодать, придешь в порт — встречают с оркестром и ждут тебя развлечения и веселые встречи. Первое плавание на военном корабле, в тесном кубрике, вместо рисовавшейся воображению шикарной каюты, их разочаровало. Теперь они мечтали лишь об одном: как бы поскорее сбежать.

Кстати, их не задерживали и пообещали по возвращении в Ленинград списать из училища. В число этих «неудавшихся моряков» в первую очередь попал Кузин.

Пожалел я их? Нет. Трус не может стать моряком.

* * *

Однажды на рассвете мы увидели длинный мол, аванпорт, отделенный волнорезом от моря, лес мачт, дым заводов. Перед нами была Лиепая.

Заместитель командира «Десны» по политчасти нам рассказал: в дни войны, окружив город с суши, враг яростно атаковал немногочисленный гарнизон. Защитники города покинули Лиепая лишь по приказу командования, расстреляв все снаряды. Перед концом войны под Лиепай были зажаты в клещи тридцать гитлеровских дивизий. Наши торпедные катера, авиация и подводные лодки нападали на вражеский конвой, топили транспорты и лишали немцев возможности подвозить подкрепления.

«Десна» шла каналом среди песчаных берегов, мимо судов, отшвартовавшихся у причалов.

В этот же день мы побывали в городе. В торговом порту, недавно еще совершенно вымершем, нагружались и разгружались суда. Гудели краны, лебедки, грузчики поднимались по сходням. По улицам бегали маленькие трамваи, повсюду пестрели афиши кинотеатров. В парке у моря играла музыка.

Вечером мы в матросском клубе смотрели кино. А на рассвете «Десна» вышла в море.

Перед нами снова была широкая Балтика, та Балтика, над которой веет слава Гангута и многих других побед нашего флота... Здесь русские моряки били шведов, топили немецкие и английские корабли. А сколько подвигов здесь совершили наши моряки в Отечественную войну!

Я не мог оставаться равнодушным при виде зеленой волны, разбегавшейся перед острым носом «Десны». Соленые брызги летели в лицо — я не стирал их; я завидовал командиру, не сходявшему с мостика, огражденного толстым серым брезентом, завидовал штурману, сигнальщику, наблюдателю, каждому, кто отвечал за порученную ему работу и мог сказать, что в управлении кораблем есть частица его труда. Самое обидное — быть в море праздным, чувствовать, что за тебя отвечают другие. Ну, ничего, придет и мой день!

Вечером в кубрике «забывали козла». Фрол так лихо стучал костяшками, что, казалось, расколется стол. Фрол терпеть не мог ротозеев и, если партнер ошибался, веснушки у Фрола на лице багровели. Забив «сухую» противникам, Фрол не скрывал своего удовольствия; он великодушно предлагал отыграться. Бубенцов оказался умелым партнером, и они с Фролом побеждали даже Пылаева с Зубовым.

Закончив игру, выходили на палубу. Корабль шел в темноте, горели ходовые огни, за кормой светился пенный след, на мостике над освещенными приборами стоял командир корабля в клеенчатом блестящем плаще. Фрол вздыхал:

— И подумать только, мой Виталий Дмитриевич академию окончил! А-ка-де-мию! Сколько мне до него тянуться! Училище, практика, снова училище, потом — флот. И когда еще — академия!..

«Десна» взяла курс на Кронштадт. Мы шли по пути кораблей, уходивших из Таллина в 1941 году.

Пылаев рассказывал, как был спасен один из крейсеров: подводная лодка выпустила в крейсер торпеду. И один из эскадренных миноносцев заслонил собой крейсер.

— И погиб?

— Да.

— Командир эсминца поступил правильно, — решил Фрол. — Я бы тоже так сделал. Пусть пропал небольшой корабль, крейсер уцелел. И вы дошли до Кронштадта? — спросил он Гришу.

— Да. «Ловкий» тонул, но его добуксировали. И в блокаду стояли в Неве, во льду. Там мы...

Пылаев прервал на полуслове рассказ и ушел в кубрик.

— Вспоминать тяжело, — решил Фрол.

Вечером был самодеятельный концерт. Бубенцов разыграл «радиопередачу с небольшого узла», Илюша плясал, хором пели «Раскинулось море широко», я декламировал стихи Сергея Алымова, даже Платон, эта «маячная башня», изобразил «художественный свист», а Зубов с Пылаевым, выпросив у котельных машинистов их рабочее платье, разыграли смешную сценку.

Было весело и хотелось, чтобы плавание продолжалось еще много дней.

Но в училище начинались занятия. «Десна» взяла курс на Ленинград.

В годы гражданской войны на Ленинград (он тогда назывался Петроградом) шли армии, вооруженные иностранными империалистами. Кронштадту угрожали пушки английских кораблей.

Но молодая Советская Армия и Флот разбили всех врагов.

Гитлеровские генералы разработали план «Барбаросса»: они мечтали молниеносно захватить всю Прибалтику, Кронштадт, Ленинград и уничтожить Балтийский флот.

Генералы Гитлера просчитались. Они не учли, что в нашей армии и во флоте служат миллионы воспитанных партией и товарищем Сталиным Александров Матросовых, Никоновых и Кузнецовых...

И Балтийский флот снова стал хозяином всех своих баз, и неизбежно стоят Ленинград и Кронштадт...

Вдали заблестел золотой купол Исаакия. Перед нами — родной Ленинград!

Мы — дома. Теперь у нас новый дом — наше училище, и я убежден, мы полюбим его, как любили свое родное Нахимовское!

Часть вторая

ФЛОТСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Глава первая

СРЕДИ ТОВАРИЩЕЙ

Бывают, я думаю, не у меня одного, у каждого, дни, которые запоминаются на всю жизнь. Я не забуду день, когда меня принимали в комсомол. На душе было так светло и так радостно!

Запомнился первый выход на «Адмирале Нахимове» в море. Над кораблем висело горячее солнце, старый Константиновский рavelин сторожил выход из бухты. Море казалось огромным, золотым, розовым до самого горизонта; в жидком золоте весело кувыркались дельфины. «Нахимов» шел к незнакомым еще берегам; позади, на холмах, весь светился Севастополь.

А разве забудется день, когда, окончив Нахимовское, я получил аттестат зрелости?

И вот — самый волнующий день из всех пережитых: я стою в строю рядом с Фролом в «зале героев». Солнце широкими полосами лежит на паркете. Взвод старших курсантов торжественно вносит знамя. На этом знамени наши предшественники клялись, что умрут или вернутся с победой. Они уходили на флот, воевали и выполняли данную клятву.

Клянусь и я, сын трудового народа, стать смелым, честным, дисциплинированным и мужественным моряком. Мой голос дрожит, но разве без волнения можно говорить о любви к Родине, обещать на всю жизнь быть ей верным и преданным сыном?

* * *

Рано утром — подъем, пробежка по снежку во дворе, приборка коек и кубриков, завтрак, потом занятия до обеда. Обед в большом зале. Опять занятия — в классах, в аудиториях, в кабинетах, уроки плавания, по вечерам — концерты, лекции, встречи с бывшими воспитанниками училища — ныне прославленными в боях офицерами. Это традиция — через год, два или через пять лет притти в родное училище, взглянуть на знакомые стены, на бронзовых флотоводцев, сесть за свой стол в своем классе, обнять «старожилов», побеседовать по душам с подрастающей сменой...

* * *

Наш веселый командир роты сказал, обращаясь ко всем, но с хитринкой поглядывая на Бориса Алехина:

— Среди вас, я слышал, ходит теорийка, что мы для нахимовцев создадим какие-то особенные «условия», облегчим им прохождение службы в училище. Ничего подобного, заверяю, не будет. В училище — все равны, вы все курсанты первого курса, и ни ордена, ни медали, ни то, что кто-либо из вас воевал или пришел сюда из Нахимовского, не может служить поводом для каких-либо поблажек. Только отличная успеваемость и дисциплинированность, забота о сохранении исторических, боевых традиций училища могут выделить того или иного курсанта на первое место. Вы меня поняли?

Разумеется, никто не возразил Костромскому, да и возражать было нечего.

Однако нелегко нам, старослужащим и нахимовцам, привыкать к тому, что мы снова стали младшими; мы обязаны первыми приветствовать курсантов четвертого курса, уступать им в коридорах дорогу, в училищной парикмахерской — очередь, в концертном зале — лучшие места. Фрол с ума сходил, от такой, по его мнению, вопиющей несправедливости. Мы, первокурсники, выгружаем картофель, дрова, убираем снег, заваливший двор... Разум

подсказывает: «Так и должно быть, четвертокурсники — без году офицеры»; ведь предупреждал Николай Николаевич, что ущемленное самолюбие придется спрятать в карман.

* * *

Старшина класса Фрол наводит порядок, заставляет аккуратно прибирать в кабинетах пособия и приборы, держать книги и тетради всегда под рукой, каждому вменяется в обязанность следить за своим «рабочим местом». Помня разговор с Глуховым, стараюсь поддерживать авторитет старшины класса, помогать ему...

Не всем доставляет удовольствие убирать во дворах снег, и кое-кто пытается увильнуть от авралов. Актив — Игнат, Илюша, Ростислав, Митя вытаскивают ловкачей из укромных местечек, Фрол каждому вручает лопату и задает урок. Недовольно ворча, они разгребают снег. Один из лодырей все же пытается увильнуть: просит, чтобы его отпустили попить.

— С холода воду пить вредно; закончим — чаю попьете, — решает Фрол.

— У меня поясницу ломит, — жалуется другой.

— Кончим — пойдете к врачу.

И Фрол докладывает командиру роты:

— Весь класс на работе.

На другой день комсомольцы горячо осуждают лодырей.

На собрание приходит капитан третьего ранга Кольцов, секретарь партийной организации курса. В своем выступлении он приводит слова Михаила Ивановича Калинина: «Каждый советский молодой человек должен ценить физический труд и не избегать самой простой работы. Кто из вас приучится к физическому труду, будет лучше знать жизнь, кто будет уметь делать для себя, по крайней мере, самое необходимое, — стирать и чинить белье, готовить пищу, содержать в чистоте комнату и т. д., — кто будет знать хотя бы какое-нибудь ремесло, тот, будьте уверены, никогда не пропадет».

— Какие же выйдут из вас моряки, если вы чураетесь черной работы? — спрашивает Игнат. — Что вы запоете на корабле, когда вам придется стоять в котельном отделении вахты, драить палубу и медяшку? Матросы будут смеяться над вами, называть белоручками, это

будущих офицеров флота! Нет, друзья, так не годится. Я, например, отказываюсь считать своими товарищами тех, кто подводит весь класс...

От последующего аврала увиливают лишь двое. Их все же разыскивают. Весь класс перестает разговаривать с ними. На другой день класс выходит на аврал в полном составе...

Фрол доволен — результат налицо.

* * *

— Высшая математика, — чешет карандашом за ухом Фрол. — Засела она у меня в печенках, эта высшая математика. А ведь без математики — в морских науках не разберешься.

— Да, Фролушка, морские науки все на математике держатся...

Он разводит руками, отходит к столу и садится решать задачу, зажав уши пальцами. Илюша спрашивает:

— Скажи, пожалуйста, Кит, тебе трудно?

— Да, нелегко.

— А я думал, мне одному трудно, — веселеет Илюша. — Молчу, никому не рассказываю, боялся — смеяться будут...

Подходит Серегин.

— Никита, — говорит Митя, — я бы мог помочь, кому трудно...

— Да, я знаю, Митя, тебе математика дается легко. Почему?

— Когда я еще в школе учился, спрашиваю раз брата-студента: «математика моряку нужна?» А он отвечает: «без нее — моряком не станешь». Ну я и стал налегать. И, веришь или нет, обогнал старшего братца... Так вот, я хочу помочь друзьям. Но как им предложишь? Обидятся. Мучаются, а молчат, как Поприказвили, насмешек боятся. А по-моему, — трудно тебе приходится, чувствуешь, что не уверен в успехе, — это не только твое личное дело. Ведь наш класс и на курсе, и в роте — не первый. А как, Рындин, хочется, чтобы на нашей двери висела дощечка: «Лучший класс курса»! Нет, если каждый будет считать, что он только за себя отвечает, мы ничего не добьемся!

Неуспех класса волнует не одного только Митю. Секретарь партийной организации курса Кольцов долго

беседует со мной, как организовать товарищескую помощь отстающим. Я прихожу к товарищам. Игнат предлагает: «Надо Живцову помочь: будет совсем неприлично, если старшина получит по математике двойку. Но он — парень гордый, может обидеться. Тут нужна дипломатия. А Зубову? Он старше нас и на корабле сам мог обучить любого. А теперь ему труднее других. Надо помочь и Зубову».

— А Пылаеву?—говорит Ростислав.—Притти прямо из котельного отделения в высшее военно-морское училище—это шутка, по-твоему? Но как не задеть самолюбия?

— Ну, что ж? Быть, Никита, тебе дипломатом! — заключает Игнат.

С Фролом моя дипломатия сразу терпит крах.

— Ты к чему клонишь?—спрашивает Фрол.—«Честь класса, класс должен выйти на первое место», я все это и без тебя знаю, Кит. Боишься, что нахватаю двоек? И я боюсь,—говорит он со свойственной ему прямотой.—Но ведь ты сам, Кит, по-моему, не слишком силен в математике.

— Не силен, Фрол. Я себя и не предлагаю.

— Кого же тогда?

— Серегина.

— Митю? Вот это здорово!

Фрол ударяет себя ладонями по коленям. Давно ли Митя сам просил Фрола помочь ему освоиться с морскими порядками?

— В порядке, так сказать, обмена знаниями и опытом? А Серегин почему силен в математике?

Я рассказываю про брата-студента и говорю, что Митя предлагает помощь от чистого сердца.

— Ну, раз от чистого сердца, давай его сюда.

Командир роты, который в курсе всех комсомольских дел, видя, как Игнат, Митя и Ростислав по вечерам занимаются математикой с отстающими, говорит удовлетворенно:

— Вот это по-комсомольски!

Двоек по математике нет.

* * *

Тем обиднее, что первые двойки получены по любимому нашему предмету — военно-морской истории — и ставит их наш любимец—историк, капитан первого ранга

Рукавишников, заслуженный старый моряк, с лоснящейся чисто выбритой головой и с черными мохнатыми бровями. Он с негодованием обрушивается на зарубежных морских историков, много лет пытавшихся доказать, что Россия — сухопутная держава.

— Ложь, ложь, трижды ложь! — восклицает густым басом историк. — Еще в глубокой древности народ наш стремился к морю и осваивал морские пути. Наши предки в далеком прошлом ходили в Баренцовом море, открывали новые земли и неведомые моря. Кто открыл и освоил Алеутские острова? Русские. Кто первый из всех европейцев прошел морским проливом между Азией и Америкой? Русский, Семен Дежнев. Кто еще в шестнадцатом веке вступил в бой со шведами, считавшимися отличными моряками? Русские.

Еще до Петра русский флот вышел в море. Корабли строились русскими руками и вооружались пушками русского литья. Кто командовал кораблями? Коренные русские моряки!

— Флот не может быть главенствующей, самодевялюющей силой, — продолжает Рукавишников, — но, как говорил флотоводец Петр, флот был второй рукой государства, в то время, как армия была его первой рукой. И флот совершал славные дела: вспомните Чесму, куда пришли русские корабли, обойдя всю Европу; вспомните Корфу, когда великий Суворов, поздравляя Ушакова, воскликнул:

«Ура русскому флоту! Зачем я не был при Корфу, хотя бы мичманом?»

Да, мы морская держава. Наши моряки шли в неведомые доселе моря, открывали новые земли — и все это не во имя захватнической колониальной политики, а во имя науки!

Когда на нас напал Гитлер, — продолжает преподаватель, — планы германских стратегов провалились полностью не только на суше, но и на море. Вспомним слова великого Сталина, сказанные после нашей победы: «В период обороны и наступления Красной Армии наш флот надёжно прикрывал фланги Красной Армии, упоравшиеся в море, наносил серьезные удары по торговому флоту и судоходству противника и обеспечил бесперебойное действие своих коммуникаций. Боевая деятельность советских моряков отличалась беззаветной стой-

костью и мужеством, высокой боевой активностью и воинским мастерством. Моряки подводных лодок, надводных кораблей, морские лётчики, артиллеристы и пехотинцы восприняли и развили всё ценное из вековых традиций русского флота.

На Балтийском, Чёрном и Баренцовом морях, на Волге, Дунае и Днепре советские моряки за четыре года войны вписали новые страницы в книгу русской морской славы. Флот до конца выполнил свой долг перед Советской Родиной». Повторите, о чем я рассказывал, Алехин.

Преподаватель застаёт Бориса врасплох; Борис смотрит на него непонимающим взглядом и несёт околесицу.

Как видно, голова его в этот день занята совсем не военно-морской историей! До сих пор он, Борис, весельчак, душа класса и кубрика, схватывал все на лету, отвечал преподавателям на любой вопрос без запинки. Заняв стол на «камчатке» и взяв в соседи Платона, он забавлял класс, очень метко и зло копируя старшину роты Мыльниковца — курсанта четвертого курса, самоуверенного человека с жестким лицом, разговаривавшего со всеми безапелляционным тоном и всячески подчеркивавшего свое превосходство. Старшина был придирчив и сплошь да рядом накладывал несправедливо взыскания. Поэтому шаржи Бориса пользовались успехом. Однако Борис переоценил свои способности, неаккуратно вел запись лекций. И вот теперь — двойка! Фрол свирепеет:

— Двойками класс мне пачкаешь? — набрасывается он на Бориса. — Ты мне класс не уродуй! Расстегай!

Я подсовываю Фролу толковый словарь: «Расстегай — пирожок с открытой начинкой; другое значение — старинный распашной сарафан».

— Ну и что? Распахнулся, распустился, форменный расстегай! И потом... да нет, ты, Кит, погоди!

Фрол не остается в долгу. Сбегав в библиотеку, приносит словарь Даля и с торжеством показывает:

— Видал, что у Даля сказано? «Разгильдяй и неряха», вот что такое расстегай! Ну, погоди же, я их расскажу, разгильдяев!

Он приводит Мыльниковца и рассаживает друзей с «камчатки». Борис очутился между Игнатом и Илюшей, а Платон — между мной и Фролом.

Платон на «камчатке» зевал на лекциях, его выручал Борис, подсказывавший так артистически, что самый придирчивый преподаватель не рискнул бы его обвинить в подсказывании. Теперь мне понятно, каким образом Платон не срезался на выпускных экзаменах в Нахимовском. Зевающий, сонный сосед — удовольствие небольшое. Фрол то и дело приводит его на лекциях в чувство, больно тыча в бок острием карандаша. Когда вызывают Платона, пальцы его умоляюще дергаются: «помоги, подскажи!». Он ждет шпаргалку, а получает чернильницу, сунутую в просящую руку Фролом... Платон перестает надеяться на подсказку, но не становится внимательнее на лекциях.

Фрол из себя выходит: «удивляюсь, как эту маячную башню еще из Нахимовского не выкинули! Весь мне класс портит».

Я напоминаю:

— В Нахимовском не таких, как Платон, исправляли — вспомни Олега Авдеенко.

— Что ты мне говоришь — Авдеенко? Олегу было тринадцать лет, а этому бездельнику — восемнадцать. И он, как и все, принимал присягу, клялся быть умелым и дисциплинированным моряком. Выходит, для него эти слова ничего не значат? Исключить его из комсомола!

В своих суждениях о людях Фрол прямолинеен, белое для него — белое, а черное — черное.

— Ты хочешь походить на Вершинина, — говорю я ему, — а Вершинин никогда бы не сказал сразу: «выгнать его из училища». Он бы сначала разобрался в человеке...

— Да разве Платон — человек?

Фрола не переспоришь. Далеко ему еще до Вершинина! Вершинин ни разу еще не повысил ни на кого голоса, Фрол же отчитывает провинившихся обидными словами и так громко, что слышно повсюду. У Вершинина, если он даже огорчен неудачами класса, лицо остается невозмутимым, по Фролу же сразу видно, что он раздражен: глаза и уши наливаются кровью, а веснушки сливаются в багровые пятна.

Если класс выйдет на первое место не только на курсе, в училище, — Вершинин, пожалуй, и глазом не моргнет. Фрол же при каждом успехе класса сияет и всегда готов обнять и расцеловать товарища, поступившего, как Фрол

говорит, «по-флотски». Он старается копировать походку, манеры Вершинина, его спокойную уверенность в том, что на курсе все будет в порядке; это удается до той поры, пока Фрол не заметит беспорядка. Тут он вскипает и становится тем Фролом Живцовым, которого я так хорошо знаю!

* * *

На вечерней поверке командир роты говорит огорченно: — Полученную кем-либо из вас двойку я принимаю, как личное оскорбление. Значит, я не сумел воспитать из вас настоящих знающих моряков. А ведь вы комсомольцы, товарищи!

Эти слова адресованы комсомольской организации роты и, в первую очередь, мне.

Но что поделать с Платоном, если его голова забита совсем не ученьем? Помогай ему, занимайся с ним, прорабатывай его в стихах и прозе в ротной газете «Вымпел»—лентяй остается лентяем, который заботится лишь об увольнении в воскресенье!

Глухов прав: только недалекий человек, видя перед собой в классе три десятка людей, одетых в одинаковые фланелевки, может стричь их под одну гребенку. Разве похож Платон на Игната? Игнат—целеустремленный, вдумчивый человек; я не сомневаюсь, что лейтенантом буду читать его статьи в «Морском сборнике». Он все вечера проводит в библиотеке, увлекается военно-морской историей, особенно обороной Севастополя во время последней войны, собирает разрозненные материалы, делает выписки. От него не отстают и Пылаев. Они в библиотеке занимаются вместе, хотя у Пылаева больше времени, чем у Игната, уходит на подготовку к лекциям. Но я не удивлюсь, если под ученым трудом увижу подпись недавнего котельного машиниста. Он, как Игнат, поставил перед собой цель—стать не только знающим морским офицером, но и ученым. Ясна цель жизни для Мити Серегина, для Крамского, Илюши и Фрола. С какой уверенностью говорит Зубов о том, что вернется на тральщики, чтобы отыскивать ненайденные мины, расчищать широкие морские дороги. «Это почетный труд, — говорит Зубов, — ведь каждая выловленная мина—это сотни спасенных человеческих жизней. Думаю, я специальность правильно выбрал». А вот Борис

о чем думает? У него ветер в голове дует, и этот ветер не доведет до добра. «Одни девчонки у него на уме!»—злится Фрол. А Бубенцов? В середине зимы он вдруг вслед за Борисом Алехиным и Платоном одарил класс тремя двойками. А ведь учился отлично, опережал многих, шел на пятерках и, глядя на него, сердце радовалось. И вот — поворот на сто восемьдесят градусов!

«Что он за человек?»—думал я, когда Фрол со свойственной ему горячностью окрестил Бубенцова — «дрянь». Я не мог согласиться с Фролом. Бубенцов добровольно пришел в училище, хотя в Харькове он порядочно зарабатывал и никто не стеснял его свободу: делай, что хочешь. Он подтянут, на нем—все в исправности, нарушенный формы одежды нет. На Невском на него, наверное, и девицы заглядываются. Но на сердце у него — неспокойно. Во время лекции вдруг задумается, смотрит в окно на замерзшие крыши и не сразу откликнется на вызов преподавателя. А потом плетет несусветную чушь.

Опять вспоминаются слова Глухова: «У каждого есть свои интересы за стенами училища». Какие интересы у Бубенцова? Куда он ходит по воскресеньям? У него нет родных в Ленинграде, его мать живет в Сумах, на Украине. Случайные знакомства? Но Вершинин и Глухов не раз предупреждали нас об опасности неосмотрительных знакомств. Бубенцов пренебрег их предупреждениями!

Я должен уметь разобраться во всем этом. Ведь через три года я выйду на флот и мне будут доверены люди. Смогу ли я помочь им в беде, утешить, подбодрить при неудачах, помочь подняться на ноги, если оступятся? Сумею ли я заслужить доверие матросов, которые пойдут со мной в плавание, а может быть—в бой, и буду ли я у них пользоваться таким же авторитетом, каким пользуются Серго, Русьев, мой отец? Именно здесь, в училище я должен научиться разбираться в людях, как в них разбирается Глухов. Теперь я понимаю Протасова: он всегда бывал озабочен, распуская класс на воскресенье, беспокоился, как бы с его питомцами чего не случилось.

Почему после каждого увольнения Бубенцов бывает мрачен, как туча?

Я спросил его:

— Ты нездоров?

— Нет, здоров.

— Дома все благополучно?

— Да, благополучно.

— Мать пишет?

— Пишет.

— Какие-нибудь неприятности, Аркадий?

— Почему тебе кажется, что у меня неприятности?

— Я вижу, ты озабочен.

— Да нет,—вдохнул он,—все в порядке, Никита.

— Ну, смотри...

На том и кончился разговор.

* * *

По совету Глухова и Кольцова на комсомольском собрании был поставлен вопрос о моральном облике курсанта. Командир роты говорил о традициях училища, о том, каким должен быть будущий офицер.

Он напомнил о первых советских курсантах: матросы—бойцы революции—пришли с кораблей в нетопленное, пустое здание. Их послала учиться партия—молодому советскому флоту были нужны свои командные кадры. По вечерам курсанты собирались в единственном теплом месте—кипятильнике и при свете коптилки готовились к лекциям. Впоследствии они стали опытными командирами флота.

Напомнил Костромской и о первом комсомольском наборе. Многие из пришедших на флот комсомольцев—уже адмиралы.

Он рассказал о питомцах училища—героях Отечественной войны. Они не только сами воевали умело и самоотверженно—они воспитали матросов, совершавших великие подвиги. Могли бы они это сделать, если бы сами не были настоящими коммунистами?—задал вопрос Костромской.—Конечно, нет. Настоящий коммунист—только тот, кто в труде и в учебе отдает все свои силы на общее дело..

— Я хочу, чтобы вы меня поняли,—продолжал Костромской.—Вы все стремитесь стать настоящими коммунистами. Вы будете воспитателями матросов. Огляни-

тесь на себя и спросите: а могу ли я быть для матроса примером? Достаточно ли я вырос, чтобы повести его за собой? Умею ли я любить человека? Друг молодежи, Михаил Иванович Калинин говорил, что если любишь людей, жить лучше и веселее, потому что хуже всех в мире живет человеконенавистник. Ответите себе на этот вопрос, отвечайте на другие: честен ли я, храбр ли я, люблю ли я труд? Все это—основные качества нового человека, настоящего коммуниста. Я думаю, именно здесь, в училище, вы сможете стать такими людьми. Вы должны добиваться, чтобы вас уважали. Матрос не будет уважать бестактного, грубого офицера; не будет уважать и офицера с узким кругозором. К сожалению, у нас есть товарищи, которые не хотят стать культурными людьми. Они мало читают и мало знают, сыплют словечками, засоряющими русский язык, язык Пушкина и Толстого. Нужно этим товарищам побольше читать, посещать литературные вечера и музыкальные лекции—далеко ходить не надо, концертный зал училища рядом, почти за стеною класса. Политотдел училища приглашает лучших лекторов, артистов и музыкантов...

— Разве музыка—тема сегодняшнего собрания?— послышалось из угла.

— Да, и музыка—тема сегодняшнего собрания,—отпарировал Костромской.—Музыку любил Ленин, любит и ценит ее товарищ Сталин. Бывая в филармонии, вы видели адмиралов и генералов, академиков и ученых. Они заняты больше нас и все же выкраивают два-три часа, чтобы послушать Чайковского и Рахманинова...

...Вы должны стать высококультурными людьми, должны стремиться вперед и вперед. Опять вспомним слова Калинина, обращенные к воспитателям: «если бы это было в моих силах, я бы заставил вас минимум пять часов в день читать литературу (художественную, по разным вопросам искусства, науки и техники и т. д.), чтобы вы были грамотными, культурными, образованными...»

...Вчера передавали по радио,—продолжал командир роты,—концерт по заявкам. Матросы и старшины просили исполнить,—я нарочно записал,—Чайковского, Бородина, Грига и первый концерт Мендельсона для скрипки с оркестром; скажите откровенно, многие ли

из вас слышали эти имена? Вот Лузгин, как всегда, улыбается. Я уверен, что он убежден: Мендельсон—составитель математического учебника...

— Зато Лузгин не ошибется в голкипере и защите,—подал реплику Серегин.

— Футбол хорошая вещь, но если весь круг твоих интересов заключается в футболе и радиопередаче со стадиона, значит внутренний мир твой весьма ограничен. Михаил Иванович Калинин говорил, что спорт—хорошее дело, он укрепляет человека, но превращать его в самоцель не годится. Человек должен быть все-сторонне развит, должен уметь хорошо бегать, плавать, быстро и красиво ходить, словом, быть нормальным и здоровым человеком, готовым к труду, к обороне. Параллельно всем физическим качествам должны правильно развиваться и умственные качества... Я лично, — горячо продолжал Костромской, — не уважаю нелюбопытных людей. Любя свою Родину, стремишься узнать ее как можно полнее. А если, приехав в город, в котором собрано столько сокровищ, что их не осмотришь и за год, ты знаешь лишь стадион, кино да свое училище—ты недалекий и ограниченный человек. А ни курсант, ни, тем более, офицер флота не имеет права быть ограниченным человеком. Он должен расширять свой кругозор, много читать, да, как можно больше читать, не отговариваясь, что у него нет свободного времени! Подумайте, как будет стыдно тому, кто, придя на флот, не будет знать классиков, не сможет дать матросу совет, что читать из современной литературы. Я утверждаю, что многие из вас не только не знают до сих пор все произведения, отмеченные Сталинскими премиями, но и забыли классиков, которых прочли в средней школе...

— Это вы правильно,—подтвердил Фрол.

— ...А разговоры о девушках!—развел Костромской руками.—Фамилий курсантов не называю. Но этим товарищам я советую прочитать внимательно «Молодую гвардию»,—и они поймут, какой настоящей любовью и дружбой были проникнуты взаимоотношения юношей и девушек краснодонцев...

Доклад Костромского задел за живое. Многие выступали. Осуждали жаргон, на котором объясняются некоторые, грубое отношение к товарищам, к девушкам.

— ...Говоря о моральном облике офицера флота,— сказал Игнат,—невольно обращаешься к самому себе и спрашиваешь: сумеешь ли ты овладеть искусством воспитания, сумеешь ли воспитать матросов в духе беззаветной борьбы за коммунизм? Товарищ капитан-лейтенант напомнил нам, что говорил воспитателям Михаил Иванович Калинин. Вспомню и я. Михаил Иванович говорил, что воспитатель влияет на воспитуемых всем своим поведением, всем своим образом жизни. Мы должны не только уметь разъяснить матросам все возникающие у них вопросы, но и быть для них образцом во всем. Ведь за нами будут следить сотни матросских глаз, с нас пример будут брать, понимаете? И вот я задаю себе вопрос за вопросом: можно ли с меня брать пример или нет? Воспитанный ли я человек? Чехов говорил, что воспитанные люди уважают человеческую личность, товарищей, с которыми живут вместе. А уважают ли товарищей те, которые, вернувшись с берега поздно, горланят в кубрике, мешая остальным спать? Уважают ли человеческую личность те, которые, громко стуча, рассаживаются в зале, когда уже начался концерт, мешая артистам читать или петь, а товарищам— слушать?

...Мы часто обижаемся,—продолжал он,—что студентки, приходя в училище на вечер, предпочитают нам старшекурсников. А может быть, потому и предпочитают, что мы еще неотесаны, не умеем обращаться с гостями? Студентки хотят не только потанцевать, но и поговорить с разносторонне образованными будущими офицерами флота.

— Чехов говорил, — продолжал Игнат, — что воспитанные люди боятся лжи, как огня, не лгут даже в пустяках, не рисуются, не пускают пыль в глаза. Это относится к любителям «травли», которая часто переходит в глупую и ненужную ложь... « И чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, в которую ты попадешь,— говорил Чехов, — нужны непрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля... Тут дорог каждый час». Возьмем Бубенцова. Что он делает в городе? Стараются расширить свой кругозор, посещать музеи, театры? Нет. Он предпочитает бесцельно разбазаривать свободные часы. И тебе нехватает, Аркадий, содержания, ты получаешь переводы от матери.

А ведь мать воспитала тебя без отца, она имеет право отдохнуть и рассчитывать на твою помощь. Уважаешь ли ты училище? Ценишь его традиции? Заботаешься ли о том, чтобы класс твой вышел на первое место? Тебе до этого дела нет. Если ты вылезает из двоек, то только затем, чтобы не остаться в воскресенье без берега! Тянет последнее с матери для удовлетворения своих прихотей, забывает о своем долге по отношению к товарищам, к классу, к училищу — вот вам моральный облик человека, который надеется стать офицером флота. Боюсь, что этого не случится и никогда ты, Аркадий, не войдешь к матери с кортиком, в золотых погонах!

— Правильно! — слышались голоса.

Игната поддержал Ростислав, который, говоря о товарищеской спайке, о дружбе, закончил свое выступление такими словами:

— Во время войны несколько морских пехотинцев оборонялись в дзоте; командир им сказал: «Помните, мы здесь, как на корабле! Чтоб никаких пререканий и раздоров, чтобы каждый мог чувствовать рядом с собой друга, готового помочь в трудную минуту. Тогда нам ничто не страшно!»

Так давайте же и мы жить, как на корабле!

* * *

В воскресенье Игнат предложил сходить к Лузгиным; я позвал с собой Фрола.

— К старику? С удовольствием! — согласился Фрол.

Платон привел нас на одну из линий Васильевского острова. Вадим Платонович, опираясь на палку, сам открыл дверь.

— Ну вот и хорошо, что пришли. Люблю молодежь, — сказал он. — Платон, пришел, наконец! — обратился он к сыну. — Все воскресенье пропадает, домой глаз не кажет. (Куда же его носило? Неувольнение Платон имел только одно.)

— Прошу вас, прошу, — приглашал нас Вадим Платонович.

Капитан первого ранга провел нас через столовую в кабинет. Повсюду — на письменном столе, верстаке, столиках, полках — стояли модели фрегатов, корветов, крейсеров. Заметив, что мы заинтересовались большим

портретом молодого флотского офицера, Вадим Платонович сказал:

— Мой старший. Курсантом защищал Таллин, у памятника «Русалке». Потом командовал катером. Погиб в море...

Старик тяжело вздохнул и перевел разговор на другое:

— Прошу знакомиться с моим хозяйством. Увенчанные славой корабли русского флота: «Азов», «Меркурий», «Паллада», «Стерегуший», «Аврора», «Киров»...

Миниатюрные двойники кораблей были до мельчайших деталей похожи на оригиналы. На «Кирове» даже мелькал огонек на клотике и в иллюминаторах горели огни.

— Трогайте, трогайте, разрешается,— подбодрил нас Вадим Платонович.— Пробовал приучать Платона. Нерадив, ленив, неспособен. Я же этим мастерством с молодости занимаюсь. Вот и пригодилось; ведь больше никогда не бывать мне в море...

Я заметил, что левая рука у Вадима Платоновича скрючена и он ею еле владеет. Сколько надо иметь силы воли, чтобы одной рукой оснастить модель фрегата, выточить вращающееся орудие крейсера! Вадим Платонович бросил на меня быстрый и внимательный взгляд.

— Да-с, молодые люди, я не сдаюсь. Как видите, не теряю ни минуты, ни часа. Не на одном операционном столе лежал, а все не сгибаюсь. А почему? Да потому, что я знаю, что я еще нужен,— показал он на стол и на полки.—Что бы делал такой, как я, отставной моряк в другой стране,— где-нибудь, скажем, за океаном? Просил бы милостыню, да-с, молодые люди, просил бы. «Подайте бывшему моряку». Видел я. на западе, как ветераны двух войн, в орденах, стоят с коробкой спичек в руке на углу. Спичек никто не берет, все знают, что коробка существует лишь для отвода глаз. Нищенствовать запрещено, торговать — можно. И ждет моряк, когда подадут. Нет у него ни квартиры, ни работы, ни пенсии, ни надежд. Я же, хотя и стар, и сердце пошаливает, чорт бы его подрал, полон надежд на будущее. Поглядите мой план работы!

Он раскрыл альбом и стал показывать нам рисунки. Из дерева, полотна и меди он создаст новые модели для музеев и для домов флота.

Вадим Платонович, ловко управляясь здоровой рукой, показал, как движутся орудия в броне-вых башнях модели. Игнат со знанием дела принялся обсуждать с капитаном первого ранга мельчайшие детали. Они даже немного поспорили, после чего Вадим Платонович сказал: «А ведь вы правы, Игнат. Надо будет пересмотреть, переделать. Удивляюсь, как я сам не заметил». Потом они пустились в дискуссию о пловучести корабля, и тут Игнат тоже оказался знающим собеседником. «Когда он успел со всем ознакомиться? — думал я. — А впрочем, Игнат не вылезает из библиотеки и Военно-морского музея».

— Товарищ капитан первого ранга, — спросил Фрол, — вы разрешите приходить помогать вам?

— А я и сам справляюсь, — подозрительно, словно боясь жалости к своему неполноценному телу, ответил Вадим Платонович. — Вот, если вы хотите поучиться, попрактиковаться...

— Да ведь я этого и хочу! — горячо воскликнул Фрол. — Я, товарищ капитан первого ранга, еще с капитаном первого ранга Горичем...

— С Зиновием Федоровичем?..

— Так точно... Мы с ним даже корветы строили. Конечно, не такие, как вы...

— Но, но, не привыкайте к подхалимству!

— Я не из подхалимства, — возмутился Фрол. — Как вы могли подумать?

— Знаю, знаю, — улыбаясь, потрепал Вадим Платонович Фрола по плечу. — Понравились мои кораблики?

— Да еще как!

— Очень рад! Да-с, очень рад! Приходите, прошу, приходите! Все это в жизни моряку пригодится. А за Платошей моим, вас прошу, присматривайте, да в случае чего — головомойку ему! И покрепче этак, покомсомольски, только это ему и поможет! Лоботряс! — вздохнул он, но посмотрел на своего нескладного сына с любовью. — Тот был другой, — взглянул старик на портрет. — Серьезный, вдумчивый, напористый, весь в деда, Платона Петровича. Дед-то Платона матросом был. Вы тоже из морской семьи, Рындин?

— Так точно.

— А ведь мы не в училище и не на корабле, — «так

точно». И, кстати, тут я вам не капитан первого ранга, а Вадим Платонович. Прошу к столу.

Мать Платона — Вера Петровна, пожилая полная седоволосая женщина с усталым лицом, учительница одной из школ на Васильевском, разливала чай. Вадим Платонович занимал нас рассказами. Он ничего не сказал о том, как был ранен. Но мы знали, что капитан первого ранга пострадал, кинувшись к погибавшим товарищам, когда подводные пираты обстреливали спешивших на помощь балтийцев из орудий и пулеметов.

— Платон, звонят, отопри!

В столовую вошла дочь нашего адмирала. Розовощекая, оживленная, Люда поцеловала Веру Петровну: «Здравствуйте, Вера Петровна, очень рада вас видеть»; Вадима Платоновича: «Папа соскучился, дядя Вадим, и хочет, чтобы вы зашли», — чмокнула Платошу и, взглянув на нас, выскочивших из-за стола, воскликнула радостно:

— Знакомые! Никита Рындин, не так ли? А вы — Фрол Живцов.

— Садись, Люда, чай пить, — предложила Вера Петровна.

— Некогда, Вера Петровна! У меня, — взглянула она на крохотные часики на руке, — через полтора часа генеральная репетиция. На спектакль придете?

— Обязательно, — пообещал Вадим Платонович. — Как же не поглядеть на будущую Савину?

— А я вовсе не Савина, не Ермолова, не Комиссаржевская. Дядя Вадим, не нужно смеяться надо мной. Я средняя актриса, но мне очень хочется быть очень хорошей актрисой. Даже больше того: превосходной актрисой, чтобы никто не мог меня упрекнуть, что я зря училась.

Мне всегда думалось, что актеры — необыкновенные люди, одаренные от рождения талантом. А оказывается, мы учимся, и они учатся; и они, как и мы, добиваются, чтобы государство не напрасно на них затратило деньги.

— Приходите в театр, — пригласила нас Люда.

— Когда?

— В следующее воскресенье.

— Я — на футбол, мне в театр некогда, — пробурчал Платон.

— Одному некогда. Что скажут другие?

— Мы придем,—решил Фрол.—А что мы увидим?

— «За тех, кто в море».

— Придем обязательно!

Она попросалась и убежала. Мы тоже стали собираться домой. Мама давно ждала нас на Кировском.

— Приходите, — приглашал нас на прощанье Вадим Платонович. — Я очень рад, что у моего Платона завелись, наконец, настоящие друзья (если б он знал, что мы не считаем себя друзьями Платона!). А то завел себе какую-то компанию, пропадает по воскресеньям, домой не заходит и, я боюсь, нахватает двоек.

— Подумаешь, нахватает! Всего две двойки и получил, — беспечно сказал Платоша.

Вадим Платонович от негодования побледнел:

— Да как же тебе не стыдно, Платон? Твой брат окончил училище в первом десятке, а ты не успел поступить — и уже...

Он огорченно махнул рукой.

— Не ожидал! Принес мне воскресный сюрприз!

Он попытался нам улыбнуться, но какая жалкая получилась улыбка!

— Не обращайтесь внимания, молодежь. Идите, веселитесь и не забывайте меня, старика.

— Будь у меня такой батя, — сказал Фрол, когда мы вышли на улицу, — я бы под землю скорее провалился, чем его двойками огорчать. Под землю, под землю! — повторил он. — И в кого Платон уродился?

— Ты будешь ходить к Вадиму Платоновичу, Фрол? — поинтересовался Игнат.

— Разумеется! А скажи, Игнат, где, по-твоему, бывает Платон? Ты слышал, старик говорил — по воскресеньям домой не приходит, пропадает в какой-то компании?

— По-моему, эта компания — Бубенцов.

— Бубенцов, думаешь? Ну, погоди, разберемся.

* * *

— Я так беспокоилась, — тревожно сказала мама, когда мы пришли на Кировский. — Хотела звонить в училище.

Кукушка прокуковала пять. Стол был накрыт, мама

ждала с двух часов, а я не потрудился предупредить, что иду к Вадиму Платоновичу.

— Мне казалось, что ты заболел и лежишь в лазарете или случилось что-нибудь страшное...

Фрол взглянул на меня укоризненно.

— Мы были у Лузгина, у товарища, — сказал я сконфуженно.

— Ну, и хорошо... Вот только боюсь, что обед простыл! Да, ты знаешь, Никитушка, — вспомнила мама, — я от папы письмо получила! Вот, прочти.

«Я днюю и ночую в море, — писал отец, — и вполне удовлетворен своей жизнью. Каждый день приносит новые радости. И где бы я ни был, Нишуша, везде ты со мной; так и кажется, что ты стоишь за моим плечом, когда я веду свой катер в ночной тьме...

«Как он любит ее», — подумал я. В письме не было нежных слов, но все оно, от первой и до последней строчки, дышало большой, настоящей любовью.

— Он фотографии прислал, Никиток, — сообщила мама. — Куда же я их задевала.

Она встала на стул и принялась искать на полке. Вдруг она охнула.

— Что с тобой? — подбежал я к ней.

— Тут... кольнуло, — она приложила руку пониже груди. — Ничего, Никиток, вот уже и прошло все.

На фотографии отец и Русьев стояли на пирсе.

— Придется, видно, все же ложиться в больницу, — вздохнула мама.

— Ты разве больна?

— Да уж давно все покалывает.

— А вы знаете, в Ленинграде есть знаменитый профессор? — назвал Фрол фамилию. — Сходите к нему, Нина Павловна.

— Я схожу. Врачи советуют оперироваться...

Она привычным движением отмахнула со лба мягкие, как шелк, волосы.

— А я так не люблю и боюсь операций...

— Папа знает, что ты больна?

— Нет, и ты ему не пиши! Может, все пустяки. Ну, зачем забивать ему голову? У него много забот и без нас. Ему надо работать, он испытывает новые катера, эти катера — его жизнь. А к профессору я схожу завтра же. Ой, ведь вы оба голодные! — спохватилась она.

Через минуту мама что-то напевала в кухне, а через десять минут угощала нас вкусным обедом.

— Ты знаешь, я ведь тоже сфотографировалась, — сказала мама после обеда. — Сейчас покажу.

На фотографии она была, как живая: смеющаяся, веселая.

— Одну я послала отцу, возьми другую себе, Никиток.

— Спасибо.

Фрол тут же смастерил рамку — он ведь мастер у меня на все руки, — и я повесил фотографию у себя над столом.

Вечером мы пошли в дом культуры на «Пигмалион». Мама была весела, без конца говорила о новой экспозиции в Русском музее, о выставке Шишкина и мечтала:

— А летом я получу отпуск и поеду к отцу. У вас ведь будет летняя практика, Никиток? Вот бы послали тебя на Черное море! Помнишь, как мы жили на Корабельной?

* * *

У Фрола в голове не укладывалось, что у такого прекрасного человека, как Вадим Платонович, может быть такой беспутный сын, который ничего, кроме огорчений, домой не приносит.

Когда Платон с Бубенцовым вернулись «с берега», мы лежали на койках. Платон прошел мимо, и на меня пахнуло чем-то спиртным.

«Так вот оно что? — подумал я. — Пьет!»

Фрол подошел к Платону. Тот даже не шевельнулся, а продолжал, думая о чем-то своем, сосредоточенно исследовать потолок.

— Ты о чем думаешь? — спросил Фрол.

— Ни о чем.

— Оно и видно, что ни о чем! А подумать бы следовало. И оглянуться бы вокруг не мешало. Оглянись и увидишь. Из кожи все лезут, чтобы не подводить класс. А ты...

— Ты за меня не волнуйся...

— Да я бы к тебе на сто шагов не подошел, пусть тебя из училища списывают, чище воздух бы был, да

что узнал я твоего батю. Серьезно тебе говорю, Платон: за батю я тебе помогать согласен.

Платон что-то промывчал.

— Нет, не подсказкой, на это ты не рассчитывай! А заниматься вместе по вечерам станем. Молчишь? Ох, трудно мне с тобой! Подумай, Лузгин, какие прекрасные люди с флота пришли, чтобы таких, как ты, моряками сделать. Возьми нашего адмирала. Сладко слышать ему, что Платон двойками портит класс? Он отца Никиты воспитывал да моего Виталия Дмитриевича; они его иначе, как «папашей», не называют. А смеешь ли ты отцом назвать адмирала? От тебя и родной отец скоро откажется!

— Да что ты ко мне привязался?

— Я тебе втолковать хочу, — не отставал от Платона Фрол, — возьми Вершинина, Глухова, возьми ты нашего командира роты — кораблями командовали, крошили врага почему зря, а ты им настроение портишь. Честное флотское, за тебя возьмусь!

— Ты что же, меня без берега оставлять будешь или в карцер посадишь?

— А вот увидишь, что я с тобой сделаю! — рявкнул Фрол.

— Старшина проводит воспитательную работу, — подал со своей койки насмешливую реплику Бубенцов.

— То, что Фрол говорил Лузгину, и тебе не мешает послушать, — откликнулся Игнат. — Стыдно вам! Для чего вы пришли в училище!

Все затихли.

Проснувшись ночью, я пошел пить. Бубенцов спал раскинувшись, широко раскрыв рот. Я нагнулся — и мне стало ясно, почему Бубенцов клянчит у всех «дополучки»!

Вдруг я заметил белый квадратик, лежавший на полу, возле койки. Я поднял записку. Угрызений совести я не чувствовал. Это затрагивало не чьи-либо личные интересы — интересы класса.

«Если опять надуешь, Аркадий, — было написано неровным, колючим почерком, — уверяю, что твое начальство узнает...»

Остальное было оторвано.

На другой день Бубенцов, опухший, невыспавшийся, получил за контрольную работу по навигации двойку.

«Навигатор», лысый, с висячими седыми усами и морщинистым румяным лицом капитан первого ранга Быков выпустил на флот не одно поколение штурманов. Добрейший человек, старавшийся прикрыть доброту напускной суровостью, он ходил между столами и заглядывал в карты, ворча:

— Тоните, тоните, я вас спасти не стану!

Но двойку поставил лишь Бубенцову.

В перерыв я спросил Платона:

— Ты был вчера с Бубенцовым?

— А уж это мое личное дело!

— Нет, Платон, это не твое личное дело. Ты комсомолец и должен отвечать за свои поступки. И потом — неужели тебе не жалко отца? Живцов говорит, он на твоём месте сквозь землю бы провалился. Отец у тебя какой!

— Хороший отец, — безразлично согласился Платон.

— Да вот сын никуда не годится! — вспыхнул я, не выдержав. — Ты ничтожество, которое во всем подчиняется Бубенцову!

— Ну, уж и подчиняется!

Платон глупо ухмыльнулся.

— Платон, твой отец...

Он повернулся спиной. Вот уж, действительно, «маячная башня»!

Бубенцова ловить не пришлось: «зверь», как говорится, бежит на «ловца».

— Рынди́н, у тебя тридцати рублей не найдется?

— Зачем тебе?

— Нужно.

— Ну, а все же — зачем?

— Говорю, нужно. Мать пришлет — сразу отдам.

— Тебе своих нехватает? Скажи, ну куда ты тра-тишь деньги? Ты у всех просишь в долг, тянешь с матери...

— Читаешь мораль?

— Ты ведешь себя недостойно.

— Почему?

— Из-за таких, как ты, класс не может выйти на первое место. Ты возвращаешься с берега с тяжелой го-

ловой, не можешь очухаться, ничего в понедельник не видишь, не слушаешь.

— Послушай, Рындин, мне очень нужно, выручи хотя бы на двадцатку. Когда-нибудь, не сейчас... я тебе расскажу.

— А сейчас рассказать не можешь?

— Не могу. Дашь мне денег?

— Нет, не дам.

Он ушел.

Фрол решительно заявил на бюро, что Бубенцову в комсомоле — не место. С ним соглашались, согласился и я.

Но и Глухов и секретарь партийной организации курса Кольцов, который внимательно слушал мой разговор с Глуховым, взглянули на дело иначе.

— Самое простое — исключить Бубенцова, — сказал Глухов. — А что вы этим докажете? Что комсомольская организация класса не умеет перевоспитать человека.

— Вы говорили с ним? — спросил секретарь партийной организации.

— С Бубенцовым? Не раз.

— Не помогло?

— Нет.

— Значит не сумели зацепить человека за сердце. Попробуем еще одно средство. Знаете, что я вам посоветую? Соберите актив и напишите письмо его матери...

Глухов кивнул головой, соглашаясь с Кольцовым, и разрешил мне идти.

* * *

Я захожу в наш «курсовой клуб», комнату политпросветработы. Здесь уютно, светло, на широких столах — сегодняшняя «Правда», «Комсомольская правда», «Красный Флот», «Огонек», «Крокодил» и свежий номер училищной газеты «Ворошиловец». Номер посвящен лучшему классу курса, к сожалению, не нашему классу! Игнат делает выписки из «Морского сборника» и «Красного Флота», Гриша Пылаев сосредоточенно читает какую-то толстую книгу, Фрол с Илюшей играют в шахматы. Беру «Ворошиловец» и читаю передовую: «Чтя традиции прошлого, мы не имеем права забывать о задачах, стоящих сегодня перед каждым советским

человеком, перед каждым моряком. Они неизмеримо больше, чем были когда-либо раньше. И для того, чтобы с честью выполнить эти задачи, мало знать и хранить традиции прошлого, мало быть достойным их, надо уметь неустанно совершенствоваться, обогащать и закреплять эти традиции, наполнять их живым содержанием нашего сегодняшнего опыта, вносить в них новое, свою молодую энергию и волю. Дается это только работой, упорным трудом, неустанной учебной».

Очевидно, это хорошо понимают Игнат и Пылаев. А Бубенцов? А Лузгин? Поняли ли они? Нет, не поняли и, наверное, понять не хотят...

В этот вечер мы написали письмо матери Бубенцова.

Заклеивая конверт, я подумал: — Что было бы с моей мамой, если бы она получила такое письмо?

А ведь наши воспитатели — коммунисты и на этот раз правы. Лузгин и Бубенцов для нас не потеряны. Мне невольно вспомнилось, что и Фрол не был совершенством в Нахимовском: его воспитал комсомол. Перевоспитали даже Олега Авдеенко, избалованного маменькиного сынка... А я, действительно, значит, еще не умею найти пути к сердцу товарища так, как находит этот путь Глухов...

Глава вторая

РАЗМОЛВКА

На другой день мне надо было пойти в подшефную школу организовать кружок «друзей моря». Я пригласил с собой Бубенцова, но он отказался. Зато Борис пошел очень охотно. Ему хотелось проветриться, а до воскресенья было далеко.

Через час мы входили в школу. Как раз была перемена.

В учительской пионервожатая Зоя, похожая на мальчишку в своей белой блузке и пионерском галстуке, представила нам подшефных, мальчуганов третьего и четвертого классов.

Ребята радостно загалдели. Осмелев, они стали шутить палаши, золотые якоря на погончиках, бляхи.

Школьники так и сыпали названиями кораблей, тор-

педные катера называли «тэ-ка», а подводные лодки «щучками» и «малютками», доказывая свою осведомленность в морских делах.

Борис по их просьбе принялся чертить на доске силуэты кораблей. Потом показал семафорную азбуку, нет-нет да поглядывая на задорное лицо Зои и ее коротко подстриженные цвета спелой ржи волосы. В заключение пообещал приходить в школу каждую среду.

— Поблагодарите товарища Алехина и обещайте с него брать пример, — сказала Зоя, используя, как опытный педагог, наше посещение в воспитательных целях. — Товарищ курсант отлично знает морские предметы. У него-то уж наверняка одни лишь пятерки! (Бедный Борис! Зоя, сама того не подозревая, нанесла удар не в бровь, а прямо в глаз). — Вы их предупредите, товарищ Алехин, что заниматься вы будете только с успевающими, а с двоечниками не хотите иметь никакого дела.

Борис страшно закашлялся.

— Вот видите, — подхватила Зоя, и синие глаза ее стали совсем озорными, — товарищ Алехин никак не предполагал, что среди вас есть двоечники. Почему ты прячешься за спины товарищей, Дойников? Выйди вперед и обещай, что к следующему занятию ты подтянешься.

Круглолицый малыш с бойкими глазками вышел вперед и сказал, глядя на Зою в упор и краснея не меньше Бориса:

— Да, я обещаю, что подтянусь, потому что хочу быть моряком, а все моряки должны на отлично учиться...

С большим трудом Зоя расчистила нам «фарватер». Ребята хором кричали:

— Приходите еще!

Мы согласились устроить в школе военно-морской кабинет. Тут же нашлись добровольцы, горячо убеждавшие, что умеют строгать и выпиливать.

Выйдя на улицу, мы привели в недоумение прохожих: два курсанта шествовали к остановке троллейбуса в сопровождении многочисленного эскорта!

— Борис! — спросил я Алехина, когда мы подошли к училищу, — а ты даже не попросил у Зои ее фотографию?

— Зубоскал! — огрызнулся Борис. — Вот мы им устроим кабинет!

— При следующей встрече двоечников не будет?

— Не будет!

— Ни с той, ни с другой стороны?

— Иди к чорту, Кит!

В субботу Лузгин предложил Алехину пойти в город, но Борис отказался.

— Не пойдешь? — удивился Платон.

— Да, и больше ты на меня не рассчитывай.

На бюро утверждали кандидатуру руководителя кружка «друзей моря». Я предложил Бориса. Товарищи удивились. Но, когда я рассказал им про Зою и «двоечников», посмеялись и согласились. Все поняли, что Бориса надо увлечь интересной работой. Кандидатуру Алехина утвердили.

В среду Борис раньше всех пришел в школу, осмотрел класс, отведенный под морской кабинет, и принялся за его устройство. Уходя, он пообещал свести «друзей моря» на экскурсию в Военно-морской музей.

— Борис взялся за дело! — подумал я с радостью.

* * *

Приближались полугодовые экзамены, а классу было далеко до заветной дощечки с военно-морским флагом и с надписью: «лучший класс курса». Это обстоятельство приводило в исступление Фрола. Старшина по-своему принялся бороться за образцовый класс. Он стал раздавать наряды. Взыскания сыпались главным образом на головы Бубенцова и Лузгина. Но вот Фрол отмерил за какую-то мелкую оплошность полную порцию нарядов Пылаеву. Я не выдержал.

— Послушай, Фрол, сыпать взысканиями — не значит воспитывать класс

— На этих разгильдяев ничто другое не действует.

— Неправда. Ты же сам видел — стоило зацепить Бориса кружком «друзей моря», и он больше не хватает двоек. А что мешает, по-твоему, Бубенцову?

— Я не поп, чтобы их исповедывать. Это твоя обязанность — взять за ручку, в сторонку отвести и допытываться: «Аркашенька, что тебе мешает учиться? Может, у тебя дома не все в порядке? Или глубокие душевные переживания сердце терзают?» Чепуха! Он

думает, я с ним в «козла» играл, так буду поблажки делать? Глубоко ошибается!

— Ты выйдешь на флот — тебе доверят людей; у каждого будут и горести и заботы...

— Ну, что будет на флоте — не знаю, а класс мне пусть не подводят!

— А по-моему, ты здесь, в училище, Фрол, находишься в выгодном положении. Ты — старшина, тебе доверены люди, три десятка людей, это что-нибудь да значит! Разбираешься ли ты в них так как должен разбираться начальник и воспитатель? Нет. Ты стрижешь всех под одну гребенку. Тебе бы только человек не хватал двоек да не нарушал дисциплины — и тогда он хорош, а если он совершил проступок — значит он никуда не годится. Нельзя так рубить с плеча, Фролушка. Ты сумей заглянуть каждому в душу — а вдруг он нуждается в твоей помощи, в дружеском совете, в поддержке?

— Сантиментальный вальс! Списали Кузина из училища — и правильно сделали. Спишут Лузгина с Бубенцовым — не ошибутся.

— Их, по-твоему, и исправить нельзя?

— Долблю их, долблю, никакого толка.

— Ты же знаешь, мы написали письмо матери Бубенцова. Мне кажется, ее ответ подействует куда лучше, чем сотня нарядов.

— Не верю!

— А я верю, Фрол. Ты вспомни, как в Нахимовском ты сам говорил: «губа для меня — дом родной». А что ты запел, когда пригрозили написать о тебе на флот?

— В огороде — бузина, в Киеве — дядька!

— Почему? Тебе гвардейцы заменили мать и отца. И если бы они узнали, что ты не оправдал их надежд...

Фрола передернуло: ему эти воспоминания были неприятны.

— Помнишь? Только пообещали написать — и подействовало!

— А ты забыл, Кит, ты сам соглашался, что Бубенцова надо исключить из комсомола?

— Да, я считал, что надо!

— Ага, ты тоже считал!

— Я ошибался, Фрол.

— Значит, признаешься?

— Каждый из нас может ошибаться. Ты тоже.

— Но, но! Я живу по уставу.

— А жить по уставу — это значит жить и по сердцу, Фрол. Я тебя хорошо понимаю. Ты уязвлен, что класс отстает и не может выйти на первое место, Вершинин хмурится, Глухов огорчен, Костромской недоволен, но вместо того, чтобы обратиться за помощью...

— К кому?

— К комсомолу, Фрол, который тебя всегда и во всем поддерживал. Ты, не раздумывая, накладываешь взыскания. Возьми Пылаева. Ему трудно учиться, он воевал, пришел не из техникума, а прямо из котельного отделения, он старше нас на пять лет, он член партии. Проступок его пустяковый. Я думаю, у него на душе беспокойно, оттого он рассеян и невнимателен, о чем-то задумывается, очевидно, его что-то волнует и огорчает. Я только хотел поговорить с ним, все выяснить, а теперь ты его огорчил еще больше. По-моему, ты уподобляешься Мыльникову.

— Кому?!

— Мыльникову.

Фрол прямо взвился от страшной обиды. Я пожалел, что сравнил Фрола с ненавистным ему старшиной.

— Ну, знаешь, Рындин, всего ожидал, но назвать меня Мыльниковым!.. Не много ли берешь на себя!

— Фрол! Я хотел предупредить, что воспитатель, который только кричит и накладывает взыскания — лишь воображает, что руководит. На самом деле он не уверен в собственных силах...

— Кто?! Я не уверен в собственных силах? Понимаю, — протянул Фрол чрезвычайно мрачно. — Все вижу. Все ясно вижу. Дает наша дружба трещину..

— При чем тут, Фрол, наша дружба? Ты должен понять меня, мы ведь с тобой — комсомольцы. И, я надеюсь, поймешь. Ну, а если меня не поймешь, — тебе разъясят на ротном бюро...

— Ах, до бюро дошло дело? Живцов нехорош стал, значит? Живцову доверять перестали? Живцов плохой старшина? Не разбирается в людях?

Он накалялся.

— Рубит с плеча? Уподобляется Мыльникову? Оторвался от масс, может быть, еще скажете? Мне, Живцову? Спасибо, товарищ Рындин!

— Фрол!

— Больше нам говорить с вами не о чем!

Он всерьдцах хлопнул дверью.

Вечером мне понадобился конспект по военно-морской истории. Я подошел к другу.

— Фрол!

Он оборвал:

— Не Фрол, а товарищ старшина. Что вам нужно, товарищ курсант?

— Конспект по военно-морской истории.

— Возьмите конспект. Можете быть свободным.

* * *

В первый раз я уходил в увольнение без Фрола. Воздух был чистый, морозный, щипало уши и щеки. Ребята играли в снежки.

— Ты куда, Никита? — догнал меня Гриша Пылаев.

— Домой.

— Пройдемся немного.

Мы пошли по набережной. Нас обогнали девушки с коньками в руках. На пустыре ребята катались с ледяной горки. Афиша на заборе оповещала, что в оперном театре идет «Лебединое озеро» с участием Галины Улановой.

— Вот здесь стоял «Ловкий» во время блокады, — показал Пылаев. — А там, где пустырь сейчас, стоял дом... коричневый, с воротами посередине...

Он закурил и сел на обледенелый гранит.

— Однажды зимой, еще до войны, мы пошли с «Ловкого» на «Лебединое озеро». У нас оставался лишний билет, и мы порешили отдать его у театра первой девушке, ищущей билета. Она оказалась студенткой, живой, веселой, разговорчивой. Мы с этого вечера подружились. У Гали была мать — аккуратненькая, чистенькая старушка в очках. Комната у них была с окнами на Неву, в этом доме... — он показал на пустырь и закурил новую папиросу.

— Когда «Ловкий» прорвался из Таллина и ошвартовался против знакомого дома, я в свободную минутку забежал к Гале. Она работала на оборонном заводе; в комнате у них были выбиты стекла, и окна забиты фанерой. Ты ведь тоже был в Ленинграде?

— Да.

— Значит, знаешь. Словом, были налеты, бомбежки. Улучив минутку, я успевал сбегать к Гале и отнести ей еды. Пришла зима, корабль вмерз в лед. Сам понимаешь, сидели на блокадном пайке, но, как могли, готовили корабль к бою: сходили за Неву на завод, привели стариков-мастеров. Делились с ними пайком и учились. Ремонтировали котлы. И выпускали газету, проводили собрания, принимали товарищей в партию... С Галей виделись редко. Иногда, в условленное заранее время, я выходил на палубу и видел ее, закутанную в пуховый платок, в огромных валенках — махнет, бывало, рукой, вот и встреча вся. И тогда я, Никита, понял, что не могу без нее жить, хотя между нами на эту тему не сказано было ни слова. Мать ее умерла. Я думал: «только бы Галя выдержала!» И она пережила зиму. Очень похуда дела, изменилась, но для меня была прежней Галей...

...А тут и весна пришла, лед стал чернеть, ремонтные работы закончились. Радостно стало на душе! Но фашисты все чаще налетали на город. Как сейчас помню, самый страшный налет был в солнечный день, перед самым заходом солнца. Подходили волнами, пикировали. Грохотали орудия, товарищей убивало и ранило, словом, всего не расскажешь. Вдруг по палубе и надстройкам как загрохочет! Меня по голове чем-то ударило, я свалился. И вот все стихло, самолеты ушли... Я поднялся с трудом, осмотрелся—кругом стонали израненные товарищи, санитары сбивались с ног. Палуба была вся засыпана битыми кирпичами. А на набережной... на набережной, Никита, от знакомого дома осталась лишь куча мусора и камней...

Он закурил еще одну папиросу.

— И все мне, Никита, кажется: а вдруг Галя чудом жива? Вдруг живет где-нибудь, ходит по улицам, а я никак встретить ее не могу? И тогда учебник у меня из рук валится и конспект иной раз пишу так, что едва сам могу в нем разобраться...

Он встал, прошел несколько шагов, воротился.

— А в море вышли вы? — спросил я.

— Вышли! Ох, и громили же фашистов! За все! За город наш, за погибших людей!.. Вот рассказал тебе, стало легче. Тяжело это носить все в себе! — скомкал Гриша выкуренную папиросу. — Ты знаешь, кто раньше всех понял, что у меня на душе неспокойно?

— Кто?

— Глухов. Как умеет понять человека, успокоить... словно родной отец! Да, как родной отец, — повторил Гриша, — отца-то у меня давно нету...

* * *

Когда я пришел на Кировский, мама первым делом спросила, где Фрол.

— Мы поссорились.

— Поссорились?

Я рассказал ей о нашей размолвке.

— Ну, что ж, Фрол в конце концов все поймет.

— Ты думаешь?

— Я уверена. Вы снова будете друзьями, как прежде.

— А я-то боялся...

— Чепуха! Разве вы оба — не комсомольцы?

Да, оба мы — комсомольцы. Но кто виноват в размолвке? Фрол? Я виноват не меньше его. Я, комсомольский руководитель класса, не сумел найти со старшиной общего языка и, вместо того, чтобы помочь ему так, как, наверное, помогает Глухов Вершинину, только обидел друга. И надо было мне назвать его Мыльниковым! Как я не сдержан на язык! Глухов никогда бы себе этого не позволил... И потом — ведь не только Фрол, я тоже отвечаю за класс, и каждый проступок, каждую двойку товарища поставить можно в вину и мне...

— Ты о чем задумался? — прервала мама мои размышления.

— Да так, о комсомольских делах, мама. Ты ходила к профессору?

— Нет, он в Москве, на съезде, скоро приедет, да у меня сейчас ничего не болит...

* * *

Фрол поглядывал на меня косо. Увольняясь, он ходил к Вадиму Платоновичу. Отношения между нами сохранились только официальные.

После разговора на набережной мы сблизились с Гришей Пылаевым. Я помог ему подготовиться к экзаменам. Экзамены были нелегкие. Когда сдавали службу наблюдения и связи, экзаминатор предупредил: «Кто не примет три слова — двойка, перепутает — двойка, у

соседа подомотрит—безусловная двойка». В это время вошел начальник училища. Приказав продолжать, он сел в сторонке, большой, плечистый и очень суровый на вид.

Я однажды встретился с ним в коридоре, и адмирал, спросив фамилию, поинтересовался:

— Юрия Никитича сын?

— Так точно.

— Поблажек давать не стану, спрашивать буду вдвойне, сын должен быть достоин отца,—сказал адмирал.

— И спросит, будь покоен, и не поморщится,—уверял Гриша, когда я ему рассказал о встрече. — Дерись!

Начальник мог остановить в коридоре курсанта, потребовать показать платок—чист ли, или снять ботинок— не порван ли носок и давно ли выстиран. Осмотрев руки, давал пять минут на чистку ногтей. — «Во время войны, в море, в бою, мы находили время, чтобы быть чисто выбритыми, одетыми по форме, в чистом белье,—говорил он неряхе.—Стыдно, курсант!» Если он обнаруживал вину интендантов—попадало и интендантам.

На экзаменах—горе ловкачу, запасшемуся шпаргалками! Зато тех, кто отвечал без запинки и разбирался в предмете, а не зазубривал по учебнику, как попугай, адмирал отличал и, раз отличив, не упускал никогда из виду. Это не значило, что у него были любимчики. Любимчиков он не имел, крепко взыскивал с офицеров, которые обзаводились любимчиками. Рассказывали, что он воспитывает двух сыновей своих погибших товарищей.

Я получил пятерку, и адмирал одобрительно кивнул. По черчению мне достались трудные чертежи. Я их выполнил. Даже Борис подтянулся, не получил ни одной тройки. Подвели класс опять Бубенцов и Платон...

И газета училища «Ворошиловец», подводя итоги экзаменов, назвала наш класс «отстающим». Удар по мне и по Фролу! Мне казалось, что каждый курсант, встречаясь со мной в коридоре, думает: «Вот идет комсомольский руководитель, который не умеет воспитать своих комсомольцев». Фрол ходил словно в воду опущенный. На ротном бюро обсуждали статью; ему пре-

доставили слово. Его выступление прерывали ехидными репликами. «Молодость бывает опрометчиво беспощадной»,—вспомнились мне слова Глухова. Наряду с суровыми, справедливыми словами Фрол услышал и много слов, сказанных сгоряча, незаслуженных и обидных...

— Виноват старшина,—сказал я (тут Фрол метнул в меня злобный взгляд),—но и я виноват, и виновата комсомольская организация роты. Мы не сумели подойти к Бубенцову и Лузгину, до сих пор не выяснили причины их неуспеваемости...

Мыльников бросил пренебрежительно:

— Самый лучший выход из положения — избавиться от них навсегда.

Я вскипел:

— И это говорит человек, который через полгода будет офицером? Вы и на флоте предпочтете избавляться от провинившихся подчиненных, побыстрее списывая их со своего корабля, а не воспитывать, — пусть воспитанием их займутся другие?! Чтобы начальник пользовался любовью у своих подчиненных,—продолжал я,—он должен уметь помочь им исправить свои ошибки и быть им не только начальником, но и товарищем. И мне думается, что начальник не должен с пренебрежением относиться к своим подчиненным, а должен быть поскромнее и тогда его больше полюбят. А вас мало любят, товарищ Мыльников, вы это хорошо знаете и знаете, чем эту нелюбовь заслужили...

— Полегче, Рындин,—угрожающе процедил Мыльников.

Но во мне все кипело. Я повторил все то, о чем недавно говорил Фролу: о том, что относиться к людям, как Мыльников, нельзя, надо уметь найти путь к сердцу товарища, узнать, что ему мешает учиться.

Предложение Мыльникова—наложить на нас с Фролом взыскания—не поддержал никто: Фрол заявил, что обещает поступать так, как должен поступать каждый моряк—по сердцу и по уставу. Этим он обезоружил всех на него нападавших.

— Будем надеяться,—сказал в заключение секретарь партийной организации курса,—что в «Ворошиловце» мы увидим статью, оценивающую ваш класс с лучшей стороны. Мы этого добьемся!

Уходя с бюро, я подумал:

«Фрол понял. Он понял, что ошибался, и теперь мы с ним дружно возьмемся за класс!»

Но когда я подошел к нему вечером и позвал его, он не откликнулся.

— Фрол!—повторил я.

Молчание.

— Товарищ старшина!

— Я вас слушаю...

О прежней дружбе не было и речи.

Глава третья

НОВЫЙ ГОД

Встречать Новый год без Фрола? Но он не замечал меня, словно я был классной доской. Я позвонил Олегу и Юре и пригласил их на Кировский. Они с радостью согласились. Позвал и Илюшу.

Уже стемнело, когда меня вызвали в пропускную. Кто-то пришел. «Кто бы это мог быть?»—соображал я, спускаясь по лестнице. В полутемном помещении я увидел девушку в меховой шубке, в меховой, запорошенной снегом шапочке, из-под которой выбивались огненные кудри. Это была Хэльми, порозовевшая от мороза.

— А, спаситель!—воскликнула она радостно, вытянув руку из пестрой вязаной рукавицы.—У нас каникулы, и я здесь с экскурсией. Захотелось повидать тебя и Олега.

Она принялась рассказывать об университетском городе Тарту, Калевипоэге, опирающемся на берегу реки на кованный меч, о Вере, студентах, о кафедре анатомии, о том, что в театре «Эстония» поставлена новая опера, о том, что в Таллине строят Аллею Победы.

— Тебе, наверное, некогда?—опомнилась она, наговорившись.—Я пойду. Где найти Олега?

— Ты можешь подождать пять минут? Пойдем к нам встречать Новый год, всех увидишь.

— И Олега?

— И Илюшу, и Юру.

— Ну, как же мне повезло!

Через несколько минут Илико изображал в лицах,

как его сватали, а Хэльми хохотала безустали. На Большом проспекте было шумно, светло, все спешили встречать Новый год и не верилось, что не так давно в такой же вечер были сирены, дома рушились, а люди прятались в подвалах.

— Стоял легкий морозец, и сыпал частый сухой снежок, оседавший на густые ресницы Хэльми и ее меховую шапочку.

— Ну, ты совсем снегурка! Не хватает Деда Мороза!

И вдруг из ближайших ворот вышел Дед Мороз. Мы так хохотали, что прохожие оборачивались. Дед Мороз, перейдя улицу, вошел в ярко освещенную школу. Мы заглянули в окно и увидели елку. В зале было полно нарядных ребят.

— Ну, вот мы и дома!—сказал я, приглашая гостей подняться по лестнице.

Мама расцеловала Хэльми и огорчилась, что Фрол не придет.

— Не сумел ты, сынок, найти пути к примирению.

В светлом платье, с чайной розой у пояса, она, казалось, забыла совсем о болезни.

— Никита, тебе телеграмма от Антонины, Стэллы и дяди Мираба! И письмо от отца, он Новый год будет встречать в море...

— Разукрашенная елка упирается в потолок.

Приходят Олег и Юра. Они оставляют в передней на столике свои палаши, раздеваются и входят в столовую.

— Ох, как вы выросли!—удивляется Хэльми. Она забывает, что сама через три года будет врачом.—Олег, ты принес свою скрипку?

Кукушка кукует половину двенадцатого, и Хэльми рассказывает о старинных часах, которые она видела в Тарту.

— За стол, за стол!—зовет мама.

Чего только нет на столе! Мама хочет отпраздновать Новый год на славу. Хэльми всех засыпает вопросами, и мы едва успеваем ей отвечать. Кем будет Юра? Кораблестроителем? О, она видела верфи, и ей один раз повезло — при ней спускали корабль. Это было так здорово! Такой фонтан пены! А Олег будет инженером? Отлично. Морским? Совсем замечательно! И он ходит в консерваторию? И все успевает? Ну, и

молодец ты, Олег! Кажется, ты, Никита, рассказывал, что композитор Цезарь Кюи был инженер-генералом? Ну, а Олег будет инженер-скрипачом! Не обижайся, Олег, я пошутила! Ты приедешь к нам в Таллин и дашь концерт в театре «Эстония»!

— Нет, никаких концертов! Но, когда я приду на корабле в Таллин, я захвачу скрипку и, если захочешь, сыграю тебе и твоему отцу...

— Никиток, без пяти двенадцать! — напоминает мама.

Я включаю приемник.

— Эх, жалко, нет Фрола!—огорчается Юра.

Бьют куранты Кремля. Какой уверенный, мерный звон! Его сейчас слышат повсюду, и все мысли обращены к Москве...

Первый бокал поднимаем за Сталина. В эту ночь, в этот час миллионы людей желают ему долгой жизни.

— За тех, кто в море!—провозглашает второй тост Илюша.

— За тех, кто в море! За Георгия Никитича Рындина, за Виталия Дмитриевича Русьева! — подхватывает Олег.

— И за наше Нахимовское! — добавляет Юра. — За нашего бывшего начальника.

Обращаясь к концу стола, Илюша произносит перед воображаемым адмиралом речь:

— Спасибо за то, что учили, за то, что любили нас. Вы думаете, мы вашей любви не ценили? Ценили! Бывало, собираемся натворить что-нибудь, вдруг командуем себе: «Стоп!» Натворишь—подведешь начальника! Скажут, «у него—невоспитанные нахимовцы». И за то, что папиросы отбирали, спасибо,—поднимает Илюша пачку папирос.—Выросли из нас благодаря вам моряки, а не дохленькие человечки!

— Да уж ты-то, Илюша, никак не похож на «дохленького человечка»!

За столом очень весело. Нам есть что вспомнить, и мы вспоминаем—и нашего славного Николая Николаевича, и Протасова, и Горича с Кудряшовым, и Забеглова с Бунчиковым, и наших тбилисских друзей.

Хэelmi говорит:

— Они все за столом сейчас: Мираб, Стэлла и Ан-

тонина. Вот уж никак не думают, что я встречаю Новый год с вами!

Она просит Олега сыграть. Олег приносит скрипку, Юра садится за пианино. Мама, закрыв глаза, слушает; Хэльми восторгается:

— Как играет! Даже не верится, что это—Олег!

— А ты забыла, как он играл нам у Стэллы?

— Тогда и теперь—небо и земля! Это Чайковский, да?

Но вот концерт окончен, включаем радио и принимаемся танцевать. Мама легка, словно перышко. Ей весело:

— Какой чудесный Новый год! Только как не хватает Фрота!

— Да, правда, где Фрол?—интересуется Хэльми.— Почему не пришел?

— У него ангина.

Не объяснять же, что мы поссорились, как ребята!

Перед тем, как разойтись—кукушка напоминает, что уже четыре часа,—мы обещаем друг другу никогда не забывать «нахимовского товарищества».

— Даже если нам придется служить на разных морях, мы найдем время встретиться, а если встретиться не удастся, будем писать друг другу, делиться радостями, мечтами, планами! Обещаем, друзья?

— Обещаем!

Выходим на Кировский. Морозит здорово. Окна, разрисованные морозными узорами, блестят в лунном свете.

Олег и Юра едут провожать Хэльми в гостиницу, где поселились студенты из Тарту. Илюша возвращается к нам. Снег под ногами поскрипывает.

— Ох, я устала!—говорит мама.—Если б вы только знали, как!..

Но тем не менее она легко взбегает на четвертый этаж.

Мы дурачимся: желаем кукушке, кукующей пять часов, счастья.

— Спокойной ночи,—говорит мама.

— Спокойного утра!—поправляет Илюша. Он валится на диван.

— Илюша!

- А?
- Спишь?
- Сплю, генацвале!
- А что ждет нас в Новом году?
- Большое плавание, Кит! Гаси свет!

* * *

В училище все обмениваются впечатлениями. Ростислав и Игнат Новый год встречали в Нахимовском. Борис был на елке в школе, и ему преподнесли пионерский галстук.

- А пионервожатая?
- Что—пионервожатая?
- Выпросил у нее фотографию?
- Довольно вам, черти!

Фрол, решив остаться в училище, разорвал увольнительную, но Платон передал ему приглашение Вадима Платоновича. Тогда Фрол воспользовался увольнительной Серегина—и попался. Большого преступления в этом не было—ему разрешили уволиться,—но старшина должен быть примером для всех. И Фрол получил нагоняй от начальника курса, его вызывал к себе Глухов. Фрол был мрачен, как туча. Я подошел к нему, но он даже глаз не поднял от книги.

На класс посыпались новые беды. На вечерней проверке не оказалось Платона. Бубенцов откликнулся за него, но его тут же разоблачили. Старшина роты Мыльников резко отчитал его перед строем. Досталось и старшине класса—Фролу. После проверки Бубенцов исчез и был застигнут дежурным по курсу в кабинете Вершинина, где он спешно звонил по телефону Лузгину.

Неслыханное событие! У нас давно не было самовольных отлучек. А укрывательство самоотлучника считалось столь позорящим честь курсанта проступком, что о дальнейшем пребывании в комсомоле Бубенцова и Лузгина, казалось бы, не могло быть и речи. И вдруг, к всеобщему удивлению, их защитником на бюро оказался Фрол. Он убеждал, что их можно исправить... Я не выдержал:

— Как же, Живцов, ты недавно сам требовал исключить Бубенцова, утверждал, что Бубенцов и Лузгин неисправимы, сам сыпал взысканиями?

— А разве я, Живцов, не могу ошибаться?—глядя мне прямо в глаза, спросил Фрол.—И я предлагаю как последнюю меру — просить командование курса вызвать обоих на учебно-воспитательный совет.

На учебно-воспитательном совете судьбу курсанта решают люди вдвое, а то и втрое старше его; это — самое суровое испытание.

— И я предлагаю вызвать на заседание отца Лузгина.

— Что ты, Фрол, с его больным сердцем?—удивился Игнат.

— Я сам подготовлю Вадима Платоныча. Платон еще может стать человеком.

Игнат возразил:

— Сомневаюсь.

— А я ни минуты не сомневаюсь! И прошу записать мое предложение.

Предложение было принято.

Я хотел спросить Фрола, сумеет ли он осторожно предупредить старика. Он отвернулся. Мы оставались чужими.

* * *

Пришло письмо от матери Бубенцова, и Глухов поручил мне огласить его на Совете. Совет должен был состояться через неделю, и партийная организация курса решила обсудить на нем судьбу Бубенцова и Лузгина.

В воскресенье, придя на Кировский, я заметил, как вдруг осунулась мама.

— Что с тобой?—встревожился я.

— Мучают боли,—сказала она, сморщив лоб,—предлагают оперироваться немедленно.

— А профессор?

— Он все еще в Москве. Мне завтра утром надо лечь в больницу, а то, говорят, будет поздно. Ты ничего не пиши отцу до тех пор, пока все не кончится. Ты знаешь? Я ужасно боюсь операции!

И она прижалась ко мне, как бы ища у меня защиты.

С тяжелым сердцем я возвращался в училище в этот вечер.

ГОРЕ

Все кончится благополучно, — утешал я себя. Я видел ее лицо, в облаке золотых волос, с синими ясными глазами везде—в тетради, в учебнике, на классной доске и ночью — в полутьме кубрика. Я думал о ней, мысли путались в голове. Я несколько раз бегал к телефону и никак не мог ничего добиться. Наконец, сердитый хриплый голос спросил: «Рындина, говорите? Операция прошла благополучно».

Вершинин спросил:

— Вы, кажется, узнавали о здоровье матери, Рындина?

— Да, товарищ капитан второго ранга. Операция прошла благополучно.

— Ну, вот и отлично,—сказал Вершинин с искренним участием.—Мать—это самое близкое в жизни.

В эту ночь мне снилось, что меня вызывают в приемную. Мама, здоровая и веселая, бросается мне навстречу: «Что же ты не пришел навестить меня, Никиток? Хотя теперь все равно, я здорова, иду домой, я тебя не хочу отрывать от занятий. Ты очень беспокоился, милый?» «Ужасно».—«Ты знаешь что? Не пиши ничего отцу. Все кончилось, расскажем, когда придет».

— Никита, ты бормочешь во сне!

Гриша тряс меня за плечо.

— Может, воды принести?

— Нет, я пить не хочу.

Пылаев сел рядом.

— Спи, Никита, до побудки еще два часа.

Он подоткнул со всех сторон одеяло.

На другой день я решил позвонить в больницу после обеда. Но между первой и второй лекциями меня вызвали к телефону.

— Вас просят приехать в больницу имени Пирогова, — сказал глухой женский голос.

— Что-нибудь случилось?

— Не знаю, я не в курсе дела, меня просил позвонить главный врач.

По училищу дежурил Глухов. Я передал ему трубку.

— Поезжайте немедленно,—сказал он и тут же написал мне увольнительную.

Через сорок минут я входил в больницу. Пахло госпиталем, а я терпеть не могу запаха лекарств, эфира и особенно йода—я помнил, как пропах иодом отец в Севастопольском госпитале, где лежал, раненый, во время войны.

Главный врач был занят, меня просили подождать. По коридору провезли кого-то, покрытого простыней, на длинной тележке.

— Пройдите, товарищ, к главному врачу.

Седой человек в халате, с очень морщинистым, чисто выбритым лицом и красными руками, кончики пальцев которых были вымазаны иодом, спросил:

— Товарищ Рындин?

— Так точно.

— Присядьте, пожалуйста.

За окном на деревьях лежал талый снег.

Как сквозь туман, я слышал ровный голос: «Последствия блокады и дистрофии, нарушен обмен веществ, ослаблена сердечная деятельность». Врач говорил долго и обстоятельно, будто читал лекцию в аудитории медицинского института; раньше, чем он закончил и сказал одно короткое слово, я понял, что случилось самое страшное из всего, что могло случиться.

И если в те дни, когда я думал, что отца больше нет, где-то в дальнем уголке сердца теплился луч надежды, то теперь надежды никакой не было...

— Вы хотите пройти к ней? Проводите товарища,—сказал главный врач кому-то.

В маленькой комнате с белыми стенами и замазанными краской окнами на мраморном столе лежала мама. Можно было подумать, что она спит и что-то видит во сне: легкая гримаска искривила ее почему-то ставшие белыми губы. Так бывало всегда, когда ее что-нибудь огорчало.

Сжавшись в комок, я сидел в уголке столовой. Вчера здесь было полно людей, знакомых и малознакомых; какие-то женщины завешивали простыней зеркало, закрывали наглухо окна, переговаривались шопотом, спрашивали, где мамино лучшее платье. Сегодня мы с ней остались вдвоем. И мне все казалось,

что это ошибка, недоразумение, что кто-то придет и скажет... что скажет?

Как я мечтал: буду на корабле возвращаться с моря; мама встречает на берегу... Никогда она меня больше не встретит!

А сколько сил и здоровья она затратила на меня! Вот здесь, в этой комнате, во время блокады она топила ножками стульев печурку, резала на тонкие лепестки сто двадцать пять граммов бурого блокадного хлеба и поджаривала,—ей казалось, что так будет сытнее. А как везла меня через Ладогу, под бомбежкой, в Сибирь, а потом на Кавказ, к отцу, говоря: «Тебя я должна спасти». Я любил ее, но достаточно ли я ее уважал, всегда ли я выполнял ее просьбы? Не обидел ли я ее резким ответом, невниманием к ней? Теперь уже не повинишься, не подойдешь, как прежде, не обнимешь, не попросишь прощения...

Дверь скрипнула. Очевидно, я не запер парадную дверь. Кто-то шел осторожно, на носках, словно боясь разбудить спящую. Он вошел, держа подмышкой ушанку. Это был Фрол. Не замечая меня, он на цыпочках подошел к матери. В руке он держал букетик—несколько ранних фиалок—где он их раздобыл? Он знал, что мама любила фиалки.

Подойдя совсем близко, он замер, смотря ей в лицо. Прошла минута, другая; Фрол не шевелился. Вдруг у него заклокотало в горле. Он положил букетик маме на грудь и сдавленно зарыдал.

В соседней комнате прокуковали часы—их вынесли туда вчера вечером, как будто они могли нарушить сон мамы.

Фрол, прижав ушанку к груди, на цыпочках пошел к двери. Тут он увидел меня. Он подошел ко мне и сел рядом.

— Фрол...—больше я ничего не мог выговорить.

— Мужайся, Кит,—сказал Фрол вполголоса.—Крепче держись, моряк!

Он охватил меня и начал тихонько раскачивать из стороны в сторону. Я порывался вскочить, но руки друга опять охватили меня, а подбородок нажал на мое плечо.

— Спокойно... Спокойно, держись, моряк,—повторял он шопотом.—Держись, дружище... Крепись...

* * *

Почему я не написал отцу, что мама ложится на операцию? Он стоял и смотрел ей в лицо, осунувшийся, постаревший на десять лет.

— Что же это такое?—недоумевал он.—Как же так? Может ли это быть?

Неожиданное горе сломило его, большого и сильного...

Он прилетел с Антониной из Сухуми, куда по радио из Севастополя передали ему телеграмму.

Антонина привезла букет белых южных камелий—от деда, Стэллы и дяди Мираба.

Она старалась не плакать, хотя очень любила маму. Она не выпускала моей руки из своей, словно боясь, что я потеряю опору. Да, я не ошибся, когда назвал Антонину сестрой!..

Рядом со мной стоял Фрол с неподвижно застывшим печальным лицом; Гриша, Игнат, Ростислав, Илюша и Юра были тут же. Мне было легче с ними. Один—я не знаю, как бы я пережил...

Вечером мы сидели с Антониной в комнате, освещенной настольной лампой. Отец куда-то ушел. В квартире было так тихо, что мы всякий раз вздрагивали, лишь кукушка принималась в соседней комнате куковать или потрескивал паркет в коридоре.

— Как это грустно, что умирают такие молодые,—вздыхнула Антонина, глядя на портрет матери, ее последний портрет.

— Ты знаешь,—сказала она в раздумье,—я чувствовала, что должна быть с тобой... И твой отец понял. «Ты полетишь со мной, Антонина»,—сказал мне Юрий Никитич...

Я крепко сжал маленькую теплую руку подруги.

* * *

Маму проводили на кладбище; были мамины сослуживцы—сотрудники музея, товарищи отца и мои товарищи. День был сырой, пасмурный, талый снег хлюпал под ногами. Но в воздухе пахло весной. Едва стоило появиться грачам, мама уже раскрывала все окна и вазы заполнялись подснежниками, фиалками, первой ранней зеленью. Теперь на сыром черном холмике лежала сирень и букет увядавших камелий.

Женщины — мамы сослуживицы — плакали и не скрывали своих слез.

Я не слышал ни речей, ни утешений. Мне казалось: а вдруг я проснусь и исчезнет тяжелый, чудовищный сон. К сожалению, все оставалось явью...

На другой день на рассвете отец и Антонина вылетали на юг. В странно тихой, пустой квартире горел свет. Вот так же до войны мы с отцом уезжали в Кронштадт, всегда рано утром. Мама нас каждый раз провожала. Теперь ее нет.

По русскому обычаю посидели перед отъездом.

— Не забывай маму, Кит, — сказал отец. — Лучше ее не было женщины на свете. Я никогда ее не забуду.

Антонина взяла мою руку и прижалась к ней мокрой щекой.

Отец крепко обнял меня.

Глава пятая

СУДЬБА ТОВАРИЩА

За покрытым зеленым сукном столом сидят Вершинин, Глухов, Кольцов, преподаватели курса и командиры рот. Решается судьба Бубенцова и Лузгина.

Люди, которых ты уважаешь, которые защищали Родину, когда ты еще учился в школе, — смотрят на тебя с укоризной: «в кого ты такой уродился?»

Глухов спрашивает:

— Скажите, курсант Бубенцов, вы были до училища радиотехником?

— Так точно.

— Окончили техникум?

— Да.

— И окончили на «хорошо», иначе вас бы не выпустили специалистом?

— На «хорошо».

— До техникума школу окончили?

— Школу.

— С наградой?

— С серебряной медалью.

— Вот видите, с медалью. А сколько вам лет?

— Двадцать.

— Двадцать лет, — укоризненно говорит Глухов, и этим сказано все: «Дожил ты, Бубенцов, до двадцати лет — и вот, что из тебя получилось».

— Я полагаю, вы знаете, почему вас вызвали на Совет? — спрашивает Бубенцова секретарь партийной организации.

— Так точно, знаю.

— Вы хотели служить на флоте.

— Да, хотел.

— В училище шли с охотой?

— С охотой.

— Так как же так получилось, что вы получаете двойки?

— Очевидно, я неспособный.

— Неправда. Неспособные не оканчивают школу с серебряной медалью. Другие пришли в училище с флота, им труднее, чем вам, но все же они не имеют двоек. Обладая вашей специальностью, вы можете совершенствоваться. Вы слышали, разумеется, о радиолокации? Перед вами открывается огромное поле деятельности... Комсомольская организация вас предупредила? — спрашивает Кольцов.

— Предупредила, товарищ капитан третьего ранга.

— И это не произвело впечатления? Может быть, внешние причины мешают учиться? Ну, знакомства, там, или...

Бубенцов, потупясь, смотрит в пол.

— Вы получаете от матери деньги? — спрашивает «навигатор», капитан первого ранга Быков. — Она библиотекарь? Где?

— В Сумах.

— Сколько она получает?

— Не много...

— А вы?

Бубенцов отвечает.

— Вот видите! Когда мы учились — мое поколение, мы получали денежное содержание меньше, чем получают теперь. И мы не просили у родителей. Мы считали, что всем обеспечены и денег нам на расходы хватит вполне. Вы, Бубенцов, получаете намного больше и еще ждете, чтобы вам мать посылала. Честно это?

Бубенцов молчит.

— Ну, как вы думаете, Бубенцов, честно или нет?—повторяет Быков. Всегда румяное, морщинистое лицо его от негодования бледнеет, и «навигатор» нервно теребит свои висячие усы.

Бубенцов продолжает молчать.

Тогда Кольцов достает найденную мною записку:

— Вы потеряли?

— Да, — багровеет Бубенцов.

— Что же вы затворили? Вам угрожают, что расскажут о чем-то начальству...

Бубенцов опять смотрит в пол.

— Бубенцов, люди, искренне к вам расположенные, хотят выяснить, что вам мешает учиться. Очевидно, существуют какие-то внешние причины. В последний раз, когда Лузгин был в самовольной отлучке, вы пытались покрыть его. К счастью, у нас в училище, укрывательство и круговая порука давно изжиты. Вас разоблачили ваши же товарищи. Где был Лузгин? Куда вы звонили ему по телефону?

Бубенцов упорно молчит.

— Не хотите отвечать? — спрашивает Кольцов, не дождавшись ответа. — Комсомольская организация класса,—говорит он, используя все средства убеждения, написала письмо матери Бубенцова.

— Бубенцов вздрагивает и изумленно смотрит на Кольцова.

— На днях,—продолжает капитан третьего ранга,—был получен ответ.

— Зачитайте, Рындин,—предлагает мне Глухов.

Бубенцов узнает почерк матери, и у него начинают дрожать губы. Вытаращив глаза, он смотрит мне в рот. Мне кажется, его хватит столбняк.

— «Дорогие мои... Я прочла ваше откровенное комсомольское письмо,—читаю я, и голос мой дрожит от волнения. — Я сижу и думаю: какова будет дальнейшая судьба моего сына? Думает ли Аркадий о своем достоинстве советского юноши? Всего семь-восемь месяцев тому назад он мечтал о военно-морском училище. У него достаточно ума и знаний, чтобы хорошо учиться, но нехватает, видимо, одного: силы воли, чтобы отбросить все лишнее, мешающее занятиям. Как можно нарушать воинскую дисциплину? Думает ли мой сын, который был так близок мне, но который возбуждает

во мне сейчас только чувство негодования, о том, что он делает? Отец Аркадия погиб во время Отечественной войны. Я требую от своего сына как мать, как человек, отдавший все, чтобы вырастить его, но, к сожалению, не воспитавший его как следует, чтобы он подтянулся».

Я заканчиваю:

«...И через ваше посредство обращаюсь к сыну и говорю: «Аркадий, опомнись!»

У Бубенцова подкашиваются ноги. Губы его дрожат, щеки пылают.

«Письмо мое прошу сделать гласным».

— Вы можете сесть и подумать, — говорит Бубенцову Глухов.

— Лузгин! — вызывает Вершинин.

Платон подходит к столу.

— Ваш отец, — говорит Вершинин, — прислал нам написанное вами письмо. Вы оставили его дома. Вот оно. «Петрусь! Наконец, получил финансы. Приду к тебе. Жди. Настроение поганое — надо выпиться».

— Кто этот Петрусь?

Платон глупо улыбается.

— По-моему, в вопросе ничего нет смешного.нас интересует, с кем курсант дружит за стенами училища.

— Один техник.

— Техник?

— Радиотехник.

— Ваш старый знакомый?

— Нет.

— А где же вы познакомились?

— В трамвае.

— Весьма подходящее для курсанта знакомство: в трамвае. Вы выполнили свое обещание: напились и опоздали в училище с берега. Вы были вместе с Бубенцовым?

— Да. С Бубенцовым.

— У этого же Петруся вы были и в другой раз, когда вас не оказалось на вечерней поверке?

— Нет... то есть, так точно, у этого...

— Скажите, вы задумывались когда-либо над тем, что плохо занимаясь, пьянствуя, опаздывая с берега и совершая самовольные отлучки, вы являетесь для училища балластом? Вы отлично знаете, как много до-

стойных юношей стремится к морской службе. Училище может удовлетворить лишь третью часть заявлений. Вас приняли потому, что вы—нахимовец, и надеялись, что вы будете для других примером. Хороший пример, нечего сказать! Вы пренебрегаете традициями училища, предпочитаете общество какого-то подозрительного Петруся коллективу ваших товарищей. Вы занимаете чужое место, Лузгин! На вашем месте сидел бы не нерадивый и распущенный человек, а курсант, стремящийся быть настоящим моряком.

— В комсомольской организации с вами говорили?—спрашивает Кольцов.

— Да.

— Не раз?

— Не раз..

— Вы какие-нибудь выводы сделали?

Платон молчит.

Тогда берет слово капитан первого ранга Рукавишников.

— Нет среди нас человека, который не уважал бы капитана первого ранга Лузгина. Флот им гордится за его подвиги. Мы никому не позволим позорить его доброе имя,—говорит наш историк, сдвинув мохнатые брови.—Ваш отец воевал за свободу и независимость нашей Родины, за ваше будущее. Понимаете ли вы это?

Платон молчит...

Тогда Вершинин приказывает:

— Пригласите капитана первого ранга Лузгина.

Платон озирается. Он порывается к столу, словно хочет просить не звать сюда, в зал, отца.

Обе половинки тяжелой двери распахиваются. Медленно, волоча ногу и опираясь на палку, входит Вадим Платонович. Все, как один, встают, отдавая дань уважения израненному в боях офицеру.

Кто-то подставляет Вадиму Платоновичу стул. Он не садится. Он становится лицом к лицу с сыном и негромко спрашивает его:

— Доигрался?

Платон смотрит в пол.

— Смотри мне в глаза,—говорит совсем тихо Вадим Платонович, но его слова слышны всему залу, и это страшнее, чем если бы он кричал.—Смотри в глаза

отцу, смотри при всех, слышишь? Дед твой был моряком и жизнь отдал флоту. Я тоже всю жизнь служил флоту.

Платон опять опускает голову.

— Подними голову, смотри мне в глаза. Ты видел в «зале героев» мемориальные доски с именами курсантов, погибших со славой, отдавших за Родину жизнь. На какую же доску поместить твое имя, бездельника и лоботряса? Хорош же ты, нечего сказать! Даже коллектив отказывается от тебя. Ты понимаешь это? Ты — отщепенец; ты, на которого народ тратит деньги, чтобы сделать тебя моряком!.. Перед лицом моих товарищей-офицеров, перед лицом моих младших товарищей, которых я с радостью бы назвал сыновьями, я тебе говорю: остается последняя возможность опомниться. Очень тоненькая ниточка связывает тебя с коллективом, иначе тебя не пригласили бы сюда, а просто показали бы на дверь. Порвешь эту ниточку — ты мне не сын, а я тебе — не отец.

Вадим Платонович отводит чью-то руку, пытающуюся его поддержать, и обращается к Совету:

— Я прошу сделать самые суровые выводы. И не прошу, требую: если вы собираетесь щадить его ради меня — не щадите.

Он поворачивается и медленно, опираясь на палку, волоча большую ногу, идет к выходу.

— Отец! — срывается с места Платон.

Все молчат, глядя вслед капитану первого ранга. Быков трет лоб рукой, Вершинин сморкается, Глухов что-то шепчет Кольцову на ухо. Молодые офицеры, как видно, потрясены происшедшим.

Входит начальник училища. Встретившись в дверях с Вадимом Платоновичем, он крепко пожимает старику руку.

Адмирал садится за стол рядом с Глуховым. Тот показывает письмо, полученное от матери Бубенцова. Вершинин что-то тихо спрашивает у адмирала и объявляет:

— Слово имеет курсант Рындин.

Да, я просил, чтобы мне дали слово. Но что я могу сказать теперь, после этой потрясающей сцены? Я, волнуясь и спотыкаясь, чуть ли не на каждом слове, говорю то, что у меня на душе...

— Отец Лузгина жив, жива и мать Бубенцова. Пусть Лузгин и Бубенцов мне ответят: почему они так мало ценят родителей? У меня мать умерла... они это знают. Когда она умерла, я глядел ей в лицо и задавал себе вопрос за вопросом: а не ссорился ли я с ней попустому, не было ли между нами недоразумений, не допускал ли в разговоре с ней резкостей? Ведь она столько сил и здоровья затратила на меня... У нее была одна цель: вырастить сына, сделать его моряком; такая же цель в жизни у капитана первого ранга Лузгина и у матери Бубенцова. А вы не любите и не уважаете своих родителей! И не осознаете это сейчас, а лишь тогда осознаете, когда их не будет. И как захочется вам тогда извиниться, выпросить прощение за все то горе, которое вы им приносили! Будет поздно...

Бубенцов всхлипывает. Адмирал, очень внимательно меня слушавший, склонив голову набок вдруг окликает его:

— Бубенцов!

Аркадий подходит к столу.

— Слышал, что говорил твой товарищ?

— Так точно, слышал, товарищ адмирал, — говорит дрожащим голосом Бубенцов.

— А ты не реви. Слезами делу не поможешь. Коли осознал, что перед матерью своей виноват — радуйся, что во-время осознал. А теперь выкладывай, что с тобой приключилось? Ну? Одиночкой хочешь жить? Оступился, решил сам ко дну пойти? Врешь, не выйдет. Глаза есть? Погляди вокруг, сколько у тебя здесь товарищей — вытянут. Ну винись, мы послушаем...

Адмирал часто называл нас на «ты». Это «ты» было тем «ты», которым обращаются отцы к сыновьям. Недаром одному из моих товарищей, потерявшему отца, начальнику сказал: «Теперь я—твой отец».

И—странное дело... адмирал говорил резким голосом, чуть не кричал, брови его были сердито насуплены, он стучал пальцами по столу, и, казалось, все это должно было нагнать на Бубенцова страх, но Бубенцов, очевидно, сердцем все же почувствовал, что адмирал проявляет отеческое участие в его судьбе... И Бубенцов заговорил...

— Товарищ адмирал! Все думал я, что сам выпу-

таюсь. Да не выпутался. Вот, как все дело было. Этот Петрусь учился со мной в Харькове, в техникуме...

— Постой, постой, кто такой — Петрусь?

Путаясь, сбиваясь и начиная сначала, Бубенцов рассказывает свою историю. В свое время он и так называемый Петрусь окончили техникум и приехали в Ленинград. Здесь их пути разошлись — Бубенцов поступил к нам в училище, а «Петрусь» исчез с его горизонта. И вот однажды в трамвае Аркадий с Платоном встретили «Петруся». Облобызав друга, «Петрусь» повел их к себе. Он ведал скупкой радиоаппаратуры. Угостив друзей, он уговорил Аркадия приходить к нему. Бубенцов ремонтировал приемники, а «Петрусь» продавал их. Он вначале расплачивался, а потом не только платить перестал за работу, но угрожал сообщить начальству о том, что курсант, будущий офицер, занимается «халтурой». Бубенцов был изрядно напуган, и прохвост этим пользовался: заставлял на себя даром работать. Бубенцов пытался вернуть полученные им деньги, для того и брал у всех в долг, но кончалось тем, что все пропивалось и Бубенцов оставался в кабале у скупщика.

Остальное ясно — понятна и самовольная отлучка Платона: «Петрусю» срочно понадобилась помощь Аркадия. Бубенцов сам пойти не рискнул и послал Платона с запиской, в которой умолял подождать до субботы.

Выложив все, Бубенцов продолжал:

— И Лузгина за собой таскал... и в этом я виноват... Об одном прошу. Если я недостоин оставаться в училище, не сообщайте ничего матери. Старуха она...

Он опускает голову...

— Если же найдете возможным поверить... Я обещаю, исправлюсь...

— Трудно поверить, — сомневается один из молодых командиров рот.

Покосившись на него, адмирал сердито говорит:

— А я верю. Запутался основательно, да во время выпутался.

Начальник училища советуется с сидящими за столом.

— Бубенцов! — подзывает он. — Легче стало, как повинился? Ну, иди, Бубенцов, и помни: тебе поверили;

не подведи. Я полагаю, товарищи, — говорит он тихо Совету, — после такой встряски — исправится. Лузгин! — вызывает он.

Платон выходит из своего угла.

— Смотрю я на тебя и думаю, — резко говорит адмирал, — имеешь ли ты право называться Лузгиным? Фамилия почетная, гордая, ее надо носить, высоко подняв голову. Что же нам с тобой делать?

Он шепчется с членами Совета и снова обращается к Платону:

— Подумал ли ты об отце, о том, что у него сердце большое? И слышал ли ты, как во время войны, когда убивали старшего брата, младший тотчас же становился на его место? А ты? Подумал ли ты — стать на место старшего брата? Он прожил жизнь и погиб, как настоящий балтиец. А ты? На тебя государство тратило деньги в Нахимовском, затрачивает средства и здесь, надеется, что ты станешь морским офицером... В Совете мнения разделились. Одни говорят, что тебя надо навсегда списать из училища...

— Это отца убьет! — всхлипывает Платон.

— Понял? А раньше не подумал об этом? Слезы моряку не положены. Слезы утри... Глухов за тебя заступился, благодари его, обещает, что сделает из тебя моряка.

— Обещаю... Я обещаю, — выкрикивает Платон, страшно волнуясь, — что я заслужу... заслужу...

— А ты выражайся яснее. Заслужу, заслужу! Нужно, чтоб в тебе с сегодняшнего дня все перевернулось. Человеком нужно стать, с большой буквы. Почаще поглядывай на отца и вспоминай старшего брата, далеко тебе не ходить за примером. Я думаю, — обращается адмирал к Совету, — оставим его в училище, раз он обещает стать человеком. Ты, Лузгин, понимаешь, что дальше тебе жить, как ты жил до сих пор, нельзя! Помни: тебе раз поверили, в другой раз — не поверят...

— Курсанты Бубенцов и Лузгин, вы свободны, — объявляет Вершинин.

Стуча каблуками, они идут к выходу. После Совета Кольцов говорит мне:

— Теперь дело за вами, за комсомолом, Рындин. Ободрите их, подойдите к ним по-товарищески, помо-

тите встать на ноги, стать равноправными членами коллектива. Вы меня понимаете?

Я отлично понимаю Кольцова.

* * *

Вечером, когда Платон с Аркадием сидели, пригрюнившись, в кубрике, я вспомнил, как Фрол вот так же лежал на койке в Нахимовском, головой зарывшись в подушку. Он совершил тяжелый проступок и обещал, что никогда больше не совершит ничего подобного. Ему поверили. Прошло пять лет—Фрол сдержал свое слово.

Быть может, и Фрол вспомнил тот день. Он первый подошел к неудачникам.

— Ну, ну, не распускайтесь,—сказал он с грубоватой нежностью.—Все обойдется. Ты читал, Бубенцов, «Честь смолоду»?

— Нет, не читал.

— А следует почитать. Там генерал Шувалов хорошие слова говорит Лагунову: «Не тот,—говорит, — настоящий боец, кто проявляет мужество при победных боях, но тот, кто находит в себе мужество в период временных неудач, кто не теряет голову и не дрейфит при неудачах, кто не ударяется в панику и не впадает в отчаяние в трудную минуту». Правильные слова!

— А ты, значит, форменный специалист в радиоделах?—продолжал Фрол.—А тут все мичман ходит, знаешь, в шевронах, энтузиаст, все ищет, кто бы ему помог радиофицировать маяки в кабинете. Вот бы тебе и объединиться с мичманом... А все же ты, Аркадий, чудак. Ну что бы тебе давно рассказать все про этого прохвоста? Скрутили бы мы его в бараний рог! Ну, ничего, подтягивайтесь, все обойдется.

Подходили со словами утешения и другие. До сегодняшнего дня Бубенцов был им непонятен. Теперь все прояснилось. На горьком опыте товарища класс получил жизненный урок: как скверно быть слабохарактерным и до того бояться ответственности, что не иметь мужества притти и сказать: да, совершил ошибку, выпутаться сам не могу, выручайте. Ведь выручили бы!

— А что, Кит — спросил меня тихонько Борис, — неужели и со мной такое могло случиться?

— Что?

— Ну что отца бы вызвали?

— Очень возможно.

— Ну, я не знаю тогда, что произошло бы.

— А что?

— С батиным-то характером? Ох, ты его не знаешь! Я, говорит, Алехин и ты Алехин, замараешь фамилию—три шкуры спущу. Самолюбив он у меня очень, батя.

— Значит ты, Боренька, близок был к тому, чтобы с тебя шкуру содрали!

Борис только вздохнул.

— Берись-ка, Борис за работу, не надейся ты больше на свои так называемые способности. Штурмовщиной ничего не возьмешь.

— Это я чувствую.

— Хорошо, что почувствовал.

Я лег на койку ничком и не заметил, как подошел Фрол.

— Ты знаешь, Кит, — сказал он, присев на край койки, — ведь я злился на тебя за то, что у тебя было восемь пятниц на неделе.

— Говорят, семь, а не восемь. А почему?

— Ты соглашался, что из Бубенцова ничего не получится, а потом повернул на сто восемьдесят градусов.

— Я же тебе сказал: я понял, что ошибался.

— А вот я тогда ничего не понял. Потом, когда ушел по чужой увольнительной...

— Зачем ты это сделал, чудак?

— Да все—моя гордость.

— Нет, Фрол, это — не гордость.

— А что?

— Глупый гонор.

— Вот, вот, то же самое мне и Глухов сказал. До чего же он умеет зацепить за самое сердце! Вы, говорит, только на днях меня спрашивали, могу ли я вас рекомендовать в партию, а совершаете опрометчивые поступки, не задумываясь о последствиях. Вы бы, говорит, пришли к начальнику курса или ко мне, наконец, и сказали бы: погорячился, порвал увольнительную, нужно на берег. Попрошу выписать новую. Вот, говорит, так всегда, начиная с пустяков, человек и запуты-

вается, а потом трудно выкарабкаться. Вы, говорит, несобранный человек.

— Совершенно правильно!

— Вот тут я о Бубенцове подумал: наверное, и он так запутался и попал в положение, из которого трудно выкарабкаться. А прихожу я к Вадиму Платонычу, старик спрашивает: «А что вы думаете, Фрол, о Платоне? Отвечайте мне откровенно». Ну, я и ляпнул ему, что думаю. Вадим Платоныч покачал головой да как посмотрит мне прямо в глаза: «Вот и я в молодости, как вы, размышлял: свихнулся человек, грош ему цена; а до причин, почему свихнулся, докапываться недосуг было. А не приходило вам в голову, что Платон затесался в дурную компанию?»

— «Нет», — говорю я, — «ни разу не приходило».

— «А какого вы обо мне мнения?» — спрашивает. Выслушал ответ, усмехнулся:

— «Вот, уважаете старика... А вы знаете, Фрол, меня ведь в молодости чуть из флота не выставили... тоже из-за дурной компании. Спасибо, товарищи выручили. Вы ведь товарищ Платона по классу, не правда ли?»

— Тут я и призадумался, — закончил свой рассказ Фрол.

— И насчет Пылаева я был прав, Фролушка. Горе у него...

— Да? Вот видишь, я и тут сплеховал, — выслушав меня, вздохнул Фрол. — Не даст мне теперь рекомендации Глухов, — сказал он погодя, — а я на него надеялся...

— Заслужишь.

— Нет уж, где теперь заслужить! — В его голосе прозвучало отчаяние. — Ну, спи, Кит.

— Не спится.

— Знаю. Но у тебя хоть отец остался, а у меня...

И он, сгорбившись, пошел к своей койке.

* * *

Однажды вечером, спеша в канцелярию курса, в полутемном пустом коридоре я встретился с адмиралом.

— Рындин! — подозвал он меня. Мы отошли к темному окну. За стеклом шумел дождь. — Ты хорошо говорил на Совете. А, поди, нелегко тебе было? Рана-то

свежая, не зажила еще... Заживет; — сказал начальник совсем другим, чем обычно, теплым голосом, и все лицо его посветлело. — Всем нам приходится терять близких. Я тоже вот... Мою старуху фашисты сожгли, — проговорил он глухо, глядя в окно, — в ее маленьком домике, в Луге. Я узнал об этом как раз накануне десанта...

Часы за стеклянной дверью хрипло пробили девять.

— А в десанте немцы убили сына. В один день я потерял все, что у меня было. Я зажал в тиски сердце, креплюсь, преодолеваю свою слабость. Самое главное — не распускаться, Рындин, работать, работать! Работы немало — вон сколько вас у меня, сыновей, всех воспитать надо...

Он помолчал.

— И побольше думай о будущем. Твое будущее — огромное, светлое. Большое удовлетворение, Рындин, вести корабль в море, знать, что ты творишь дело, нужное Родине, быть твердо уверенным в том, что люди, которых ты воспитал, от тебя ни на шаг не отстанут...

Он оставил меня и пошел по коридору. Я пошел в противоположную сторону. В конце коридора я обернулся. Адмирал кого-то резко отчитывал.

* * *

Пока Лузгин с Бубенцовым сидели «без берега», мы с Фролом каждое воскресенье ходили к Вадиму Платоновичу. После Совета старика навестили Вершинин и Глухов. Фрол строил с Вадимом Платоновичем модель линкора и, между прочим, вставлял в разговор замечания о Платоне. Фрол сообщал лишь то, что могло старика порадовать, и лицо Вадима Платоновича светлело.

Приходя к Вадиму Платоновичу, мы заставляли у него сотрудников Военно-морского музея и юношей нашего возраста — студентов университета, будущих ученых — историков и географов. Они обращались за помощью, и старик каждому уделял частицу своего драгоценного времени. Никто не слышал отказа.

Наконец, пришел день, когда Платон вошел в отчий дом. Отец встретил его, будто ничего не случилось. В другой раз Фрол попросил разрешения привести Бу-

бенцова. Бубенцову же он сообщил, что существует модель корабля, которая, если ее радиофицировать, будет «единственной в мире». Аркадий радиофицировал «линкор», чем привел в восторг Вадима Платоновича. Они тут же задумали построить новую модель корабля, управляемую по радио.

Кольцов не раз интересовался Бубенцовым и Лузгиным. Я рассказывал ему, что они после Совета словно переродились.

— Помогайте им, помогайте встать на ноги, — говорил Кольцов. — Дело за вами, за комсомольцами!

— А Аркашку-то Вадим Платоныч хвалит, — сказал мне однажды Фрол, весьма довольный и гордый, — мичман тоже им нахвалиться не может. Вправили Бубенцову мозги! Вот, что значит — флотское воспитание! Комсомольское, — тут же поправился он.

— Да, комсомольское, Фролушка.

* * *

Аркадий привязался к Фролу. Однажды в воскресенье, когда я и Фрол, получив увольнительные, собирались итти к Вадиму Платоновичу, Аркадий с огорченным видом принес записку, полученную им только что от «Петруся». Внизу, у выхода, «Петрусь» ждал ответа.

— Давай ее сюда и будь совершенно спокоен, — сказал Фрол. Взяв записку, он пошел с ней к командиру роты.

Вернувшись, Фрол сказал:

— Сообщат куда следует. Будет этому Петрусю!

А ответ я ему сам передам. Пошли, Кит!

— Только, Фрол, сдерживайся и помни, кто ты...

— Будь спокоен, Кит, не забуду.

Мы спустились в вестибюль. Там нетерпеливо переминался с ноги на ногу человек в распахнутом долгополом пальто, с прыщавой, суживающейся к подбородку физиономией, круглыми, маленькими глазками и с реденькими усиками над щелочкой-ртом. Помятый розовый галстук болтался на грязной сорочке.

— Вы — Петрусь? — спросил его Фрол.

— А что?

— Вы Бубенцову записку писали?

— А вам какое дело? — напыжился «Петрусь».

Уши Фрола побагровели — признак, что он едва сдерживается.

— Вот что, — сказал Фрол, вплотную подступая к «Петрусью», — ответа не будет. И запомните, что Бубенцов с вами больше не знаком.

— Что, что такое? — растерянно пробормотал «Петрусь» и, торопливо запахивая пальто, юркнул к выходу.

Глава шестая

СЧАСТЛИВО ПЛАВАТЬ!

Лед на Неве потемнел, и по нему пешеходы уже не отваживались переходить на другой берег. Дожди смыли снег с крыш и с набережной. Нева вскрылась. Прошел последний, ладожский лед, и свежий весенний ветер подымал на реке рябь.

Мне очень хочется написать, что класс вышел на первое место и получил, наконец, на дверь заветную дощечку: «лучший класс курса». Однако похвастать этим я не могу. Класс подтянулся, но лучшим на курсе не стал.

— Во всяком случае, в вашем классе комсомол сумел сколотить дружный коллектив, — утешал меня Глухов.

Да, коллектив стал дружным, и мы сумели сохранить самых, казалось бы, безнадежных; ни один не был списан из училища.

Глухов и Кольцов во-время исправляли наши ошибки. Они воспротивились исключению Платона и Бубенцова из комсомола, убедили, что их можно перевоспитать, хотя это труднее, чем просто исключить их. И они оказались правы.

Костромской занимался с Платоном, хвалил его, а от матери Бубенцова мы получили письмо:

«Дорогие мои, не знаю, как и благодарить вас. Вы вернули мне сына».

Мы коллективно сочиняли ей ответ и написали о последних успехах Аркадия.

Все воскресенья я теперь проводил вместе с Фролом.

Я старался как можно реже бывать на Кировском. Мне тяжело было одному оставаться в пустой кварти-

ре, где больше не слышно было звонкого голоса мамы. Мы отправлялись с Фролом и Гришей в музей: купили путеводитель по Эрмитажу, разбили Эрмитаж на квадраты — так, как море на морских картах, и осваивали его по частям, шаг за шагом. В Военно-морском музее подолгу простаивали перед моделями кораблей и полуистлевшими историческими документами. Потом шли к Вадиму Платоновичу. Платон все воскресенья теперь сидел дома; приходил Бубенцов и закрывался в кабинете с таинственным видом. А когда выходил к обеду, довольный, веселый, казалось, что он долго нес на спине непосильный груз, сбросил, вздохнул облегченно, расправил плечи.

В училище жизнь текла по установленному порядку. Лекции одна за другой, занятия в кабинетах. На комсомольских собраниях ставились важные вопросы — о флотских традициях, дисциплине, поведении в предстоящих плаваниях. Прошла спартакиада флотских училищ, на которой мы заняли второе место, и олимпиада художественной самодеятельности, где Олег отстаивал честь своего училища. Мы тоже не оплошали и получили благодарность командования.

Мы привыкли к своему положению младших. нас радовали не только успехи своего класса. Наш маленький коллектив — класс стал жить одной жизнью с большим коллективом — училищем. В этом большом коллективе десятки людей, занимавших различное положение на флоте, воспитывали несколько сот юношей, которые должны стать флотскими офицерами. В многочисленных аудиториях и кабинетах были собраны сотни дорогостоящих корабельных приборов, редчайших моделей, тысячи книг и карт; все это собиралось годами и давало полное представление о мореплавании, об истории русского флота, о великих русских открытиях и изобретениях.

Невозможно было быть равнодушным ко всем этим богатствам.

Мы не могли быть равнодушными и к городу, в котором мы жили. Это город-герой с легендарной историей, город Ленина. Здесь совершилась Октябрьская революция и крейсер «Аврора» громом пушек, направленных на Зимний дворец, возвестил начало новой эры — эры Великой социалистической революции. нас

окружал город, переживший невиданную в мире осаду, город с непревзойденным Эрмитажем, Военно-морским музеем, театрами. И политотдел и партийная организация училища делали все, чтобы мы узнали как можно больше, полнее весь окружавший нас мир. А комсомольская организация проводила экскурсии в музеи, в Петродворец, в Пушкин; мы провели несколько читательских конференций — обсуждали новые книги. Встречались с молодыми учителями — нашими сверстниками, художниками, писателями, актерами... Устраивали «вечера дружбы» со студентами, и «зал героев» переполняли наши друзья из университета.

Пришло время, и все взялись за подготовку к экзаменам.

Я не мог без улыбки смотреть, как Фрол с грубоватой нежностью опекал Лузгина — детину на голову выше его.

Платоша же привязался к «опекуну», не отходил от него ни на шаг, прислушивался к каждому слову, считая Фрола непререкаемым авторитетом.

— «Живцов сказал, что так надо...», «Живцов говорит, что моряк так и должен был поступить...», «Фрол так бы не поступил...» — только и слышали теперь от Платона. Бубенцов тоже прилепился к Фролу, и их стали называть «неразлучной троицей». Фрол только посмеивался.

Перед экзаменами Платон и Бубенцов приуныли.

— Ничего, ничего, братцы, носы не вешать, — успокаивал их Фрол. — Главное, берите себя крепче в руки, отвечайте четко, по-флотски, о шпаргалках забудьте, и все будет отлично. Не подкачаете?

— Ты знаешь, Никита, — сказал Бубенцов, с которым мы вместе готовились к экзаменам, — ведь я тебя вначале возненавидел. Думал, и матери написали, и на Совет вызывали лишь для того, чтобы исключить из комсомола и списать из училища. А потом, когда ты о родителях говорил, о том, что при жизни мы их ценить не умеем... этого я никогда не забуду! Страшный был день, много я пережил. Да и Платон пережил немало. Он мне сам говорил... Теперь вы с Фролом для нас с Платоном...

— Я понял — он мог и не продолжать.

Прошел первомайский парад, начались экзамены.

Я не заметил ни одной попытки подсмотреть у товарища, шпаргалки не шуршали в карманах, и никто никому не подсказывал. Кое-кто получил и тройки, но, по-моему, лучше — честная тройка, чем пятерка, заработанная нечестным путем.

Перед экзаменом по навигации все были взволнованы. С вечера в «зал героев» носили столы. Утром вооружились циркулями, линейками, транспортирами, запаслись карандашами, резинками, лезвиями безопасных бритв. Костромской выстроил роту. В «зале героев» на столах уже были разложены карты. «Навигатор» нам роздал задачи, предупредив:

— Работайте самостоятельно, внимательно, не торопитесь. — Взглянув на большие часы, висевшие на стене, сказал:

— Прошу приступить.

Фрол вздохнул от волнения и напряжения. Товарищи, склонясь над столами, работали стоя. Тишина, мерное тикание часов — все это было торжественно. Мне казалось, что время летит чрезвычайно быстро. И как отчаянно заколотилось сердце, когда Быков подошел с калькой, на которой было заранее нанесено правильное решение задачи! Он положил кальку на мою карту. Сойдется или не сойдется? — подумал я и с облегчением вздохнул, когда увидел: сошлось точка в точку!

«Навигатор», шутивший вначале: «Тоните, идите ко дну, я вас спасать не буду», поставил Фролу и мне по пятерке и особо отметил Игната, сказал, что его прокладка может для всех служить образцом.

Булатов, Крамской и Серегин по всем предметам получили пятерки.

По высшей математике мне достался первый билет, Фролу — тридцатый, последний. Эту трудную науку мы осилили к концу года и тоже получили по пятерке.

В эти дни я переживал и за себя и за класс и облегченно вздохнул, когда все было, наконец, кончено. Удивительное дело: Бубенцов, весь год сидевший на двойках и тройках, на экзаменах получил четверки. Платон тоже не получил ни одной двойки. Илюша заслужил от преподавателей навигации и истории особо похвальные отзывы и сиял. Очевидно, он успел послать телеграмму домой: из Зестафони пришли две огромные

посылки с сушеными фруктами, уничтожать которые помогал Илюше весь класс. Фрол не расставался со свежим номером «Ворошиловца», посвященным экзаменам. Там подробно рассказывалось, каким нелегким путем наш класс завоевал свой первый успех. — «Теперь мы ждем, — заканчивалась статья, — что класс закрепит свой успех в практическом плавании...»

Вскоре после экзаменов зашел Юра. Он сдал все на «отлично», цитировал воспоминания кораблестроителя Крылова и, как видно, стал его горячим поклонником.

Забегалов писал:

— «Ура, ура, экзамены сданы, поздравьте нас с Бунчиковым! Мы не посрамили Нахимовского. Уходим на Каспий, на практику. Не улыбайтесь презрительно, черти! Каспий хотя море и закрытое, но штормы там бывают покрепче, чем на Черном и Балтике. Вовка стремится попасть на корабль, которым командует Хохряков; это Хохряков и его товарищ Голиков встретили на Баилове, во время войны, оборванного, голодного мальчугана, привели к себе на корабль, накормили, одели и устроили в Нахимовское. И вот Вовка хочет показать Хохрякову, что годы учения не пропали даром и не зря на него государство тратило деньги...»

Когда я прочел письмо Игнату и Ростиславу, они рассказали: во время войны к ним в Нахимовское как-то приехал американский корреспондент. Узнав, что многие нахимовцы — сироты, он спросил:

— Кто же платит за их обучение?

— Государство, — ответили ему.

— Но ведь это государству невыгодно!

Разве американец поймет то, что понимает у нас каждый школьник? Невыгодно! У них в Америке государству выгодно только то, что полезно капиталистам. Там сироте одна дорога — рабочий дом, описанный Диккенсом, или в школу-тюрьму, где розог выдается вдвое больше, чем пищи. А у нас Бунчиков станет моряком, офицером.

«...Мы были в Тбилиси, — продолжал Забегалов. — Все вспоминают вас — Горич, и Кудряшов, и Протасов; старшина воспитывает теперь младший класс. Жаль, нам не удалось побывать на «Адмирале Нахимове», по-

видать нашего дорогого Николая Николаевича. Не бывал я и на «Серьезном». Мой бывший командир, Ковалев, получил повышение и командует дивизионом эсминцев. Мы переписываемся и вспоминаем бой под Констанцей, где были ранены оба. Осенью съезжу в Решму. Один братишка переходит в восьмой класс, другой — в седьмой. Итак, Юра теперь на кораблестроительном?

Я уверен, мы с вами будем плавать на построенных им кораблях, каких-нибудь очень прекрасных. Олег стал чертовски хорошо играть — мы с Вовкой слышали, как он выступал по радио на вечере флотских талантов, и даже прихвастнули — вот, мол, какой у нас товарищ, спал с нами в одном кубрике, на одной парте сидел, а теперь весь Союз его слушает... В Нахимовском его тоже слушали всем училищем. Желаем вам счастливого плавания, набраться на практике флотского духа, стать заправскими моряками...»

В день рождения Вадима Платоновича мы отправились поздравить чудесного старика. Было много гостей: молодежь, студенты, студентки, моряки и тот капитан третьего ранга, которому Вадим Платонович спас жизнь. Люда принесла корзиночку ранних, нежных, душистых гиацинтов. На письменном столе стояла готовая к отправке в музей модель линкора, расцвеченная миниатюрными флагами. На верстаке горбатилась парусина, наверное, там скрывалась от любопытных глаз модель, которая будет управляться по радио.

«Линкор» был показан гостям, и Вадим Платонович объявил, что создателями его являются Лузгин-старший, Лузгин-младший, Живцов и Бубенцов.

После обеда Вадим Платонович стал расспрашивать меня о Платоне. Я сказал, что Платоша экзамены выдержал, теперь зашагает дальше.

— А уж в плавании, Вадим Платоныч, я о нем позабочусь, — добавил Фрол. — Даю честное флотское, вышлою его, моряком станет!

Вадим Платонович даже прослезился:

— Не знаю, как и благодарить вас, молодые друзья! Горе он мое, а если бы вы знали, как я этого оболтуса люблю!

В училище меня ждало письмо:

«Поздравляю, сынок. Еще один шаг к флоту сделан.

Теперь на кораблях, на практике ты познаешь тяжёлый матросский труд. Нахимов говорил, что матрос на корабле — главный двигатель. Возьми на столетие поправку — советский матрос, воспитанный партией, комсомолом, управляющий сложными механизмами, — вот уж, поистине, на корабле — главный двигатель. Их у меня в соединении немало — людей образованных, любознательных, с широким кругозором. У наших матросов ты сможешь многому научиться. И когда с низшей ступени шагнешь на высшую, пойдешь на старших курсах на командирскую практику, не пренебрегай советами старшин и матросов!

Перед тобой широкая дорога в море, сынок. Но чтобы пройти ее — надо учиться и учиться — всю жизнь!

Счастливо плавать, Никита!»

Счастливо плавать, отец!

Часть третья

НА КОРАБЛЯХ

Глава первая

ПОД ПАРУСАМИ

Ранним июньским утром ленинградцы увидели на Неве парусный флот. Народ толпился на набережных. Говорили, что идет киносъемка. Киносъемки не было. Парусники пришли за нами. Все училища уходили в плавание.

И у меня и у Фрола еще с Нахимовского есть заветные тетради, куда мы записываем все заслуживающее внимания. Вот что записано Фролом о русском парусном флоте.

«Триста лет назад шведы считались отличными моряками. И все же мы, русские, забрали в бою возле острова Котлин шведского капитана, матросов, пушки и знамя. Было это в 1656 году. Знай наших!»

«В 1714 году на Балтике, под Гангутом, русские разгромили шведскую эскадру; через пять лет, чтобы шведы не зазнавались, высадили у них под столицей, Стокгольмом, десант».

«В 1770 году эскадра адмирала Г. А. Спиридова под парусами обогнула всю Европу и у берегов Малой

Азии, в Чесменской бухте, наши моряки потопили все бывшие там турецкие корабли, потом взяли Бейрут и топили турецкие корабли возле Египта».

«Врагов не считают, их бьют», — говорил адмирал Ушаков. Он их бил, не считая, — у острова Фидониси и в Керченском проливе и между Гаджибеем и Тендрой. Правильный адмирал! А в 1799 году Ушаков взял крепость Корфу на Средиземном море. (Запомнить: Федор Федорович Ушаков строил мой родной Севастополь)».

«В 1803 году Иван Крузенштерн (тогда он был капитан-лейтенантом) вместе с капитан-лейтенантом Лисянским пошел на шлюпах «Нева» и «Надежда» вокруг света. Они испытали множество приключений. У японских берегов Крузенштерн попал в тайфун (так называют китайцы ураган), океан забурился, корабль бросало, как щепку. Крузенштерн не растерялся; он спас и корабль и матросов. Таких людей уважаю».

Приписка на полях: «В Таллине видел, где адмирал похоронен. На Неве видел парусник, названный «Крузенштерном», а на набережной — памятник адмиралу. Вполне заслужено им и то и другое».

«В 1806 году адмирал Д. Н. Сенявин высаживал в Средиземном море десанты и бил французов. В 1807 году он блокировал Дарданеллы, у Афона уничтожил треть турецкого флота, а адмиральский корабль взял в плен. Опять наш флот отличился».

«В 1807 году Василий Михайлович Головнин ходил на «Диане» от Кронштадта к Камчатке. В 1817 году он ходил вокруг света на шлюпе «Камчатка». Он сам написал о своих путешествиях целую книгу».

«В 1819 году на шлюпах «Восток» и «Мирный» пошли в Антарктику Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен и Михаил Петрович Лазарев, будущий адмирал. Лазарев в пятнадцать лет уже смело плавал во всех океанах, в 1812 году воевал с французами, высаживался под Данцигом. Ходил от Кронштадта к Аляске. Когда он с Беллинсгаузеном пошел к Южному полюсу, иностранцы кричали, что плавать там невозможно и никакой земли нет. Там, где всем невозможно, русский прошел! Они Антарктиду открыли — шестую часть света. Лазарев в третий раз ходил вокруг света на фрегате «Крейсер», с ним был Павел Степанович Нахимов. В 1827 году Лазарев командовал линейным кораблем

«Азов», с ним были молодые П. С. Нахимов и В. А. Корнилов. В Наваринском бою «Азов» выдержал бой против пяти кораблей. Здорово!»

«Федор Петрович Литке ходил в Северный Ледовитый океан. Его бриг ударило ночью о камни, вышибло руль, расщепило корму. Бриг погиб бы, но Литке с корабельными плотниками сам полез в воду и укрепил руль. В 1826 году Литке на шлюпе «Сенявин» ходил вокруг света. Книгу Литке я прочел с удовольствием».

Дальше шли записи о Синопском бое, пространные записи, потому что Нахимов был любимым героем Фрола. В заключение было написано:

«Говорят, мы пойдем на практику в море под парусами. Что ж, капитан Лухманов всего лет двадцать назад ходил с курсантами на паруснике «Товарищ» через Атлантический океан. Плавать на паруснике — что может быть интереснее! Ведь «на утлых кораблях», — как говорил адмирал С. О. Макаров, — «наши ученые моряки совершали свои смелые путешествия, пересекая океаны по разным направлениям, открывали и изучали новые, еще неизвестные страны. Описи и съемки, которые они сделали, и по сие время служат для руководства мореплавателям, а замечания и наставления их цитируются лояциями всех наций». «Да послужат труды этих исследователей драгоценным заветом дедов своим внукам, и да найдут в них грядущие поколения наших моряков пример служения науке»... Надо раздобыть в библиотеке».

На этом заканчиваются записи Фрола о парусном флоте.

* * *

«Север» — небольшой парусник, стройный, изящный, с тремя высокими, чуть наклоненными к корме мачтами. Трудно подумать, что на таких кораблях воевали: теперь бы первый снаряд, скажем с «Адмирала Нахимова», разнес «Север» вдребезги. Но такие, как «Север», корабли ходили и в Средиземное море и под Синоп, и экипажи их брали на abordаж неприятельские суда, сжигали их и топили. На таких кораблях, как «Север», русские моряки ходили в Северный Ледовитый океан, в Антарктику, совершали кругосветные плаванья.

Командир «Севера» капитан второго ранга Еремеев и его заместитель по политчасти капитан третьего ранга Вьюрков поздравили нас с прибытием на практику и познакомили нас с боцманом Слоновым. Речь Еремеева была коротка.

— Парусный флот давно отжил свой век. В современных морских сражениях парусные корабли не участвуют. Но плавание под парусами принесет пользу — вы все закалитесь, станете ловкими и выносливыми. Будущий артиллерист, штурман или минер должен быть прежде всего моряком. А чтобы быть моряком, надо вдоволь полазать по вантам. Лазанием по вантам заменяю физическую зарядку!

Все подбородки поднялись кверху, и не одна пара глаз измеряла с опаской высоту мачт.

Вьюрков добавил, что именно здесь, на корабле, рождается тесная товарищеская спайка и здесь крепколюбят труд...

Неуклюжий буксир с полосатой трубой, пыхтя, потянул за собою парусник. Буксир медленно вытягивал его из Невы, гудками расчищая дорогу. Город отодвигался назад со своими мостами, дворцами, «Исаакием», судостроительными заводами, торговыми судами у стенки. Все расплывалось в дыму, как в тумане, — мачты, трубы, крыши высоких домов — и вскоре превратилось в сплошное серое, во весь горизонт пятно.

* * *

На кораблях, на которых мне приходилось плавать, все было стальным и железным — трапы, переборки, даже шкафы в каютах и в кубриках были только раскрашены под дуб масляной краской. На «Севере» все было деревянным, и повсюду пахло краской и чисто вымытым деревом.

Палуба была желтая, гладкая и словно расчерчена по линейке тушью. Как видно, сегодня матросы долго скребли ее, терли песком, мыли щетками и скачивали из шлангов. Она блестела, как паркет. На медную окантовку люков, на поручни было больно смотреть. Вдоль бортов лежали в гнездах скатанные белые койки.

Фрол тщательно вытер подошвы о плетеный мат и пригласил меня и Платона осмотреть корабль. У нас

дома в столовой стояла модель фрегата. В морском музее и у Вадима Платоновича мы видели копии парусников. Но копия — лишь игрушка, на которую приятно смотреть. А «Север» может выдержать шторм.

Конечно, после тяжелых броневых башен «Нахимова» с грозно выдвинутыми длинными стволами мощных орудий пушечки «Севера» вызывали улыбку. После стальных сооружений крейсера, уходящих ввысь, стройные мачты парусника казались хрупкими. После вместительных кубриков, просторных офицерских кают, огромной кают-компания, клуба, занимавшего целое палубное помещение, роскошной радиорубки, притягивавшей нас, как магнитом, здесь было тесно. По бесчисленным трапам «Адмирала Нахимова» можно было путешествовать целый день. На «Севере» было всего лишь несколько крохотных офицерских кают. Стоило подняться на ют — и в стеклянный люк была видна, как на ладони, кают-компания, отделанная полированным деревом, с небольшим овальным столом и с круглыми морскими часами над желтым буфетом. В кубриках, в корме и в носу были койки в три яруса; две койки выбрал Фрол для себя и Платона; мне отвел койку над ними. Не плававшим раньше товарищам он предложил спать на подвесных койках, предупредив, что их придется приносить сверху, подвешивать, как подвешивают гамак, и стараться не вывалиться.

Камбуз на паруснике был крохотный и нас удивило, что кок, весивший сто кило, не только умещается в тесной клетке, но и передвигается, оперирует тяжелыми медными кастрюлями, месит тесто для пирожков, готовит фарш, чистит рыбу. Рядом с камбузом висели бараньи туши. Фрол пустился с коком в длинный разговор по поводу приготовления какого-то сложного блюда. Польщенный кок тут же стал записывать сообщенный Фролом рецепт и забыл о супе, который, вскипев, сбросил крышку. Мы поспешно ретировались, но кок, уgomонив разбушевавшийся суп, кричал вслед, чтобы мы заходили, он всегда рад нас видеть. Тут же сидел, облизываясь и вдыхая соблазнительный аромат, корабельный пес Ветер. Это был пес из породы овчарок, с черной мордой, умными карими глазами и рыжими подпалинами на мощной груди. Мы пытались с ним познакомиться, но, он взглянул на нас с таким

видом, будто хотел сказать: «Ах, ну, что вы, право, ко мне привязались? Мне совсем не до вас». Кок рассказал, что Ветра подобрали в одном из портов, забитым, запаршивевшим, несчастным щенком. Командир разрешил оставить его на «Севере», и Ветер стал грозой корабельных крыс и фаворитом толстого кока. Пес снисходительно разрешил нам потрепать его острые уши.

На корабле паруса уживались рядом с телефонами, огромное старинное рулевое колесо — с радиопеленгатором. В кубрике, заменявшем клуб, мы нашли радиолу. Повсюду, куда не проникал дневной свет, ярко горело электричество. В далеком прошлом на кораблях все палубы, каюты и кубрики освещались тусклыми фонарями.

Вскоре все было осмотрено. Мы появились на палубе как раз во-время, потому что боцман закричал таким голосом, что и мертвый вскочил бы:

«По местам стоять, на якорь становиться!»

* * *

На другое утро одни неуклюже, другие с относительной легкостью перебирались с одного борта на другой по вантам второго грота и бизани. Я старался не смотреть вниз и облегченно вздохнул, очутившись в конце концов на палубе. Боцман громовым басом хвалил храбрецов, подбадривал трусивших. Фрол как бы случайно очутился рядом с Платоном, готовый ему протянуть руку помощи, а потом умудрился залезть выше всех; боцман приказал ему немедленно слезть и в другой раз «наперед батьки в пекло не соваться».

— Страшно?—спросил я Бубенцова, когда мы закончили эту своеобразную физзарядку.

— А ты как думаешь?

— Ничего, ничего, привыкнете, — подбадривал Фрол. — Поглядите-ка на Платона — орел!

И Платоша расцвел от неожиданной похвалы.

Пронзительный свист боцманской дудки звал на приборку. Удивлению Бубенцова и Серегина не было границ. Мыть, скоблить сверкающую палубу? Зачем?

— А затем, чтоб она была еще чище,—пояснил Фрол, вооружаясь скребком и шваброй и засучивая рабочие брюки.

Многие не знали, с чего начать. Тогда острые усы боцмана встали торчком.

— На колени становись, на колени! Работать руками, а не ногами!

Но вот палуба скачена, грязная вода стекла за борт. Боцман заставил нас драить медяшку; проверяя, дышал на поручни трапов, в которые можно было смотреться, как в зеркало, протирал тряпкой и удовлетворенно говорил: «хорошо».

— А боцман придерживается нахимовских правил,— сказал Фрол, когда Слонов вручил ему ведро с краской и приказал закрасить ссадину на фальшборте, — помнишь, Нахимов говорил: «Праздность — недопустима»?

Увидев подходившего боцмана, он принялся усердно втирать краску в борт. Боцман внимательно осмотрел работу Фрола, потом повернулся ко мне. Я получил приказание:

— Пойдите в кубрик, выкрасьте подволока.

Чтобы достать до подволока, пришлось стать акробатом, и я весь забрызгался масляной краской, вспотел и упарился, но подволока был все же выкрашен. Боцман, задрав голову, минут пять исследовал его. Наконец, он одобрил работу и приказал идти мыться. Баня на «Севере» была тесная, но душ хорош. Едва я успел одеться, горн весело позвал на обед. Я застал товарищей в кубрике за подвесным, чуть раскачивающимся столом. Как выяснилось, никто не сидел без дела. Всем боцман нашел работу.

— Не то еще будет,—постращал Фрол.

— А что еще будет?

— Слонов — вроде моего Фокия Павловича, сам старателен и нерасторопных терпеть не может. ...Держи, держи!—вдруг закричал Фрол.

Платон, неся медный бачок, споткнулся на комингсе; Ростислав и Пылаев, сидевшие ближе к двери, сорвались с лавки и успели подхватить незадачливого бачкового.

— Эх, неловок! Чуть не погубил и себя, и борщ, — всердцах ругнул Фрол Платона.

Вошел командир роты, присел с краю и попросил ложку.

— Отменный борщ, — похвалил он, попробовав.

Борщ съели дочиста. Платон, забрав опустевший бачок, отправился за вторым.

— Ну что, нажимает боцман?—спросил участливо Костромской.— Ничего, это вам только на пользу. Знаете труд матроса, научитесь уважать тех людей, за которых будете нести ответственность, когда станете офицерами. Вот Пылаев расскажет про матросскую жизнь. Вместе на «Ловком» плавали...

Появился Платон, запыхавшийся, взмокший, принесший второе.

— Ну, отдохайте,—поднялся Костромской, когда Платон отправился за компотом.—Отдохнете—пойдем на маяк. На маяках не бывали?

Было много смеха, когда принесли подвесные койки. Фрол помог Серегину и Бубенцову развязать их и забраться в качающиеся парусиновые постели...

* * *

Возле белой маячной башни нас встретил старый смотритель в выцветшем матросском бушлате и повел на полутемную винтовую лестницу. В редкие пробитые в стене окна был виден залив и наш «Север». Фрол принялся вслух считать ступени. Сверху послышался хриплый голос смотрителя:

— Можете не считать. Их ровно двести семьдесят пять.

С площадки у фонаря, огороженной леером, был виден рейд, корабли, буксир, тащивший баржу по фарватеру. На фоне зеленого леса белели здания Петродворца.

— Кит, чувствуешь? — с опаской спросил Митя. — Башня качается.

Башня, действительно, слегка раскачивалась.

— Не опрокинется?—поглядел он с опаской.

— Сто лет стоит, не опрокидывалась, только тебя и ждала, чтобы опрокинуться, — насмешливо кинул Фрол.—Лучше слушай смотрителя.

Старик рассказывал:

— В старину маяком называли костер, разложенный рыбаками, указывавший путь кораблям; «огненными маяками» назывались огни, зажигающиеся на берегу, а «дневными маяками»—столбы и груды камней. Петр Первый приказал зажигать маячные огни на Петропавловской

крепости, построил маяки на Азовском и Белом морях, заботился о безопасности кораблей в Финском заливе.

Смотритель показал моторчик, вращающий диск рефлектора, большие линзы цилиндрической формы, окружающие огонь, включил аварийную ацетиленовую горелку.

— Во время войны,—продолжал он,—маяки со-служили большую службу. Когда Севастополь находился в осаде, маяк светил нашим кораблям, подвозившим продовольствие и боеприпасы защитникам города. Немцы бомбили маяк непрерывно. Но каждую ночь над морем загорался яркий огонь. Немцам удалось, наконец, разрушить маячную башню и перебить людей... сын мой там тоже погиб,—сказал он вздохнув,—но на смену пришли на баркасе новые люди и снова зажгли огонь на развалинах... А на Ладожском озере, в трех километрах от линии фронта, тоже светил маяк. Враги разрушали его день за днем, но погасить так и не смогли...

— На этом маяке — вставил Костромской, — служил Родион Тимофеевич.

И командир роты с уважением посмотрел на седого смотрителя.

С рейда донесся призыв горна. На палубе «Севера» начиналась вечерняя поверка. Нам пора было уходить.

Когда мы возвращались на корабль, Фрол размышлял:

— Смотри, пожалуйста, невидный какой старикашка, формы не носит, а у него, пожалуй, и орден есть.

— Орден Ленина.

— Откуда ты знаешь, Кит?

— Заметил ленточку под бушлатом.

— Ну, что ж, за такое дело—он заслужил! А ну, Платон, скажи, что ты видел сегодня?

— Маячную башню.

— Сам ты — маячная башня! Ты настоящего человека видел! Такого, как батя твой, настоящего человека! Хотел бы я, когда доживу до их лет, не одряхлеть, не согнуться, в их годы остаться таким, как в свои!

И Фрол обернулся, чтобы еще раз взглянуть на смотрителя, стоявшего на пороге.

Пока мы добрались до парусника, потемнело и «Север» осветился огнями. Поужинав, я вышел на палубу.

На баке товарищи, сидя кружком, слушали чьи-то рассказы.

— Кит,—позвал Фрол,—иди, послушай, какие истории водолаз рассказывает. И, представь, все похоже на правду.

— Послали меня на Ладожское озеро в невыносимый мороз,—рассказывал широкоскулый матрос с лицом, обтянутым глянцевою коричневой кожей. — Танкетка провалилась в промоину. Водитель едва успел выскочить. Луна ярко светила, нашу машину хорошо было видно на льду, и фашисты ее обстреливали. Добрались до места, командир спрашивает:

— Не трудно будет, Тарасов, работать? Мороз-то ведь сорок градусов!

— Что мороз,—говорю,—когда надо танкетку вырывать!

Никогда я до тех пор, говоря по совести, под лед не лазил и с утопшими танкетками не имел дела.

Спустился на грунт, осмотрелся, нет ли мин. Вижу, танкетка стоит, попросил сверху стропы. Подальше Вдруг, почудилось мне, наверху что-то неладно. Нет, воздух качают, как-будто все в порядке. Застропил я носовую часть, кормовую застропил, стал соединять третьим стропом, а на сердце как-то не по себе...

Вылезаю на лед, мой дружок, Андреев, снимает с меня костюм, а руки дрожат.

— «Ты чего?»—спрашиваю.

— Да нет, ничего.

Только когда до казармы добрались, прорвало его:

— Ну, Тарасов, не думал я, что с тобой свижусь.

— Почему?

— Как полез ты под лед, какой-то сукин сын из леса ракету пустил. Тут как начнут по нас палить, дьяволы! Все на снег полегли, только я да водитель, что за свою танкетку болел, продолжали тебе воздух качать. Качаю я, а сам думаю: а что, если где поблизости снаряд лед проломит да в воде разорвется? Приглушит тебя, ровно рыбу...» Больше мне лазить под лед не пришлось. Закурить есть, ребята?

— Слыхал?—спросил Фрол, спускаясь в кубрик.

— Слыхал.

— Выводы сделал?

— Сделал.

— Какие?

— Что не ты один, Фролушка, попадал в «вилку».

— Ты что, мысли научился читать? — изумился Фрол.

— Почему—читать мысли?

— Да ведь я тоже самое подумал. Куда ни взгляни, повсюду настоящего человека встретишь. Давеча—этот старче на маяке, нынче—водолаз. Сидит человек, ты его в первый раз в жизни видишь, и такое рассказывает, что у тебя дух замирает, а по его словам как будто ничего он особенного не сделал. Ты знаешь, Кит? Казалось мне, что я катер в базу привел, так такое сотворил—во! (он широко развел руки), а выходит на деле всего-навсего—во!

Он прижал большим пальцем кончик мизинца; потом мигом разделся и, аккуратно сложив форменку и брюки, лег на койку.

* * *

На другой день «Север», покинув рейд, вышел в море. Скучать было некогда. Командир и боцман не оставляли нас без дела. Учебные тревоги следовали одна за другой, и мы то тушили все дружно «пожар», что было захватывающей игрой, то заделывали обнаруженную «пробоину». Горнист играл боевую тревогу, звенели колокола громкого боя, на фале взвивался флаг, и мы, захватив противогазы, разбегались по боевым постам. Всех забавлял Ветер, во всю прыть, наострив уши, бежавший по тревоге на камбуз.

Мы обучали товарищей гребле. Гребцы быстро спу-скали на воду шлюпки, и Фрол, подражая боцману, зычно покрикивал: «По банкам не ходить!», и командовал: «Протянуться! Уключины вставить!» Потом слышалось за бортом: «Весла-а! На воду!.. Раз, два-аа... Бубенцов, как сидишь?.. Правая на воду, левая табань... Суши весла!»

Но иногда из-за борта доносились выражения, не предусмотренные уставом, и тогда боцман басил: «Живцов!»—«Есть Живцов!»—отзывался Фрол из-за борта, «Поаккуратнее!»—«Есть поаккуратнее!.. Разговорчики! Серегин, рук на борт не выставляй!..»

Ростислав учил новичков разбираться в сигналах: — Глядите, на фале «Дружного» — сигнал. Это

значит — кораблям итти осторожнее, «Дружный» ведет водлазные работы.

Молодой штурман, лейтенант Полухин, проводил с нами занятия. На палубу выносили столики, раскладывали карты. Я с интересом наблюдал за Полухиным; он из училища был выпущен недавно, но держался уверенно, как подобает столь важному на корабле лицу. Ведь это штурман прокладывает путь корабля на карте, зарисовывает берега, производит астрономические наблюдения для определения места корабля, следит за верностью компасов, за хронометрами. Штурман должен знать, как свои пять пальцев, рельеф берегов днем, звездное небо и маячные огни ночью, должен быть лучшим на корабле рулевым.

Полухин учил нас обращаться со штурманскими приборами — компасом, лагом, секстаном, эхолотом, радиопеленгатором; он говорил:

— Запоминайте характерные черты берегов. Представьте, вы ведете корабль. Берег открылся на короткое время; если знаете его хорошо — используете для ориентировки... Взгляните—перед вами два соседних участка. На обоих одинаковый лес, но в одном лесу—просека, а в другом—нет. Заметили? Запоминайте. Во время войны один командир катера, высаживая разведчиков, не позаботился запомнить такие же признаки, спутал два разных участка берега и чуть было не сорвал операцию.

Вечером мы под руководством Полухина практиковались в прокладке.

Наш начальник курса, всегда присутствовавший на занятиях, говорил:

— Когда я стоял на штурманской вахте, я особенно остро чувствовал свою ответственность. Одно дело — вести прокладку в училище, в классе или даже на корабле, на учебном столике, другое—в походе, на мостике, где ошибка в расчетах грозит не двойкой в журнале, а аварией... Я всегда спрашивал себя: правильно ли я проложил курс между опасностями, точны ли и безошибочны ли мои расчеты? Ведь я отвечаю за всех этих безмятежно спящих людей...

— Да, — повторил Фрол запомнившиеся ему слова:—ошибка на корабле—это тебе не двойка в журнале.

И он поглядел на мостик, где в тусклом свете освещенных приборов командир совещался со своим юным, но уверенным в себе и в своих расчетах штурманом и, надо полагать, вполне ему доверял.

— Помнишь, старик Бату говорил в Тбилиси, что мы будем наперечет знать все звезды? Мы теперь с ними на «ты».—И Фрол стал перечислять сверкавшие над головой созвездия Большой и Малой Медведицы, Персея, Лебеда — А все же нам еще до него — ох, как далеко! — кивнул Фрол на штурмана, стоявшего на мостике в черном клеенчатом плаще.

* * *

«Север» бороздил море. Балтика жила трудовой напряженной жизнью. То встречался тяжело груженный транспорт, то шли на траление тральщики; на них с завистью поглядывал Зубов. То проходил, нагоняя волну, стройный стремительный крейсер, неслись торпедные катера и, прежде чем их успеешь разглядеть, исчезали в зеленой волне, оставляя за собой пенистый белый след. Встречались и парусники учебного отряда; мы, выстроившись на борту, приветствовали товарищей.

Все втянулись в корабельную жизнь; никто не уживал от авралов, приборки, даже от стирки белья которой раньше заниматься не приходилось.

Труд не тяготил — радовал. Приятно было, взглянув на чистую палубу, сознавать, что вымыл ее ты, не другие. Приятно было надеть выстиранную и выглаженную тобой самим форменку. Приятно было взглянуть на свое отражение в «медяшке» — никто другой, ты сам ее драил.

Труд всех сдружил — не было ссор, пререканий. Состязаясь, мы взбирались на мачты, приучали себя к высоте, не боялись ее, чувствуя себя над палубой легко и уверенно. С жаром мы практиковались каждый день в гребле, чтобы на гонках выйти на первое место. И изумительно радостное было чувство, когда твоя шлюпка приходила к финишу первой! А когда корабль шел под парусами среди ясного летнего дня — было отрадно сознавать, что поставлены паруса тобой и твоими товарищами.

И стоило поглядеть на нас во время купания! Тела

стали коричневыми, мускулы налились, носы и лбы облупились. Прыгали в море со шкафута: в воздухе мелькало коричневое, в голубых трусах тело, оно врезалось в спокойную воду, и вот появлялась отфыркивающаяся, стриженная наголо голова. У обоих бортов дежурили шлюпки. Вершинин прохаживался по палубе, следил за купающимися, а наш веселый командир роты подзадоривал пловцов, плавая с ними наперегонки. Боцман тоже подбадривал нас. Фрол вызывал Платона и, раззадорив, кричал:

— Кит, за нами держи!

И мы проплывали вокруг корабля.

Игнат щелкал «лейкой». Мне за фотоаппаратом не угнаться, но в моем альбоме накопилось много рисунков: вот Фрол, напружинившись, прыгает с бугшприта в море; боцман, надув щеки, дует в дудку, сзывая матросов; курсанты, раскачиваясь на мачтах, крепят паруса; корабельный пес Ветер не отстает от своего друга, и за круглой головой кока скользят в воде острые собачьи уши.

Ветер сидит у меня за спиной и заглядывает через плечо в альбом. Я сую ему кусок сахара.

Гриша говорит:

— Ты настоящий художник.

— Ну, чтобы быть настоящим художником, надо много учиться. В Тбилиси есть художник Гурамишвили, он окончил Академию в Ленинграде. Перед его картиной в галерее всегда толпился народ, особенно моряки.

— А что было на этой картине?

— Десант. Она называлась «Их не остановит ничто». Ты понимаешь, прямо из пены, подняв автоматы, выходят матросы. Один поддерживает раненого товарища, другой помогает захлестнутому волной. Они выйдут на берег и станут выбивать из укреплений врага...

— О морской пехоте картина?

— Да. А на другой — моряк вернулся с победой. И дочка бежит навстречу, счастливая, радостная, смеется. Удивительно, Гриша, что старик писал это задолго до победы, в те дни, когда немцы подходили к Кавказу.... Он был все же уверен в победе! Начал слепнуть, напрягал последние силы и все же написал «Возвращение с победой»...

Подходит Вершинин.

— Разрешите полюбоваться, Рындин?

Он перелистывает плотные листы ватмана.

— Я не специалист, но, мне думается, в Ленинграде надо показать ваш альбом понимающим людям. Вам надо учиться.

Мы с Игнатом устраиваем выставку. Кок, ценитель искусства, зовет меня на камбуз и угощает слоеными пирожками.

* * *

В старинной книге я читал: долго плавают в море, надоедают друг другу; начинаются из-за пустяков ссоры. У нас не так. Плавание всех сдружило.

По вечерам на баке собирается «курсантский клуб», и под звездным небом завязываются бесконечные разговоры и споры.

Матросы поют:

«Где вскипает волна за волною,
Где бушующий ветер ревет,
Там Балтийское море седое
О великих победах поет».

— «Родословная наша морская от петровских до наших времен»,—повторяет Фрол слова песни.—А знаете, кто организовал первое в России военно-морское училище?

— Флотоводец Петр,—отвечает Игнат.

— Правильно. Первую навигацкую школу, в Москве, в Сухаревой башне, в 1701 году, — подтверждает Фрол.

— И приказал... — Фрол достает помятую тетрадь...—приказал набирать в школу «добровольно хотящих, иных паче и с принуждением». И сам экзаменовал, определял им чины. В 1710 году выпускники уже плавали на кораблях в Балтике. Потом школу Петр перевел в Ленинград.

— В Петербург,—поправляет Игнат.

— Ну, в Петербург. Что ты придираешься. И назвал ее Морской Академией. И сам составил дисциплинарный устав. Курсанты должны были сидеть в классе со всяким почтением, всевозможной учтивостью, без всякой конфузии, не досаждая друг другу; никакого

шума и крика было велено не чинить и особенно не проводить время в разговорах. В те времена за прогуступки драли.

— Да ну?—удивляется Платон.

Потом Академия морским корпусом стала. А вы знаете, кто корпус окончил? Адмирал Федор Федорович Ушаков—раз (он загнул палец), адмирал Спиридов, победитель при Чесме,—два (загнул другой), адмирал Сенявин, победитель в Дарданелльском сражении—три, Крузенштерн Иван Федорович—четыре, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен—пять, Михаил Петрович Лазарев, герой Наваринской битвы; Корнилов, герой Севастопольской обороны; Павел Степанович Нахимов, Римский-Корсаков—композитор, Станюкович — писатель... погоди, нехватает пальцев. Выходили из корпуса, правда, и гады, которых матросы в семнадцатом году покидали за борт. Но после Октября вместо корпуса открыли курсы и пришли туда наши матросы—сыновья рабочих, крестьян. Учиться им было трудно; но все же вышли из них командиры и адмиралы... Упорства в них было много! А если упорство в тебе есть и выдержка — никакая беда не страшна!

Тут возникает горячий, взволнованный спор о том, что должен предпринять вахтенный офицер, если кораблю грозит столкновение, если на корабле возникает пожар, если штурман ошибся в расчетах и корабль идет прямо на камни... Приводят примеры. Вспоминают и Вадима Платоновича, и моего отца, и Глухова, и того офицера, который, не задумываясь, пожертвовал своим эсминцем, чтобы спасти один из лучших крейсеров Балтики. Кто-то вспоминает, что Фрол тоже спас катер.

И вдруг Фрол, раньше сам любивший вспоминать об этой истории, говорит:

— Подумаешь! Другие еще не то делали! У нас в соединении есть гвардии старший лейтенант Лаптев, так он из-под носа у гитлеровцев целый пловучий кран уволок. А что Живцов? Небольшой величиной был Живцов!

Такие речи мы слышали от Фрола впервые.

* * *

Боцман говорил: «если чайка села в воду, жди хорошую погоду». На этот раз предсказание не оправда-

лось. Чайки сидели на воде, но небо покрылось тучами. На палубе обдавало водяной пылью. Командир в мокром плаще не сходил с мостика. Стало качать. Сменившись с вахты, я спустился в кубрик, ожидая увидеть знакомую картину: беспомощных, стонущих товарищей. Но еще на трапе услышал: поют. Да, в кубрике пели. Запевал Бубенцов, Серегин, Платон и Илюша подхватывали так, что в ушах звенело. Все были очень бледны, но держались.

«Москва моя»,—пели здесь, в море, далеко от Москвы.

Игнат терпеливо выводил буквы в очередном номере газеты «На практике». Он обернул ко мне побледневшее лицо:

— Занимаешься делом — не чувствуешь качки, не правда ли?

Когда кончили петь, Фрол достал затрепанный томик Станюковича. Боцман, спустившийся нас проведать, присел и стал слушать.

Станюкович описывал океан, кипевший в белой пене, и маленький парусный черный корвет, поднимающийся на волнах; рассказывал о матросах, в шторм лазивших по реям и крепивших паруса, о капитане, не спавшем целую ночь.

Боцман сказал, что в такой же шторм попал «Север» в прошлом году. Когда Слонова стали расспрашивать, он отмахнулся, сказав, что рассказывать нечего:

— У товарища Станюковича все описано. И наш орел-командир точь в точь так же не сошел с мостика даже чайку попить, за свой корабль душою болел... за «Север» и за людей. Пойду покурить.

Курил боцман трубку, набитую таким вонючим, собственной резки табаком, что каждый, очутившийся поблизости, обращался в бегство.

Я вышел на палубу. Наш парусник, раскачиваясь, шел вперед. Ростислав стоял у фальшборта.

— Давай-ка, проверь меня, Ростислав.

Я назвал мыс, бухту, береговой населенный пункт, мимо которых шел «Север». И Ростислав мне поставил пятерку.

* * *

Корабль, влекомый буксиром, медленно поднимается по широкой Даугаве среди полей и разноцветных до-

миков. Впереди рыбаки выбирают сети. Корабль останавливается перед рыбацкими баркасами, выжидая, пока сети выберут... Потом продолжает свой путь. Вьюрков, показывая на высокие башни и дома Риги, рассказывает нам о столице Советской Латвии и рекомендует осмотреть ее хорошенько.

Как приятно получить пачку писем, забраться куда-нибудь в уголок и перечитывать ровные строчки, написанные знакомым почерком!.. Отец—в Цхалтубо, подлечивает старые раны. Шалва Христофорович приглашает в Тбилиси. Илюшу родные ждут в Зестафони. Бубенцова мать зовет в Сумы.

Через час мы гуляем по зеленым бульварам и паркам: заходим в магазины, покупаем коробки с почтовой бумагой, одеколон, открытки. Попадаем на дневной спектакль, смотрим балет «Берег счастья».

Фотографируемся—Игнат растрчивает всю пленку. Долго бродим по городу, любуемся величественными зданиями музеев, многоэтажными домами, выстроившимися вдоль зеленых бульваров, забредаем в старый город, сильно разрушенный бомбежкой, где, как и в Таллине—узкие улочки, остроконечные, крытые черепицей крыши, подъезды, похожие на щели, и старинные фонари. Возвратившись на корабль, Фрол записывает в дневник: «Сегодня видел еще один город — Ригу».

* * *

Самой трудной считается на корабле вахта после полуночи. Дублируя вахтенного сигнальщика Шевелева, всматриваюсь во тьму.

Ночь темная и дождливая. Вахтенные на палубе зябко поеживаются в бушлатах. На кораблях мерцают огни. Город спит; на мачте брандвахты одиноко горит штормовой сигнал: три красных огня, расположенных треугольником.

Я вглядываюсь во мрак, мне то и дело мерещатся движущиеся огни. Свежо и сыро, пробирает насквозь, я то и дело беспокою Шевелева, не видит ли он чего-нибудь в темноте. Но вот движутся не воображаемые огни—корабль выходит из порта; это подтверждает и Шевелев.

Облегченно вздохнув, откидываю полог над столи-

ком, замечаю по морским часам время и записываю в журнал.

Я свыкаюсь с темнотой и больше не вижу воображаемых огней. Шевелев говорит:

— Ничего, это только в первый раз трудно; попривыкнете.

Наконец, медленно начинает светать. Дождь перестает. На востоке небо алеет, силуэты остроконечных башен и вышек кажутся вырезанными из черной бумаги. Минута в минуту, по флотской традиции — быть аккуратным и не задерживать на вахте товарища, меня сменяет Ротислав. Сдав вахту, спускаюсь в кубрик. Синие дежурные лампочки освещают три яруса коек, на которых сладко спят товарищи, видящие десятый сон...

* * *

В Нахимовском мы всегда отмечали двадцать третье июня, день рождения Павла Степановича Нахимова. С разрешения командира корабля и Вьюркова Фролу поручили сделать доклад.

В этот вечер «Север» слегка покачивало на легкой волне. Всю палубу под темным небом заполнили слушатели.

Фрол начал с того, что Нахимов так же, как мы, сдавал экзамены, ходил, как и мы, на практику; но работал он больше всех, служил в сутки двадцать четыре часа и уже в пятнадцать лет был мичманом, в тридцать командовал фрегатом, в тридцать четыре — линейным кораблем, а в тридцать пять был капитаном первого ранга.

Фрол рассказал, что Нахимов чуть не погиб в кругосветном плавании, бросившись за борт спасать матроса. Докладчик так красочно описал Синопский бой, что слушатели на выдержали — захлопали. Но он только досадливо отмахнулся и продолжал говорить о своем безупречном герое, о его скромности, неподкупности, храбрости — Нахимов сам на Малаховом кургане командовал солдатам и матросам — «В штыки!». Нахимов заявил, что, даже если весь Севастополь будет взят, он с матросами продержится на Малаховом кургане целый месяц. «Чистый душой и благородный человек будет всегда ожидать смерти спокойно и весело,

а трус боится смерти, как трус»,—привел Фрол слова адмирала Нахимова. Фрол вдохновенно, с заблестевшими глазами описывал разрушенный Севастополь, окутанный густой пылью и гарью пожаров; казалось, Фрол видел каждый дом, морское собрание, морскую библиотеку, Графскую пристань и неприятельский флот в виду города. Ведь Севастополь был родным городом Фрола...

— Когда враги убили Нахимова, — продолжал Фрол, — матросы стояли возле гроба целые сутки. Одни уходили, с бастионов приходили другие. Адмирал был покрыт тем простреленным и изорванным флагом, который развеялся на его корабле в день Синопа...

Свет погас, на палубе стали показывать фильм «Нахимов»; я отошел к борту; огни корабля отражались в темной воде.

«Ты будешь получать письма с Черного моря и с Балтики»,—сказал отец маме. Нам некому больше писать на Кировский. Пока я был занят работой, я забывал об этом. Теперь снова все вспомнилось...

— Ты о чем, Кит?—подошел ко мне Фрол.

— Да все о том же...

— Знаешь, поедем в отпуск на катера, Кит? В наше соединение, а? В Севастополь? Юрий Никитич нас примет?

— Конечно!

— Мы лодырничать не будем! Так и пиши отцу: драйте нас во всю, гоняйте на катерах, проверяйте, получают ли из нас моряки. Ведь мы—ваши катерники!

— Это будет, Фрол, замечательно!

— Ты завтра же и напиши, почву пощупай. Послушай, Кит, ты на меня не в обиде?—вдруг спросил он.

— В обиде? Да что ты, Фрол?

— Сколько раз тебе говорю — со мной не хитри, Кит, я тебя насквозь вижу; тебе думается, я от тебя отбился. Я от тебя не отбился, Китище,—хлопнул он меня по плечу,—только сам понимаешь, вернемся мы в Ленинград, Вадим Платоныч и спросит: «Ну-ка; Фрол, получилось что-нибудь из моего оболтуса?» И я хочу ответить ему, не кривя душой: «Да, Вадим Платоныч, он стал, наконец, человеком». А что ты думаешь? Платон не хуже других работает, штурман его

хвалит, боцман хвалит, на вельботе он не хуже других гребцов... вот что делает с человеком море!

— Только море, Фролушка? Коллектив!

— Насчет коллектива — ты правильно. Коллектив у нас крепкий. Из Платона, гляди, и то человека сделали! Да ты знаешь, Платон-то ведь, по существу, неплохой парень. Оказывается, он все свои деньги в Ленинграде отдавал Бубенцову, чтобы тот со скупщиком мог рассчитаться да из кабалы вылезти.

— Я не знал.

— Вот то-то и есть, Кит, что о человеке хорошее узнаешь задним числом, а дурное — в первую очередь. Дурное-то, оно в воздухе так и носится, а хорошее — оно глубоко запрятано...

* * *

Очень хочется описать небывалый шторм, рассказать, как мы спасали «Север», взбираясь по вантам на реи и крепя паруса. Или вспомнить, как кто-то свалился за борт и другой, не раздумывая, кинулся за ним раньше, чем был сброшен спасательный круг; как спасали потерпевших кораблекрушение или рыбаков, унесенных в море. Ничего подобного не было: ни шторма, ни кораблекрушения, ни человека за бортом. Плавание заканчивалось без приключений. Само собой разумеется, Фрол при случае очень красочно опишет своим собеседникам и шторм, и кораблекрушение, и спасение утопавших—и сам во все это уверует.

Наш белокрылый «Север» скользит под серым, облачным небом по Балтике, отливающей то серебром, то густой зеленью. Выпускаем последний номер газеты «На практике». Номер иллюстрирован фотографиями Игната и моими рисунками.

На прощание нас угощают таким великолепным обедом, что гастрономы и чревоугодники отправляются качать кока. Занятие не легкое — кок весит сто кило, а Ветер, опасаясь, что его покровителя разобьют вдребезги, с лаем хватает всех за ноги.

Прощаемся с боцманом, благодарим его за науку. Горячо пожимаем руку штурману. Командир «Севера» и его заместитель желают нам успехов в дальнейшем практическом плавании.

— Говорил я вам, что вы все закалитесь, станете ловкими и выносливыми?— напоминает нам Еремеев. — Мне думается, я не ошибся.

Глава вторая

МАТРОССКИЙ ТРУД

Учебный корабль «Кронштадт» ждет нас у стенки, большой, трехтрубный, с его высокого борта спущен трап.

«Кронштадт» не чета «Северу». Широкий мостик высоко поднят над палубой. Надстроек — множество. Клуб вместительный, с двумя киноаппаратами и большим экраном. Библиотека внушительная, несколько тысяч книг. А в просторных кубриках можно расположиться с удобствами.

Командир «Кронштадта» — старый, выдавший виды капитан первого ранга. Старший помощник хлопотлив и подвижен; его видишь то в кубрике, то на мостике, то в камбузе, то на юте. Он то и дело подзывает к себе боцмана, старшин и матросов, отдает приказания, одного хвалит, другому выговаривает. Корабль готовится к походу, — это самое напряженное время, и у старшего помощника дел множество.

Полная противоположность ему — толстяк штурман; от него так и веет безмятежным спокойствием и уверенностью в том, что к походу все подготовлено: навигационная обстановка изучена, расчеты и предварительная прокладка сделаны. И с широкого безусого лица штурмана не сходит улыбка. Он сразу знакомится: ему ведь придется иметь с нами дело.

Молодой боцман для того, чтобы казаться постарше, внушительнее, отрастил густые усы; боцман пытается говорить басом, смотреть на всех грозно.

Мы примем участие в погрузке угля («Кронштадт» ходит на угле, а не на нефти).

— Таким образом, — сообщает нам заместитель командира по политчасти, — вы сразу включитесь в подготовку к походу, после погрузки будете стоять вахты в котельном и машинном отделениях...

— Советую хорошенько ознакомиться с пятой бое-

вой частью — говорит нам Вершинин. — Не забудьте, что у старшин и матросов можно многому поучиться. Они на практике старательно изучили свои специальности. И если, обладая теоретической подготовкой, вы впоследствии перегоните своих учителей, то сейчас не стыдитесь к ним обращаться за помощью.

...Беседуем с Глуховым о текущих делах. Обсуждаем первый номер газеты, в которой мы будем, как и на «Севере», обмениваться опытом. Глухов рекомендует при посещении городов знакомиться с их историей, промышленностью, театрами; в каждом порту нас будут ждать письма—почта предупреждена, куда их пересылать. Он учитывает все мелочи — это забота о подчиненных...

* * *

Вечер. «Кронштадт» освещен с носа до кормы. Звучит веселая музыка оркестра. Все окутано угольной пылью, и в свете прожекторов копошатся черные тени. Шеститонный ковш черпает уголь со стенки, повисает над палубой, разевает пасть и сыпает его в люк. Мы лопатами сгребаем уголь, попавший на палубу, и сбрасываем в угольную яму. Все работают с жаром, едва успевая отереть с лица пот. Лица у всех, как у трубочистов. Боцман Сан Палыч больше для порядка подбадривает: «А ну, орлы, не сдавай!»

Свист дудки возвещает, наконец, передышку.

— Ну, и ненасытная же утроба! — удивляется Фрол.— Жрет и жрет, жрет и жрет.

— С утра начали, а конца не видно! — подхватывает Борис.

Горн снова зовет на работу.

Я никогда не грузил угля, и сначала мне показалось, что я выдохнусь, не осилю. Но я чувствовал, что делаю большее, нужное дело. Благодаря нам корабль сможет выйти в море и пройти сотни миль. Правда, у нас на флоте на угле теперь ходят лишь учебные и устарелые корабли, остальные корабли ходят на нефти, — рассказывает нам Гриша Пылаев,—эсминец, на котором Пылаев служил котельным машинистом, оборудован мощными турбинами новейшей конструкции.

— Но для пользы дела, для тренировочки, — говорит Гриша,—не вредно и уголек погрузить, как в старину грузили...

Погрузка заканчивается поздно вечером. Вдоволь наглотавшись угольной пыли, спешим в баню, смываем густой темносерый налет; Фрол трет мне спину, сдирая вместе с въевшейся пылью и кожу. Под душем не смолкают шутки.

— Ну, как? Тяжело пришлось?—спрашивает сочувственно Вершинин, когда мы выбегаем на палубу.— Сначала трудновато, разумеется, но зато, по себе знаю, как приятно сознавать, что ты сам готовишь к походу корабль, сам грузишь уголь, подбрасываешь его в топки, ухаживаешь за машинами.

Начальник курса прав. Нелегко отстирывать угольные мешки. Еще труднее отчищать палубу от толстого слоя насевшей на нее хрусткой угольной пыли. Зато получаешь полное представление о том, как большой корабль готовится к выходу в море.

— Могу вас поздравить!—сообщает Борис.—В ноль часов ноль минут заступаем в котельное.

— В котельное?

— Про которое в песне поется: «Товарищ, я вахту не в силах стоять, — сказал кочегар кочегару». Красота, а не вахточка! Цвет нахимовцев. Эх жаль, Пылаев не с нами! Уж он бы вас выучил!

— Без меня научат,—смеется Гриша,—дело не трудное. Только в первый раз непривычно. А потом ко всему привыкаешь — и к жаре, и к тому, что не знаешь, что наверху делается.

— Так-таки ничего и не знаешь?—допытывается Аркадий.

— Разумеется. Когда бой идет, так только по корабельной радиосети сообщат, что наверху происходит.

— Ты во время боя был в котельном?

— Да.

— А что вы слышали о котельных машинистах в бою?—спрашивает Вершинин.

— Очень мало,—отвечает Фрол.—Только то, что Пылаев рассказывал.

— О котельном машинисте Гребенникове слышали?

— Нет.

— А о нем весь флот во время войны говорил. И многие с него пример брали. Его корабль вступил в бой. И только успел репродуктор сообщить в котельное отделение: «Снаряды корабля ложатся по цели»,

как в котле лопнула трубка паропровода. Понимаете, что это значит? Сядет пар, станут машины, корабль превратится в мишень. Надо было кому-нибудь в котел лезть.

— В горячий?

— Ну, конечно. Это только в мирное время подождать можно, пока остынет котел... Командир пятой боевой части спросил: «Кто согласен?» Вызвались, разумеется, все. Командир выбрал Гребенникова. Товарищи надели на него асбестовый костюм, густо смазали ему лицо вазелином и забинтовали марлей; надел машинист рукавицы, взял молоток и нырнул в узкую горловину.

Он сразу же выскочил — жара была нестерпимой. «Воды и доску» — крикнул он товарищам. Его полили из шланга водой, в горловину вдвинули доску, Гребенников лег на нее и пополз. Ощупью он нашел повреждение, ведь он часто забирался сюда раньше для ремонтных работ. Трубку нужно было заглушить. Но больше нельзя было выдержать. Его вытащили, он окунул в ведро голову и сказал: «докончу, немного осталось». И снова полез в котел. Через несколько минут Гребенников доложил командиру: «Приказание выполнено». Его подвиг сразу стал известен на флоте. Ну, вам пора на вахту, товарищи, — закончил Вершинин, взглянув на часы. — Желаю успеха.

По крутым трапам мы спускаемся в «пекло».

Котельная вахта — вторая ступень нашей подготовки к походу. Надо засыпать топку углем, дать котлам жизнь, развести пары.

Здесь жарче, чем в бане, в топке гудит, вентиляторы с воем высасывают горячий воздух. Весь мир — со звездным небом, с чайками, свежим ветерком — остался где-то далеко; такое же чувство у меня было, когда я в первый раз в жизни погружался под воду на подводной лодке. Но размышлять некогда. Пора за работу, а то котельные машинисты подумают, что мы растерялись или нам не по нутру их тяжелый труд.

— Сюда бы веничка! — кричит Фрол, обливаясь потом.

— В первый раз? — спрашивает меня машинист; на запачканном лице его особенно выделяются белые зубы и блестят белки глаз; надев брезентовые рукави-

цы, он открывает дверцу, и невольно отшатываешься — в топке бушует пламя.

Другой матрос, черный от угольной пыли, поддевает лопатой уголь и привычным движением рассыпает веером по всей топке.

— Булатов, — представляется ему Игнат.

— Будем знакомы. Старшина второй статьи Крикунов.

— Образование у нас в вашем деле—нуль.

— Ничего, подучим. Правда, Жучков? — спрашивает он товарища, открывшего топку.

И Крикунов показывает, как засыпать уголь.

Он передает мне лопату.

— Ну-ка попробуй, курсант!

Жучков, видя, что я поддел уголь, вновь отворяет дверцу; лицо обдаёт нестерпимым жаром; зажмуриваюсь, отчаянно закашливаюсь, отшатываюсь, но, вспомнив рассказ о Гребенникове, беру себя в руки и... просыпаю уголь мимо.

— Первый блин всегда комом,—утешает меня Крикунов.—А ну-ка, подкинь еще!

Стараюсь во всем подражать своему учителю, но уголь никак не рассыпается веером.

— Сноровка нужна! Погляди еще раз!

Он берет лопату, показывает. Я еще раза два промахиваюсь, потом дело идет ловчее, и, когда, обливаясь потом, я передаю Фролу лопату, Крикунов говорит:

— Ну, вот видишь, ничего мудреного нет.

Игнат и Ростислав с пятнистыми лицами азартно орудуя лопатами у соседней топки.

А Фрол словно родился в котельной. Он действует, как заправский котельный машинист.

— Дружок твой служил машинистом?—спрашивает меня Крикунов.

— Нет. Он был рулевым на катере.

Крикунов недоверчиво качает головой и с уважением поглядывает на моего друга, когда я говорю, что Фрол у топки стоит в первый раз в жизни.

Стрелка манометра скользит к пятнадцати атмосферам.

— А ну-ка, давай еще уголька!

Крикунов подтаскивает железный ящик на полозьях

и показывает на узкий лаз. Распластавшись, мы пролезаем в бортовую угольную яму. Нагрузив ящик, тащим по скользкой палубе, сваливаем уголь у топки. Прodelьваем это несколько раз. Тем временем Крикунов длинным железным прутом шурует в топке, выгребает шлак и поливает водой. Шлак фырчит, краснеет и, наконец, затухает.

Тогда Крикунов передает мне лопату. «Нахимовская жилка» побеждает: никто не сдает! И когда матросы предлагают сменить нас, мы отказываемся наотрез. Это было бы позором — уйти от котлов, когда матросы отваживаются даже залезать в них.

«Что творится там, наверху? — думаю я, продолжая подбрасывать уголь. — «Наверху, где стоит прохладная темная ночь, ветерок обвеваает лицо и из радиорубки доносится музыка?»

До сих пор корабль был неподвижен, и стрелка указателя покоилась на «стоп». Но вот дважды звонит звонок и вспыхивает зеленая лампочка. Стрелка перекакивает на «товсь». Снова вспыхивает лампочка, снова звонок, стрелка скачет на «малый вперед». Я представляю себе, как корабль, отвалив от стенки, выходит на рейд. «Средний вперед!» От работы машины все сильнее дрожит палуба. «Полный ход!» Эх, выбежать бы сейчас, да взглянуть на звезды, да поглядеть, как убегают береговые огни, и послушать, как плещется за кормой вода!

Тут шумно врывается смена.

— А ну, сдавай вахту!

Поблагодарив матросов за науку, мы покидаем котельное отделение.

Борис шутливо напевает:

— За поручни слабой хватаясь рукой, наверх он по трапу поднялся...

— А ведь песня-то устарела! — замечает Платон, входя в душ.

— Устарела? Почему устарела?

— А ты погляди на себя. Взбежал, словно серна...

Действительно, Борис совсем не похож на несчастного кочегара.

— Удивительно! — говорит он. — Топки те же, жар тот же, да и работа нелегкая, а слабости в руках что-то не замечаю!

— Ты чудак! — говорит Игнат. — Когда эту песню сложили, работа на корабле была подневольной и каторжной. А наш матрос — хозяин на корабле, и труд, как бы ни был тяжел — для него дело доблести, чести, геройства. Такой труд человека облагораживает. Да вот, взгляни-ка на Платона. Лицо другим стало. Родной отец не узнает.

— Ну вот, не узнает! Где тут зеркало?

Платон ныряет под душ, отфыркивается, отряхивается, копоть сбегает черными ручейками по плечам, по груди, и я замечаю, что Платон без улыбочки, с серьезным, усталым, но довольным лицом, как две капли воды, похож на Вадима Платоновича!

— Отмылись! — говорит, досуха вытершись полотенцем, Фрол. — Теперь — подышать ночным воздухом.

Корабль уверенно, полным ходом, сверкая огнями, идет в темноте. Небо усыпано звездами. Ночь ветреная, свежая.

— Пойдем спать, Кит! — зовет Фрол, поеживаясь от холода.

* * *

Пасмурное утро. Корабль, изрядно переваливаясь, режет волну, оставляя за кормой длинный след. По морю катится крупная свинцовая зыбь.

Люди становятся к борту. Подъем флага. Начинается новый день. Вчера мы обслуживали котлы, сегодня — машины; котлы — легкие корабля, машины — сердце. В машинном отделении тепло, и машина равномерно гудит, словно пульсирует стальное огромное сердце.

Старшина Сидорчук, стараясь перекричать гул механизмов, объясняет, как работают отдельные части. На этот раз мы постигаем премудрость заливать масло в масленки, когда они бешено скачут из стороны в сторону. Горячий воздух обжигает лицо, глаза щиплет до слез, кругом все грохочет; из цилиндра, шипя, выбивается пар. Матросы ходят по скользкой палубе и решеткам. Как бы ни умна была машина, она без человека — ничто. Человек дал ей жизнь, и он управляет ею, ухаживает за ней. Человек этот — матрос, он — главный двигатель на корабле! Перед концом вахты протираем тряпками палубу и с наслаждением смываем под душем пот и машинное масло...

Обедаем с аппетитом, торопя бачкового.

Следующую вахту я стою штурманскую, ночью, в густом тумане; в прокладочной рубке свет ярких ламп падает на карты и инструменты. Чувствую себя неуверенно. В голову лезут рассказы об авариях, столкновениях и других происшествиях. «Кронштадт» выходит на створ береговых огней; сквозь пелену тумана должен показаться маяк; он все не открывается, и нервничаю не только я, но и уверенный в себе толстый штурман. Наконец он, облегченно вздохнув, показывает мерцающие огни маяка, и я готов плясать от восторга.

Туман постепенно рассеивается, обрывки его уносит ветерок, и в сером рассвете я вижу порт, корабли, шхуны, транспорты, волнорез, о который разбиваются, взлетая фонтаном, волны. Я записываю в журнал: «В 7.47 отдали левый якорь, на клюзе 60 метров, грунт — ил и песок, глубина девятнадцать метров». Подписываюсь, собираю карты, журнал, инструменты, сдаю вахту Игнату...

* * *

День стоит ветреный, ветер разгоняет темные тучи. Приказано изготовить корабль к походу. Матросы задраивают иллюминаторы, поднимают вельбот. Подается знакомая команда: «По местам стоять, с якоря сниматься!»

Построившись по левому борту, мы прощаемся с портом.

«Пошел шпиль!» Медленно вытягивается с грунта якорная цепь, облепленная скользкой серой тиной. Оба якоря выбраны, убран гюйс, флаг перенесен под гафель.

И вот снова море, снова машинные, котельные, штурманские вахты, занятия, приборка палубы, стирка белья, — все то, что уже стало привычным...

* * *

Мы готовимся к стрельбам. Спускаемся в артиллерийский погреб; Фрол достает из железного ящика снаряды, передает мне. Я щеткой снимаю со снарядов густую, словно повидло, смазку, а Илюша и Ростислав обтирают каждый снаряд паклей и водворяют в ячейку. Ящик, подхваченный петлей, взлетает наверх...

На другое утро выходим на стрельбы. В море — мишень. «Попаду или не попаду? А вдруг промахнусь, осрамлюсь?» Орудие заряжено, ждет... кого? — Рындина:

— Правый борт курсовой тридцать, наводить по мишени, — командует артиллерийский офицер.

Я разворачиваю орудие и ловлю в перекрестие прицела мишень, болтающуюся по волнам за буксиром. Матрос досылает снаряд, захлопывает затвор, слышу резкий выстрел; я открываю рот и все-таки гложу; далеко в море, возле мишени, поднимается белый водяной столб.

— Правильно! — одобряет наводку матрос-заряжающий; я понимаю его по движению губ.

Меня охватывает желание во что бы то ни стало попасть в мишень, качающуюся на волнах. И я стараюсь снова взять в перекрестие ускользящую мишень, снова — команды и выстрел...

Я торопливо ловлю цель; трудно мгновенно сообразить, куда вращать штурвал. Новые столбы белых брызг отступают мишень, но она остается неуязвимой. Не успеваю опомниться, как вся норма снарядов оказывается израсходованной.

И все же артиллерийский офицер меня хвалит. Разворачиваю орудие, опускаю горячий ствол в полевое положение. Отстрелялся!

Фрол сбивает мишень на девятом выстреле. Другие тоже стреляют неплохо, даже Платон и Бубенцов удостоиваются похвалы артиллерийского офицера.

Я соображаю, что стрелял хуже других. И артиллерийский офицер, похвалив меня, попросту хотел новичка подбодрить... Надо подтягиваться, Никита Рындин!

Невеселые мысли мои прерывает Фрол:

— А ты знаешь, Кит? Я ведь случайно ее, проклятую, сбил, никак не надеялся!

Милый Фролушка! Друг хороший, он меня утешает! Как я ему за это признателен...

* * *

...Через несколько дней бросаем якорь у Лиенаи.

Снова знакомый порт, канал с песчаными берегами, на которых беспорядочно растут сосны; улицы-аллеи, ковер красных и розовых полевых гвоздик на полянках.

На берегу мы видим много моряков. Команды оспаривают первенство по футболу. В матросском парке играет оркестр. Мы отправляемся в город на почту. Борис встречает отца, инженер-капитана второго ранга. Тот здоровается с сыном, будто видел его лишь вчера или нынче утром:

— На «Кронштадте» пришел? Ну, как плаваешь?

Они уходят, а мы подходим к окошечку и получаем пачку конвертов.

— Ты счастливеец, Никита, — завидует Гриша. — Что ни почта, то два, три письма. А мне никто не напишет...

Я прячу письма в карман, хотя мне и очень хочется прочитать их теперь же. Зато Илюша читает вслух послание из Зестафони; Этери, девушка, которую прочили за Илюшу, вышла замуж за милиционера Котэ. «Слава богу! Боюсь одного: приеду — другую найдут, опять начнут сватать, ох, уж эти старухи! Жизнь от них нет!»

— Нет, ты смотри, пожалуйста! — удивляется он. — Отец повышение получил, соединением лодок командует, в Зестафони в отпуск приедет. Постой, а как я ему расскажу, что я осрамился? (Илюша, увидев в походе над кораблем самолет, закричал: «вот он, посмотрите, пожалуйста, вот он!» Командир, сердито взглянув на незадачливого сигнальщика, пробурчал: «За такую форму доклада надо гнать с мостика»).

— Ничего, посмеется.

— А не назовет ишаком?

— Ну, что ты, с каждым бывает! — утешаем мы друга.

Но Илико долго покачивает головой, размышляя: как примет отец сообщение о происшествии на мостике?

Откуда ни возьмись, появляется Борис:

— Братцы! Где тут мороженое? Отец денег дал — состю!

Мы сразу находим кофейную.

— Ух, и намылил же он мне голову! — вздыхает Борис. — Как узнал, что я вахты в машинном и в котельном стоял, экзаменоваться начал. Ну и выявил, что я вершков нахватался, а в «бе-че пять» не разбираюсь. Ну, тут и началось. Брр!

Его передергивает.

— Отчитал он меня, продраил с песочком, а потом посмотрел на часы: «Мне пора. Через час снимаемся с

якоря». Достает сотню — и... а не съесть ли нам еще по порции разноцветного?

Кутить, так кутить, у Бориса натура широкая!

Испортив себе аппетит, спешим на «Кронштадт» обедать.

Обходим вокруг портового ковша, заполненного кранами, катерами, водолазными ботами. Неподалеку стоит на ремонте большой серый транспорт. Заглянешь вниз — голова кружится. На бетонном дне дока копошатся десятки крохотных человечков: у транспорта тут и там вспыхивает белое пламя электросварки; все гудит и визжит, а на палубе корабля жизнь идет своим чередом. Команда обедает...

Наш «Кронштадт» стоит у причала в канале. Мачты его видны издали — они выше сосен. Борис, умудрившийся принести в карманах пирожных, угощает товарищей.

На другое утро «Кронштадт» покидает порт. Мы идем неподалеку от берега; за желтыми дюнами синеют леса.

В свободное от вахт время собираемся на бак, где слушаем Пылаева, Зубова, Ростислава — они бывали в этих местах. Во время войны море было забито минами. Трудлюбивые тральщики бесстрашно расчищали фарватеры. На одном из тральщиков служил и наш Зубов.

К середине дня лес на берегу начинает редеть, раздвигается в стороны — и в бинокль можно увидеть мачты, белые домики, маяк, мол, фабричные трубы — это Клайпеда, литовский город и порт. Из-за мола выбегают резвые катера. Скользят на волне рыбацьи баркасы с треугольными парусами.

К вечеру Клайпеда остается далеко позади.

— Ну и здоров же ты стал, Кит! — говорит Фрол.

— А ты погляди на себя.

— Что ж, я не жалуясь. Мне корабельная жизнь на пользу. Ем за двоих, сплю за троих, служу за четверых и чувствую себя бесподобно. Чудесная жизнь!

Да и мне эта жизнь — по душе! Теперь, когда я научился так же ловко, как котельные машинисты, забрасывать в топку уголь, я стараюсь их побольше расспрашивать; они охотно делятся своими познаниями. То же самое — и в машинном. И я получаю полное представ-

вление о пятой боевой части — так именуется на корабле машинное хозяйство. Раньше обо всем этом у меня было представление самое туманное. Отстояв несколько штурманских вахт, я уверенно чувствую себя и на мостике.

Устав за день, никак не могу заснуть. Лежу и думаю: вот окончу училище, поплаваю, стану командовать кораблем — небольшим пока, совсем небольшим кораблем... Случится неполадка в машине, в котлах, когда командир «бе-че пять» заболеет — сумею ли я обойтись без него? А если выйдет из строя штурман — смогу ли заменить его, провести корабль? Все это беспокоит меня и волнует. Заснув, я то устраняю аварию в машинах, то веду корабль среди рифов и минных полей...

На другой день проходим мимо голого, песчаного, далеко выдавшегося в море мыса. Где-то здесь на большой глубине лежит «Рига». Мы заставляем Ростислава рассказать, как загорелся корабль, как занесло его на минное поле, как матросы, рискуя жизнью, выносили из кают женщин и ребятишек и как бесстрашно шли над минами к «Риге» катера и тральщики.

Крамской рассказывает взволнованно. Еще бы! То, что он пережил в эту ночь, он не забудет всю жизнь.

А я смотрю на зеленые, набегающие на высокий борт волны, на тысячи белых барашков, бегущих до самого горизонта, — и передо мной возникают силуэт горячей «Риги», спешащие катера, мерещатся рожки мин.

В воскресенье заходим в один из портов. Командир порта — отец Ростислава. Он поднимается по трапу, молодежавый, стройный, как сын, щегольски одетый. Капитан первого ранга приглашает нас ознакомиться с городом.

— Три-четыре года назад здесь не было ничего, кроме мрачных развалин, — рассказывает нам заместитель командира «Кронштадта». — Причалы были разрушены, портовые сооружения взорваны, строения превращены в груды развалин, железнодорожные пути исковерканы; бухта, канал и ковш порта были забиты останками потопленных судов. Города не существовало. Советские люди восстановили его.

Теперь — это благоустроенный порт; повсюду, куда

ни взглянешь, тянутся широкие, ровные улицы с домами под черепичными крышами. За пакгаузами видны корабельные мачты. Гудят судоремонтные мастерские. На стапелях, прямо на стенке, стоят катера, деревянные днища которых матросы покрывают жирной, ржавого цвета краской. По шоссе бегут грузовики и легковые машины. Ребята играют в футбол возле школы. Огромный парк с вековыми деревьями, по которому радиусами разбегаются посыпанные желтым песком дорожки, простирается до самого моря. На одном из зданий мы видим надпись: «театр», на другом — «матросский клуб», на третьем — «библиотека» и «Дом культуры». Этот город снова родился в послевоенную пятилетку. Он в тысяче миль от Москвы, и Москва все же близко. На афише офицерского клуба видим знакомые имена московских и ленинградских артистов, чемпион Союза по шахматам дает сеанс одновременной игры на двадцати пяти досках, идет кинофильм, который мы еще не видели в Ленинграде...

На площадке девушки танцуют с матросами.

Борис подхватывает шатенку в сиреневом платье и несет ее с нею в вальсе. От него не отстают Бубенцов и Серегин; Илюша с трудом кружит очень полную девушку с широким, добрым лицом, а Зубов встречает знакомую санитарку Верочку, которая когда-то ухаживала за ним, раненым, танцуя, они перебрасываются короткими фразами — четыре года не виделись! Тут же матросы с «Кронштадта» — Крикунов, Жучков, Сидорчук и боцман Сан Палыч. Мы объединяемся — и нам весело так, как может быть весело моряку, сознающему, что он вдоволь поработал в походе, может и отдохнуть!

Спускается вечер. Мелькают огни на клотиках, подмигивает маяк, передвигаются разноцветные огни в море, мерцают зеленоватые звезды в небе. Ростислав приглашает всех на концерт. Он приносит целую пачку билетов.

На другой день наш корабль покидает порт.

* * *

Скоро Кронштадт. Уже прошли Гогланд. На обратном пути нас сильно качнуло. Гляжу на товарищей: как они возмужали! И хотя они способны вечером по-

возиться в кубрике, память друг другу бока — энергия так и бьет ключом, — но никто из них больше не совершит, скажем, побега от стрижки, не позволит какой-либо мальчишеской выходки. Да я и сам не решусь на то, что, не задумываясь, натворил бы в прошлом или в позапрошлом году. — «А ведь мы уже взрослые», — говорили мы о себе в Нахимовском, когда нам было всего по пятнадцати лет. Мы ошибались. Тогда мы не были ни взрослыми, ни настоящими моряками. Мы еще только становимся взрослыми. Мы обязаны этим нашим воспитателям; лишь в плавании я понял, что Вершинин болеет за каждого, беспокоится не только о том, чтобы все хорошо учились и не нарушали дисциплины, но и о том, чтобы никто не болел, не свалился бы с мачты. Он появлялся повсюду и, казалось, находился сразу в пяти местах. А Глухов?

— Вы помните наш прошлогодний разговор, Рындин? — спросил он. — Вы тогда сомневались, справитесь ли с обязанностями секретаря комсомольской организации. А ведь справились? Вам всегда помогали товарищи-комсомольцы; помогала партийная организация — учила не принимать опрометчивых решений, относиться бережно, чутко к людям. И вот результат, Рындин: разве можно узнать Лузгина, Бубенцова? Коллектив перевоспитал их, и они не вернутся к своему незавидному прошлому. А Серегин? Придя к нам совершенно неподготовленным, он сказал, кажется, Фролу Живцову: «Я убежден, мне помогут освоиться и стать моряком комсомольцы, товарищи с флота». Помогли, его не отличишь теперь от «старослужащих». А Зубов, Пылаев? Они пришли малообразованными людьми. Партия помогла им, и они вас догнали. Да и вы сами, Рындин, и ваш друг Живцов. Тоже выросли, возмужали...

Да, я не тот Никита, каким был до Нахимовского, и не тот, который воображал, что, окончив Нахимовское, стал моряком! Моряком я еще и теперь настоящим не стал, но зато узнал многое из того, что полагается знать моряку, и не только из руководств и уставов, но и на собственном опыте. Меня не удивит больше ни жар котлов, ни гул машин, ни погрузка угля, ни лязанье по вантам, когда корабль раскачивается на волнах...

Глухов продолжал:

— Вы преодолеваете трудности, боретесь с остатками расхлябанности, несобранности, мальчишества. А это, — улыбнулся тут Глухов, — я бы сказал труднее, чем итти по гладкой дорожке. Само собой разумеется, — добавил он, — вам обоим еще много надо над собой работать, чтобы притти к той цели, к которой вы, я знаю, стремитесь...

Да, я стремлюсь стать, как и отец, коммунистом, но я еще способен на необдуманные поступки, не разбираюсь еще как следует в людях, сужу о них сгоряча, бываю несдержанным и могу даже друга обидеть... Все эти качества неприемлемы для настоящего коммуниста...

И, словно отвечая на мои мысли, Глухов, глядя мне прямо в глаза, сказал:

— Я убежден, вы придете к цели, окончательно освободившись от всего вам мешающего, придете подготовленными, уверенными, что ничем не запятнаете того высокого звания, которое вы собираетесь носить, — и я не откажу вам в рекомендации...

— Мне и Живцову? — воскликнул я.

— Ну, разумеется, вам и Живцову.

Я приду к нему лишь тогда, когда почувствую, что освободился от всего, что мешает мне стать настоящим коммунистом, лишь тогда, когда я смогу с уверенностью сказать:

— Я вас, товарищ Глухов, не подведу.

Глава третья

НА КАТЕРАХ

В отпускных билетах у меня и у Фрола написано: «Севастополь». Отец ждет нас.

«Многие офицеры, старшины и сверхсрочнослужащие матросы помнят вас мальчишками и от всей души хотят повидать вас и проверить ваши морские качества», — писал он в ответ на мое письмо. — «Я буду очень рад, если смогу сообщить командованию училища об отличной подготовке курсантов Рындина и Живцова».

На Кировском мы пробыли недолго. Фрол ушел вниз в магазин — купить чего-нибудь на дорогу, и мне стало не по себе. Здесь все напоминало о маме — ее носовой платок на тумбочке в спальней, пустой флакон, пахнувший ее любимыми духами, увядший прошлогодний букет цветов в вазе, ее портрет... Я прислушивался к шорохам: в соседней комнате потрескивал паркет, в стекло билась серая птичка. Наконец, хлопнула дверь и послышались шаги. Это был Фрол, нагруженный колбасой, маслом, сыром и булками.

— Харч обеспечен! — сказал он совсем как тогда в Поти, когда пришел на вокзал вымокший, с жареной курицей подмышкой. Мы уезжали в Нахимовское. Шел дождь. Мама осталась одна на пустой и мокрой платформе...

Вечером на Московском вокзале желающих уехать было много, а свободных мест в поезде мало. Но Фрол всегда утверждал, что «для моряка не существует препятствий». Взяв наши отпускные билеты, он исчез, оставив меня в переполненном зале, и через полчаса появился, высоко держа билеты в руке.

— Плацкартные, в синий вагон.

Я удивился, как Фролу удалось раздобыть плацкарты так быстро. Но Фрол на то и был Фролом, чтобы не растеряться в самой напряженной обстановке.

Через полчаса мы пили в вагоне чай, и Фрол занимал разговором соседей: бухгалтера в пенсне, старика-агронома и двух девушек, ехавших в Ялту. Во всех историях, рассказанных Фролом, он был, разумеется, главным героем.

Время шло незаметно; наступило третье утро, мы распростились с соседями в Симферополе. За окнами замелькали сады и горы, поезд нырнул в туннель, загорелись лампочки, нас обдало густым дымом. Туннель следовал за туннелем, потом в окно брызнул яркий солнечный свет, — и открылась глубокая спокойная бухта под синим небом.

— Смотри-ка, Кит, «Севастополь» и «Красный Кавказ!» А наш «Нахимов», наверно, в плавании.

Бухта исчезла, словно захлопнулся объектив фотоаппарата, и несколько минут вагон покачивало среди белых скал; вдруг поезд резко остановился.

— Приехали!

Пройдя через новый вокзал, мы пошли вокруг бухты в город. Повсюду лежал инкерманский камень. Дома стояли в лесах и в строительной пыли. Фрол повторял: «Вот он, мой Севастополь! Ты знаешь, Кит, что такое наш Севастополь?»

Да, знаю! Столица моряков, дважды в течение двух столетий израненная, разрушенная жестоким вражеским огнем — в первый раз ядрами и картечью, а во второй — авиабомбами и тяжелыми снарядами дальнобойных орудий; и дважды Севастополь возрождался, как феникс из пепла. Вот дом с мраморной белой доской: здесь жил Нахимов. Вот памятник. Он стоит высоко над городом, под голубым небом. Во время войны памятник был изувечен осколками. Теперь он восстановлен. И на бульваре вокруг бронзового памятника суетятся ребяташки — послевоенное поколение севастопольцев.

Можно часами ходить по истертым каменным трапам с избитыми, в выбоинах, ступеньками, любоваться новыми домами, морем, которое видишь отовсюду, то зажатое откосами бухт, с кораблями у пирсов, то широкое, открытое, синее, искрящееся до самого горизонта. В Севастополе море неотделимо от города; бухты врезаются в город, перезвон склянок залетает в дома, а свист боцманских дудок слышен на улицах. Белое и синее — цвета Севастополя: белое — форменки, кителя, чехлы на фуражках, лестницы, стены домов, акации, пушистые стрелки каштанов, прибрежная пена, из которой поднимается памятник Погибшим Кораблям; синее — море, полосы на тельняшках, воротники, тени на белых камнях, полосы на развеваемых ветром флагах...

Нет другого такого города в мире. Враги убили Нахимова, Корнилова, Истомина, убили тысячи русских солдат и матросов, но победить Севастополь они не могли. Моряки потопили свои корабли, установили корабельные пушки на бастионах и держались одиннадцать месяцев.

С тех пор прошло девяносто лет; Севастополь был вновь осажден, на этот раз — ордами гитлеровцев. Но и на этот раз враги не смогли победить Севастополя: их встретили наши, советские люди, такие, как командир Фрола — Русьев, как Серго — отец Антонины, мой

отец, солдаты, черноморцы — матросы и офицеры. Они знали, что с ними — весь наш советский народ. И севастопольцы, обвязавшись гранатами, останавливали фашистские танки. Расстреляв все снаряды, взрывали свои батареи и на себя вызывали огонь, чтобы уничтожить вместе с собой нахлынувшую вражескую орду (так поступил последний командир легендарных зенитчиков-«воробьевцев» на Северной стороне — Пьянзин). И в самые тяжелые дни осады защитники непобедимого города узнали: Сталин ставит их, севастопольцев, в пример всей нашей армии и всему народу... Отец рассказывал, как они слушали приветствие Сталина, — и не мог сдержать слез...

Мне посчастливилось побывать в Севастополе в исторический день: корабли навсегда возвращались в свой освобожденный дом. Это было, когда я еще учился в Нахимовском.

Теперь я видел возрождавшийся город; он снова становился тем Севастополем, о котором сложено столько легенд и песен.

На бульваре, над морем, все зеленело, цвело, радовалось солнцу; катера веселой стайкой выходили за боновые ворота, оставляя за собой разбегавшуюся волну.

— Эх, жизнь! — вдыхал Фрол морской соленый воздух.— Эх, Кит, Китище, Китович, до чего хорошо!

Мы спустились в Южную бухту и разыскали небольшой транспорт «Дельфин». Нас встретил молодой вахтенный офицер, разрешил нам пройти, и матрос повел нас к командиру соединения.

Отец стоял в большой, просторной, отделанной полированным деревом каюте, молодцеватый, подтянутый, похудевший; лицо его загорело за лето и немного осунулось; брови выцвели, нос облупился; как видно, он все время проводил в море.

Мы доложили ему о своем прибытии. Выслушав, он расцеловал нас и предложил садиться.

Две двери, прикрытые синим бархатом, вели в спальную и в ванную. Синие занавески шевелились возле иллюминаторов. На письменном столе стоял портрет матери—ее последний портрет.

Отец расспрашивал об училище, вспоминал знакомых преподавателей, очень смешно изобразил «нави-

гатора», во время экзаменов бурчавшего—«тоните, тоните, идите ко дну, я вас спасти не буду», расспросил, где мы проходили практику, и сказал:

— Запомните: за вами будут наблюдать десятки внимательных глаз. Мы направили вас учиться и теперь хотим проверить, оправдались ли наши надежды. На месяц тебе, Кит, придется забыть, что ты мой сын, а я твой отец. Я здесь строгий и требовательный командир. Ты сам понимаешь, что тебе я тем более не дам спуску. Я и себе спуску не даю,—добавил он, улыбнувшись.

— У вас здесь будет много свободного времени,— продолжал он,—вы ведь все же в отпуску, не на практике—и я вам советую побольше читать. История торпедных катеров, история нашего соединения, боевые подвиги катерников, наконец, мои личные записи,—показал он на книжный шкаф,—в вашем распоряжении. Вам будет предоставлена возможность самостоятельно ходить на катерах. Андрей Филиппович, начальник штаба, подробно вас ознакомит со всем. Русьев в море, увидите его завтра. А теперь,—сказал он,—идите, разыскивайте старых друзей, знакомьтесь, обзаводитесь новыми.

Отец нажал кнопку. Вошел вестовой.

— Проводите товарищей курсантов в сорок третью каюту,—приказал отец.—Обедаете сегодня у меня,—сказал он нам.

Когда матрос и Фрол вышли, отец задержал меня:

— Ты навестил ее?—спросил он.

— Да, перед самым отъездом. Я отнес маме астры и хризантемы.

— Хорошо сделал.

Он кинул быстрый взгляд на портрет.

«Тоскует»,—подумал я.

— Ну, иди.

«Дельфин»—не чета прежним кораблям, на которых нам с Фролом приходилось жить во время войны. Помню, жильем нашим был отживший век небольшой старый транспорт с каютками, разделенными досчатыми переборками.

Мы прошли по коридору, застланному узорчатым линолеумом, среди поблескивающих медью и лакированным светлым деревом дверей, спустились по изящному трапу, попали в другой, ярко освещенный кори-

дор. Матрос отпер каюту. Две никелированные койки, одна над другой, письменный стол с настольной лампой, умывальник, кожаный диван, шкафы для белья и платья, иллюминатор, прикрытый васильковой репсовой шторкой. Переборки, видимо, совсем недавно были выкрашены первосортной масляной краской.

— Шикарно, а?—спросил Фрол.

— Замечательно!

Это была настоящая офицерская каюта, удобная и уютная. Я с удовольствием сел в кожаное кресло, другие пружины которого мягко подались.

— Пойдем, доложимся начальнику штаба, а после разыщем Фокия Павловича,—предложил Фрол.

Мы заперли наше жилище на ключ и поднялись по трапу. Разыскав каюту начальника штаба, попросили разрешения войти.

— Очень рад вас видеть,—сказал Андрей Филиппович, когда мы представились и доложили о цели приезда. С Андреем Филипповичем я познакомился еще во время войны, когда он был старшим помощником на пловучей базе. Он постарел, морщинки разбежались от глаз к вискам и от уголков губ на чисто выбритые щеки. В густых волосах появилась серебряная прядь.

— До чего же быстро бежит время!—воскликнул он.—Давно ли вы были мальчуганами? Мне кажется, это было вчера...—добавил он, покачав головой.

Я вспомнил слова Бату: «К закату жизни годы несутся непозволительно быстро и медленно текут в юности, когда человек поднимается в гору».

Нам с Фролом пребывание на старом, замаскированном ветвями пароходе казалось таким отдаленным временем, а наше производство в офицеры—таким далеким, сияющим будущим!

— Я предоставляю вам все возможности для проверки своих морских качеств,—пообещал Андрей Филиппович.—Я допущу вас к управлению катером, и вы сами будете проводить стрельбы. Словом, сделаю, все, что вы не теряли времени даром.

Поблагодарив начальника штаба, мы пошли разыскивать боцмана. Матросы, встречавшиеся нам на пирсе, были молодые и незнакомые. Но вот с одного из катеров соскочил здоровяк с шевронами на рукаве. Фрол окликнул его:

— Фокий Павлович!

— Фролушка! Да ты ли это, чертяка?

Боцман обнял Фрола и троекратно расцеловал.

— Рындин? Тоже молодец вырос!

От Фокия Павловича пахло морем, кораблем, а его большие заскорузлые руки были в тавоте.

— Прощу ко мне на катерок в гости.

«Катерок» Фокия Павловича не был для нас очень уж поразительным зрелищем. Но мы сочли долгом его расхвалить, и боцман расчувствовался. Катер содержался в образцовом порядке: даже самый строгий начальник ни к чему не мог бы придраться. Все сверкало, блестело, но Фокий Павлович то и дело проводил пальцем по борту или по рубке и внимательно рассматривал палец: нет ли пылинки?

На катере Фокия Павловича, как на всех «тэ-ка», можно было найти все, что бывает на настоящем военном корабле: крошечный кубрик с матросскими койками, с откидным столом и с зеркальцем на переборке; игрушечную офицерскую каюту с мягким диваном и миниатюрным письменным столиком; крохотную радиорубку, в моторном отсеке — моторы, трубы, радиаторы, ящики аккумуляторных батарей, баллоны со сжатым воздухом.

Мы поднялись в командирскую рубку, потом вышли на мостик.

— Катерок флагманский, изволили заметить?—с гордостью спросил Фокий Павлович.—«Адмиралом Макаровым» именуется; сам командир соединения со мной на нем ходит. А ты помнишь, Фролушка, как меня да Виталия Дмитриевича поранило, а ты...

Друзья погрузились в воспоминания. Перебивая друг друга, хлопая один другого по плечу и глядя заблестевшими глазами, они сыпали фамилиями и именами матросов и офицеров: «Машков убит»; «а Борисов пишет—машинно-тракторной станции директор»; «Григорьев у себя в колхозе стал Героем Социалистического Труда»; «а Сашко и сейчас тут, ты его поводи, Фролушка, он часто тебя вспоминает»; «Цибулькин женился, двое ребят—мальчуган и девчонка. Живут на Корабельной—пойдем к ним в гости»; «Корнев в училище пошел—в офицеры шагает».

Когда всех перебрали, всех вспомнили, Фокий Пав-

лович принялся рассказывать, как воевал под Констанцей, рассказывал красочно, образно, в лицах.

— Ты уж, Фролушка, со мной иди в море. Не подведу,—сказал в заключение боцман.

* * *

Обед прошел непринужденно и весело. Кроме нас и отца, в салоне обедали Андрей Филиппович и замполит Щукин, совсем молодой на вид капитан второго ранга, с русыми волосами, разделенными пробором, и мягкими рыжими усиками, похожими на пух.

После обеда отец достал пачку книг и тетрадей.

— Вот, разберитесь, займитесь,—предложил он.

Забравшись в каюту, мы до самого ужина читали записи в толстой тетради.

«Если в наше время,—писал отец,—даже никому не известный молодой лейтенант предложит проект нового вида вооружения флота, командование немедленно заинтересуется и лейтенантом, и проектом его и приложит все усилия, чтобы молодой изобретатель мог осуществить свое изобретение. Предложение двадцативосьмилетнего лейтенанта Макарова поражало своей дерзкой, расчетливой смелостью: в 1876 году он предлагал воевать на море малыми катерами, вооруженными взрывающимися при ударе о борт корабля шестовыми минами. Он предусмотрел и переоборудование одного из быстроходных кораблей под базу минных катеров. Таким образом, катер потопивший вражеский корабль, мог быть быстро поднят на борт базы. Высокопоставленные чиновники Главного адмиралтейства сочли проект лейтенанта безрассудным, хотя отпускали большие деньги на действительно безрассудные выдумки.

Тогда Макаров подобрал добровольцев, согласившихся идти на риск. Не спрашивая разрешения начальства, он переоборудовал катер, к удивлению этого самого начальства, атаковал турецкий броненосец и потопил его. Макарова наградили, но все же продолжали относиться к нему с недоверием. Он с трудом упросил отдать ему недавно приобретенные две самодвижущиеся мины, вооружил ими катер,—и еще один вражеский корабль пошел на дно. Это был пер-

вый военный корабль, потопленный торпедой, будущим грозным оружием войны на море.

За год до того, как Уайтхед объявил об изобретении им торпеды, русский изобретатель, кронштадтец Александровский, перед тем изобретший подводную лодку, представил в Морское министерство проект самодвижущейся мины. Она была русским изобретением, а чиновники платили миллионы, покупая мины у Уайтхеда.

В 1914 году минно-машинный кондуктор Лузгин приспособил торпеды для боевого применения с быстходного катера и просил разрешения у начальства атаковать немецкие корабли. Но ему было запрещено «заниматься не своим делом».

Только в советском военно-морском флоте вплотную занялись вопросом создания «москитного флота».

Отец в своих записках прославлял торпедные катера; отмечая, что служба на них тяжелая, требует отличного здоровья, крепких нервов, выносливости, он утверждал, что эта служба приучает к хладнокровию, умению принять молниеносное, четкое решение.

«Скорость, наибольшая скорость и плавание в любых условиях,—вот чего я буду добиваться всю свою жизнь и заставлю своих подчиненных добиваться того же»,—так заканчивал отец записи.

Пришел с моря Русьев и принялся экзаменовать Фрولا. Фрол еле успевал отвечать. Виталий Дмитриевич остался доволен приемным сыном.

— Я вижу, ты не зря провел год в училище. А ну-ка, пойдём на катер!

Экзамен продолжался до вечера. На другой день Фрол пошел с Русьевым в море. Вернулись они довольные друг другом и с аппетитом принялись уничтожать оставленный им ужин.

— А ведь правильно я поступил, прогнав тебя с катеров в Нахимовское?—удовлетворенно сказал Виталий Дмитриевич,—ты отбрыкивался и упирался, хотел воевать. А теперь, небось, ты меня понял?

— Понял, Виталий Дмитриевич.

— Ешь мою порцию компота.

От сладкого Фрол никогда не отказывался.

Фрол вспоминал: «Вот здесь когда-то было кино, а здесь был большой белый дом и в раскрытом окне всегда сидел белый шпиц; тут тоже стоял большой дом, дверь на балкон всегда была распахнута настежь и в комнатах кто-то играл на рояле. А здесь был театр имени Луначарского, напротив — Северная гостиница».

Мы переправились на ялике на Корабельную сторону, шли по узкой каменной тропе под высокой стеной—за стеной был госпиталь, в котором в войну лежал мой отец. Побывали на Северной, там, где стояла когда-то Воробьевская батарея. Дошли до Константиновского равелина.

— Кит! Чувствуешь? Здесь насмерть стояли,—сказал Фрол.

Да, севастопольцы стояли здесь насмерть, умирали вот на этих самых камнях, но не сдались. Небольшой обелиск напоминает об этом. Рядом лежит плита с изображенным на ней якорем; это памятник матросам-героям.

— Ты знаешь, как это было, Кит?—спросил Фрол.— На Северной стороне в наших руках оставался один равелин. И все же моряки отбивали атаки гитлеровцев. Тогда враги подтянули артиллерию, танки, принялись бомбить осажденных с воздуха. Комиссар сказал:

«Товарищ Сталин поставил севастопольцев в пример всей Красной Армии. Так будем драться по-севастопольски!» И они назвали свой равелин «маленьким Севастополем». Только на четвертую ночь, по приказу командования, они бросились в воду и переправились вплавь через бухту.

— Ты ведь знаешь,—продолжал Фрол,—что командир корабля покидает корабль последним? Морская крепость—тот же корабль. Комиссар Кулинич оставался в пустом, разрушенном равелине и отбивался до последнего патрона... Какое надо сердце иметь!—заключил Фрол свой рассказ.—Флотское...

— Сердце коммуниста, Фрол!

— Ну, я про то и говорю!

Переправившись на ялике в город, на Графской

пристани мы встретили чернобородого моряка в белом кителе.

— Поприкашвили!—шепнул мне Фрол.

Это был знаменитый подводник, отец Илюши. Он навряд ли узнал нас: прошло четыре года с тех пор, как мы, нахимовцы, побывали в гостях на его легендарной «щуке». Но он обрадовался, расспрашивал нас об училище и о сыне и вспомнил о «подводном крещении».

— Я еду на днях в Зестафони,—сообщил он нам на прощанье.— Там встречу с Илюшей. А вы на катерах? У Рындина? Ну, желаю успехов.

Фрол повел меня на ту улицу, где он жил до войны; теперь на месте разбитого бомбами дома стоял новый дом. Возвращаясь в Южную бухту, мы встретили Юру.

— Юрка! Давно приехал?

— Я вас искал на «Дельфине». Где вас носит, друзья?

Мы зашли к отцу Юры, капитану первого ранга Девяткину. Это широко образованный человек; мы разговорились о литературе и музыке, я не ударил лицом в грязь и еще раз с благодарностью вспомнил советы Николая Николаевича.

С открытой веранды была видна бухта.

— До чего же хорошо!—сказал Фрол, глядя на корабли.—Даже жаль, что придется с осени засесть в классы!

— Зима пройдет, и снова на практику...

— А там—третий курс, четвертый. А потом—выпуск и флот.

— Да, Фролушка, флот!

— Как бы нам, Кит, и на флоте не расставаться?

— Постараемся.

— Словчим как-нибудь...

— Зачем ловчить? Будем, как отец с Русьевым, служить на катерах, в одном соединении. Ходить вместе в море.

— Фрол, Кит, идите-ка сюда!—позвал Юра.

Мы до позднего вечера мечтали о будущем.

Когда возвращались, было темно, горели огоньки в бухте, с Матросского бульвара слышалась музыка. Мы перепрыгивали через протянутые повсюду тросы; рядом глухо плескалась вода.

Наконец, мы увидели ярко освещенный «Дельфин», вошли по трапу на палубу и спустились в свою уютную каюту.

* * *

Под руководством Фокия Павловича стараюсь выполнять всю черную работу, и Фокий Павлович удовлетворенно покрякивает—он белоручек терпеть не может.

На первом небольшом выходе боцман приучает меня к штурвалу. Какое удовольствие сознавать, что умная, стремительная морская птица, высоко задравшая нос на ходу и оставляющая за собой пенящийся бурун, послушно повинуется малейшему твоему движению!

Фокий Павлович все время начеку. Малейшая неосторожность — и может случиться авария.

Но все же боцман заменил меня у штурвала лишь тогда, когда мы, возвращаясь, входили малым ходом в бухту, занятую кораблями и спящими во всех направлениях яликами и морскими трамваями.

Фокий Павлович говорит, что я управляю катером не хуже Фрола. Я принимаю это как высшую похвалу.

* * *

Два катера уходят в большой поход. На одном идет Фрол, на другом — я.

Я иду на катере моего старого знакомого, капитан-лейтенанта Лаптева. Отец провожает нас на пирсе, желает счастливого плавания.

Мы выходим из бухты, минуя Константиновский равелин. Моторы гудят. Над головой дрожит выгнутая полоска антенны. Из воды выскакивает дельфин и кувыркается в воздухе. Я счастлив, что мне доверили вести катер.

Фокий Павлович берется за штурвал лишь перед самой Ялтой.

Прижавшись к молу, стоит огромный теплоход «Украина». С борта на нас смотрят тысячи любопытных глаз; ребята, взрослые перегибаются через фальшборт. На «Украине» играет музыка. Люди плавают для своего удовольствия, проводят весело отпуск. Не многим приходит в голову, что недавно такие красавцы, как «Украина», были перекрашены в серый цвет, перевозили войска и раненых и за ними охотились торпедонос-

цы и подводные лодки. А Ялта была разрушена и пустынна.

— Ты помнишь, меня сняли с катера в Хопи елe живого?—спрашивает Лаптев, когда утихают моторы.—Мы тогда в Ялту ходили. Ворвались в порт, торпедировали транспорт с боеприпасами.

Снова выходим в море. С «Украины» машут платками. Мы—частица нашего флота, который боевыми подвигами заслужил уважение всех людей нашей страны, люди приветствуют свой флот.

Огибаем крымский берег. Лаптев показывает рукой на белеющую вдаль Феодосию и что-то кричит. Но разве в оглушительном вое моторов разберешь, что он хочет сказать? «Новый год!»—слышу я. Понимаю — он участвовал в новогоднем десанте. Фашисты никак не могли представить, что в январский шторм наши высаются в захваченном гитлеровцами порту.

Остается позади Керченский пролив; здесь не было непристрелянного местечка и все было заминировано. И все же моряки переправлялись в Эльтиген, в Керчь на плотках, сейнерах, мотоботах и не давали фашистам в Крыму ни минуты покоя.

* * *

Входим в Цемесскую бухту. Во время войны на горе стояла батарея Матушенко. Артиллеристов прозвали «регулирующими уличного движения». Порт был занят врагом, но ни один фашистский корабль не мог войти в бухту—батарея не пропускала.

Катер замедлил ход. Первое, что я вижу, — крейсер Нахимовского училища «Адмирал Нахимов» стоит на якоре среди спящих катеров и буксиров.

Сколько воспоминаний у меня связано с «Нахимовым»! Плавая на любимом крейсере, мы своими глазами видели берега, скалы, бухты, где происходили бои, высаживались десанты, где совершали подвиги черноморцы. И сам «Нахимов»—живое напоминание о тех днях, когда каждый выход корабля в море был подвигом...

— Крейсер-то твой?—Лаптев старается перекрыть гул моторов.

— Наш, нахимовский!

— Простоим два часа! Заправляться будем! Пойди, навести!

Удача сама шагает навстречу! Я выскакиваю на пирс. Зову Фрола. Мы выходим на набережную и видим нахимовцев, окруживших скромный белый памятник. С ними—Николай Николаевич и Протасов. Никто нас не замечает, все слушают рассказ командира крейсера.

— Черноморцам запомнился навсегда, — говорит Сурков, нажимая на «о», — командир батальона морской пехоты, Герой Советского Союза майор Куников. Он говорил: «Только тот на войне выполняет свой долг, кто настойчиво совершенствует свое мастерство, повышает свое военное умение». Он воевал и учился, обучал бойцов бить врага наверняка, выходить победителем из любого сражения.

Продолжает рассказ Протасов: он был куниковцем, высаживался на эту самую набережную. Казалось, по морьякам стрелял каждый камень, но—«обратной дороги нет», — сказал командир, и Протасов водрузил над вокзалом флаг своего корабля.

Протасов показывает клуб имени Сталина, который заняли моряки, выбив оттуда гитлеровцев, и трое суток отбивали вражеские атаки. Он рассказывает о погибших говарицах, о Жене Хохловой, ворвавшейся в немецкий штаб с автоматом. На обороте портрета Сталина, который нашли у этой маленькой белокурой девушки на груди, было написано: «Иду в бой, любимый отец. Ты со мной. Прощай, помни меня». Это было вот здесь, на набережной, на углу, в этом доме... И похоронена она тут же, в братской могиле...

Николай Николаевич, увидя нас, раздвинул нахимовцев, обнял нас, расцеловал, исколол усами. Нам пожимали руки, просили побольше рассказать об училнице: наши младшие товарищи придут туда осенью.

— Жду вас на крейсер, — пригласил нас Николай Никсалаевич.

— В другой раз — обязательно!

Мы поспели на пирс как раз во-время: Лаптев поглядывал на часы. Я легко перескочил с пирса на катер. Фрол опромегью кинулся к своему.

Через несколько минут мы взяли курс на восток. Слева промелькнули серые прямоугольники, трубы, вышки—цементные заводы, где проходила когда-то линия фронта.

Потянулась горная цепь; по снегу, лежавшему на вершинах, скользили темные тени. Горы то удалялись, то приближались вплотную к морю. Катер несся вперед. Навстречу попадались небольшие торговые пароходы, катера, шхуны; мы обгоняли медленно пробиравшиеся под берегом корабли; оглушительно гудели моторы, катер бортами едва касался воды, и казалось, что мы летим над водой на крыльях.

Наконец, мы вошли в глубокую овальную бухту и увидели город в кольце синих гор. Дома стояли один над другим, как большие белые кубики. Зелень пальм ярко выделялась на желтом песке.

Глава четвертая

АНТОНИНА И СТЭЛЛА

На широком, в форме подковы, бульваре росли пальмы с толстыми лохматыми стволами. Море неторопливо плескалось у каменной стенки. Абхазец на поплавке торговал боржомом и молодым абхазским вином. Город был невелик и похож на ботанический сад.

Через четверть часа автобус вез нас по дороге, обсаженной эвкалиптами. Фролу, конечно, интереснее было остаться в городе, но для друга он был готов даже проскучать целый вечер. Промелькнула старая каменная стена—остатки разрушенной крепости, деревня, где автобус с яростным лаем атаквали овчарки. Наконец, кондуктор предупредил:

— Вам выходить, товарищи моряки.

Сторож, сидевший в будке у зеленых ворот, переспросил:

— Такая беленькая? Ну, как же, знаю! Идите все прямо, потом свернете направо, потом налево, потом направо, увидите дом, там живет ее дядя, Брегвалдзе.

Мы пошли прямо. Высокие пальмы, выстроившись в шеренгу, сторожили дорогу. Мы свернули направо, затем налево; шли среди необыкновенных деревьев, в воздухе пахло чем-то пряным и терпким. Фрол заинтересовался косматым деревом с длинными гибкими ветвями. Одна из ветвей, словно щупальце спрута, обвилась вокруг руки Фрола. Он мигом отдернул руку, и

мы, потеряв желание близко знакомиться со странными деревьями, вместо того, чтобы свернуть направо, свернули налево и долго блуждали в субтропических зарослях, пока не вышли к белому дому под зеленой крышей. За домом громоздились отвесные горы, а перед ним был разбит цветник. Девушка с длинными, до пояса, черными косами, сидя на корточках, подвязывала мясистые красные цветы—канны.

— Скажите, пожалуйста,—спросил я,—где нам найти товарища Брегвадзе?

Девушка обернулась, ахнула, выронила жердочки и веревки и, вскочив, сломала два или три цветка:

— Не-ет, клянусь здоровьем папы! Вы с неба свалились?

— Стэлла? — опешил Фрол.

А Стэлла, схватив его за руки, закружила:—Я вчера лишь приехала, вчера лишь приехала!

Потом, чмокнув Фрола в обе щеки, устремилась ко мне.

— Не-ет, и подумать только, приехали!

Она собиралась было и меня закружить, но вдруг опомнилась, и лицо ее мигом стало печальным.

— Никита, горе-то какое!.. Мы все плакали: я, мама, папа! Мы твою маму очень, очень любили.

Слезы ручьем брызнули у нее из глаз, и она уткнулась лицом в лохматый ствол пальмы. Славная девочка!

Успокоившись, Стэлла притянула меня и поцеловала в лоб: «это—от папы», еще раз в лоб: «это — от мамы» и еще два раза в обе щеки: «от меня». Лицо ее было мокро от слез.

— Не-ет, надо же позвать Антонину!—спохватилась она и устремилась к террасе.

Фрол попросил:—Кит, ущипни меня! Сплю я или не сплю? Как Стэлла здесь очутилась?

— Она же сказала: приехала к Антонине в гости!

— Вот совпадение!

А Стэлла уже тащила в сад Антонину. Какое у нее было сияющее, счастливое лицо!

— Вот чудно, что вы приехали!—повторяла Антонина, пожимая мне руку.

Не прошло и пяти минут, как нас познакомили с Антонининым дядей.

Борис Константинович, сухощавый человек с очень

загорелым лицом и курчавыми волосами, спустился в погреб и принес поднос с гибридами прошлогоднего урожая. Мы сидели в большой пустой комнате с белыми стенами, за квадратным столом и поедали апельсины, грейпфруты, мандарины со сладкой кожицей и сладкие лимоны. В комнатах не было ничего лишнего: простой рабочий некрашенный стол, карта на стене со шнурком, отмечающим границу распространения цитрусовых, самшитовая полка с книгами, простые железные койки. Во все окна были видны деревья, сгибающиеся под тяжестью созревающих плодов, горы, покрытые лесом, и море, ярко освещенное солнцем.

— Не-ет, но как же мне повезло!—радостно повторяла Стэлла.—Подумать только, совсем ехать не собиралась, да тетя вдруг говорит: «Поезжай навестить Антонину, ты, наверное, соскучилась по подруге». И дала денег. Клянусь здоровьем папы, я от счастья чуть тетку не задушила и сразу помчалась на поезд. Пойдемте посмотреть сад, а то скоро стемнеет!

Мы вышли; Антонина показывала сладкий картофель, батат; кусты похожих на зеленые огурчики душистых сладких плодов—фейхоа; рассказала, как скрещивают лимон с апельсином, все с ученым видом, словно читала лекцию: она ведь перешла на второй курс. Солнце задело огненным краем море, и вода, казалось, плавилась и кипела. Потом солнце окунулось, исчезло, сразу стало темно и с гор потянуло холодком.

В доме зажгли огни. Во всех комнатах пахло цитрусами. Борис Константинович рассказывал о поездках в Крым и на Украину и о том, что граница цитрусов поднимается к северу. Он хвалил Антонину:

— Рекомендую: мой незаменимый помощник.

Стэлла рассказывала: она работает в конструкторском бюро, так что во всех электровозах новой конструкции будет частица и ее труда. Она так и сыпала специальными техническими словами, которые было трудно понять.

— А ты знаешь, Фрол, я водила поезд через Сурамский перевал. Правда, не сама,—тут же созналась она,—я была лишь помощником, но ты знаешь, как это опасно, второкурснице не доверяют. И отец ехал в поезде и всем говорил: «Понимаете, сию в вагоне, а сердце рвется вперед, посмотреть: как там моя Стэл-

ла?» И он на каждой станции выбегал из вагона и чуть было не отстал в Хашури от поезда. Антонина, ну что же ты молчишь?

Но как могла Антонина вставить хоть слово? Стэлла говорила за всех.

— А теперь, — предложила она, вдоволь наговорившись, — я угощу вас грузинскими блюдами. Вы, наверное, соскучились по ним, мальчики?

И она исчезла за дверью.

— Фрол! — позвала она через минуту. — Фрол, иди-ка сюда, мне скучно. Неужели ты думаешь, что я могу выдержать полчаса одиночества?

Фрол пошел в кухню.

Антонина спросила:

— Я все думала, как ты один там, на Кировском? Я ответил, что стараюсь теперь поменьше бывать дома.

— Да, я знаю, тебе тяжело. Хорошо, что у тебя есть такой товарищ, как Фрол...

В кухне что-то упало и разбилось.

— Не-ет, какой ты неловкий! — воскликнула Стэлла. — Лучше бы я тебя не звала в помощники.

— Ты помнишь, я тебе рассказывал, Антонина, как мы с отцом встречали корабли в Севастополе? Рядом с нами, на Приморском бульваре стояли старик и маленькая заплаканная старушка. Она махала платком, а старик — фуражкой. И я думал тогда: вот вырасту, выучусь, буду уходить в плаванья и, возвращаясь в порт, стану смотреть в бинокль: и отец и мать так же, как эти два старика, меня встретят. А теперь...

— Фрол, скажи им, чтобы накрывали на стол! — послышался голос Стэллы. — Все готово, посмотрим, что они по этому поводу скажут!

Фрол появился смущенный:

— Я соусник разбил.

Мы накрыли на стол, а Стэлла с торжествующим видом принесла чугунок.

— Посмотрим, что вы скажете о моей каурмè! Антонина, достань же вино! Настоящее кахетинское, мальчики! Борис Константинович просит прощения, у него срочная работа.

Через минуту мы чокались кахетинским и похваливали каурму — превкусную, наперченную баранину.

— У нас в институте,—рассказывала Стэлла,— есть кружок изобретателей, им руководит лауреат Сталинской премии Нахуцришвили, инженер. Он говорит, что я в конце концов изобрету что-нибудь полезное. А почему вы не пьете? Разве плохое кахетинское?

Она подняла свой бокал:

— Поздравьте меня. Я, может быть, выйду замуж.

— Что?—опешил Фрол, роняя на пол вилку.

— Подними, Фрол, ты что-то уронил. Да, я, кажется, выйду замуж.

— Что?!—повторил Фрол, меняясь в лице.

— Не-ет, тебя это удивляет? Мама вышла за папу, когда ей было семнадцать лет, а мне уже девятнадцать.

— Ну, и глупо!—выдохнул Фрол.

— Что—глупо?

— Так рано выходить замуж. Институт сначала окончи. За кого ты выходишь?

— Фрола это интересует?

— Нет, нисколько! Выходи за кого хочешь.

Фрол с такой силой поставил бокал, что чуть не обломал ножку.

— Ну, вот и отлично,—обиделась Стэлла.—Я хотела тебе написать, а потом решила, что расскажу при встрече. Все-таки ты мне друг, а друзей надо ставить в известность о переменах в жизни. Кто хочет еще каурмы?

— А все-таки любопытно, за кого ты выходишь? — спросил Фрол, отодвигая тарелку. — За какое-нибудь ничтожество?

— Ох, какой ты злой, Фрол! Почему за ничтожество? Он замечательный человек, умный, талантливый, добрый, любезный, никогда не говорит грубостей, никогда не старается со мной ссориться.

— Кто?—побагровел Фрол.

— Ого! Хорошо, я скажу: он лауреат Сталинской премии, руководитель кружка в институте, инженер Акакий Нахуцришвили. С тебя довольно? Погоди,—предупредила она Фрола, пытавшегося вскочить,— ему шестьдесят два года, и он говорит, что если бы был на тридцать два года моложе, он бы сделал мне предложение и немедленно бы на мне женился.

Она расхохоталась от всей души, весьма довольная тем, что розыгрыш ей удался на славу.

— Фрол, милый,—сказала она насупившемуся Фролу, — да неужели ты думаешь, что я выйду замуж, пока не окончу институт и не встану на ноги? Не-ет, я никогда в жизни не буду зависеть от мужа! И неужели ты думаешь, — она сделала паузу,—что я выйду за кого-нибудь замуж без твоего разрешения?

— Спросишь?

— Спрошу.

— А если я запрещу?

— Не пойду!

— Поклянись!

— Клянусь здоровьем папы!

— Ну, то-то!

Мир был восстановлен, настоящий, добрый мир.

Мы вышли в сад. Сидели в темноте на траве. Летали светлячки, пахло чем-то пряным, душистым; где-то коротко крикнула птица, другая откликнулась издалека. Прятавшаяся за облаками луна вдруг осветила часть моря, и по светлому пятну медленно заскользила черная точка—рыбачий баркас.

Стелла поднялась и пошла вниз с горы.

— Фрол!—позвала она.—Идем, я тебе что-то скажу!

Фрол неуклюже поднялся, перепугав светлячков, рассыпавшихся, словно паровозные искры.

— Я часто сижу вот так вечером и смотрю на море,—сказала Антонина, когда Фрол исчез в темноте.

— Тебе хорошо здесь?

— Да, очень.

Она начала рассказывать, какими чудесами наполнен окружающий нас сад, как хорошо, встав на рассвете, уйти в горы и подниматься все выше и выше...

— Только я очень скучаю без дедушки,—призналась она.—Он закончил книгу, и к нам приходили писатели и художники, и я им читала три вечера. Книгу очень хвалили. И ее сдали уже в типографию. Дед ждет не дождется, когда она выйдет. Это прибавит ему десять лет жизни... Да, ты ведь знаешь—отец женился...

— Она такая противная!

— Нет, она не противная, симпатичная женщина и неглупая, ко мне хорошо относится и, что самое главное, не пытается играть роли матери. Я ей очень благодарна за это. А отец от меня глаза прячет. И поче-

му-то все повторяет, что меня очень любит, хотя я это и без него знаю. Ты видел его в Севастополе?

— Нет еще. Он был в море.

— Да, мне с ним редко придется видиться. И с тобой тоже редко, Никита. Ты будешь плавать...

— А что может быть лучше дальних походов? Я хочу стать настоящим, знающим моряком.

— И ты им будешь, я верю... Ты помнишь, Пушкин писал моряку — лицейскому другу?..

— Матюшкину?

— Да. Федору Матюшкину.

«Счастливым путь!.. С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О, волн и бурь любимое дитя...»

— Так вот, дитя волн и бурь, я хочу, чтобы ты вспоминал иногда, что у тебя, кроме Фрола, есть еще один друг... Друг, который всем сердцем с тобой...

— Антонина, я никогда этого не забываю. Я ведь очень люблю тебя...

— Но, разумеется, меньше, чем Фрола?

Не успел я ответить, что Фрол — мой товарищ, а она мне — сестра и я сам не знаю, кого из них люблю больше, как поблизости хрустнула ветка и Стэлла радостно сообщила:

— А вот и мы! Мы спустились до самого моря. Ух, и бежали ж обратно в гору! А все же ты меня не догнал, Фрол!

— Чудачка, да разве тебя, быстроногую, в темноте догонишь? Чуть ноги не поломал.

Фрол растянулся на траве, закинув руки за голову.

— Выдохся! — не удержалась, чтобы не поддразнить, Стэлла.

— Моряки не выдыхаются, они отдыхают.

Они поспорили, потом девочки рассказали нам о подругах, товарищах, преподавателях и зачетах, а мы рассказали, как, уподобляясь героям Станюковича, крепили паруса, лазали по вантам; Фрол в доказательство предложил пощупать свои ладони — на них было немало мозолей. Потом я рассказал, как встречал Новый год.

— Не-ет, наверное вы оба ухаживали за Хэльми?! — воскликнула Стэлла. — Она такая же хорошенькая, как прежде?

— Еще лучше стала, — подзадорил Фрол Стэллу; она надулась и успокоилась только тогда, когда я сказал, что Фрола под Новый год с нами не было.

— А где ты был, Фрол?

— У Вадима Платоныча.

— А кто такой Вадим Платоныч?

Рассказали о Вадиме Платоновиче, о Платоше и о том, что видели в Ленинграде своего «нахимовского» начальника, адмирала.

— Не-ет, правда? — воскликнула Стэлла. — Приеду в Ленинград, обязательно пойду к нему в гости.

— И он будет в восторге — встретить дерзкую девчонку, остановившую его прямо на улице, — сказал Фрол ехидно.

— Ну, и что же такого? Ты плохо учился, да, да, не кряхти, Фрол, и ты был плохо дисциплинирован и с тебя даже сняли ленточку и погоны. Я тебе говорю, не кряхти, Фрол, и не злись; никогда не стыдно вспомнить то, что было, если ты после исправил свои ошибки. Я встретила на улице адмирала и спросила его о тебе. А он заинтересовался, откуда я тебя знаю, и сказал, что ты исправился, стал отличником. «Ты довольна, девочка?» — «Очень довольна», — сказала я. А он спросил, как меня зовут, и сказал, что у меня красивое имя. Это было три... нет, четыре года назад, а как будто — вчера! Он очень состарился?

— Совсем не состарился.

— Мальчики! Вы, наверное, голодные!

Прежде чем мы успели ее удержать, Стэлла сбегала в дом, принесла простоквашу и заставила нас съесть по два стакана. Фрол упирался, но Стэлла угорворила: «Это очень полезно, недаром в Грузии живут до ста и до полутора ста лет, потому что едят каждый день «мацони».

Фрол поверил ей на слово и съел, чтобы дожить до ста лет.

Багровая луна поднялась над кипарисами. В доме горел лишь один огонек, в мезонине, в рабочем кабинете Бориса Константиновича. Далеко за горой, в деревне женский голос среди ночи пел грустную грузин-

скую песню. Море светилось. За баркасом, скользившим по воде, оставалась искрящаяся дорожка. Фрол заставил свои часы прозвонить — прозвонили два. Пора было уходить.

Антонина сказала:

— Мы проводим вас до дороги.

— А вы не боитесь?

— Ну, кого нам бояться?

— Ты слышал, папка говорил, что я не испугаюсь ничего? — засмеялась Стэлла. Антонина сбегала в дом и вернулась в плаще. Стэлла пошла вперед, показывая дорогу.

Что-то мягкое ткнулось мне в ноги. Я отскочил, а Антонина воскликнула:

— Вот и проводник! Каро, Каро, идем с нами!

Большая кавказская овчарка запрыгала, пытаясь лизнуть Антонину в лицо.

В темноте сад казался бесконечным, огромным лесом, и я удивлялся, как Антонина и Стэлла находят дорогу. Высоко над нами на горах в лунном свете фантастически сверкал снег, а на светящемся пятне моря шеренгой стояли черные великаны-эвкалипты. Вдали лежал весь белый, уснувший сказочный город.

— Фрол, не забывай, — попросила Стэлла, когда сторож выпустил нас за ворота. — Пиши, смотри, а отец надо мной смеется — я по утрам все лазаю в ящик. Лень писать будет, напиши одно слово — «жив», сунь в конверт и надпиши адрес. Можно даже без марки. Вы куда сейчас, в Севастополь?

— Глупый вопрос! Ты ведь знаешь, я на него не отвечу.

— Знаю! Военная тайна.

— Пора бы привыкнуть и не задавать морякам подобных вопросов.

Машина, ослепив нас, промчалась так быстро, что мы не успели поднять рук.

— Так вы и до утра не уедете!

Стэлла встала посреди дороги, и фары ярко осветили ее стройную фигурку с поднятой рукой и черные кипарисы. Машина резко затормозила. Стэлла переговорила с шофером, и он, высунувшись из кабины, приветливо пригласил:

— Прошу, пожалуйста, генацвале!

Мы живо забрались в кузов.

— До новой встречи! — кричали нам наши подруги.

Когда мы через полчаса подъезжали к городу, небо стало розовым; порозовели быстро бегущие облака, и снег на высоких горах тоже стал розовым. В домах, похожих на большие белые ящики, блестели все стекла.

Мы вышли на пирс, и Фокий Павлович приветствовал нас со своего катера, покачивавшегося на огненно-желтой волне.

Глава пятая

«ДЕЛЬФИН»

С утра на «Дельфине» все дышит праздником. Матросы в обмундировании первого срока, офицеры в мундирах. Соединение празднует свою годовщину.

В кают-компани на столе лежит толстый альбом в красном кожаном переплете с вытисненной гвардейской ленточкой. Это история соединения. Стоит перелистать ее. Вот дневные, ночные поединки с вражескими кораблями, торпедоносцами, подводными лодками, торпедными катерами, один — против четырех, три — против десяти. Прорывы во вражеские порты, разгром в самом логовище врага транспортов и десантных судов. Участие в десантных операциях, разгром вражеских караванов...

Пожелтевшие газеты и листовки военного времени рассказывают о подвигах катерников: «Честь и слава морякам торпедных катеров!»

Нахожу знакомые имена:

«Кто не знает дерзкого набега на занятый противником порт катерами капитана третьего ранга Рындина и капитан-лейтенанта Гурамишвили? Катерники ворвались в порт днем, торпедировали тяжело груженные транспорты, вдребезги разнесли причал и вернулись в базу».

«Так же дерзко, отважно и умело действовал экипаж катера под командованием старшего лейтенанта Русьева. Войдя ночью в занятый противником порт и ошвартовавшись у причала, катерники высадили десант автоматчиков. Гитлеровцы приняли катер за свой».

Им и в голову не пришло, что моряки-черноморцы могут отважиться на такую дерзость».

«Высокой доблестью отличался старшина второй статьи Фокий Павлович Сомов. Рискуя жизнью, он отдал свой спасательный пояс раненому командиру и помог ему продержаться на воде, пока не подоспела помощь. Честь и слава моряку, спасшему своего офицера!»

Начнешь читать — и не оторвешься.

Как я хотел бы, окончив училище, попасть в свое соединение, работать упорно и не жалея сил, чтобы стать достойным товарищем Лаптеву, Русьеву и всем тем, кто завоевал в боях право носить на груди гвардейский нагрудный знак!

На палубе играют патефоны. На полубаке заливаются аккордеон. Фокий Павлович, нарядный и очень торжественный, прогуливается по палубе. Он служит в соединении со дня его основания.

К обеду приезжает командующий, плотный, подвижный адмирал. Он стремительно входит в кают-компанию, снимает фуражку, проводит рукой по темным, без седины, волосам. Поздравив с праздником и напомнив о днях войны и героических подвигах, он ставит в пример трех героев, не успокоившихся на достигнутом, а продолжавших учиться.

— Они окончили академию, и они снова с нами, обогащенные новыми знаниями. Результаты видны — это показали итоги последних учений как соединения, которым командует Рындин, так и соединения капитана третьего ранга Гурамишвили.

— В боях они шли на риск, — говорит адмирал. — Риск у них сочетался с отвагой, мастерством, бесстрашием, мужеством, дерзостью. Теперь все это, плюс трезвый и смелый расчет; у них сочетается с великолепным знанием дела, с экспериментаторством, с осуществлением смелой мечты. Они глядят вперед, в будущее. Это будущее — наше, товарищи!

Хлопают пробки. Фрол в первый раз пьет шампанское, поперхнулся.

— Курсанты? — замечает нас адмирал.

— Так точно, используют свой отпуск на практике, — докладывает отец.

— Ваше лицо мне знакомо, — обращается ко мне

адмирал. — Позвольте, мы с вами однажды уже пили шампанское! Это было, когда Рынди́ну, Гурамишвили и Русеву правительство присвоило звание героев. Сын? — спрашивает отца адмирал.

— Так точно, сын.

— Ну, разве узнаешь? Вырос. Форменный стал моряк. А другой — Живцов?

— Так точно, Живцов, товарищ адмирал.

— Начинали службу на катере?

— Так точно, в нашем гвардейском соединении.

— Ветеран, значит? Ну, что ж, желаю вам отлично кончить училище, стать таким же смелым и отважным офицером, как ваши старшие товарищи черноморцы.

— Так точно, товарищ адмирал, я на Черном море родился и службу на «Че-эф» начинал...

После обеда приходят гости. Приезжает Серго с Клавдией Дмитриевной. Она, и правда, не такая плохая, какой показалась мне в Ленинграде. Расспрашивает об Антонине, беседует со мной об училище, приглашает к себе. Приходит и бывший командир соединения, тот самый капитан первого ранга, который меня встретил тогда, когда отец пропал без вести. Он сказал тогда: «Флот тебя не оставит». Теперь он в адмиральских погонах, такой же грузный, как был, с чисто выбритой головой, чуть постаревший. Он сразу узнает и меня и Фрола, спрашивает, где мы были на практике и ходили ли мы на катерах. Он нас направил в Нахимовское и все эти годы не забывал ни меня, ни Фрола, уделяя время, чтобы написать нам и дать совет, интересовался, как мы учимся и не надо ли нам чего. «Вы — наши катерники», — всегда напоминал он. Теперь он работает в штабе флота — «А ведь мы еще с вами встретимся и, надеюсь, поплаваем вместе?» — говорит он, и глаза его улыбаются.

Отец рассаживает гостей, показывает им корабль, но я чувствую, что ему — не весело. Он поглядывает за бухту; наверное, вспоминает те вечера, когда мы стремились попасть скорее на Корабельную, в маленький белый домик, где при свете свечи нас ждала мама...

...Я помню: ночь была темная, я вошел первым. Мама вдруг побледнела: «Случилось что-нибудь?» — спросила она дрогнувшим голосом. — «Говори скорей,

что случилось?» — «Мама, только что объявили, что папа — Герой Советского Союза».

«Юрий! — позвала мама. — Да где же ты? Иди скорей, я тебя расцелую!»

А теперь никто не ждет нас на Корабельной...

Начинаются танцы. По случаю праздника женщины допущены на корабль. Это — жены и знакомые офицеров. Серго, Лаптев, Русьев танцуют; танцуют все, кроме отца.

Как всегда на юге, сразу спускается вечер. «Дельфин» весь светится, а развевающиеся платья похожи на гигантских бабочек. В лучах прожекторов на берегу, на Графской пристани тоже танцуют.

Молодая женщина в желтом платье, со взбитыми светлыми волосами, сестра одного капитана первого ранга, сидит за ужином рядом с отцом, улыбаясь, о чем-то его расспрашивает. Отец рассеян и отвечает, повидимому, невпопад.

После ужина все снова поднимаются на палубу. Бухты в огнях; огни города отражаются в черной воде.

Женщина с желтыми волосами что-то рассказывает отцу, смеется, отец ее рассеянно слушает. Они подходят к фальшборту. Лицо отца делается страдальческим, и он говорит:

— Прошу прощения, мне надо итти.

Откланявшись, он уходит, а женщина в желтом разрывает носовой платок на клочки и выбрасывает их за борт.

Мне хочется подойти к отцу, сказать ему что-нибудь, что — сам не знаю. В кают-компанин его нет. Он у себя в каюте. Дверь приотворена. Заглядываю, сидит у стола, подперев рукой голову. Я легонько стучу. Он оборачивается.

— Входи и затвори дверь, Кит. Садись.

Мы сидим молча и слушаем, как наверху играет музыка и за открытым иллюминатором плещется вода.

— Чего бы я не дал, лишь бы она была жива! — говорит отец, глядя на портрет. — Ох, тяжело, Никита. Если б ты только знал, Кит, как тяжело!

Наверху отбивают склянки. Отец вздрагивает.

— Пора. У нас гости. Иди ты вперед, Никита.

Я выхожу из каюты и поднимаюсь на палубу, туда, где все веселятся, гремит музыка и все сверкает огнями..

* * *

Отец и Андрей Филиппович сдержали свое обещание. Мы приняли на катер торпеды и самостоятельно провели с Фролом стрельбы. При командах «торпеды товсь», «пли» казалось, что перед нами настоящий вражеский транспорт, который во что бы то ни стало следует потопить. Проверял нас Русьев и, когда мы, отстрелявшись, возвращались в базу, одобрительно кивал головой; других похвал мы бы все равно не услышали, так гудели моторы.

— Случись война, мы можем с тобой самостоятельно водить катера и стрелять по неприятельским кораблям, — заключил Фрол, когда мы ошвартовались у пирса.

— Остерегаясь ненужной лихости, — тут же добавил Русьев. — Тебе дана одна, не сто жизней...

Наступил день отъезда. Андрей Филиппович передал нам наши характеристики. Он сказал, что командование соединения довольно нами.

— Мы убеждены, что и на старших курсах вы не ударите лицом в грязь, и будем надеяться, что именно в наше соединение придете служить, — сказал он, прощаясь. — Я, наверное, буду тогда совсем стариком, — горько усмехнулся он, глядя в зеркало на свою частую седину.

Прощаться с отцом было тяжело. Я знал, что теперь его не скоро увижу. Мы как-то особенно за этот месяц сдружились, по ночам вели долгие разговоры, и я вслушивался в советы отца и запоминал их. На прощанье он пожелал мне успехов. А я твердо решил, что даже когда окончу училище и стану офицером, я всегда буду советоваться с отцом.

Поезд уходил поздно вечером. Севастополь сверкал россыпью огней. Тополя темнели возле платформы. Уезжать не хотелось. Поезд тронулся, стал ускорять ход, за окном промелькнули и исчезли манящие огни кораблей.

Отпуск, встреча с отцом, катера, Фокий Павлович, Антонина — все осталось далеко позади...

ЕЩЕ БЛИЖЕ К ФЛОТУ

И вот мы снова в училище, только поднялись этажом выше — на второй курс. Товарищи вернулись из отпуска. Бубенцов рассказывает:

— Приезжаю я в Сумы. Моряк там — редкость, все оглядываются, а мне все кажется, что глядят на меня с укоризной. Подхожу я к домику, вечер уже, значит, думаю, дома, а постучать не решаюсь. Но не стоять же весь вечер на улице! «Кто там?» — слышу. «Я, мама!» — «Аркаша? Милый ты мой, родной!» Обнимает, целует, ведет в комнату, снимает очки, протирает платком. — «Целый год я тебя не видала!» Усаживает за стол, хлопчет, достает что-то из печки, а меня так и подмывает сказать, что я очень виноват перед нею, но что теперь я могу ей глядеть в глаза, не стыдясь. Хочу сказать и никак не решаюсь. И вдруг она подходит ко мне, прижимает к груди: «Я все знаю, сынок, твои товарищи мне все хорошее о тебе написали, а то, чего не знаю, сердцем чувствую; можешь не говорить и себя не мучить. Об одном я прошу: живи дальше так, как отец жил. Он жил, как советский человек, и погиб, как советский человек». Тут мы, Никита, с нею поплакали, отца вспомнив, — хороший он был у нас, а после ни разу она мне ни о чем не напомнила. Без меня она по вечерам никуда не ходила, а тут, со мной — то в театр, то — на бульвар... «пройдемся, может, Аркашенька?» И идет рядом, маленькая, в очках, все ей кланяются, ее в Сумах ведь все до одного знают. А она, чувствую, мною гордится. Ну, какой бы я был дурак, Кит, если бы меня из училища выгнали!

— Покушай, пожалуйста, — угощает яблоками Илюша. Он их привез целых два чемодана. — У нас в Зестафони — жизнь, как в раю. Яблоки, груши, персики! Отец товарищей с флота привез — их угощали! Мы с ним в Тбилиси ездили, к двоюродному брату. Вы же знаете, Шалико в балете танцует. По вечерам все в театр ходили. И брат в каждом балете страдал от любви — в «Лебедином», в «Жизели» и в «Сердце гор»; а в жизни у него — все наоборот: сам жену любит, жена его любит, сам — веселый, жена все время смеет-

ся. Да, дорогие, — вдруг вспомнил Илюша, — я у Протасова в гостях был!

— У старшины?

— Иду по проспекту, а старшина — мне навстречу, с женой. Узнал, понимаешь, к себе потащил! Целый вечер мы вас вспоминали. А потом достает из комода коробку тбилисских «Темпов» и говорит: «Передайте, Поприкашвили, Фролу Живцову. Теперь ему, поди, курить разрешают. Напомните, — смеется,—как я у него отобрал эти «Темпы».

И Илюша вытаскивает из кармана коробку.

— Чудеса, — удивляется Фрол. — Кит, ты помнишь, как нам влетело?

— Ну, еще бы не помнить!

— Ай да Протасов! Сохранил до сих пор...

Каждый рассказывает, как и где провел отпуск. Серегин передает привет Фролу от своего отца, с которым Фрол когда-то беседовал в поезде. Борис рассказывает о своих знакомствах в Таллине:

— Она в беге на пятьсот метров первой пришла. Тут я с ней и познакомился. Потом, гляжу, ходит под парусами, ну, как заправский матрос! Замечательная девушка, будущий врач, фотографию подарила...

— Борис! Опять выпросил?

— Клянусь чем угодно, сама подарила!

— А, ну, покажи.

Фрол удивляется:

— Кит, да ведь это Хэльми!

— Да, ее зовут Хэльми, — подтверждает Борис. — Откуда ты знаешь?

— Она не говорила, что с нами знакома?

— Да, нет, как-то у нас насчет вас разговора не было...

Игнат неодобрительно поглядывает на друга:

— Ох, Борис, не доведет тебя легкомыслие до добра!

Игнат даром времени не терял. Он весь отпуск провел в Военно-морском музее, пишет историю Севастополя и надеется, что его труд в будущем издадут. И когда-нибудь, увидев в «Морском сборнике» имена Булатова и Пылаева, я вспомню, что учился с этими учеными-офицерами в одном классе...

Мы устраиваемся в новых, отведенных нам кубри-

ках и классах, радостно встречаем Вершинина, Глухова, Костромского, Кольцова — они поведут нас дальше, до самого выпуска на флот. Лишились мы только Мыльникова, окончившего училище, — и не чувствуем сожаления.

* * *

— Ты ведешь дневник? — спрашивает через несколько дней Фрол, застав меня за заветной тетрадкой. — А я думал, ты давно бросил.

— Нет, Фрол. Здесь записи за весь первый курс.

— Дашь почитать?

— Если ты не обидишься. Я ведь пишу все, как было.

— Ну и что?

— Ну, и про тебя тоже там...

— Все, как было?

— Да.

Он поглядел в потолок.

— Ну, почитай, я послушаю.

— С начала или с конца?

— Читай с конца.

— Слушай. «На наше место пришли другие; на первом курсе много знакомых лиц, бывших нахимовцев. Они тотчас же разыскали нас, расспрашивают о порядках в училище; последователи Бориса интересуются, существуют ли для нахимовцев привилегии. «Какие вам нужны привилегии?» — резко охлаждает их Фрол. — «Не воображайте, что вас будут бубликами кормить. У нас все равны — будь ты нахимовец или воспитанник подготовительного училища, пришел ли ты из матросов или явился сюда из десятилетки с Большого проспекта и моря не нюхал. Ты сам заслужи уважение. Ясно или нет?»

«У некоторых лица вытягиваются, они надеялись, что их «выделят» и им «создадут условия». Фрол словно вылил на них ушат холодной воды».

— Правильно, — подтверждает Фрол. — Так и было. Читай-ка дальше.

«Фрола внимательно слушали. Он ведь пользовался авторитетом в Нахимовском. И он продолжал внушение.»

«Вам по первому времени трудно будет. Одолевать

придется многое, а особенно—высшую математику. Мне и то одолевать ее было нелегко. Но духом не падайте, одолеете. Не забывайте, какие люди из нашего училища вышли (тут Фрол перечислил ряд адмиралов и всем известных героев), значит училище наше уважать нужно не меньше, чем свое родное Нахимовское. Сядешь за стол—подумай: может быть, на твоём месте сидел тот герой, что погиб со славой в Севастополе, или тот подводник, что пятнадцать кораблей потопил, или катерник, что первым ворвался в Новороссийск и в Констанцу. Подумаешь—сообразить: а можно ли на том месте, где такие люди сидели, получать двойки и тройки? Нельзя. Сам не получал, да и вам не советую».

— Ну, и память же у тебя, Кит! Все слово в слово. А что у тебя записано на счет летней практики?

— Прочти сам, — отдаю Фролу пачку тетрадей.

— Любопытно...

Фрол уносит тетради. Через несколько дней он мне их возвращает:

— Прочел, Кит.

— Ну, и как?

— Все правильно.

— Ничего не нашел для себя обидного?

— А чего ж обижаться? Ведь все так и было—и хорошее, и плохое—со свойственной ему прямою заявляет Фрол.—И как у тебя только терпения хватает? Быть тебе писателем!

— Нет, какой из меня писатель!

— Ну, уж художником-то ты обязательно будешь!

Вершинин сдержал свое слово, и в одну из суббот я, забрав свой альбом, пошел в Академию художеств, к известному художнику. Он перелистал мой альбом и сказал, что у меня есть способности.

— Но техника хромает на обе ноги. Не огорчайтесь, я буду с большим удовольствием заниматься с вами...

И я хожу к художнику каждую субботу.

Фрол, как и на первом курсе,—старшина класса, а я—секретарь комсомольской организации роты. В душе я удовлетворен, что товарищи мне оказывают доверие, но ответственность велика. Правда, на втором курсе, стало меньше дисциплинарных проступков, меньше мальчишеских выходок—все повзрослели, остепенились.

Но программа серьезная и большая, изобилует специальными морскими предметами, и с нас больше и строже спрашивается. Еще два курса—и нам придется самостоятельно, в море, решать задачи, отвечать за корабль, за людей, а это — не шутка!

Заниматься приходится много, но Борис успевает навещать своих школьников; Ростислав, Игнат и Пылаев проводят экскурсии членов Досфлота по Военно-морскому музею, Бубенцов и Платон стали верными помощниками Вадима Платоновича, и старик с гордостью именует свой кабинет «конструкторским бюро». За одну из моделей они получили премию, и Аркадий свою долю премии послал в Сумы, матери.

Не забыто и «нахимовское товарищество». В воскресенье мы собираемся у меня, на Кировском. Вспоминаем плавание на «Нахимове», вслух мечтаем о будущем. Безудержная фантазия так высоко заносит Фрола, что его очень трудно опустить снова на землю.

Начинается спор—каждый хвалит свое училище и преподавателей; спор не превращается в ссору — каждый волен быть патриотом своего училища и хвалить его: мы не так глупы, чтобы утверждать, что чужие преподаватели хуже наших.

Спор прерывает звонок—приносят почту.

— Вы знаете, от кого письмо?—спрашиваю друзей. — От Мираба!

— От Мираба? Ну, ну, что он пишет?

— «Никита, ты можешь поздравить меня,—с трудом разбираю я неразборчивый почерк.—Огные я—дедушка».

— Что-о?—изумляется Фрол.

— «Отные я—дедушка». А почему бы Мирабу не стать дедушкой?

— Нет, погоди! Значит Стэлла...

— Что — Стэлла?

— Она все-таки вышла замуж за этого Нахуцришвили?

— При чем Стэлла, Фрол? Тут ясно написано: «У Гоги родился маленький Гоги, радость нашего дома».

— Ах, Гоги у Гоги? Ну, это дело другое!

— А Стэлла—замечательная девушка, Фрол! — хитро улыбается Юра.—Правда, резковата и вспыльчива, но зато — настоящий товарищ.

— Мне больше нравится Хэльми,—замечает Олег.

— Ну, чего в ней хорошего? Болтушка, — не соглашается Фрол.—Она слова не даст сказать.

— Ну, и Стэлла любого заговорит!—смеюсь я.

— Что любого заговорит, это правильно. Ну, читай, читай дальше.

— «Маро, Анико и я очень счастливы, а Стэлла возится с малышом целый вечер. Никита, скажи, пожалуйста, Фрол жив и здоров? Она все ждала от него писем, каждое утро заглядывала в ящик на двери и, наконец, перестала заглядывать. Подозреваю, что они в Сухуми поссорились...»

— Мы? Нет, мы не ссорились. Ты, Кит, свидетель...

— Почему же ты ей не пишешь?

— Ну, что я ей буду писать?

— Напиши одно слово «жив», сунь в конверт и пошли без марки,—напоминаю я слова Стэллы.

— Нет, это уж пусть Борис переписывается с девочками. Что там еще?

— «...что они в Сухуми поссорились...»

— Это слышали. Дальше!

— В институте у нее большие успехи. Нахуцришвили взял ее в помощники, для Стэллы — большая честь!

— Ага, все-таки Нахуцришвили!

— Фрол, он ей в деды годится!.. «Шалва Христович подарил мне свою новую книгу. Ее читает с увлечением весь Тбилиси. Антонина заходит, и мы вспоминаем тебя, Никита, и Фрола и надеемся, что придет день, мы опять увидим вас у себя». Ну, вот и все.

— Хороший, простой человек,—говорит Юра.

— Симпатичнейший,—добавляет Олег.—Душа-человек. Я помню, мы приходили к нему, как домой.

— А помните, он в День Победы ходил с бурдюком и с рогом и всех уговаривал выпить вина за победу?

— Ну, как не помнить! А помните, Стэлла нас катала на пионерском поезде в парке?

— А по фуникулеру поднимались?

— В Гори ездили?

— Ходили на площадь Сталина, на парад?

— Провожали нашего адмирала? Ты тогда, Фрол, сказал: «Беру все на себя», построил, скомандовал:

«Рота-а, шагом марш» и вывел мимо часового на улицу... После пришлось повиниться...

Приятно вспоминать времена, когда мы начинали путь к флоту и хорошо вспомнить город, где началась наша дружба...

— Чай остыл! — замечает Фрол и несет разогреть чайник в кухню.

Раньше это всегда делала мама...

* * *

Давно, во время войны, когда я узнал, что отец пропал без вести, и нет надежды на его возвращение, я просился на флот, в юнги. Я писал тогда командиру соединения катеров: «Я хочу жить по правде, как мой отец, и, когда вырасту, обязательно буду, как он, коммунистом».

Быть коммунистом! Как много значат эти два слова! «Я хочу жить по правде», — написал я, когда был пионером. А что такое — жить по правде? Мне думается, что так живет настоящий коммунист — Глухов. Этот поседевший в боях офицер всей душой отдается нашему воспитанию. Я ему многим обязан. Я знаю, что всегда получу у него и совет и помощь. Я ошибаюсь — он тотчас исправляет мою ошибку и тут же разъясняет ее. Если я не знаю, как мне поступить в том или ином случае, — он подсказывает правильный путь. Сколько душевных бесед — не со мной одним, а и с другими — провел он в тишине маленького своего кабинета, при свете зеленой рабочей лампы, бросавшей свет на горку бумаг... И кто бы ни побывал у него, выходил всегда успокоенным. Никто не сомневается в том, что перед Глуховым можно раскрыть и душу и сердце, рассказать ему все, чего не расскажешь даже близким товарищам. От Глухова никто никогда не слышал: «Мне некогда, зайдите в другой раз». Он готов выслушать каждого, и к нему идут, как к отцу. Он многих выручал из беды. Глядя на Глухова, мы воспитываем в себе чувство уважения к подчиненному, и я решаю: когда мне доверят людей, никогда не позволю себе не выслушать человека, отговорившись, что занят делом, и не помочь ему, чем смогу.

Однажды я получил еще один хороший урок. Какой-то Кротов прислал в училище письмо, обвиняя

Бориса. Борис якобы в подшефной школе уделял больше внимания пионервожатой Зое, чем военно-морскому кружку. И работа среди «друзей моря» совсем захирела. На Бориса сейчас же набросились, и из него пух и перья полетели. Я тоже, зная характер Бориса, готов был поверить письму. Глухов же посмотрел на дело иначе.

— Вы знаете, Рындин,—сказал он, покачав головой,—к сожалению, еще есть людишки, которые получают огромное удовольствие, если им удастся опорочить другого, особенно, если этот другой носит форму. И есть люди, которые готовы тотчас же подхватить слушок и немедленно «подшить» его в папку. Я не терплю первых и не уважаю вторых. Вот что я вам посоветую: чем верить на слово какому-то, никому не известному Кротову, пойдите сами и разберитесь.

Я пошел в школу. Борисом его подшефные были довольны, военно-морской кабинет был оборудован на славу, кружок работал отлично. Кротов же оказался заинтересованным в Зое лицом, преподавателем физкультуры. Когда я заговорил с ним, его пустые, мутные глазки забегали, он всячески их отводил в сторону и бормотал что-то нечленораздельное. Я понял, что имею дело с мелкой душонкой. Возвращаясь в училище, я обвинял себя в том, что чуть было не поверил доносчику.

Глухов часто беседует с нами, со мной и с Фролом. Советует что читать, рассказывает, как сам волновался, переживал, когда его принимали в партию.

— Я себя постоянно спрашивал,—говорит он, — «достоин ли я?» Замполит, который дал мне рекомендацию, сказал мне: «Ваши проступки, Глухов, которые совершили вы необдуманно, вам прощаются, потому что вы были еще слишком молоды. В дальнейшем же каждый проступок, каждая ваша ошибка, ляжет пятном на вашу репутацию. Будучи коммунистом, вы должны быть примером для всех ваших товарищей». И я старался избавиться от своих недостатков, а их было немало—несобранность, неорганизованность, подчас — легкомыслие. Мне это давалось с трудом, но если хочешь быть коммунистом не на словах, а на деле, — то все переборешь.

Да, Глухов прав, если хочешь быть коммунистом не

на словах, а на деле, — все переборешь! Стоит приглядеться получше к Пылаеву, к Зубову!

Гриша мне как-то рассказывает:

— Я на «Ловком» подал заявление перед боем. Рекомендации дали мне Костромской и замполит Крюков. Он погиб... Но после, когда мы пришли в Ленинград, я понял, что мне надо еще много работать над собой, чтобы стать настоящим коммунистом. Я засел за книги. Мне помогал Костромской...

И Гриша, матрос, тогда—малообразованный человек, теперь опередил многих из нас. Зубов—тоже. Партийная организация курса помогла им подняться, поддержала их. Когда они пришли в училище прямо со своих кораблей, их предупредили: «Вам будет трудно учиться». Но тут же сказали: «Мы вас поддержим». И поддержали; недаром с таким уважением они отзываются о секретаре партийной организации. Только на втором курсе я понял, что Кольцов на первый взгляд столь отличный от Глухова, может быть для нас образцом настоящего коммуниста. Мне казался Кольцов суховатым, сдержанным замкнутым. Он был немногословен, а я ждал больших, душевных бесед. Он выслушивал меня, не перебивая, глядя несколько исподлобья внимательным взглядом своих живых карих глаз. Совет давал коротко, но с предельной ясностью, и я уходил от него, признаюсь, разочарованным. Но проходило несколько дней, он, встречая меня, напоминал о недавней беседе, и, к моему удивлению, интересовался мельчайшими подробностями события, происшедшего в классе. Я не знал тогда, что Василий Павлович Кольцов сам был питомцем нашего училища и лишь несколько лет, как стал офицером,— и поэтому до тонкостей знал, что может волновать класс и каждого комсомольца, и вникал во все мелочи так, будто сам участвовал в наших горячих спорах. Я предполагал, что Кольцов ничего не знает о нашей размолвке с Фролом, и не докладывал ему. Но лишь только мы помирились, Кольцов, встретив меня, процитировал Пушкина: «Размолвки дружества и сладость примиренья...» Не так ли, Рындин? Все уладилось, да?»

И улыбнулся такой дружеской, хорошей улыбкой, что если раньше он казался мне суховатым и сдержанным, то с этого дня я уразумел, что ничто человеческое

не чуждо Кольцову. Я допытался у мичмана—«живой энциклопедии училища» что Кольцов был одним из курсантов «блокадного времени», учился, сидя на «блокадном пайке», вышел в первом десятке и попал прямо в бой. О подвигах его, которые он совершил, судя по его орденам и по тому, что, начав войну лейтенантом, Кольцов закончил ее капитаном третьего ранга, мичман знал смутно, а от самого секретаря партийной организации, как и от отца моего, узнать, разумеется, было нелегким делом. Кольцов—не из тех людей, которые любят при каждом удобном случае ввернуть словечко о своем участии в том или ином бою, десанте или напомнить, что сложная боевая операция не обошлась без его участия. Он скромн, а я считал его замкнутым. Он стремится быть незаметным и не бросаться в глаза— и этому следует у Кольцова многим из нас поучиться, в первую очередь — Фролу.

Кольцов нас учит скромности—качеству, обладать которым обязан каждый коммунист. Когда Фрол со свойственной ему восторженностью стал перед всем классом ставить в пример Игната, который работает над историей Севастополя, чем Игната расстроил и рассердил, Кольцов сказал, что Игнат совершенно прав. Наши люди не любят хвастовства подвигами и достижениями, не терпят высокомерия и демонстрирования своего превосходства.

Приводя примеры из жизни, Кольцов заставляет нас призадуматься:

— Как, вы думаете, в таком случае поступил бы настоящий коммунист, а не человек, только называющий себя коммунистом?

Он спросил Фрола, хорошо ли тот изучил «Краткий курс».

— На «отлично»,—с гордостью сказал Фрол.

— Я это знаю, Живцов. А вот в работе, в жизни, в быту—как вы подходите к возникающим перед вами вопросам?

— По сердцу, — ответил Фрол не задумываясь.

— Ну, раз сердце у вас коммуниста, значит и все вопросы вы должны разрешать по-партийному. Не так ли, Живцов?

Фрол смутился. Но тотчас ответил:

— Я еще, товарищ капитан третьего ранга, бывает, сбиваюсь с курса. Но я за собой слежу...

— Следите, Живцов, следите, не допускайте ошибок, не забывайте, что вы—будущий коммунист...

Да, Кольцов направляет нас на правильный путь и следит за тем, чтобы мы «не сбивались с курса».

— Ты знаешь, Кит,—говорит Фрол,—я ночью проснусь и думаю: другого пути перед собой я не вижу, передо мной—один путь. А кто мне рекомендацию даст? Ты помнишь, рассказывал, Кит, что Глухов нас с тобою рекомендовать обещал? А теперь что? Приду я к Глухову, а он мне: «вас столько драили, Живцов, столько вы совершили проступков, не могу за вас поручиться». Никогда не забуду, как он под Новый год мне сказал, когда я с чужой увольнительной ушел на берег, что я—несобранный человек.

Фрол вздохнул. Я тоже часто задумывался, даст ли мне рекомендацию Глухов? Сердце подсказывало: «даст», а разум возражал: «подожди, думать об этом тебе еще рано».

— Ты знаешь, Кит, у нас на катерах был один старшина, Филимонов,—продолжал Фрол.—Он заявление в партию подал, когда мы в десант выходили. Если погибну, мол, прошу считать меня коммунистом. Ну, погибнуть-то он не погиб, уцелел. И что ж ты думаешь, Кит? Понял он, что такое быть настоящим коммунистом? Нет. Он, видно, думал: дерешься с врагом хорошо—значит все остальное простится. Неправильное у него было понятие о высоком звании, Кит... И так себя стал вести Филимонов, что, когда опять натворит что-нибудь, говорили: «Ну, что с него спрашивать—Филимонов!»! Пытались его перевоспитать, да не вышло. Исключили. Позор какой, Кит! Я с ума бы сошел, если бы обо мне говорили: «Ну что спросишь с Живцова?» Я хочу, чтобы все говорили: «Живцов—он не подведет. Живцов—он своим партийным билетом дорожит больше жизни». Понятно тебе это, Кит?

— Да. Хорошо, Фролушка, когда тебя ставят в пример. А ты знаешь, мне кажется, не зря Глухов нам о себе столько рассказывал.

— Про что?

— Да про молодость свою и про то, что по моло-

дости прощается. Ведь нам с тобой тоже прощали многое. Но теперь нам уже двадцать лет...

— Да, Кит. А скоро будет двадцать один!

— И ни о какой скидке на молодость говорить не приходится.

— Значит, мне и надеяться не на что!

— Ошибаешься, Фрол. Глухов тебе рекомендацию даст.

— Мне?

— Попомни мои слова. Он знает, что ты сам с собой борешься, исправляешь свои ошибки.

— Ну, допустим. А другую кто даст?

— Гриша Пылаев.

— Мне не до шуток, Кит!—рассердился Фрол.

— Я не шучу.

— Я же на Гришу взыскания накладывал. Он меня видеть не может.

— Ошибаешься, Фрол: настоящий коммунист не мелочен и не обидчив. Ведь только мы с тобой, дурачки, ссорились, друг от друга отворачивались, размолвку превратили в мировое событие... Не знаю, как тебе, Фрол, а мне стыдно вспомнить...

— И, мне стыдно, Кит. Забудем?

— Забудем, Фролушка.

— И знаешь, о чем я думаю? В Нахимовское мы вместе пришли, в комсомол тоже нас с тобой в один день принимали, в училище—вместе пришли, и в партию вместе готовиться будем, друг другу будем помогать. С Глуховым советуемся. Ну, а на третьем курсе...

— На третьем курсе, Фрол, настанет для нас большой день...

* * *

...И хотя Бату говорил, что «годы медленно текут в юности», жизнь, не останавливаясь, бежит вперед. Ты вчера лишь пришел к рукаву фланелевки второй золотой угольник—отличие второго курса, а сегодня уже подошли полугодовые экзамены...

Адмирал зашел в класс и, когда Бубенцов получил пятерку, сказал удовлетворенно: «Я не ошибся». Вызвали Платона, начальник училища задал ему несколько вопросов. Платон получил высшую оценку. Да, адмирал был дальновиднее тех, кто утверждал, что из

Платона и Бубенцова ничего не получится. Стоило им протянуть руку помощи—и они снова стали в строй.

Класс не ударил лицом в грязь. Он опередил другие классы. Хотя Вершинин ничем не высказывал своего удовлетворения, чувствовалось, что он нами доволен. Костромской же не мог удержаться и хвалил нас. Ведь капитан-лейтенант и сам не так уж давно сдавал экзамены.

Новый год я встречал в училище. В этот вечер мне вспомнилось, как мы в такой же морозный вечер шли с Илюшей и Хэльми к маме на Кировский, как веселились в новогоднюю ночь; стало грустно. Но когда я увидел ярко освещенный переполненный зал, Фрола, сияющего, чисто выбритого (да, ему уже придется бриться, на щеках растет светлорыжий пух!) и даже надушенного цветочным одеколоном, празднично настроенных товарищей, — хандра моя прошла. Меня окружала моя родная морская семья.

Чудесный праздник—новогодняя ночь! В эту ночь ты желаешь процветания Родине, которая станет еще богаче, красивее, могущественнее в грядущем году. Ты желаешь долгих лет жизни тому, кто ведет твою Родину к счастью... В эту ночь твои друзья желают тебе успехов, сам ты мечтаешь о будущем и не сомневаешься в том, что все твои мечты сбудутся...

И теплые слова, с которыми обращается к нам начальник училища, и громкое «ура» Сталину, и концерт, в котором выступают артисты, известные всей стране — среди них и Люда, дочь нашего адмирала, — поднимают настроение без вина. Гремит на хорах музыка, пары кружатся в вальсе, девушки с нами охотно танцуют... мы больше не младшие!

— Чего пожелать тебе в новом году? — спрашивает Фрол.

— Пятерок и плавания. А тебе?

— Побольше пятерок и как можно больше плаваний!

— Ты знаешь,—говорит Фрол,— как только окончу училище, я буду усы отращивать, как Виталий Дмитриевич. Приду на флот—все вид солиднее будет.

— Фрол, да ведь у тебя усы будут рыжие!

— Ну, и что? А почему бы усам не быть рыжими?

Уже гасят огни; круглые морские часы показывают четыре.

— Ну, уж сегодня меня никто не добудится к чаю!— говорит Фрол, на ходу раздеваясь и на ходу засыпая. И, действительно, добудиться его утром невозможно.

* * *

Много написано конспектов, исписано тетрадей, прочитано книг...

Вышла книга нашего адмирала «Жизнь в море». В «Красном Флоте» напечатан очерк о работах Вадима Платоновича, морской журнал помещает статью отца. Игнат нам читал историю Военно-морского музея и описание всех экспонатов—он составил все это вместе с Гришей Пылаевым.

И вот проходит зима, и черные трещины расползаются по замерзшей Неве: капает с крыш.

Уже год, как нет мамы. Мы стоим с Фролом над бурым от талого снега холмиком. Страшно подумать, что она лежит там, в сырой, холодной земле, она, которая минуты не могла посидеть спокойно, всегда куда-то торопилась, стремилась, спешила... Фрол вздыхает. Ему тяжело. Мне—еще тяжелее. Я приду в училище и напишу отцу на «Дельфин», что побывал у нее и отнес ей подснежников. Какие-то люди проходят мимо—мы их не замечаем. Наконец, Фрол трогает меня за плечо. Нам пора. И мы уходим...

Глава седьмая

ШИРОКАЯ НАША ДОРОГА

Меня не тянет на Кировский. Я захожу туда только за тем, чтобы взять что-либо из необходимых вещей. Кукушка давно не кукует—ее никто не заводит. Мне спокойнее живется в училище среди товарищей, а еще лучше на корабле. И вот в летний день я избегаю по лестнице на четвертый этаж, вхожу в освещенную солнцем пустую квартиру, отбираю в шкафу все, что мне нужно в плавании. Я выдергиваю тельняшку—и к ногам падает пожелтевшая фотография. На меня смотрит двенадцатилетний мальчуган в курточке, с темными живыми глазами, немного курносый, с коротко подстриженными темнорусыми волосами. Рот раскрыт—

фотограф сердито приказал: «Улыбайтесь». Я вспоминаю и фотографию под стеклянной крышей, и суетливого старичка-фотографа с всклокоченной гривой бурых волос. Он нырнул с головой под черное одеяло и крикнул: «Готово! Теперь прошу вас, мадам».

Я сую фотографию под кипу белья и захопываю зеркальную дверцу. Передо мной стоит взрослый моряк, сохранивший сходство с тем мальчиком. Те же глаза, те же темнорусые волосы, подстриженные коротко, но с претензией на прическу. Нос как будто стал менее курносом? А впрочем—не все ли равно? Какой есть, такой есть! Интересно, каким я буду через несколько лет?

Мне очень хочется заглянуть в будущее. В далекое? Нет, в самое близкое!

Мне хочется увидеть тот день, большой день в нашей жизни, к которому мы с Фролом так долго готовимся. Сколько раз еще мы будем себя спрашивать: «достоин ли я?» И когда все свершится и товарищи будут поздравлять нас, я напишу отцу: «Я стал, как ты, коммунистом. Я буду жить по правде, как ты, и никто не посмеет сказать о Никите Рындине дурно».

А что с тобой будет, Никита, через два года, когда ты окончишь училище? Куда тебя пошлют—на Север, на Балтику, Тихий океан или на Черное море? Кстати, есть еще Каспий, есть Амурская флотилия и другие. Привалит ли небывалое счастье—и ты попадешь в свое соединение, на торпедные катера? Фантазия разыгрывается, и я вижу себя на катере, скользящем по морскому простору. А Фрол, мой неразлучный друг Фрол, будем ли мы и дальше с тобой неразлучны? Не попадем ли в различные соединения, а может быть—на разные моря? А «нахимовское товарищество»? Встречусь ли я с Юрой, Олегом, Илюшей?

Я вижу в мечтах филармонию. На мраморе белых колонн отражаются огни люстр. Алый бархат диванов и кресел, эстрада, на которой приготовлены пульта и стулья для музыкантов; черные тужурки, золотые погоны, синие фланелевки и голубые воротники—все это создает праздничную обстановку. Выступают музыканты, певцы и певицы. Выходит со скрипкой инженер-лейтенант Авдеенко. Играет Олег хорошо—легкий шелест вдруг пробегает по залу. Все требуют повторе-

ния. Краем уха ловлю: «большой талант». «Да, да, блестящий талант».

А завтра он идет в море на своей «малютке».

Где встречу я Забегалова, Бунчикова, когда они выйдут на флот? Не знаю. Зато очень ярко себе представляю, как приезжаю в Тбилиси, иду в знакомую улочку, вхожу во двор, окруженный стеклянными галереями, стучу в знакомую дверь. У Мираба усы совсем поседели, волосы — тоже. «Смотри, пожалуйста, лейтенант! Маро, Стэлла, Гоги, скорее сюда!» — «Не-ет! — кричит Стэлла, — тебя не узнаешь, Никита!» Тетя Маро накрывает на стол, а Гоги появляется с бойким глазастым парнишкой, — маленьким Гоги. И вдруг, откуда ни возьмись — Антонина. На ней — ее любимое, цвета морской волны платье. Волосы светятся на солнце, как золото, и все милое лицо ее улыбается. Она бросается ко мне: «Наконец-то приехал!» А что я скажу ей? «Я за тобой, и мы больше никогда не расстанемся?» или: «Я уезжаю далеко, на океан, знаю, ты не поедешь, у тебя свое большое, нужное дело, и я не вправе тебя от него отрывать?» Не знаю...

Мне очень хочется заглянуть вперед и увидеть, как встретятся Фрол со Стэллой. Будет ли продолжаться их дружба? Также не знаю...

...Вдруг придется снова терять друзей, близких? Ведь американские и прочие поджигатели новой войны не унимаются. Они мечтают потопить весь мир в крови, господствовать на всех континентах, морях и океанах. Люто ненавидят эти господа нашу Советскую страну — надежду всего человечества... И не повернется ли вся жизнь так, что одним желанием моим будет уничтожить врага, напавшего на мою любимую Родину?..

Трудно сказать, что будет далеко впереди. Зато я очень хорошо вижу завтрашний день. Корабль, на котором я иду в море, красив, как может быть красив современный военный корабль, — голубой, обтекаемый, со стройными наклонными мачтами, скользящими под голубым небом, с длинными орудиями, выглядывающими из орудийных башен.

Адмирал, с биноклем в руках, наблюдает с мостика, как разворачиваются в строй кильватера корабли. Свежий ветерок шевелит вымпел. За кормой бежит бе-

лый пенистый след. Берег — уже расплывчатый и бесформенный — отдаляется, тает в дымке, растворяется, исчезает...

Фрол стоит рядом. Он счастлив. Мы понимаем друг друга. На сотни миль впереди раскинулось седое, все в мелких барашках море. Вот она, широкая наша дорога! Ее проложили отцы наши и деды через грозные бури. И мы— всю жизнь свою мы отдадим родному своему флоту. Он отныне наш дом,— и в морях теперь наши дороги!

Черное море — Балтика.
1948—1950

ОБЪЯСНЕНИЕ МОРСКИХ СЛОВ

- Аванпорт**—внешняя часть порта, защищенная от волнения и приспособленная для погрузки судов.
- Аврал** — работа на корабле, в которой принимает участие весь личный состав или значительная его часть.
- Акустик** — матрос или старшина, обслуживающий подводно-звуковые средства связи.
- Амбразура** — отверстие в носовой части брони башен или орудийных щитах, в котором ходит орудийный ствол.
- Бак** — носовая часть корабля.
- Банка** — деревянная доска, служащая для укрепления шлюпки от сдавливания и вместе с тем сиденьем для гребцов. В других случаях «банка» — мель.
- Баркас** — большая шлюпка, которую используют для перевозки большого числа команды и тяжелых грузов. Бывают моторные баркасы.
- Баталёр** — специалист старшинского состава, ведающий пищевым довольствием.
- Бомбы глубинные** — бомбы, приспособленные для поражения цели под водой. Снабжаются специальным устройством, обеспечивающим взрыв бомбы не в момент удара о воду, а на заранее заданной глубине.
- Бон** — пловучее заграждение (преграда), состоящее из системы соединенных между собой подводных поплавков, бревен и сетей, представляющих препятствие для подводных и надводных кораблей и преграждающих доступ торпедам. Боны имеют своим назначением не пропустить в защищаемый район миноносцы, торпедные катера, подводные лодки противника, а также задерживать торпеды. Каждое пловучее заграждение составляется из неподвижной части и разводной, которая служит для прохода через него своих кораблей (боновые ворота).
- Борт** — боковая сторона поверхности корабля. Если встать на корабле лицом к его носу, то справа будет правый борт, а слева — левый борт.
- Бот** — небольшое парусное судно.
- Боцман** — лицо старшинского состава. В его обязанности входит содержание корабля в чистоте, руководство и наблюдение

- ние за общекорабельными работами и обучение команды морскому делу.
- Б о ч к а** — клепаный поплавок, поддерживающий цепь, идущую от якоря большого веса, лежащего на грунте. Бочки служат в гаванях и на рейдах для стоянки судов.
- Б у г ш п р и т** — горизонтальная или наклонная мачта, выставленная вперед с носа корабля.
- Б у ё к** — плавающий снаряд, служащий для спасения тонущего, а также для указания какого-либо места на поверхности воды.
- Б у й** — пловучее средство, которым ограждаются опасные места.
- Б у ш л а т** — двубортный теплый пиджак.
- В а х т а** — особый вид дежурства на корабле, для несения которого выводится часть личного состава на определенные посты и на несколько часов в сутки, но не свыше шести часов непрерывно.
- В а х т е н н ы й** — лицо, несущее в данный момент вахтенную службу.
- В а х т е н н ы й о ф и ц е р** — лицо офицерского состава, которому в данный момент вверено непосредственное управление общекорабельной вахтенной службой.
- В е с т о в о й** — матрос, назначенный для обслуживания кают-компании и кают офицерского состава.
- В о д о и з м е щ е н и е.** — Плавающее на спокойной воде судно, подобно всякому плавающему телу, подчиняется закону Архимеда, заключающемуся в том, что вес воды, вытесняемой плавающим телом, равен весу самого тела. Вес воды, вытесняемой судном, равный весу судна, называется весом водоизмещения судна и выражается обычно в тоннах.
- Г и д р о ф о н** — прибор, при помощи которого можно улавливать звуковые волны, порождаемые любым источником звуковых колебаний и, в частности, работой гребных винтов и вибрацией корпуса подводной лодки. Следовательно, гидрофон дает возможность обнаружить подводную лодку, идущую под водой.
- Г ю й с** — флаг, поднимаемый на носу военных кораблей первого и второго рангов, когда они стоят на якоре. Поднимается одновременно с флагом, в восемь часов утра, и спускается с заходом солнца.
- Д е с а н т** — высадка сухопутных войск, перевезенных морем или по воздуху, на территории противника для военных действий.
- Д и ф е р е н т**—угол продольного наклона судна, вызывающий разность в осадках носа и кормы. Если углубление кормы больше, чем углубление носа, то судно имеет дифферент на корму.
- Д р а и т ь** — натирать, отчищать что-нибудь. «Драить медяшку» — значит чистить медные вещи до блеска.
- «Е с т ь»** — ответ на приказание или на зов. Означает: «Слушаю, приказание мною понято, будет исполнено».
- Ж у р н а л в а х т е н н ы й**—книга, ведущаяся на всех кораблях, в которую записываются подневно, из вахты в вахту, в хронологическом порядке основные события и обстоятельства внутренней и внешней жизни и деятельности корабля.

- З а д р а и т ь** — плотно, наглухо закрыть с помощью специальных приспособлений иллюминатор, люк, дверь.
- И л л ю м и н а т о р** — круглое окно на корабле.
- И т т и** — передвигаться по воде. Водю или морем ходят, идут (не ездят).
- К а б е л ь т о в** — мера длины; равен одной десятой морской мили (185,2 метра).
- К а м б у з** — кухня на корабле.
- К а ю т а** — помещение на корабле, предназначенное для жилья обслуживающего персонала и пассажиров.
- К л о т и к о в ы й ф о н а р ь** — сигнальный прибор для световой сигнализации. Состоит из двух или трех ламп, из которых одна красная, а остальные — белые. Передача сигналов производится по азбуке Морзе. Сокращенно этот фонарь называется «клотик».
- К о й к а** — кровать на корабле. **П о д в е с н а я к о й к а** — сшитый из парусины гамак.
- К о к** — повар.
- К о м е н д о р** — матрос-артиллерист, обслуживающий артиллерийские установки на кораблях и в частях военно-морского флота.
- К о р в е т** — трехмачтовый военный корабль.
- К р е й с е р** — быстроходный, хорошо вооруженный корабль.
- К у б р и к** — жилое помещение для команды.
- К у н и к о в ц ы** — бойцы легендарного батальона морской пехоты, сражавшегося с фашистами в Великую Отечественную войну. Батальон назван по имени Героя Советского Союза Цезаря Куникова, до войны — инженера и редактора газеты.
- К у р с** — направление, по которому идет корабль. Отсюда: «боевой курс» — выход корабля в атаку. Говорится: «корабль лег на курс», «лег на боевой курс».
- Л ю к** — отверстие в палубе, в которое сходят люди, опускают в трюм грузы. Есть люки световые — окна, пропускающие свет. В дурную погоду люки наглухо задриваются, чтобы вода не попала внутрь корабля.
- «М а л ю т к а»** — подводная лодка небольших размеров, с немногочисленной командой.
- М и н е р** — сокращенное наименование минных специалистов офицерского состава.
- М о л** — оградительное сооружение в портах для защиты от морских волнений.
- М о с т и к** — приподнятый над бортами корабля и защищенный от ветра и волн помост, находящийся впереди дымовых труб. Является основным постом управления кораблем.
- М о т о б о т** — моторный бот. В войну использовался для перевозки и высадки десанта.
- О т в а л и т ь** — отойти от пристани или борта другого судна.
- П а л у б а** — пол на корабле.
- П а л у б а ж и л а я** — палуба, на которой расположены жилые помещения команды.
- П е р е б о р к а** — всякая вертикальная перегородка, разделяющая помещения внутри корабля.
- П и р с** — пристань.

- Подволо́к** — потолок.
- Полундра** — предупредительный окрик «берегись».
- Порт** — место у какого-либо города, где сосредоточивается стоянка кораблей. Важнейшие порты на Черном море — Севастополь, Одесса, Новороссийск. Обычно порт огораживают толстыми каменными стенами, чтобы защитить его от волн.
- Рейд** — более или менее значительное водное пространство у берегов, представляющее собой удобную якорную стоянку для судов, закрытую от ветра и волнения.
- Рубка** — всякого рода закрытое помещение на верхней палубе.
- Рулевой** — опытный матрос, правящий рулем.
- Рында** — в парусном флоте особый звон в колокол в самый полдень. Нынче так зовут корабельный колокол вообще.
- Сигнальщик** — матрос, имеющий специальную подготовку и несущий службу наблюдения и связи.
- Склянка** — песочные часы. На флоте выражение «склянка» означает получасовой промежуток времени. В 12 часов 30 минут дня бьют в колокол один раз (одну склянку), в 1 час — два раза, в 1 час 30 минут — три раза и т. д. до восьми склянок в 4 часа дня. Потом начинается новый счет. «Которая склянка» — сколько времени. «Бей четыре склянки» — ударь в колокол четыре раза. Это значит, что сейчас 2, 6, 10, 14, 18 или 22 часа.
- Сходни** — деревянные мостки, соединяющие берег с кораблем.
- Транспорт** — судно для перевозки пассажиров и разного рода грузов.
- Трап** — лестница на корабле.
- Трос** — пеньковый или стальной канат.
- Фальшборт** — легкая обшивка борта открытых палуб.
- Фарватер** — проход между опасными местами, обставленный предостерегательными знаками, или определенный путь для плавания кораблей.
- Флагшток** — древко, установленное на оконечности кормы корабля; на нем поднимается кормовой флаг.
- Химист** — рядовой специалист химической части на военном корабле.
- Шканцы** — часть верхней палубы военного судна. В царском флоте считалась почетным местом на корабле. Служит для встреч, смотров, разводов, вахт и других церемоний.
- Шкафут** — часть палубы военного корабля между фок- и грот-мачтами.
- Штормтрап** — веревочная лестница.
- Штурвал** — колесо с ручками, служащее для управления рулем.
- Штурвальчик** — колесико с ручками для управления перископом.
- «Щука»** — большой подводный корабль.
- Экипаж** — личный состав, обслуживающий корабль и управляющий им.
- Юнга** — малолетний матрос, ученик.
- Ют** — кормовая часть палубы.

СОДЕРЖАНИЕ

УХОДИМ ЗАВТРА В МОРЕ

Часть первая. СЫН МОРЯКА

Стр.

<i>Глава первая.</i> Мой отец	5
<i>Глава вторая.</i> В Кронштадте	7
<i>Глава третья.</i> Антонина	10
<i>Глава четвертая.</i> Мы едем к отцу	12
<i>Глава пятая.</i> Дом под горой Давида	18
<i>Глава шестая.</i> Самый странный корабль, который я когда-либо видел	26
<i>Глава седьмая.</i> Бывалый моряк	30
<i>Глава восьмая.</i> Без отца	32
<i>Глава девятая.</i> Встреча	35
<i>Глава десятая.</i> Их нет, но они вернутся	38
<i>Глава одиннадцатая.</i> «Перед тобой лежит широкая дорога в море».	41

Часть вторая. ПЕРВЫЕ ШАГИ

<i>Глава первая.</i> В училище	49
<i>Глава вторая.</i> Офицеры и сверстники	54
<i>Глава третья.</i> Старшина Протасов	60
<i>Глава четвертая.</i> Командир роты	62
<i>Глава пятая.</i> Адмирал	66
<i>Глава шестая.</i> Бунчиков и Девяткин	69
<i>Глава седьмая.</i> Парад	71
<i>Глава восьмая.</i> Первые занятия	74
<i>Глава девятая.</i> Будни	80
<i>Глава десятая.</i> Муштайд и Мтацминда	98
<i>Глава одиннадцатая.</i> Мы—комсомольцы!	108
<i>Глава двенадцатая.</i> Без погон и без ленточки	110

Часть третья. С НАХИМОВСКИМ ПРИВЕТОМ

<i>Глава первая.</i> Письмо на флот	115
<i>Глава вторая.</i> Почему горевал старшина	121
<i>Глава третья.</i> Подготовка к вечеру	125
<i>Глава четвертая.</i> Мама	127

<i>Глава пятая.</i> Гори	130
<i>Глава шестая.</i> Как мы встретились	133
<i>Глава седьмая.</i> Где они пропадали	139
<i>Глава восьмая.</i> Корабли возвращаются в Севастополь	148
<i>Глава девятая.</i> Командующий поздравляет героев	152
<i>Глава десятая.</i> Возвращаюсь в училище	157
<i>Глава одиннадцатая.</i> Перед выходом в лагерь	159

Часть четвертая. УХОДИМ ЗАВТРА В МОРЕ

<i>Глава первая.</i> В лагере	165
<i>Глава вторая.</i> К морю!	170
<i>Глава третья.</i> Подводное «крещение»	185
<i>Глава четвертая.</i> Забегалов встречает старых друзей	189
<i>Глава пятая.</i> Тральщики	193
<i>Глава шестая.</i> Отъезд	198
<i>Глава седьмая.</i> Новый учебный год	202
<i>Глава восьмая.</i> Зимой	216
<i>Глава девятая.</i> День Победы	225
<i>Глава десятая.</i> «Адмирал Нахимов»	234

В МОРЯХ ТВОИ ДОРОГИ

Часть первая. НОВИЧКИ

<i>Глава первая.</i> Прощай, любимый город!	239
<i>Глава вторая.</i> Дома	259
<i>Глава третья.</i> Мое училище	282
<i>Глава четвертая.</i> Лагерь	291
<i>Глава пятая.</i> Первое плавание	304

Часть вторая. ФЛОТСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

<i>Глава первая.</i> Среди товарищей	325
<i>Глава вторая.</i> Размолвка	349
<i>Глава третья.</i> Новый год	359
<i>Глава четвертая.</i> Горе	365
<i>Глава пятая.</i> Судьба товарища	369
<i>Глава шестая.</i> Счастливо плавать!	383

Часть третья. НА КОРАБЛЯХ.

<i>Глава первая.</i> Под парусами	390
<i>Глава вторая.</i> Матросский труд	411
<i>Глава третья.</i> На катерах	425
<i>Глава четвертая.</i> Антонина и Стэлла	439
<i>Глава пятая.</i> «Дельфин»	448
<i>Глава шестая.</i> Еще ближе к флоту	453
<i>Глава седьмая.</i> Широкая наша дорога	466
Объяснение морских слов.	470

Редактор Н. Х и м и н.
Худож. редактор И. Р ы б ч е н к о.
Техредактор И. Л и т в и н о в.
Корректор С. М а т р о с о в а.

НФ 00319. Объем 24,4 п. л., уч.-изд. 24,4 л..
авторских листов 23,71. Формат бумаги
84 × 108¹/₃₂. Тираж 75 000 экз. Сдано в про-
изводство 22-ХІ-1952 г. Подписано к печати
31-І-1952 г. Типо-литография Крымиздата,
г. Симферополь, ул. Кир. ва, 23. Заказ № 651.
Цена в переплете 7 руб. 10 коп.

Цена 7 р. 10 коп.